ЧИЖИК — ПТИЧКА С ХАРАКТЕРОМ

ВАЛЕНТИНА ЧУДАКОВА



Посвящается светлой памяти друзей,
павших в боях за Родину





ВАЛЕНТИНА ЧУДАКОВА

ЧИЖИК-ПТИЧКА С ХАРАКТЕРОМ

ПОВЕСТЬ

КРАСНОЯРСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 7 3

...Небольшой городок Дно фашисты бомбили и обстреливали уже на седьмой день войны.

Вчерашние восьмиклассники ринулись в военкомат: просили, доказывали, умоляли, но на фронт их не брали. И все же некоторые из них попали в военные части или ушли в партизаны и героически сражались вместе со взрослыми бойцами...

Автор этой книги Валентина Чудакова была официально удочерена 183 стрелковой дивизией.

Шестнадцати лет она начала свой путь на войне. Была санитаркой, связной, агитатором, потом командиром пулеметного взвода в знаменитой Сибирской дивизии и позже командиром пулеметной роты. На войне пришла к ней любовь и страшное горе — гибель любимого человека. Она героически сражалась, была несколько раз ранена, награждена четырьмя орденами и многими медалями.

«Чижик — птичка с характером» — повесть биографическая. Она написана на самом достоверном материале, на событиях, лично пережитых автором. Это воспоминания о войне человека смелого, искреннего, жизнелюбивого.

Валентина Васильевна Чудакова член Союза писателей СССР.

Впервые повесть была издана в Ленинграде в 1965 году, получила высокую оценку читателей и критики.

Ч $\frac{0732-022}{М147(03)-73}$ 24-73

ОТ АВТОРА

Дорогие друзья-сибиряки!

Я считаю для себя большой честью переиздать свою первую и самую любимую повесть «Чижик — птичка с характером» в сибирском издательстве. Еще бы: в годы Великой Отечественной войны я почти целый год (а это на переднем крае большой срок!) воевала в составе одной из прославленных сибирских дивизий, получившей в сентябре 1943 года почетное наименование «Смоленской».

Когда мне говорят, что у меня исключительная военная судьба, я в это не верю. Просто я разделила трудную и завидную долю многих моих сверстников, в годы минувшей войны одевших солдатскую шинель в шестнадцать подростковых лет.

Молодые читатели меня часто спрашивают: «А что было самым страшным на войне?» Трудный вопрос и не сразу на него ответишь. Вот именно, что? Плен? Окружение? Слепая разрушительная сила артиллерии, перед которой бессилен любой храбрец? Мучительная смерть товарища на твоих глазах? Огонь на себя? Тяжелое ранение?..

Многое страшно. Но самым страшным для меня оказалась разлука с родными боевыми знаменами. И фактически я осиротела не тогда, когда в детстве лишилась родителей, а именно тогда, когда после первого ранения по обстоятельствам, от меня не зависящим, не могла возвратиться в свой стрелковый полк, в родную дивизию, удочерившую меня и воспитавшую активным бойцом. Так что такие понятия, как фронтовая дружба, окопное братство, боевая семья, однополчане,— для меня не просто патетические слова, а священные, высоконравственные категории, без которых немыслимо солдатское бытие в боевой обстановке,

Утратив привычное место в боевом строю, я оказалась начисто выбитой из седла.

Но в то время на всех фронтах шли кровопролитные бои. Это было совсем неподходящее время для маленьких личных дел и переживаний.

В семнадцать лет жизнь через войну надо было начинать сначала, но только совсем по-другому. И я добровольно выбрала для себя новый и трудный путь строевого пехотного офицера. Правдами и неправдами попала на кратковременные курсы младших лейтенан-

тов, куда женщин не принимали. Так я вновь обрела цель и смысл жизни.

Отгорали последние дни короткого «бабьего лета». Наши курсы стояли в большом прифронтовом чудом уцелевшем селе. Как-то в выходной день, который у нас именовался «банным», по селу прошла строевым маршем стрелковая дивизия: с развернутыми знаменами, при полной боевой выкладке и даже с духовым оркестром. Рослые солдаты чеканили шаг, как на параде, красиво и слаженно пели «Гвардейский марш» на чьи-то новые слова, запавшие мне в душу на всю жизнь.

Мы Прилепы, Никольское взяли,
За Карманово храбро дрались.
Вражьи танки на воздух взлетали
Вражьи «юнкерсы» падали вниз!
Вперед, Сибирская, несокрушимая,
Грудью вставшая за свой народ!..

Среди многочисленных зрителей слышались восхищенные голоса.

— Вот это да!.. Что твои кремлевцы на параде...

— Ну и народ! Пулеметы на себе, а поют, как налегке шагают...

— А что ты хочешь? Си-би-ря-ки! Дадут фрицам!

Я подумала: «Вот бы после курсов в такую попасть...».

Бывает же такое везение: после окончания курсов я была назначена командиром пулеметного взвода именно в эту сибирскую дивизию!

Как меня там встретили мои солдаты,— как мне с ними жилось и воевалось — рассказано на страницах повести.

В сибирской дивизии я была дважды ранена, первый раз осталась в строю, второй раз была ранена под Смоленском на знаменитой Соловьевской переправе, которую штурмовала наша Сибирская дивизия. И снова осиротела. После лечения опять попала в другую, уже не сибирскую дивизию, и командовала там уже пулеметной ротой.

А сибирские чудо-богатыри и сейчас стоят перед моими глазами как живые: независимо от возраста — молодые, красивые, жадные до жизни, незабываемые.



ЧАСТЬ 1

После своей смерти человек может жить только на земле.

Анри БАРБЮС

Меня разбудили птицы и солнце. «Вставай, дитенок, глянь-ка, как рыжее солнышко озорничает: само, без спросу, лезет в окошко...» Так будила меня бабушка. А сейчас бабушки не было дома, и никого не было дома, и вставать не хотелось.

Моя беспокойная бабка ушла на богомолье. И не куда-нибудь, а в Святые Горы! И не как-нибудь, а пешком! Где твое Дно, а где Святые Горы — такая даль!. Да и Горы-то вовсе не святые, а Пушкинские. Мы когда-то там жили, в этом поселке на живописных холмах. Три дня я отговаривала упрямую бабку: доказывала, что в Пушкинских Горах есть одна святыня — могила Пушкина у подножия древнего монастыря. Монастырь тот давным-давно не служит, а единственная Пушкиногорская церквушка нисколько не лучше нашей Дновской. Но бабушка не хотела молиться в местной церкви, — ей не потрафил дновский поп — отец Сергий. «Никакого благолепия: зевласт, буен плотью, что добрый кузнец, и лицом зверообразен — хоть сейчас с кистенем на большую дорогу...»

«Не всё ли равно, какой поп, если вся религия не что иное, как сплошной обман трудящегося народа!» — сказала я. (Точь-в-точь, как наш общепризнанный школьный оратор Мишка Малинин!) Бабка поглядела на меня с непередаваемым ехидством: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!.. Что ты понимаешь в святой вере, вольница безотцовская? Вот я покажу тебе, как с родной бабушкой спорить! Не погляжу, что ты почитай уж невеста, да и ухвачу за косы-то!» А что? И ухватит!.. Характер у моей бабки горячий: чуть что — вспыхнет как порох.

Покричала и утихомирилась — уже мирно стала мне доказывать, как в старозаветные времена Святогорский монастырь чудодейственно спасся от нашествия лютых ворогов, оттого, дескать, и прозывается с тех пор святым. Бабка, наверное, имела в виду набег на Псковщину литовского князя Ягайлы или польского короля Стефана Батория. А по-моему, она хитрила. Дело тут было вовсе не в святости Пушкиногорских мест. Да и не была бабушка так уж крепка в вере: ни одной молитвы, кроме «Отче наш», не знала, молилась от случая к случаю, да и как молилась-то! Переделав все домашние дела, встанет перед образами и, зорко поглядывая через окно на огород, начинает: «Пресвятая богородица!.. Проклятущая! Всю капусту объела!» (Это она про нашу козу). «Никола-угодник, батюшка!.. Чтоб ты сдох, окаянный! Опять изгородь на рога поднял!.. Анафема!» (А это про общественного быка Альбома.) Не выдержав, я убегала на кухню и кисла там от смеха, а в присутствии бабушки смеяться опасалась — крута была бабка на расправу... И вот ее потянуло в святые места! Я-то знала — не молиться она пошла, а побывать там, где в тридцатых годах работала моя покойная мать, бабушкина единственная дочка. Потом бабка и сама призналась: «Все окрестные деревеньки обойду. Сорок поклонов в Полянах, сорок на Михайловском погосте, сорок в Русаках да сорок на Савкиной горке...» Сорок в Полянах да сорок в Русаках! Небось вспомнила, как в тридцатом году в Русаках в маму мою, агронома, стреляли из обреза и тяжело ранили — полгода в больнице пролежала.

Спорила я, спорила и отступилась: а иди ты хоть в Киево-Печерскую лавру! Но категорически заявила:

«С Муссолини не останусь! Хоть продавай». Бабка строго на меня поглядела поверх очков с веревочными дужками: «Какое такое Муссолини? Я вот тебе покажу как бессловесной божьей твари непотребные прозвища давать!» Скажите на милость: «бессловесная божья тварь» коза Махнушка!.. Да это же настоящий фашист с рогами! Блудлива, бодлива — каждый день неприятности: стащила с веревки и сжевала соседскую праздничную скатерть, залезла в чужой огород, объела в эмтээсовском саду недозрелые мичуринские сливы, а подслеповатому сторожу деду Зиненко пониже спины так поддала, что дед свалился на клубничную грядку... А однажды окаянная Махнушка ушла за речку, в военный городок, и заявилась в ДКА на танцы. Подобрала в фойе и съела все окурки, а потом ахнула рогами в огромное зеркало. Ну кто она, как не Муссолини?..

Бабка мне сказала: «Не распускай нюни — управишься. В твои годы я не только жала и молотила, а и пашенку за милую душу пахала. Покрепче ее привязывай, глубже кол в землю вгоняй».

Удержишь такую на привязи! Как же...

Бабка ушла налегке: босиком, с холщовой котомкой за спиной. А на моем попечении кроме Муссолини осталась прожорливая свинья Дюшка, полтора десятка кур да огород. Вот тебе, любимая внученька, награда за отличные оценки — отдыхай на каникулах!.. Хорошо хоть Галина с Димкой — мои сестренка и братишка — уехали на всё лето на Шелонь, к бывшему маминому сослуживцу агроному Ивану Яковлевичу. Впрочем, если бы ребята были дома, бабушка, наверное бы, не ушла.

Я со злостью повернулась на другой бок, пряча лицо от горячих солнечных лучей, но уснуть так больше и не смогла. За окнами, в вишеннике, пировали скворцы: свистели, щелкали, рассыпали по саду разноголосые трели. Раскричались, обжоры!

— Кыш, разбойники! Я вас, оглашенные! Кыш!..

Я невольно улыбнулась: это вечно пьяненький завхоз МТС Егор Петрович, по прозвищу Птичья Смерть, спозаранок гонял скворцов. Голос у завхоза визгливый, въедливый. Я вскочила с кровати, накинула сарафан и высунулась в окошко. Егор Петрович, рыжий, сухонький, проворный, носился по эмтээсовскому саду, размахивая

длинным шестом с привязанным на конце пучком соломы.

— Кыш, окаянные! Кыш! Вот я вас! — Волосы у Егора Петровича взъерошены, выгоревшая рубаха надулась на спине парусом, измятые полосатые штаны закатаны до колен, одна нога в новой сандалии, другая босая. Вот он отбросил шест, откуда-то из кустов проворно выхватил старенькое ружье и выпалил дробью в огромную скворечью стаю. «Ай-ай-ай!» — в панике завопили пернатые и вспороли воздух свистом и шелестом сотен маленьких крыльев, черной тучей покружились над садом и снова уселись на прежнее место, густо-густо облепив молодые вишневые деревца.

Из кустов малинника высунулся утиный нос деда Зиненко. Высунулся и снова проворно скрылся, но Егор Петрович заметил:

— Иди-ка сюда, старый хрен! Тебе говорят аль нет?

Дед бочком выкатился на дорожку, обеими руками стащил с головы картуз времен гражданской войны:

— Здоровеньки булы!

— Ты мне зубы не заговаривай! — вскипел завхоз. — Лучше скажи, за что я тебе плачу жалованье?

— Та хиба ж це вы мени гроши платите? — удивился дед Зиненко. — То ж государство мени годуе...

— А я тебе кто? Не государство? Частная лавочка? Сколько разов тебе приказывать, чтобы ты гонял скворцов?

— А грец ихней маме! — беспечно махнул рукой дед. — Нехай соби чулюкають.

— «Чулюкають!» — с сердцем передразнил Егор Петрович. — Вот всю ягоду на корню заживо и счулюкали! А у меня план, душа с тебя вон!

Оправданий деда я уже не слышала, захлопнула окно — спор был нудный и каждодневный. Егор Петрович по своему обыкновению привирал: никакого плана на сбор вишни МТС не получала. План спускали только на сдачу ранней клубники и яблок, но и тут жуликоватый завхоз, по выражению моей бабушки, «охулки на руку не клал» — не одну корзину в день сплавлял налево, дачникам.

Сад при МТС был огромный, и при сборе ягод директор обращался за помощью в школу. Это была очень приятная работа, к тому же платная: пять копеек

за корзину клубники, пятнадцать за черную смородину, десять за крыжовник. Но донимал завхоз. Егор Петрович постоянно с нами ссорился — не велел есть ягоды. А как их не есть, когда огромные клубничины сами лезут в рот... Не ел ягоды только мой одноклассник Мишка Малинин. Он тренировал волю и поглядывал на нас с презрением: «Никакой выдержки! Хоть намордники на них надевай...» Завхоз жаловался на нас директору МТС, а тот говорил нам: «Ешьте, ребята, вволю — сколько влезет. Но прошу, работайте, пожалуйста, проворнее. Ягоды отправляем не куда-нибудь, а больным детям. Вот он, договор, с туберкулезным санаторием. — Ну и хитрец — ягод нам уже не хотелось...

— Барышня Тина! — закричал вдруг Егор Петрович, и я снова открыла окно. Завхоз, умильно улыбаясь, кланялся поясным поклоном: — Как изволили почивать? Не разбудил ли я вас ненароком? Ваша бабушка еще не возвратились?

— Нет.

— Пусть себе помолятся. Ихняя молитва богу угодна. Да... Святая женщина Мария Григорьевна, что и говорить. Красавица в молодости были. Сам господин становой за них сватался... Да...

Моя бабка — красавица? Низенькая, кургузая, совсем безбровая и нос картошкой... Ох, подхалим! Сейчас будет что-нибудь просить!

— Барышня Тина, нет ли у вас рублевки? Только до вечера. Вы не извольте сомневаться, я отдам. Ей-богу, отдам. С рассвета дотемна в трудах да расстройствах обретаешься, вот нутро и горит...

Ну что тут делать? Отказать? Где уж там, когда Егор Петрович даже мою разумную бабку при желании обводит вокруг пальца. Как только не на что выпить, бьет без промаха: «Ах, уважаемая Мария Григорьевна, всю ночь ни синь-пороха не заснул... Приснилась мне Анастасия Дмитриевна, царствие ей небесное... И так-то она жалобно меня молит: «Егор Петрович, не давайте моих сироток в обиду!» Да... Стало быть, ее душенька поминки просит. Вот намедни повезу в Дно ягоды, так непременно в церковь забегу, свечечку поставлю...» Бабка заливалась слезами и безотказно выдавала завхозу на косушку, ведь Анастасия Дмитриевна — это моя мать.

Я бросила свернутый трубочкой бумажный рубль в

подставленные ковшиком ладони завхоза, но Егор Петрович ушел не сразу.

— Замаялся я, милая барышня. Этакий садище, а проку на волос нет. Бездомовники. Этот бы сад да в руки хозяину...

«Тебе, например...» — зло подумала я.

— Вот как был я в германском плену, — продолжал он, — так нагляделся там на настоящее садоводство. У моего хозяина сад был раза в три меньше, а урожай — батюшки-светы! Бывало, как только вишня отцветет, сейчас же на каждое деревцо марлевый чехол. Да... Да вам маменька, поди, рассказывали... Бывали они в Германии, имели такое счастье. Вот выучитесь и, как маменька, поедете за границу. И непременно в Германию. Да...

Нужна мне твоя Германия, как петуху тросточка! И зачем только моя бабка откровенничает с ним! Нашла с кем... Впрочем, если рассуждать справедливо, то без мелких услуг Егора Петровича бабушке просто не обойтись. В доме нет мужчины. Девятилетний братишка Димка не в счет. А Егор Петрович — всегда пожалуйста: изгородь ли подправить, дровишек ли наколоть или огород вспахать, — лишь бы на столе бутылка стояла...

Когда Егор Петрович наконец ушел, явилась соседка — жена директора МТС Нина Арсентьевна:

— Тинка! Ты что дрыхнешь? Курята орут как сумасшедшие. Сейчас же выпусти на улицу?

Нину Арсеньевну сменила другая соседка — Линда Карловна:

— Тинка! Дюшку кормила? Верещит, точно режут ее.

«Тинка! Тинка!» Командует каждый, как будто я сама не знаю, кого выпускать, а кого кормить...

Тинка! Тина! Ничего себе имечко... Наградили родители. Тинатина!.. Отвратительное болотное растение, да еще и в квадрате!.. Происхождение моего имени бабушка объяснила просто: отец с матерью в то время были студентами, и я, родившись не вовремя, связала их по рукам и по ногам, как тина. Вот папенька-вельзевул и придумал подходящее случаю имя. Папенька! Я его почти и не помнила, родители разошлись, когда я еще в школу не ходила. Ну а мама? Неужели ей было безразлично, как назвать своего первенца? Бабушке-то что, она мое имя просто не признает и зовет меня дитенком и

душонком, а когда сердится, величает Марфой Посадницей, вольницей. А мне каково? С самого первого класса ребята дразнят и издеваются, даже частушку сочинили с очень обидной рифмой: «Тинка — скотинка».

Помню, я однажды спросила маму: «Зачем вы меня так назвали? Что я вам сделала?» Она достала с самой верхней полки книгу в красивом кожаном переплете и молча подала мне.

Поднялася Тинатина,
Как звезда на трон взошла,
Все богатства раздарила,
Все народу раздала...

(Грузинская древняя царевна Тинатина... Ну и ну!..) «Витязь в тигровой шкуре» меня не утешил, и я твердо решила, что при первой же возможности сменю имя.

— Тинка! Ты еще спишь, скотинка? Айда купаться!

Вот, извольте радоваться: человеку уже целых шестнадцать лет, надо паспорт получать, а его все еще дразнят по-уличному. И ведь дразнит не кто-нибудь, а мой закадычный приятель Мишка Малинин.

— Долго ты будешь копаться? Наши уже все на речке. Андрюшкину лодку будем испытывать.

«Наши» — это друзья-восьмиклассники: Андрей Радзиевский, Вовка Медведев, Валя Горшкалева, Нина Иванова и Аня Савинова. Обрадовались, что свалили с плеч экзамены, теперь — вольные казаки. Им-то что — их мамы и бабушки не ходят на богомолье за сто верст. А тут хоть разорвись... Надо накормить кудахтающую, хрюкающую, блеющую ораву; окучить картошку; убрать в доме, — бабушка вот-вот явится, а у меня развал... Всё это я сказала Мишке и идти на речку отказалась. Мишка долго меня уговаривал:

— Мы потом тебе всем гамузом поможем, враз всё переделаем.

— Знаю я вашу помощь. Опять устроите свинячью кавалерию...

Мишка засмеялся и убежал, захватив с собой большую бельевую корзину. Пообещал нарвать Дюшке на корм водорослей. И за то спасибо. А помощи мне не надо, а то получится, как на днях. Андрей и Мишка вызвались мне помочь накормить свинью. Свинья мирно чавкала, а Мишка, облокотившись на загородку, вздумал почесать хворостиной ей спину. Дюшке не понравилось

такое панибратство: она вскинулась, ткнула Мишку мокрой мордой, запачкав его праздничную рубаху. Разозлившись, Мишка хлестнул свинью прутом прямо по пятачку. Дюшка, взревев дурным голосом, рванулась из-за загородки вон, и я ахнуть не успела, как оказалась верхом на ее широкой спине и, как Иванушка-дурачок, задом наперед выехала на улицу. А виновник происшествия — Мишка — хохотал во всё горло и орал мне вслед: «Ура! Да здравствует свинячья кавалерия!» Неизвестно, куда бы занесла меня взбесившаяся свинья, если бы вдруг не вздумала снова повернуть к дому. Вездесущий Егор Петрович перед самым рылом Дюшки проворно захлопнул крепкую садовую калитку. Свинья всей тушей ударилась о доски калитки, а я, сделав сальто, полетела в заросли крапивы. Три дня почесывала волдыри. Да еще Нина Арсеньевна вместо сочувствия ехидно сказала: «Сватов пора засылать, а она на свиньях верхом раскатывается...» Черт бы катался на этой самой Дюшке!

За десять дней бабушкиного отсутствия домоводство мне осточертело вот как! Дюшка норовила выбить из рук ведро с пойлом и свалить меня с ног; Муссолини то и дело срывалась с привязи и шкодничала в чужих огородах; белоснежный петух Губернатор пребольно клевался и царапал шпорами... А огород прямо на глазах зарастал травой: что ни ночь, то новые сорняки. Не обидно бы было, если бы не полола, а то чуть не каждый день ползаешь по грядкам на коленях, а толку никакого. Одну маленькую грядку, осердясь, я выполола до последней травинки — ничего не оставила — и только потом сообразила: «А что же здесь, собственно, росло?»

«Слушай, зачем же ты вытаскала весь чеснок? — закричал на меня Мишка. — Ведь бабка тебя за это по головке не погладит».

Я испугалась, но Мишка утешил: «Ничего, мы тут морковку посеем. Бабушка не заметит, а если и обнаружит подлог, стой на своем: загадка природы — сеяли лен, уродилась гречка...» Так и сделали.

С хозяйством я обычно возилась до второй половины дня, так как старалась сделать всё как следует, хоть не всегда это выходило. Потом шла купаться, а вечером перешивала мамино белое батистовое платье к школьному балу. Ложилась спать поздно и засыпала как убитая.

Мы жили в коммунальном доме барачного типа.

Сквозь сон я слышала, как кто-то громко плакал и гулко бухал дверями, но проснуться не могла. А утром в окно постучала бабушка. Я обрадовалась и не сразу заметила, что она заплакана и растеряна.

— Спишь, внучка, и ничего не знаешь?

— Нет, знаю. Сегодня школьный бал. Приглашен духовой оркестр.

— Ужо всем нам будет духовой... Не скаль зубы!.. Война!

Никак моя бедная бабка в святых местах умом тронулась... Какая война?! С кем война?!

— Германец на нас напал. Ринулся, как хорь на сонных кур... Ох лихо-тошно, что я заведу делать с малыми детками?.. — Бабушка заплакала в голос и сердито погрозила пальцем образу Николы-чудотворца: — Что ж ты выкомариваешь, старый греховодник? Али мало ты слез моих видел?.. Ох, прости меня, господи, не я ропщу, горе мое лютое, неизбывное ропщет...

Она плакала долго, а успокоилась, как всегда, сразу: в последний раз всхлипнула, вытерла мокрое лицо фартуком и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Ну что ж? Как всем, так и нам. Бог не выдаст — свинья не съест... Сбегай-ка, дитенок, на почту, узнай, не пришли ли елементы. Теперь копейка за душой вот как будет нужна...

В первый раз за всё время со дня смерти матери бабушка вспомнила об алиментах. Она люто ненавидела своего зятя — моего отца — и не хотела от него никакой помощи. Не знаю, чем он так обидел мать, но она ушла от него с тремя маленькими ребятишками и категорически отказалась от алиментов. Димка был тогда совсем еще крошечный...

После смерти мамы мы остались на руках у бабушки почти без всяких средств к существованию. Родственников у нас не было и, если бы не помощь школы и маминых друзей, нам пришлось бы туго. А отец о нас даже ни разу не вспомнил. Соседи советовали бабушке отдать Димку в детдом. Бабушка возмущалась: «Это Митеньку-то в приют? Да он, чай, и назван-то в честь покойного дедушки...» — «Тогда отдайте Галину». Бабка вместо ответа перебирала свои кривые ревматические пальцы: «Какой ни отрежь — одинаково больно». Пенсии за мать

нам едва хватало на хлеб насущный, а одежду и обувь покупать было не на что. Директор школы Зоя Васильевна не раз советовала разыскать отца и потребовать с него алименты. Бабушка в непритворном ужасе махала руками: «Какие такие елементы?! Настенька ничего с него не брала, и мне от злодея гроша ломаного не надобно». Отца, без согласия бабки, нашел прокурор. Получив первый перевод по исполнительному листу, бабушка долго плакала, бессильно уронив на колени руки, а потом вдруг почти спокойно сказала: «А что ж? И пускай платит. С худой собаки хоть шерсти клок...»

На «елементы» и на пенсию наша практичная бабка развернулась широко — завела настоящее хозяйство, и мы стали вставать на ноги.

И вот теперь война...

Прошло всего несколько дней, и мимо нашего дома потянулись беженцы: прибалтийцы, островитяне, псковичи. Начали понемногу отходить воинские части. Жара стояла изнуряющая. Нечем было дышать. Листья на сирени висели, как вареные. Пылища поднималась до самого неба. Брела пехота, тянулись пушки, машины. Бойцы просили пить и пить — всю воду в колодце вычерпали. Я таскала ведра с речки и не могла на всех напастись. Бабушка ворчала себе под нос: «Бесстыдники, поди, и не стрельнули ни разу по Гитлеру! Экая силища прет!.. Повернуть бы вас назад...»

Дни тянулись один за другим — безрадостные, тревожные. В доме по утрам хлопали двери: соседи собирались в эвакуацию. Бои шли в районе Пскова — не так уж далеко от нас...

Бой. Какое маленькое злое слово! А что такое бой? Немцы прут напролом, как офицерская рота в «Чапаеве»?.. А наши их не пускают: стреляют из пулеметов и винтовок, бьют пушки. Много пушек. Огонь, грохот, смерть... Гибнут молодые, красивые, жадные до жизни... «Капитана молодого пуля-дура подсекла» Откуда это?.. И гудят над полем боя чужие самолеты, вот как сейчас наши над домом...

«Трах-тара-рах! Ба-бах-бах!» Наш дом вдруг подпрыгнул и заскрипел всеми сосновыми костями. Что такое? Я побежала на кухню. Еще удар, и еще... Бабушкин примус валялся на полу, голубой чайник выплескивал на чистые половики кипяток. Бабушка, охая, подтирала лу-

жу. Я схватила ее за руку, мы выбежали на улицу и спрятались в кустах сирени возле колодца. Самолеты сбросили еще несколько бомб и улетели. И тут только мы поняли, что бомбили не наш поселок, а соседний городок. До городка почти километр, а казалось, что бомбы рвутся в эмтээсовском саду.

Мы молча выбрались из кустов. Мужчины выглядели сконфуженными, женщины растерянными. А ребятишки так ничего и не поняли, всё задирали головенки к небу.

Один из мужчин сказал:

— Ну, теперь повадятся. Ройте, товарищи, щели.

Из сарая я принесла две лопаты: себе и бабушке, но она приказала:

— Сбегай-ка сначала в городок. Узнай, уехала ли Зоя Васильевна. Ведь семья: двое ребятишек да старики. Муж-то, поди, уже в сражении. Если не уехали, веди их всех сюда. Вместе будем думу думать.

Нина Арсеньевна возразила:

— Ну куда вы ее посылаете? Угодит под бомбы...

Бабушка насмешливо на нее покосилась:

— Удивляюсь я, человек вы вроде грамотный, а такое говорите! Пока они, рогатики, домой долетят, да пока новые бомбы привесят...

Бабка-то моя соображала в военном деле! Узнав, что директор школы с семьей эвакуировалась, она перекрестилась.

К вечеру пришел Мишка Малинин и помог нам докопать яму. Мы накрыли ее досками, завалили землей и замаскировали дерном. Бабушка сразу успокоилась:

— Ну теперь пусть Гитлер бомбит хоть до Покрова.

Я вслух усомнилась в надежности нашего убежища. Бабка съехидничала:

— Так-таки он нечистик и ударит прямо в наш окоп!

Ее поддержал Мишка:

— От мелких осколков полная гарантия, а прямое попадание — очень редкая удача.

Ничего себе удача. Ох уж этот Мишка! И всё-то он знает.

— Вы-то уезжаете, Мишутка, аль нет? — спросила бабушка.

Мишка неопределенно покрутил кудрявой головой:

— Даже и не знаю. Дома такое творится — дым ко-

ромыслом. Сестра и мать за отъезд. А батя не хочет — с барахлом ему никак не расстаться.

— Ох, не суди, дитенок, отца! Нелегко добро нажито, нелегко его и кинуть. Ты-то сам как думаешь? Останешься ли, коли германец к нам придет?

— Что вы, бабушка! — возмутился Мишка. — Да я с последним нашим бойцом уйду!

— Ну что ж, миленок, всё лучше, чем у супостата. И тебе, чай, дело найдется: коней приглядеть али кашевару помочь. Зря солдатский хлеб есть не будешь, не из такой ты семьи...

Мишка лукаво улыбнулся, но ничего не возразил, а я подумала: «Как же, будет он помогать кашевару! Да он спит и видит себя с винтовкой в руках...»

Утром бабушка собралась на Шелонь за ребятами. Но вдруг неожиданно верхом на коне приехал Иван Яковлевич. Он был уже в военной форме и очень спешил. Велел нам сегодня же перебираться на Шелонь: он занес нас в списки эвакуируемых, как членов своей семьи.

Бабушка заволновалась:

— А как же добро?

— Придется бросить, — сказал Иван Яковлевич. — Жизнь дороже. Забирайте, что сможете унести, и уходите сегодня же, а то будет поздно. — Он выпил три стакана чаю и ускакал.

Бабушка со вздохом сказала:

— Ну, ехать так ехать! Подадимся в другие края. Как бы ни пришлось лихо, а всё ж свои, а не вороги. — Она принялась вслух считать наши капиталы: — От пенсии осталось сто. Да елементов четыреста. И Иван Яковлевич дал триста. Эва, деньжищ-то! На первый случай хватит, а там, чай, помогут сиротам.

Я молчала, а бабка продолжала:

— Бросить — дело не хитрое, а вот нажить... Сбегаюка я на Шелонь да разведаю всё как есть, а заодно отнесу кое-что из добра...

Тут я не вытерпела. Сбегает она! Какая молоденькая — туда и обратно тридцать километров. А если эшелон прозеваем?

— Небось не прозеваем. Германец еще Пскова не одолел.

— Да откуда ты знаешь? Радио третий день молчит.

— Знаю, коли говорю. — И она ушла с двумя больши-

ми узлами через плечо, а мамину сумочку с деньгами повесила на руку. Мне строго-настрого приказала ни на шаг не отходить от убежища.

— Не отходить? — крикнула я ей вслед. — А как же Дюшка с Муссолини?

— Выпусти их в огород, — глухо сказала бабушка, не оборачиваясь. — Пусть жрут, что вздумается...

Я пошла бродить по опустевшему дому.

Все двери настежь. Разгром и беспорядок — следы поспешных сборов. Мамины книги грудой валяются на полу — от бомбежки рухнул стеллаж. Берегли, берегли, а теперь... Не вытерпела — сложила все аккуратными столбиками и закрыла сдернутой со стола скатертью. Спрятала в школьный портфель всё свое богатство: новое платье, туфли, томики Пушкина и Шекспира. Потом уселась на бабушкину разоренную постель. Думы одолевали одна горше другой. Вот тебе и десятилетка! И куда мы поедем? Теперь придется работать. А что я умею делать? Да и смогу ли заработать на всю семью? Трудно будет. Очень трудно... Ай-я-яй-я-яй! Немыслимо, уму непостижимо: фашисты на советской земле! Кто тут виноват? Как разобраться во всем? Как понять? Может быть, и правда измена, как говорят некоторые бойцы. Это те говорят, что отступают без винтовок. Ох, и костерит же их моя бабка! Один пожаловался: «Пустил и танки и самолеты — не война, а смертоубийство...» А бабушка ему: «А ты, мазурик, хотел бы, как в старину, — дрекольем воевать? Что тебе самолет? Пополохает и улетит. Другим небось тоже страшно, а ружья не бросают, как ты, заячья твоя душа...»

С трудом стряхнув оцепенение, я вышла на улицу. Как все изменилось! Бывало, никого и близко не подпускали к эмтээсовскому саду, а теперь по клубничным грядкам ходят поселковые коровы, рыжий бык Альбом таскает на рогах маленькую садовую калитку и трясет головой... А сторож дед Зиненко глядит не на сад, а в небо. Вот он стоит у самого входа в свое убежище: в коричневом лыжном костюме, точь-в-точь пугливый бархатный крот на задних лапках, чуть что — нырнет под землю...

Наши ребята стояли и галдели у дома Мишки Малинина. Не было только Ани Савиновой: она еще вчера эвакуировалась. Валя Горшкалева что-то кричала, а Мишка

яростно жестикулировал перед ее коротким носом. Когда я приблизилась, спор между ними уже кончился. Мишка сплюнул себе под ноги:

— Вот дурак-то, связался с мелочью пузатой!

— Что за шум, а драки нет? — спросила я, поздоровавшись.

Мишка сердито скосил на Валю голубой глаз:

— Не мешало бы и подраться, да что с нее взять!

— А в чем дело?

Оказывается, мои приятели всей компанией ходили в военкомат и просились на фронт! Я укоризненно покачала головой:

— Ах вы, змеи подколодные! Хоть бы сказали...

Андрей Радзиевский сказал:

— Да ты не расстраивайся, всё равно ничего не вышло. Добровольцами принимают только десятиклассников. Комсорг наш Борька Сталев ушел, и Юра Бисениек из железнодорожной школы тоже, а Петьку Туманова не взяли — молод. А с нами и разговаривать не стали.

Мишка показал на Валю пальцем:

— Вот эта чертовка все дело испортила. Выкатила свои вертучие глаза, завиляла хвостом: «Ах, наше место на фронте!»

Я сказала:

— Рассказывай толком. Ты не на сцене.

— А больше и рассказывать нечего, — махнул Мишка рукой. — Военком открыл дверь пошире, да и вытолкал нас вон.

Валя Горшкалева распрощалась со всеми за руку и ушла, они сегодня уезжали.

Мишка посмотрел ей вслед и вздохнул.

— А на фронте ведь, наверно, страшно, — вслух подумала я, прислушиваясь к далекой канонаде.

Меня подняли на смех:

— Да, на фронте, однако, стреляют.

— А случается и убивают.

Нина Иванова испуганно спросила:

— Неужели у нас будет бой?

Мишка авторитетно сказал:

— Дно без боя не отдадут. Вы шутите, такой железнодорожный узел! Целый лабиринт путей: на Ленинград, на Витебск—Минск, на Киев—Одессу и на восток...

По улице из конца в конец, потный и озабоченный, бегал председатель колхоза «Заря».

Мишка его остановил:

— Иван Петрович, посоветуйте, как нам быть?

— Отвяжитесь, окаянное племя! — вскричал председатель плачущим голосом. — У меня и без вас голова идет кругом! Кто вот мне посоветует: жечь хлеб на корню или немцам оставить? Вы поймите, бесенята, своими руками хлебушко... Ах, боже мой!

— Хорош гусь, — заворчал Мишка ему вслед. — Небось, когда мы были нужны, кланялся до пояса: «Здравствуй, племя молодое!»

И это верно. Колхоз был слабосильный, рабочих рук не хватало, и Иван Петрович то и дело обращался в школу, просил Зою Васильевну направить старшеклассников то на прополку картофеля, то на уборку сена. Мы даже иногда жали яровые и молотили на колхозном гумне. А Мишка, кроме того, в порядке шефской помощи читал колхозникам лекции и доклады.

«...В наш прогрессивный век, когда цивилизация мира достигла кульминационного пункта»... Здóрово! А главное — непонятно.

Слушали Мишку с открытыми ртами. За выступление его благодарил сам председатель колхоза и, как взрослому, жал Мишке руку. Только Зоя Васильевна иногда слегка журила юного оратора:

— Миша, почему тебя всегда заносит? Речь-то шла всего-навсего о пользе лекарственных растений. Только об этом и надо было говорить...

А молодой математик Иван Александрович дружески хлопал Мишку по плечу и хохотал:

— Нет, каков Гамбетта! [1]

Прозвище это пристало к Мишке накрепко и однажды стало причиной досадного происшествия. Под руководством Ивана Александровича мы выступали с концертами в школе и даже выезжали в окрестные деревни. Однажды в колхозе «Искра» наш драмкружок ставил чеховский «Юбилей». Шипучина играл Мишка, Татьяну Алексеевну — Валя Горшкалева, Хирина — Андрей, а я — Мерчуткину. Мишка, заложив большие пальцы за

---

[1] Гамбетта Леон (1838—1882) — знаменитый французский оратор, один из лидеров буржуазных республиканцев.

лацканы отцовского жилета и выставив вперед животик-подушку, важно расхаживал по сцене и шипел, как рассерженный гусак: «Не будь я Ш-ш-ши-пу-чин!» Зрители в восторге стучали ногами. Все было чин по чину. Но едва Хирин-Андрей произнес «Какой Гамбетта, подумаешь!» — в зале поднялся смех: хохотали наши ребята, присутствовавшие в зале в качестве зрителей. Они подумали, что Андрей понес отсебятину. А колхозники смеялись, глядя на наших. Вдруг за сценой послышалась возня, слабенькая боковая кулиса-щит треснула и упала. На сцену не без посторонней помощи выкатился Вовка Медведев, загримированный под сторожа для следующей пьесы, и растянулся прямо у ног Шипучина. Спасая положение, Мишка рявкнул: «Опять нализался, каналья?!» Вовка восторженно взвизгнул и, запутавшись в полах тулупа, скатился со сцены на пол. Пятясь задом, огорченный Мишка наступил мне на подол длиннющей юбки, взятой у бабушки напрокат. Слишком туго затянутый шнурок пояса лопнул, и я вдруг перед глазами всего зала оказалась в одних трусиках. Грянул такой оглушительный хохот, что замигали все керосиновые лампы, а сконфуженный режиссер Иван Александрович приказал опустить занавес. Только через час мы смогли повторить пьесу — еле уговорили Мишку. Он никак не соглашался играть с людьми, которые, «будучи профанами в искусстве, позволяют себе на глазах шокированной публики разгуливать в неглиже и валятся на сцену, когда их не просят...»

Миша, Мишка-артист! Что теперь с нами будет?.. Мы разошлись, так ни о чем и не договорившись.

Артиллерийская канонада на западе всё усиливалась и приближалась. Ночами половина неба освещалась заревом пожаров.

Утром пришла бабушка — усталая, заплаканная. Она молча уселась на березовый чурбан возле нашего блиндажа и мрачно уставилась на свои босые ноги.

— Ну, когда мы эвакуируемся? — спросила я.

Бабка проворно сложила большой кукиш, поднесла мне к носу и заплакала:

— Луснул наш отъезд! Деньги я потеряла...

— Все?! — ахнула я.

Бабушка только рукой махнула и почти весело сказала:

— Все, как есть. Копеек сорок наскребу — вот и весь капитал...

Оказывается, на обратном пути на окраине Дно она попала под бомбежку и в суматохе потеряла сумочку.

— Ты бы после поискала, — сказала я.

— Найдешь там! Целая каша на дороге...

— Ну что ж, поедем без денег.

— Без денег далеко, внученька, не уедешь...

— Кур продадим, Дюшку — вот и деньги.

Бабка грустно усмехнулась:

— Продадим! Кому, дитенок! Всяк свое норовит за бесценок сплавить.

Мы долго молчали и думали невеселую думу.

Наконец бабушка сказала:

— Отсидимся на Шелони. Не на век германец придет. Старики тамошние говорят, что минует их война: место там глухое, как медвежий угол, вражье войско туда не полезет. Хоромы у Ивана Яковлевича, что твой дворец. Мешок муки в кладовке да мер тридцать картошки в подвале. Не пропадем... А тут оставаться негоже — поселок наш как бельмо на глазу. И опять же — узловая станция рядом...

Я рассердилась:

— Что ты мне про картошку толкуешь! Складывай, что надо, да пошли!

— Ишь ты, шустрая какая! Чай, не блох ловим. Завтра снесу еще два узла, а там остатки заберем и обе уйдем.

— Будешь бегать, пока на бомбу нарвешься!

— Теперь по дороге не пойду. Лучше крюку дам. В поле-то самолет одну старуху не тронет.

— Как же, видит он — старуха ты или боец.

— Небось видит, нечистый дух. Когда одна иду, не трогает. Ему, поганику, интересно бомбу сбросить на солдата, а не на меня.

— Что с тобой спорить... Ребятишки-то хоть здоровы?

— Здоровы. Соседка там за ними приглядывает.

Поздно вечером к бабушке пришел Егор Петрович, и они долго шептались. Завхоз во всем с бабушкой соглашался, только рыжей головой кивал да прятал за белыми ресницами глаза жулика и пройдохи.

Ночью я проснулась от бомбежки и выбралась из блиндажа. Бомбили Дно. По небу шарили призрачные

руки прожекторов, в районе станции стучали зенитки.

Бабушка сокрушалась:

— По самому вокзалу хлещет, гад рябый... А там что эшелонов с бабами да ребятишками! Господи, господи, бедные люди!..

Утром, когда мы пили чай, она мне заговорщически подмигнула:

— Всё закопала.

Я не поняла:

— Что закопала?

— Тише ты!— бабка покосилась на деда Зиненко, пившего чай у своего блиндажа.— Вещи мы с Егором Петровичем зарыли в саду. Швейную машину, зимнее, книги мамины, которые потолще...

У меня все эти дни было плохое настроение, и я дерзко возразила:

— Нашла сообщника! Да он первый же выроет твои вещи, когда немцы придут!

— Нужно-то Егору Петровичу сиротское добро,— мирно возразила бабушка.— Чай, у него своего именья невпроворот.

— Таким, как он, всё мало. Он же немцев ждет,

Бабушка ехидно ухмыльнулась:

— Он сам тебе об этом сказал?

— Да об этом все знают. Он уже три раза бегал на свой бывший хутор землю перемерять. Он же кулак. А то ты не знала? Вот и зятя от мобилизации спрятал.

Бабка всплеснула руками:

— Ну что ты брекочешь, коровий лопотéнь?![1] Вот возьму иголку да наколю твой язык! Зятя спрятал! Ведь придумают же такое люди. А что ж он родных сынов не спрятал? Оба на фронте.

— Как же, спрячешь Гришку с Саней! Сама говорила, что они не в отца. Комсомольцы. А зять такой же хапуга, как и он. Вот и будут вместе хозяйничать на своей земле.

— С чьего голоса поешь?— строго спросила бабушка.

— А ни с чьего. Зятя его искали. А Егор-то Петрович только кланяется: «В Псков он у меня подался. Се-

---

[1] Лопотéнь — колокольчик, который вешают блудливой корове на шею.

стрицу хворую навестить». Поди, проверь — Псков-то у немцев.

— Да... Самое время ездить по гостям...— Бабка задумалась, покусывая нижнюю губу, что было у нее признаком волнения.

— Чего ж ты раньше-то мне не сказала, Марфа Посадница?

— А ты со мной советовалась?

Это была наша первая крупная ссора с бабушкой, и мне стало ее жаль. Я попросила прощенья. Она решила:

— Дело сделано. Будь что будет, перепрятывать некогда, да и яму нам с тобой не выкопать.

Она взяла два узла и опять ушла на Шелонь.

Бабушка не вернулась ни на следующий, ни на третий день. Я не знала, что и подумать, и очень волновалась.

Грохот вдруг приблизился за одну ночь настолько, что можно было различить отдельные голоса пушек. Потом канонада покатилась влево и даже позади нас стало погромыхивать. Дновское шоссе почти опустело: изредка проскочит военная машина или повозка — и всё. Над нашим поселком нависла нехорошая тишина. Всё притаилось, попряталось...

Меня опять потянуло к друзьям-товарищам.

На косогоре, возле почты, в густой траве пас черную комолую корову не кто иной, как зять Егора Петровича!

Я ехидно спросила:

— Ну, как там во Пскове?

Дезертир даже не покраснел:

— И не говори, девка! Еле ноги унес.

— Чья корова?

— Теперь наша.

— Так у вас же есть корова и нетель.

— То тестевы, а это будет моя.

— Подбарахлились, значит?

— Да, купил, дурак, на последние гроши.

«Купил ты, как же! Украл где-нибудь. Сейчас много скота в тыл гонят. Заявить бы куда следует, показали бы тебе корову!» Знает, сволочь, когда безнаказанно можно из тайника выползти. Никакой власти у нас теперь нет, и заявлять некому.

Мать Мишки Малинина встретила меня плачем. Ока-

зывается, Мишка вместе с Андреем сбежал из дома! Записку оставил: «Мы ушли на фронт».

И Нинкина мать, увидев меня, ударилась в слезы:

— Уехали. И Нина, и Маруся, и Нюрка Сапожникова. Все на фронт подались.

— Как на фронт?!

— А так. Сели в солдатскую машину, да и уехали. Бросили меня одну, вдову горькую, разнесчастную.

Мне всё стало ясно. Искать больше было некого, и я поплелась домой. Залезла в прохладный блиндаж и чуть не завыла от тоски и досады. Ушли на фронт! Ну ладно, Мишка Малинин — он и не скрывал своих намерений. Да и Андрей тоже. Куда иголка, туда и нитка. Ну ладно, Нинкина сестра Маруся — она замужем, и муж на фронте. Но Нинка! Наша тихоня Нинка, которую в классе не было ни видно, ни слышно. Нинка, которая до ужаса боится мышей, лягушек и мертвецов! Нинка на фронте! Их всех взяли, так неужели меня не возьмут? Вот только бы бабушку дождаться. И никуда я отсиживаться не пойду! Я теперь знаю, где мое место! Если даже бабушка не отпустит — всё равно уйду! Нет уж, тут я ей не уступлю! И куда только провалилась моя беспокойная бабка?..

К вечеру я сама собралась на Шелонь: попрощаюсь с бабушкой, с Галиной, с Димкой — и на фронт.

Я взяла свой заветный портфель и выбралась из блиндажа. Но тут меня увидел Егор Петрович и заулыбался:

— А, барышня Тина! Наше вам.— Помня бабушкины шкалики, завхоз неизменно был вежлив со всеми членами нашей семьи.— Бабушка не вернулась?

Я промолчала.

— И не придет. То есть, я хотел сказать, что раньше, чем через неделю, не придет...

Я никогда не питала особой симпатии к завхозу, а когда о нем поползли черные слухи, стала и вовсе его презирать.

Неласково спросила:

— А вы откуда знаете?

Егора Петровича мой тон не задел.

— На Шелони немцы!— ошарашил он меня.

Я отшатнулась. Сердце дважды екнуло: «Врет!» Но завхоз точно угадал мои мысли:

— Ей-богу, не вру. От верного человека знаю. Да что вы так побледнели? Придет ваша бабушка, никуда они не денутся. — Дыша мне в лицо водочным перегаром, Егор Петрович доверительно зашептал: — Умному человеку можно и при немцах прожить припеваючи. Да...

Голоса у меня не было, и я зашипела:

— Это вы мне такое?! Да как вы смеете?! Эх вы! А ещё сыновья на фронте...

Завхоз рассердился:

— Не заноситесь, барышня! Как бы не пришлось поклониться кошке в ножки! И сыновей моих не замайте. Они сами по себе, а я сам.

Верно. Гришка и Саня сами по себе. Они в открытую не ладили с отцом и давно требовали раздела. Только ради матери и не уходили из дому. А теперь вот ушли защищать Родину. А этот...

Я попросила деда Зиненко передать бабушке, когда она вернется, что я ушла в тыл... И зашагала, не оглядываясь, к железнодорожному переезду — туда, где безработный шлагбаум задрал полосатую руку.

...Мы ехали по проселочной дороге в сторону фронта. Мы — это я, военный шофер Петр Петров и строгий лейтенант товарищ Боровик. Мы все трое втиснулись в кабину и просто изнывали от жары и духоты.

Наша машина, широкомордая, приземистая, что квашня, неторопливо карабкалась из колдобины в колдобину и хлюпала горячим нутром: «Хлюп-хлюп-хлюп...»

Я ехала в отдельный разведывательный батальон, но не насовсем.... Мои спутники после долгих споров и переговоров решили меня обмундировать и подбросить в штаб дивизии, а там уж пусть решает сам начальник штаба полковник Карапетян: принять или не принять подкидыша... Не ахти какой успех, но всё ж таки... И этого бы не было, если бы не развеселый Петр Петров.

Лейтенант Боровик ни за что не хотел брать, раскричался:

— Кто нам дал право подбирать на дорогах гражданских девчонок! Да у нас ни одной женщины в дивизии нет! А что она умеет делать? Какая от нее польза на войне?!

Каждое слово юного командира хлестало, как пощечина. От обиды, от злости я света божьего не взвидела и ревела белугой до тех пор, пока Петр не уломал своего начальника. Лейтенант уступил, но явно досадовал, что не проявил твердости характера. Он не разговаривал со мною и даже не замечал, что своим щегольским сапогом наступил мне на ногу... Обращаясь к шоферу, лейтенант, как мячиками, швырялся военными словечками, которых я не понимала: «рекогносцировка, фланкирующий огонь, дислокация, субординация...» При этом он косил в мою сторону ясный мальчишеский глаз: дескать, слушай, деревня, мотай на ус...

Черноглазый Петр ловко вел машину и напевал:

...Эх, Андрюша, нам ли жить в печали?..

А я маялась в смертной тоске: на моих глазах немцы выбросили на Дно воздушный десант... Едва мы проскочили через город, как над его северной окраиной начали кружить чужие огромные самолеты, и вдруг всё небо покрылось парашютами... Послышалась стрельба, тревожно залились паровозные гудки... Лучше ослепнуть, чем видеть такое! Среди бела дня на мирный беззащитный городок, как коршуны, набросились вражеские солдаты...

Где-то там сражаются наши школьные комсомольские вожаки: Борис Сталев и Юра Бисениек, они с оружием в руках встречают врага! А у меня пока одно оружие: слезы... Защитник Родины... с мокрыми глазами. Вон как лейтенант косится — недобро нахмурил белесые бровки. Не любит женских слез... Мужчина! Форсун... Ничего, я напомню полковнику Карапетяну, что Аркадий Гайдар в шестнадцать лет полком командовал. А Николай Островский? Сколько же Павке было лет?.. Вот только бабушка... Ведь она с ума сойдет, не застав меня дома... Бедная моя старая бабка..

У меня опять потекли слезы. Забыв, что я сижу между двумя мужчинами, я вытерла лицо прямо подолом сарафана. Петр улыбнулся и бросил мне на колени кусок марли.

Мы ехали навстречу грохоту. Дно осталось справа. Остановились в деревне, больше похожей на нарядный дачный поселок: домики синие, желтые, зеленые с белыми наличниками и кружевной резьбой деревянных

украшений. Не деревня, а сплошной фруктовый сад. В саду, в гуще кустов и деревьев, прячутся автомашины. пестрые броневички и танкетки.

Лейтенант вылез первым и, не попрощавшись со мной, скрылся в саду.

— Вредный какой, — кивнула я ему вслед.

Петр улыбнулся:

— Не, не вредный. Фасон маленько давит, а так ничего — подходящий парнишка.

Теперь, когда мотор машины не хлюпал, звуки войны резали уши. Пушки рявкали где-то рядом, над головой в вышине перекатывались снаряды.

Громовые раскаты артиллерии потрясали воздух и землю. Слева отчетливо доносилась пулеметная стрельба.

«Шор-шор-шор...» — и я невольно приседала.

— Не дрейфь, кума, это наши батареи,— успокаивал меня Петров.

— Это и есть фронт?

— Не совсем. Бой идет на реке Шелони. Километров пять отсюда будет. Там передовая линия, слышишь, пулеметы скворчат?

На Шелони! Там же где-то бабушка и ребятишки... Вот так укрылись от войны!..

Мы стояли в зарослях вишенника и, задрав головы, наблюдали за немецкими бомбовозами. Они хищно кружили над деревней. Покружили, покружили — повернули в сторону боя.

Петров сказал:

— Опять на пехоту! Четвертые сутки идет бой. Не пускают наши немцев за реку. А те прямо на пулеметы лезут — пьяные, сволочи. Эй, старшина!— вдруг закричал он.

— Чего надо?— послышался откуда-то из кустов недовольный голос.

— Зову, стало быть, надо. Ходи веселей!

Старшина вылез из-под машины, как из бани: красный, распаренный. Иронически посмотрел на меня, вкусно зевнул:

— Поспать не дадут хорошему человеку...

Петров что-то ему зашептал на ухо. Широкое лицо старшины расплылось в улыбке, ноздри затрепетали, глаза озорно заблестели.

— Ну, вы тут занимайтесь,— сказал мой спутник,— а я по делу. — И ушел.

— Иди сюда, боец!— позвал меня старшина и полез на машину, нагруженную до бортов, сдернул с груза зеленый брезент и стал бросать к моим ногам связки гимнастерок и солдатских штанов.

— Развязывай. Примеряй. Ну что ж ты стоишь? Облачайся!

Я нерешительно подняла одно галифе.

— Надевай прямо на платье. Белья у меня нет,— крикнул сверху старшина.

Я просунула ноги в широкие штанины.

Старшина сказал:

— Как на пугале огородном. Снимай! Померь другие.

Я перемерила больше десятка, но он был всё недоволен, ворчал:

— Сошьют, черти, на один копыл... Ничего, мы сейчас тебе подтяжки соорудим.

Старшина приспособил вместо лямок два брючных ремня и, подтянув галифе под самые подмышки, спросил:

— Не режет?

Я отрицательно покачала головой. Все гимнастерки были ниже колен, и я нерешительно сказала:

— А может быть, не надо штаны... Подпояшусь ремнем, и все?

— Еще чего!— возразил старшина.— Без порток воевать собираешься?— Он выхватил из кармана ножницы и отхватил подол гимнастерки на целую ладонь. Достал из пилотки иголку с ниткой.— Подшивай быстренько! Не копайся.

Через четверть часа я была обмундирована с головы до ног и вертелась, пытаясь разглядеть себя со спины.

— Стой, окаянная! — закричал старшина. — Все бы ты играла да взбрыкивала! — Это были слова шолоховского Щукаря, и я невольно рассмеялась.

Старшина в последний раз обошел вокруг меня, довольно хмыкнул:

— Хорош солдат Швейка! Надо бы тебя остричь, да уж ладно: так забавнее. Эй, Петров, получай свою красавицу!

Но вместо моего знакомого шофера Петрова прибе-

жали молодые любопытные смешливые бойцы и стали приставать к старшине:

— Кто это?

— Откуда?

— А это он или она?

— Это оно. Не видишь, косички.

— Она к нам в разведбат?

Меня разглядывали бесцеремонно, на замечания и насмешки не скупились.

— Штаны-то, штаны! Ну чисто казак донской!

— Вот это боец! Силен, бродяга!

— Замечательный фронтовичок, иды ко мне в броневичок. В обиду нэ дам. Это так же вэрно, как меня зовут Нугзари Зангиев, сын Булата. — Бойкий разведчик нахально и ласково уставился мне в лицо черными блестящими глазищами.

— Убирайтесь вон!— крикнул старшина.— Нечего зря демаскировать. Вот позову комбата...

Но угроза не возымела никакого действия, разведчики и не думали расходиться.

— Чижик! Братцы, да это же Чижик! Челка, и нос курносый!

— И глаза, как у совенка, круглые. Чижик, ты из кино сбежала?

— Чижик, тресни Зангиева по горбатому носу!— крикнул мне старшина.— Вся компания отстанет.

Веселые парни хохотали:

— Правильно, Чижик! Бей своих, чтоб чужие боялись! Лупи нас в хвост и в гриву!

Не смеялся только Зангиев. Повернувшись в сторону старшины, он выразительно постучал себе по лбу:

— Умнык! Дыраться учишь молодого бойца. А как ты его снарядыл?— Он что-то сказал своим товарищам, и мне моментально прицепили к поясу огромный маузер в деревянной кобуре, привесили котелок с крышкой и нахлобучили на голову металлическую каску. Зангиев опять подал какую-то команду. Я не расслышала, что он сказал. И сейчас же человек двенадцать проворно встали в круг и взялись за руки. Скроив самые постные рожи, они ходили вокруг меня медленно-медленно и нарочно тонкими и жалобными голосами пели:

В Бологое призывали,
Без штанов в углу стоял.

Слезы капали-бежали,
Я рубахой вытирал...

Пропев, исполнители так и покатились со смеху. А я не знала, плакать мне или смеяться. Всего ожидала, но только не такой встречи.

От жары, от всего пережитого я еле держалась на ногах, но невольно улыбалась — уж очень симпатичные физиономии были у моих мучителей. Видела бы это моя бабка!.. Она бы им показала проводы новобранца!..

Тут из-за кустов боярышника в сопровождении Петрова появился коренастый пожилой военный. Несмотря на жару, он был в кожаной черной куртке, застегнутой на все пуговицы, и в такой же фуражке с ярко-красной звездочкой на околыше, а на его поясном ремне висел точно такой же маузер в деревянной кобуре, как и у меня.

Зангиев шикнул вполголоса:

— Тыше! Комбат...

Комбат строго спросил:

— Зангиев, что здесь происходит?

— Молодого бойца в поход снаряжалы,— скромно ответил Зангиев.— Шутыли.

— Самое время для шуток,— так же строго сказал комбат.— А ну, марш отсюда!

Разведчиков как ветром сдуло...

Комбат неожиданно дружески улыбнулся мне:

— Ты и впрямь не подумай, что они хулиганы. Народ хороший. Они не хотели тебя обидеть.

— Я не обижаюсь.

— И не стоит. Не так уж им весело, как может показаться. Дела-то наши, сама видишь, не ахти какие веселые. Отступаем... — Он помолчал, глядя мне прямо в лицо проницательными серыми глазами.— Вот что, девочка, он,— комбат кивнул в сторону Петрова,— подбросит тебя до ближайшего полустанка — и кати в тыл. Не место тебе тут.

— Мне надо не в тыл, а в штаб дивизии, к полковнику Карапетяну, — возразила я.

Комбат опять нахмурился:

— Полковнику Карапетяну не до тебя. Сегодня же уезжай, завтра может быть поздно. Слышишь, что на Шелони творится? Ну, прощай!

Петров снял с меня каску, отстегнул и бросил на траву маузер.

— Ну, кума, пошли-поехали. Время — деньги.

Еле сдерживая слезы, я уселась в кабину, с горечью сказала шоферу:

— Обманщики! В тыл я и без вас могла бы уехать... — и заплакала.

Петров насмешливо на меня покосился:

— Ну и слезомойка! Да брось ты реветь-то! Наш комбат плохого не присоветует...

— Остановите машину! Я пойду в штаб пешком.

— А ты знаешь ли, кума, что приказ командира — закон?

— А я пока не военная. Высаживайте!

Петров, притормозив, почесал в затылке.

— Ладно. Сиди. Была не была, возьму грех на душу. Только ты меня уж не выдавай.

— Слово даю! Могила! — Я улыбнулась и вытерла слезы.

В деревне, где стоял штаб дивизии, Петров издали показал мне черного горбоносого человека:

— Вон он, полковник Карапетян.

Полковник обмахивал пилоткой смуглое лицо, его бритая голова блестела, как полированный шар.

— К нему и обращайся, да посмелее. И упаси тебя боже плакать! Ох и не любит этого полковник! Я завтра заскочу узнать. Ну, иди! — Мой доброжелатель высадил меня из машины и уехал.

Я спряталась за ближайший дом и несколько раз выглянула из-за угла. Может быть, я и решилась бы подойти к полковнику, будь он один, но начальника штаба окружало не менее пятнадцати человек. На сегодня с меня было довольно...

Я зашла в пустой дом, залезла на нетопленную печку и с наслаждением вытянулась на прохладных кирпичах.

Над самой крышей гудели самолеты и тяжело проносились снаряды. Домик вздрагивал, что-то скрипело и постукивало, но я заснула почти мгновенно.

Разбудил меня въедливый голос, он проникал откуда-то с улицы:

— Стя-пан! А Стя-пан! Вставай, проспишь царствие небесное!

Потом забарабанили по закрытой ставне, и я поняла, что тот, кого звали Степаном, спал в избе. Свесилась с печи и тоже позвала:

— Степан! Вставайте!

На улице засмеялись:

— Никак он, бес, с бабой?

Товарищ Степана вошел в полутемную избу, когда я слезала с печки. — А, это сестренка... — протянул он. — а я думал баба какая...

На полу в самой неудобной позе лежал Степан. Он не подавал признаков жизни. Товарищ ткнул его кулаком под ребра:

— Вставай! Сколько можно дрыхнуть!

Степан проснулся, захныкал:

— Чего пихаешься, ведмедь? Кулачище-то словно железный! И не спал я, только-только глаза завел...

— Завел! С вечера завалился!

— Который час?— спросила я.

— Девять утра.

Вот так поспала! А мне, как и Степану, казалось, что я только-только «глаза завела»...

Препираясь, приятели ушли.

Я тоже выбралась на улицу. Умылась у колодца, причесалась и пошла вдоль деревни кухню разыскивать — есть очень захотелось.

У повара болели зубы, щека была подвязана кухонным полотенцем, поэтому он, наверное, и не поинтересовался, кто я такая и откуда, и наложил мне гречневой каши чуть не целый котелок. Страдальчески сморщился:

— Сестренка, полечила бы ты мне зуб. Замучил, окаянный!

Но я не умела лечить зубы. Позавтракала и уселась на своем крылечке. Следила за полетом снарядов и считала вражеские самолеты. Страха не было. Видно, недаром говорится, что на миру и смерть красна. Кругом люди. Бойцы сидели и лежали на траве у маленьких окопчиков — курили, переговаривались и подшучивали друг над другом. Здесь же были мои утренние знакомые — Степан с товарищем. Над деревней проплыла армада тяжелых бомбардировщиков.

Бойцы заволновались:

— Ах ты, холера ему в бок, сколько их повалило!

— Как вши белые ползут. Не торопятся...
— Матвей, куда это они?
— Мне Гитлер не докладывал...
— И ни одна зенитка не тявкнула...
— А чего им тявкать? Ни одного черта не собьешь — у них брюхи бронированные...
— А ты видал? Не видал? Так и не болтай! Сбивают их почем зря. Погоди-ка, в тылу встретят, там зениток полно.
— А это «мессер». Ну скажи, паразит, только что на крыши не садится! Братцы, заряжай винторезы, вжарим по нечистику. Товарищ лейтенант, дозволяете?
— На здоровье! Заряжайте бронебойными!
— Хрен разберет, какие тут бронебойные... С красными концами, что ли?
— Не, с черными. Матвей, не копайся! Зарядил? Бей навзлет, как на охоте. Как из-за крыши вынырнет, так и лупи...
— И чего загоношились,— робко подал голос Степан.— Добро бы были молодые мальцы...
— А что ж нам, калининским, приписным, плакать, что ли? Чай, и мы не хуже кадровых могем. Летит!
«Вжарили» по нахальному «мессеру». Похоже, что летчик удивился. Он тут же развернул машину и с ревом ринулся на наш дом уже с противоположной стороны улицы. Я проворно юркнула в окопчик. И еще раз «вжарили» храбрые калининцы. Тут немецкий ас рассвирепел. Самолет взревел еще сильнее, круто взмыл вверх, перевернулся в воздухе, прошелся вдоль широкой улицы чуть ли не брюхом по теплой пыли и снова ринулся на нас: ударил из всех пулеметов. От резного крылечка полетели щепки... И в третий раз рванул ружейный залп. «Мессер» улетел и больше не появлялся.
Бойцы шумно обсуждали событие:
— Ага, не любит, гороховая колбаса!
— Попали мы ай нет?
— Попали пальцем в небо. Помирать полетел...
— Я сам видел, как ему хвост пробило!
— Ишь ты! Чего ж он тогда не сверзился?
— Так то хвост, чудило, а не бензобаки или мотор. Надо было зажигательными...
— Матвей, ты там рядом. Погляди, Степан-то живой?

— Жив как будто. Сопит...

— Да ты пощупай, сухой ли?

К вечеру веселые калининцы снялись и ушли в сторону боя, и я заскучала. Идти к полковнику Карапетяну было страшновато. Это тебе не шофер Петров, и не веселая «банда Зангиева», и даже не лейтенант Боровик, а сам начальник штаба дивизии! Может и не взять — зачем я ему? Прав лейтенант Боровик: что я умею делать?

Я так задумалась, что не заметила, как к моему дому приблизилась группа военных. Увидев совсем рядом горбатый нос и бритую голову, я ахнула и спряталась в сени. Сердце екнуло: «Сам полковник со всей свитой... Может быть, не заметили...»

— А ну, выходи!— послышалось с улицы.

«Да что я в самом деле так перетрусила. Не съедят же»,— подумала я и шагнула на крыльцо.

Полковник нацелился на меня орлиным носом, глаза сердитые:

— Кто такая? Чья?

— Ваша,— машинально ответила я.

Полковник засмеялся:

— Моя? Вот так новость!

И я увидела, что глаза у него вовсе не сердитые, а только очень черные. От сердца отлегло.

— А из какого полка?

— А я при штабе дивизии...

— Да что ты говоришь?— удивился полковник и подмигнул своим товарищам.— А почему же я тебя не знаю? Я ведь обязан всех своих подчиненных знать...

— Зато я вас знаю. Вы полковник Карапетян, верно?

— Верно, черт побери!— засмеялся полковник и весело продолжал допрос:— Кто же тебя, девочка, так зверски одел?

— Разведчики.

— А как попала к разведчикам?

—А меня шофер Петр Петров привез и сказал, что вы возьмете меня в дивизию.

— Вот оно что! А если не возьму?

— А я всё равно у вас останусь...

Тут все засмеялись, заговорили разом:

— Занятная девчонка!

— А возьмем ее, полковник, в дивизию, на развод.

— Сколько тебе лет?— спросил полковник.— Тринадцать?

— Почему это тринадцать! Мне уже полных шестнадцать.

— Что ж ты такая пигалица? Не кормили тебя дома, что ли? Где родители? Небось сбежала из дому?

— Никого у меня нет,— я махнула рукой,— как есть сирота...— К горлу подступил комок, навернулись слезы — вот-вот закапают... Я еле сдерживалась.

Полковник Карапетян задумался. Потом почти весело сказал:

— А пусть остается. Сам таким был — в пятнадцать лет к кавалерийской дивизии примазался. Как тебя зовут, сирота казанская?

— Ее разведчики Чижиком прозвали,— ответил кто-то за меня. — Я только что от них. Они вспоминали.

— Подходяще,— согласился полковник.— Майор Сергеев, зачислите добровольца товарища Чижика на все виды военного довольствия.

— В качестве кого?

— Раз она несовершеннолетняя, зачислим ее пехотным юнгой. Так и запишем: «Воспитанник дивизии Чижик», — решил полковник.

Я очень обрадовалась. Чижик так Чижик! Какая разница! По крайней мере от ненавистного имени избавилась. Нет больше Тинки-скотинки! Есть товарищ военный Чижик, да еще и доброволец! Мишка Малинин, где ты?

Нас было пятеро: начсандив — военврач третьего ранга Иван Алексеевич, фельдшер Зуев, санитар Соколов, шофер Кривун и я. У нас была старенькая полуторка, одни полевые носилки и небольшой запас перевязочного материала. А назывались мы громко: медико-санитарный батальон, или сокращенно — медсанбат.

Некоторые над нами подтрунивали: «Батальон в составе четырех с половиной единиц». Но это было скорее трагично, чем смешно.

Звучное наименование мы получили в наследство от бывшего медсанбата дивизии. Дивизия наша была кадровой и накануне войны стояла в одной из прибалтий-

ских республик, на самой государственной границе. На дивизионные тылы, как раз на те хутора, где располагались медики, немцы выбросили десант с артиллерией. Дивизия с боями вырвалась из огненного кольца, но медсанбата в ее рядах уже не было...

У каждого из нас была своя должность, а у Ивана Алексеевича даже целых три. Он считался начальником санитарной службы всей дивизии, командиром медсанбата и нашим старшим хирургом. Зуев был заместителем командира и старшим операционным братом (или сестрой), Соколов — санитарный носильщик и он же начхоз. Кривун — начальник нашей единственной транспортной единицы и по совместительству повар. Только у меня не было никакой должности, и я помогала всем понемножку. Зуев было предложил мне пост начальника паники, но я отказалась.

Самым мрачным в нашей пятерке был Гриша Кривун, а всё потому, что ужасно боялся самолетов. «Мессеры», «юнкерсы», «фоки» гуляли по небу целыми косяками, как рыба в воде, и настроение у Кривуна почти всегда было плохое. Он постоянно на кого-нибудь из нас ворчал за демаскировку, но больше всех доставалось веселому Соколову за его пехотинскую фуражку с ярким малиновым околышем.

— Ну что за интерес, чтобы тебя за версту видели!— ворчал Кривун.— Надень ты пилотку.

— На́ фиг мне твоя пилотка! — посмеивался Соколов.— Уши торчат, маковке холодно, и никакой красоты.

— Маковке холодно... Двадцать шесть градусов... Красота понадобилась... Форсун! Вот и краги для форса нацепил...

— А это как сказать, — лукаво улыбался Соколов. — Хоть для форса, хоть для безопасности. Ведь если немцы прищучат, ты не будешь ждать, пока я обмотки намотаю, уедешь — знаю я тебя... А тут застегнул, и готово.

— Шалаболка ты! Пустой человек,— сердился Кривун и с инструментом в руках лез под машину.

Ссорились они ежедневно, но жить друг без друга не могли. Ели из одного котелка и спали под одной шинелью, как родные братья. Да и не был наш Соколов пустым человеком. Просто умел не поддаваться унынию.

Кривун доставал где-то лоскуты материи и, сшивая их на живую нитку, мастерил для радиатора машины маскировочные капоты. А потом вдруг перешел на краску: раскрашивал борта полуторки в самые фантастические цвета. Зачастую краска не успевала просохнуть, и, садясь в машину, мы пачкали руки и обмундирование. Зуев ругался, а Кривун оправдывался:

— Это же я под цвет местности приспосабливаюсь. Мимикрия называется...

— Товарищ начальник, хоть вы запретите ему машину уродовать!— кричал Зуев Ивану Алексеевичу.— Ведь смеются над нами! Как только нас не дразнят: «Ковчег паникеров», и «Черная Маруся с рыжей бородой», и «Антилопа-Гну»... Чижик, как тебя штабники прозвали?

— Девочка с «Шайтан-арбы»...

Иван Алексеевич посмеивался, вытирая платком полное потное лицо, и говорил Кривуну:

— В самом деле, Григорий, ты умерь-ка свои малярные опыты. Я и сам всегда в краске хожу.

Кривун отмалчивался, но краской продолжал запасаться. Перед каждым переездом он договаривался со мною о наблюдении за воздухом. Увидев вражеский самолет, я должна была стучать по крыше кабины. Кривун моментально тормозил и с завидным проворством прятался в канаве. Если самолет проходил стороной, Иван Алексеевич кричал мне из кабины:

— Чижик, не стучи зря!

В другой раз я уже остерегалась стучать, а самолет, как на грех пикировал прямо на нашу машину... Из кабины вылетал перепуганный шофер и ругался:

— Вы что там наверху, ослепли, что ли? Чижик, вот погоди, я тебе перья-то повыдеру!

За меня вступался Зуев:

— И правильно сделала, что не постучала. Ничего особенного не произошло: прилетели и улетели, и опять прилетят, — что ж нам, из канавы не вылезать?

Соколов философствовал:

— От смерти не спрячешься, от судьбы не уйдешь... Что написано на роду, того не минешь... Положено сгореть — не утонешь...

Зуев насмешливо на него косился:

— Фаталист двадцатого века!

Дивизия наша с боями отступала к Старой Руссе. Мы работали по потребности: сколько надо и когда надо. Когда раненых было много и не хватало перевязочного материала, я резала широкие бинты пополам, а Соколов дергал в поле лен и ловко плел шины и лангетки. Иногда и простые доски от забора шли в ход. Зуев останавливал идущие на восток машины и повозки и загружал их ранеными. Соколов, несмотря на свой небольшой рост, был очень сильный и легко один переносил раненых на руках.

Случалось не разуваться по нескольку суток и не отдыхать ни днем, ни ночью, но мы не унывали и даже мрачный Кривун не жаловался. Он выжимал из «Антилопы-Гну» такие скорости, что мы просто диву давались. Наш осторожный шофер побаивался дорожных пробок и направлял всепроходящую полуторку с ранеными в объезд: по лесной дорожке, по покосу или прямо по ржи. Соколов его похваливал:

— Ай да Гриша! Ты гляди-ка, Чижка, стриженая девка косы не успела заплести, а он уже вернулся! А ведь до эвакопункта не близко.

Иногда выпадали дни, когда раненых почти не было, и мы могли заниматься чем угодно. В такое время Зуев, по выражению Кривуна, «дурью маялся»: то затевал ревизию моего вещевого мешка и выбрасывал половину его содержимого, то гонялся за мною по лесу с ремнем, чтобы сделать мне «внушение» за непочтительность к старшим.

Был наш фельдшер большой аккуратист: то и дело мылся, брился, одеколонился и выколачивал палкой пыль из обмундирования. И мне не давал покоя:

— Чижик, сейчас же перемени подворотничок!

— Причешись! Что ты такая лохматая?

— Марш сапоги мыть!

В свободные вечера, когда спадал изнуряющий зной, Зуев поправлял перед зеркальцем свои пепельные завитушки, брал меня за руку, и мы отправлялись гулять по прифронтовому лесу. При этом мой опекун докладывал начальнику:

— Мы отбыли с визитами...

Он покачивал гордо посаженной головой и сквозь зубы напевал всегда одно и то же:

Чудо, чудо, чудо, чудо-чудеса,
Для меня раздолье: степи да леса...

У нас с Зуевым было много знакомых среди всех родов наземных войск, и если бы всех наших приятелей обойти с визитами, потребовалась бы по крайней мере неделя, а потому навещали только ближайших соседей или заводили новые знакомства. Зуева прозвали «жених с приданым». Шутливо спрашивали: «Ну, как богоданная-то, дочка, слушается?» Зуев тоже отшучивался: «Трудновоспитуемый ребенок, я вам доложу...»

Однажды мы всю ночь работали у переправы через реку Полисть, приток Ловати. Собственно, переправы в полном смысле этого слова не было — с того берега переправлялись кто на чем мог: на плотах, лодках, на брезентовых мешках с соломой и даже вплавь. Днем за рекою шел ожесточенный бой: там оборонялся один из полков нашей дивизии. К ночи сражение затихло, и только изредка вспыхивали ракеты. Мы вылавливали из воды раненых и тут же оказывали им первую помощь. Кто мог держаться на ногах, сам ковылял в тыл, с тяжелыми ранениями грузили на подводы, которые откуда-то непрерывно присылал наш начальник. Раненых было много, и к утру мы еле держались на ногах. Зато перевязывать стало некого. На нашу сторону переправился военфельдшер из полка и сказал, что мы можем идти отдыхать: раненых больше нет. Но наш беспокойный Зуев решил лично убедиться в этом и на утлом плотике переправился в боевые порядки. Мы с Соколовым, ожидая его возвращения, клевали носом у раскрытых санитарных сумок. Зуев вернулся не скоро, когда уже занимался рассвет и река скрылась в тумане, как в молоке.

— Вроде бы всё, — сказал он, спрыгивая с плота прямо в воду,— но на всякий случай подождем до восхода солнца.

Ждать так ждать. Мы улеглись спать на самом берегу реки.

Проснулись от гула множества самолетов: небо почернело, гудело, выло... Нечего было и думать куда-либо бежать — до спасительного леса не менее километра, а кругом низкий болотистый берег: ни кочки, ни ямки, ни единого кустика...

Завизжали бомбы, полетели клочья земли, ходуном заходила под нами болотная жижа, берег застонал, окутался удушливым дымом.

— Что там Данте! Вот это и есть последний круг ада!— крикнул мне в ухо Зуев.

Нас оглушило, опалило зноем, как из раскаленной печки, засыпало землей и мокрой грязью...

Шли секунды, минуты, часы, но не было никакой передышки, ни единого мгновения тишины. Казалось, фашисты решили стереть нас с лица земли.

— Сколько же у них бомб?— крикнула я Зуеву.

— Терпи, Чижка!— прокричал он в ответ и погладил меня по голове.

— Скоро будет конец!— крикнул Соколов в другое мое ухо.

Но конца не было, и тогда Зуев догадался:

— Это же всё новые заходят! Психическая воздушная атака...

Вдруг около нас кто-то завизжал, заплакал, да так жутко, что кровь зеледенела в жилах, — раненые никогда так не кричат.

Я немного приподнялась и увидела молодого бойца. Он стоял во весь рост и, запрокинув в небо оскаленное лицо, выкрикивал бессмысленные ругательства, выл по-звериному и рвал на себе гимнастерку. На него сзади налетел Зуев, рванул за шиворот и повалил на землю. Они забарахтались в прибрежной осоке. Тут снова около нас стали взрываться бомбы, и я уткнулась носом в землю. Боец, должно быть, вырвался от Зуева, потому что тот закричал:

— Беги! Беги, черт с тобой!..— Потный и грязный он снова плюхнулся рядом со мной и обнял меня за плечи. Отбоя все не было...

На меня напал столбняк, и мне было уже безразлично, выживем мы или нет. Казалось, всегда так было и так будет: гудящее небо над головой, воющие бомбы и корчащаяся в муках земля...

Самолеты ушли только в сумерки. Тишина наступила внезапно и была такая полная, что еще некоторое время мы лежали не шевелясь. И тут со всех сторон понеслось:

— Санитары! Помогите!

Зуев скомандовал:

— За работу, друзья!

Оказалось, что я не могу встать на ноги — они меня не держали,— и я заплакала.

Соколов снял с меня сапоги и принялся за массаж.

— Ты, наверное, отлежала,— сказал он.

Массаж не помог, и Зуев решил, что это нервный шок.

— Не реви, пройдет! Мы займемся ранеными, а ты полежи тут. Мы придем за тобой.

Я лежала и плакала: у меня болело всё тело, как избитое, и только ног я не чувствовала.

Соколов и Зуев вернулись скоро.

— Раненых много?— спросила я.

Зуев рассмеялся:

— Я думал, что немец тут месиво устроил. Черта лысого! Живы братья-славяне, умеют держаться за родную землю! С десяток всего перевязали.

Соколов взял меня на руки и понес на шоссе.

— Саня, тебе тяжело...

— Сиди, Чижка, и не брыкайся! Не таких таскали...

Поправилась я скоро.

Однажды днем я сидела на пне возле самой дороги. Рядом под натянутой плащ-палаткой спал начальник. Длинные ноги Ивана Алексеевича высунулись наружу. Он во сне шевелил пальцами: одолевали комары. Я встала и накрыла его ноги портянками. В это время меня окликнули с дороги, и я увидела улыбающегося Петра Петрова из разведбатальона. Шофер вылез из машины и сказал:

— Никак не мог тебя встретить. Кого ни спрошу — никто не видел...

Петр подарил мне плитку шоколада и рассказал новости. Моторизованный разведывательный батальон расформировали, как не оправдывающую себя в современной войне единицу.

Разведчиков разослали по полкам. Зангиева ранило, лейтенанта Боровика тоже. Петр теперь служил в дивизионной автороте.

— Видишь, снаряды везу в артполк...

Мы тепло распрощались, и мой старый знакомый поехал своей дорогой.

Начальник проснулся и выбрался из палатки. Потер руками припухшее со сна лицо, подмигнул мне:

— Так-то, Чижик-Пыжик-Воробей... А где наши? Ах да, ведь они пошли машину чинить...— Иван Алексеевич зевнул, пожаловался: — Плохо быть полному, Чи-

жик. Жару совсем не переношу — сердце сдает... А как твои ноги?

Я затопала босыми пятками:

— Порядок! Это ваши уколы помогли...

— Не так уколы, как твоя молодость. Человек моих лет не отделался бы так легко...

Я поливала Ивану Алексеевичу из котелка на шею и на красную потную спину. Вода была очень холодная, из лесного ключа, начальник взвизгивал и ежился. Потом мы пили черный, как деготь, чай, и я угощала Ивана Алексеевича шоколадом. Он отказывался:

— Спасибо, доченька, я не ем шоколада.

Я упрашивала:

— Ну хоть один кусочек за мое выздоровление.

Начальник засмеялся:

— Ну разве только за это. Чижик, куда столько! Ешь сама. В кои веки бог послал сырку.

Наши приехали на отремонтированной «Антилопе» только к вечеру, грязные и сердитые.

Зуев сказал:

— Мало мне было пыли, так весь солидолом пропитался. Айда на реку!

Мы захватили мыло и вчетвером отправились на Ловать. Даже не верилось, что по-настоящему будем купаться. Это в первый раз за все время. Меня смущало одно обстоятельство: у меня не было лифчика. Но я решила, что разденусь где-нибудь в сторонке, а в воде никто не увидит.

Берег у реки очень крутой и обрывистый — к воде не подступиться, а у единственного удобного для купания места плескалось такое множество народу, что я чуть не заревела.

— Штаб дивизии смывает грехи,— констатировал Зуев. Они с Соколовым проворно разделись и поплыли на середину Ловати. Кривун степенно мылся у самого берега. Мне же оставалось или лопнуть от злости, или только ноги сполоснуть.

Я закатала по колено галифе и вошла в воду.

— Чижик! Что же ты? — вдруг вспомнил обо мне Зуев.— Иди! Хороша водица!

И Соколов позвал:

— Шевелись, а то сами выкупаем.

Штабники тоже приглашали поплавать:

— Давай, Чижик...

Я вызвала из воды Зуева, сказала ему на ушко, в чем дело, и попросила больше не приставать. Но Зуев сразу же выдал мой секрет. Закричал во все горло:

— Товарищи! Сенсация! У Чижика нет лифчика, и она опасается соблазнить нас своим роскошным бюстом!

Поднялся хохот. С меня в одну секунду стащили гимнастерку и, раскачав, бросили в воду прямо в солдатских штанах. Я плавала вдоль берега и в душе ругательски ругала своего опекуна. А насмешники-штабники кричали:

— Довольно, Чижик! Не простуди бюст!

По дороге домой я поссорилась с Зуевым.

— Да пошутил я,— оправдывался он.

Кривун встал на мою сторону:

— Хороша шутка! Она уже не ребенок.

Зуев ухмыльнулся:

— Взрослая! Едва-едва шестнадцать. Ладно, Чижка, не дуйся. Давай лапку. При первой же возможности куплю тебе бюстгалтер. Даже два.

На другой день на левом берегу Ловати, у поселка Парфино, наши войска успешно контратаковали наступающего противника: в боевых порядках немцев образовалась брешь. В этот коридор устремились наши передовые части, а за ними потянулись тылы с техникой и обозами. Мы обнимались с незнакомыми людьми, кричали «ура» и подбрасывали вверх пилотки.

Я стояла на обочине дороги и, как заправский регулировщик, командовала проходившими мимо машинами:

— Вперед! На запад!

Бойцы улыбались и махали мне руками. Курносый нос нашего Соколова пылал решимостью и отвагой:

— Что касается меня, то я согласен без передышки до самого Берлина!

Только Гриша Кривун не разделял общего ликования:

— Надо еще разобраться, почему вдруг немцы отступили. Не иначе, тут какая-то каверза...

Соколов возмущался:

— Вдруг? Почему же это вдруг? Дали им наши по шеям, вот тебе и вдруг. И что ты за человек? Обяза-

тельно надо людям настроение испортить! Как только женка тебя такого нытика терпела.

Из штаба дивизии явился улыбающийся Иван Алексеевич и вместо запада направил воинственно настроенного Соколова на восток — в армейскую аптеку за бинтами.

Мы с Зуевым, придерживая тяжелые санитарные сумки, почти на рысях неслись к переправе через Ловать. Впереди бежал молодой сапер «с удочкой». Один из наших батальонов на левом берегу попал на минное поле. Надо было срочно перевязать и подобрать раненых.

По большому понтону на запад переправлялась артиллерия, машины и повозки со снарядами. Для пешеходов рядом с понтоном был сооружен шаткий мостик из метровых плах, связанных канатом и уложенных прямо на воду. Плахи были скользкие, низкие веревочные перильца обвисли.

Над переправой, как приклеенные, висят самолеты и бомбят неприцельно — понтон охраняет зенитная батарея. Балансируя руками, мы благополучно перебрались на левый берег и вскоре были на минном поле.

Раненые стонали в кустах за шоссе, я насчитала одиннадцать человек. Сапер направился к ним, выставив вперед «удочку-пищалку», след в след за ним ступал Зуев, а шествие замыкала я.

— Здесь и аппарата не надо,— сказал сапер.— Они все торчат наружу, немцы даже замаскировать не успели.

Мы перевязали и напоили раненых. Двое были без сознания.

Зуев с сапером обшарили канаву и отвинтили «головы» нескольким противопехотным минам. Сапер ушел, а мы перетащили раненых в канаву и стали ждать попутный транспорт. Но в тыл никто не ехал — все спешили вперед, на запад. А к обеду шоссе и вовсе опустело.

— Ну, Чижик, — весело сказал Зуев, — похоже, что мы с тобой оказались в глубоком тылу — даже стрельбы не слышно...

Но после полудня что-то случилось там впереди и все, что так стремилось на запад, вдруг снова повернуло

на восток. Зуев выбежал на шоссе и пытался останавливать машины, просил взять раненых. Семь человек пристроили без особого труда, оставалось еще четверо, когда на шоссе началась паника. На дороге вдруг стали рваться снаряды: один, другой, третий... Все побежало, понеслось сломя голову в сторону переправы.

...Машины налезают друг на друга и гудят, гудят, а дорогу загородила артиллерийская упряжка. Ездовые тоже не уступают друг другу и свирепо нахлестывают лошадей... Крик, шум, матерная брань... В довершение всего налетели «юнкерсы», а на них накинулись «ястребки»,— над нашими головами завязался воздушный бой. В суматохе Зуев устроил еще двоих раненых и строго приказал мне:

— Беги на переправу и жди меня на том берегу!

— Никуда я не пойду.

— Я приказываю тебе, противная девчонка! Боец ты или не боец?!

Я заревела благим матом:

— Что я, дезертир какой-нибудь, что ли?

Зуев выругался:

— Ну за что только меня бог наказал! Оставайся, черт с тобой! Марш в канаву! И не смей высовывать оттуда нос!

Потянулась на восток пехота, и он вступил в переговоры, но тут подвернулась подвода, груженная пустыми ящиками от снарядов. Ящики полетели на землю, раненых уложили на сено.

Ездовой почесал бороденку:

— Бумажку, доктор, давай, казенное добро-то... Как бы отвечать не пришлось.

Зуев закричал:

— Погоняй живее! За переправой разберемся.

Мы, взявшись за руки, понеслись к переправе — там столпотворение: пропускают только транспорты с ранеными, а наседают все.

Мы были уже на середине реки, когда бомба весом не менее тонны вдребезги разнесла большой понтон, а чертов наш мостик рассыпался сам и поплыл по течению.

Огромные мои сапоги тянули вниз, душила лямка санитарной сумки. Рядом плыл Зуев. Он поймал плаху от мостика и подтолкнул ко мне. Зенитки теперь мол-

чали, и самолеты, обнаглев, висели над самой водой. «Фьють, фьють, фьють...»— посвистывали над нашими головами пули и вздымали сверкающие фонтанчики воды. Отплевываясь, я повернула голову налево: вся река кишела людьми, раненые лошади ржали тонко и жалобно...

Мы плыли к высокому берегу, с которого через Ловать била полковая батарея, а на нее пикировали сразу четыре «юнкерса»...

Выбрались благополучно, если не считать двух потерь: я выплыла в одном сапоге, да санитарная сумка пошла ко дну — Зуев перерезал лямку...

Мы немного обсушились и разыскали своих. Соколов до того обрадовался, что полез целоваться, и даже Кривун заулыбался:

— А я вас уже похоронил...

Иван Алексеевич, смеясь, сказал:

— Похоронить-то похоронил, а каши небось оставил!

Мы наелись и устроили концерт. Соколов играл на своей голосистой тальянке и пел частушки собственного сочинения:

Воевала у реки,
Потеряла сапоги...
Мне на это наплевать,—
Буду пятками сверкать.

Я подпевала и плясала в одном сапоге.

К нашему костру, заслышав гармонь, потянулись зрители. Они хохотали, показывая пальцами на мою босую ногу, советовали бросить в Ловать и второй сапог.

Иван Алексеевич, вытирая выступившие от смеха слезы, сказал:

— Чижик, довольно смешить порядочных людей! Иди посиди возле меня.

Но у меня бабушкин темперамент — не могу я сидеть, когда гармонь играет... Незнакомые танкисты вступили с нашим начальником в переговоры:

— Отдайте нам девочку, не место ей в пехоте...

Зуев ехидно спросил:

— А у вас место? На танке ее возить будете?

— Зачем на танке? Пусть живет при штабе бригады да поет на здоровье...

Соколов от возмущения перестал играть:

— Ишь какие умники! Сами себе заведите такого Чижика. Ты ведь не бросишь нас, Чижка?

— Ни в жизнь! Клянусь своим последним сапогом!

На другой день Соколов принес мне из склада вещевого снабжения новые сапоги и очень меня обрадовал— они были почти что по ноге.

— Как завернул я про Чижика трогательную историю,— сказал, улыбаясь, мой приятель,— так интендант чуть не прослезился... Там какой-то корреспондент был из дивизии, он обещал статью в газете написать...

Я всплеснула руками:

— Ну что ты наделал! Он напишет — рад не будешь!

Так и получилось. Дня через два Зуев, просматривая газеты, закричал:

— Внимание, братья-славяне! Тут нашего Чижика увековечили!

Статья называлась «Героический подвиг», и начиналась она так: «...Не надо искать героев, они тут же среди нас. У нее веселый характер и ласковые руки...» Тут Зуев прокомментировал:

— И характер скверный, и руки всегда грязные... Врут и не смеются!

Но это было еще ничего, а дальше шло такое, что сразило меня наповал: «...Она вынесла с поля боя двадцать раненых... Она и раненые на шоссе. Немцы приближаются. Бойцы советуют ей уходить, но она не покидает свой пост. Ее глаза горят отвагой беззаветного служения Родине. Чижик спасла всех раненых, сама через Ловать переправлялась вплавь под пулями и осколками бомб». И не было ни слова о Зуеве, и почти не было правды...

— Аминь!— сказал чтец и протянул мне газету:— Сохрани на память о славе.

Я закричала на весь лес:

— На́ фиг мне такая слава! Опозорили, нахалы, на всю дивизию!

Зуев погрозил мне пальцем:

— Чижик, не хулигань! А то я не посмотрю, что ты герой на данном этапе, да и всыплю по первое число...

— Вот разыщу редакцию — плюну в глаза тому газетчику!

— Газетчик-то при чем? Ведь это Соколов рассказал

ему о тебе. А вообще-то ты зря ревешь. Доля правды ведь есть. Нельзя же сказать, что ты струсила на шоссе или на Ловати.

Зуева поддержал Иван Алексеевич:

— Не стоит, девочка, плакать. Зачтем эту статью в счет твоих будущих подвигов.

Вскоре при очередном переезде мы столкнулись на дороге с полковником Карапетяном. Он весело закричал:

— Иди-ка, иди сюда, крестница! Ты, оказывается, у нас герой? Ай какой молодец! Двадцать раненых! Ай, замечательного ребенка я тебе, Иван Алексеевич, подарил, магарыч за тобой...— В голосе полковника, в глазах окружающих мне чудилась насмешка: «Двадцать раненых — такая пигалица? Ерунда...» Вот что наделал болтун Соколов!

Наша маленькая семья вдруг как-то сразу выросла. Под Старой Руссой к нам прибыли две девушки-врачи, недавно окончившие Ленинградский медицинский институт.

— Военврач третьего ранга Григорьева.

— Военврач Рычко.

Так они представились нашему начальнику.

Иван Алексеевич вроде бы даже растерялся, покраснел, начал кланяться:

— Милости прошу, уважаемые коллеги! Обещаю богатую полевую практику.

С первого же дня мы, не сговариваясь, военврача Рычко стали попросту звать доктором Верой. Была она кудрявая, голубоглазая, с ямочкой на подбородке.

В день приезда врачих улыбающийся Кривун объявил, что у нас по такому случаю намечается генеральский ужин: картошка в мундире с селедкой. Все обрадовались — уж очень нам надоели пресные концентраты. Мы с доктором Верой, взявшись за руки, сплясали «Бульбу». Доктор Вера задорно пела:

Бульбу жарють, бульбу парють,
Бульбу варють, бульбу ядуть...

Зато за ужином повар Гришенька Кривун подкладывал на бумажную тарелку веселой докторши самые

крупные куски селедки, так что Соколов в конце концов не выдержал:

— Ишь ты, подха́лим!

Доктор Вера засмеялась, а Зуев сказал мне на ухо:

— Она — свой парень...

И верно, молодая врачиха сразу пришлась нам ко двору, как будто бы ездила с нами на «Антилопе» с самого начала войны.

Соколов шутил:

— Ах, Чижка, ну что толку в моей красоте, когда нет образования! Она и не глядит в мою сторону...

Я смеялась до слез, представляя себе кривоногого курносого Соколова предметом увлечения бойкой докторши.

Соколов притворно сердился:

— Закатилась, как дурочкина внучка! Вот и поговори с тобою по душам...

Прибыла кухня с поваром, появился начальник штаба с писарем, прислали коменданта, старшину, из числа легкораненых отбирали санитаров. Потом к нам откомандировали двух военных фельдшериц — подружек-ленинградок Зою Глазкову и Наташу Лазутину. Появился еще один ленинградец — санинструктор Леша Иванов. Леша оказался очень способным, и ему сразу разрешили работать за фельдшера. Ленинградец был застенчив, втайне сочинял стихи и постоянно мурлыкал новые песенки. Меня он звал не иначе, как «Чижик бесхвостенький», и показывал фотографию своей ленинградской невесты.

Потом появились сразу три медсестры из Старой Руссы: Муза, Кира и Маша. Капризная красивая Муза сразу же невзлюбила меня. Ей не понравилось мое прозвище и привилегированное положение. Зло щуря глаза, она покрикивала на меня:

— Эй, санитарка!

Ну и отчитал же Зуев Музу... А мне сказал:

— Держись, Чижик, с достоинством, ведь ты у нас ветеран.

У черноглазой Маши Васильевой характер оказался для нас подходящим: она работала самозабвенно и никогда не жаловалась на усталость, а на коротких передышках так отплясывала «Семеновну», что у нас пятки горели.

В деревне Кропалево мы подобрали бойкую Катю —

парикмахершу, и еще одну Машу — медсестру. Эта Маша была стрижена под бокс, носила, как и я, солдатские штаны и курила махорку. В отличие от Маши Васильевой ее стали звать Маша-мужичок.

Прибывали пестрые санитарные фургоны с лошадьми, появилась аптека с аптекаршей и помощником. Кроме старой доброй «Антилопы» у нас теперь было несколько грузовых машин. Мы разбогатели, имели достаточно умелых и проворных рук и не испытывали нужды в перевязочных средствах. Аптекарша Лина и ее помощник были энергичны, получали материал не только на армейском складе, но и умудрялись поживиться за счет местных медицинских учреждений, благо те поспешно эвакуировались в тыл.

Наше хозяйство постепенно принимало контуры военной боевой единицы, служащей своему назначению. Организовались взводы: хирургический, госпитальный, эвакуационный. Зуева назначили командиром эваковзвода. Соколов остался при нем.

Я не годилась в санитарные носильщики, а в другие взводы попроситься не догадалась и по-прежнему оставалась девочкой на побегушках. Но я уже давно привыкла: «Чижик, подай, принеси, позови». Я была моложе всех и потому в этом не видела ничего обидного для себя.

К нашествию женского пола Зуев отнесся скептически:

— Мало нам было Чижика, так завели дюжину сорок,— говорил он.

Но однажды у нас появилась смешливая толстушка Валя Левченко. На кукольном Валином личике не глаза, а бездонные синие озерца. Увидел Зуев Валины глазки, и стойкое его сердце дрогнуло,— растерял мой боевой друг свою самоуверенность и захандрил. Как-то в час затишья мы с ним сидели на траве в тени березы на окраине сожженной деребни и молчали. Лицо у Зуева было грустное-грустное, взгляд отсутствующий.

Я сказала:

— Уж объяснился бы Вале в любви, что ли!

Зуев удивился:

— Ах ты, сватья Бабариха! Да что ты в этом понимаешь, маленькая дурочка!— Он погладил меня по голове и вздохнул: — Ах, Чижка, если бы это всё так прос-

то решалось! Не до этого сейчас. Время не такое. Надо уметь себя сдерживать.

Я возразила:

— Но ведь ты не сдерживаешься — страдаешь...

Зуев усмехнулся:

— Пройдет. Никто еще от этого не умирал.

Вылечился он скоро. Однажды после утомительной работы мы предавались блаженному отдыху: валялись на траве в придорожных кустах и, по выражению Соколова, «плевали в морду господину Герингу», то есть не обращали никакого внимания на самолеты. Вдруг в нашем расположении появился летчик. Он шагал через наши ноги и извинялся направо и налево. Увидев летчика, Валя Девченко вскрикнула и бросилась ему на шею. Летчик пробыл у нас до вечера. Сияющая Валя с гордостью представила нам своего жениха.

К Зуеву вернулось его хорошее настроение, он сказал:

— Замечательный парень! Будет хорошая пара.

Хоть нас теперь было и немало, но работы не уменьшалось. На нашем участке фронта кончился блицкриг— немцы уже не шагали походным маршем, бои шли чуть ли не за каждую деревушку, и раненых было много. Старую Руссу немец не мог взять долго: не помогали ни армады бомбардировщиков, ни тяжелая артиллерия, ни брошенные в бой танки.

Наши отстаивали каждую улицу, а отступив под напором противника, превосходящего в технике, удачно перегруппировались и вновь выбили немцев из старинного русского городка. В эти дни мы не знали ни сна, ни отдыха. Медсанбат развернулся на территории знаменитого старорусского курорта. На крыше главного здания Иван Алексеевич приказал прикрепить большой лист фанеры с изображением красного креста. Это не помогло. Немцы бомбили непрерывно и, казалось, метили именно в наш красный крест. Тяжелые бомбовозы швыряли тонные бомбы, и в расположении медсанбата появились такие огромные воронки, что в каждой свободно мог бы спрятаться двухэтажный дом.

Мы перевязывали и днем и ночью и эвакуировали раненых из горящего города. Были и у нас потери: убило осколком бомбы Машу-мужичка, ранило трех санитаров и новенькую сестру Нину Печкину. От жары, от

злого удушливого дыма мы прокоптились как селедки, отказывались от пищи, валились с ног от усталости, но работали.

На четвертые сутки сдали нервы у Музы. Она вдруг сердито крикнула Зуеву:

— Ведь это же анархия, начальник эвакуации! Из ста раненых добрая половина из чужих дивизий! Что у них, своих медсанбатов нет? Ведь не в силах же мы обслужить всю армию!

Зуев только что спрыгнул с машины, перегруженной ранеными. Он снял с головы каску и зло уставился на Музу воспаленными глазами.

— Чтобы я это слышал в первый и последний раз! С Украины доставлю, и то будете перевязывать! Что значит — наши, не наши?!

— Да ведь сил больше нет!— закричала Муза и заплакала.

— Нет предела человеческим возможностям, в особенности на войне. Здесь есть и помоложе вас, да не распускаются. Чижик, расскажи медсестре Басалаевой, как и сколько можно работать. Довольно реветь! Занимайтесь делом!

За Музу вступилась доктор Вера. Она сказала Зуеву:

— Не надо на нее кричать. Муза, полежите в холодке, это пройдет...

— Полежишь в таком аду! Я больше не могу! Не могу... У меня всё как деревянное... — сквозь слезы выкрикивала Муза. Кира шепотом уговаривала плачущую подругу. Зоя Глазкова, поджав губы, сердито поглядывала в их сторону. Я принесла Музе котелок воды из колодца. Она машинально поблагодарила, напилась, умылась и успокоилась.

Из Старой Руссы мы выбирались пешим порядком вместе с отходящей пехотой, так как весь наш транспорт ушел перегруженный ранеными.

Город пылал, как исполинский костер, загорались всё новые дома, ревели озверевшие бомбовозы, сотрясали землю тяжелые снаряды. Улицы затянула дымная смрадная мгла. Было нечем дышать — многие отступали в противогазах. Я прикрывала рот и нос мокрым платком, так как давно, грешница, бросила свой аппарат химзащиты... Рядом со мною упал молодой стомато-

лог Саша Дурыманов — он был убит осколком снаряда...

На «Антилопе-Гну» из штаба армии Кривун привез нам нового командира медсанбата. Мы взглянули на наше начальство и ахнули. Можно было поручиться, что никто из нас не видывал такого замечательного носа. Нельзя было даже представить себе, что нечто подобное может украшать человеческое лицо. Это не был заурядный горбатый нос человека, родившегося в предгорьях Кавказа. Это был серп! Настоящий серп, только без ручки: тонкий, изогнутый, с зазубренным кончиком. Мы издали угрюмо разглядывали нового комбата, а он исподлобья глядел на нас —точно бодаться приготовился... Поджарый, тонконогий, иссиня-черный, он слушал Ивана Алексеевича и, как нам казалось, недобро шевелил толстыми усами. Мы дивились: не строевой командир, а оружием обвешан, как в наступление собрался,— сбоку маузер в деревянной кобуре, на шее автомат, да еще и кинжал в ножнах.

Зуев тихо сказал:

— Пожалуй, паникер...— и продекламировал:— Три нагана по карманам, сбоку маузер...

Соколов громко вздохнул:

— Это вам не Иван Алексеевич. Зажмет нас осетин. Они страсть какие хара́ктерные...

Начсандив представил комбата так:

— Военврач третьего ранга, товарищ Товгазов Варкес Нуразович!

Ну и ну!..

В тот же вечер Иван Алексеевич покинул нас. Он расцеловался со мной, с Зуевым, с Соколовым и уехал вместе с Кривуном на своей «Антилопе». Теперь он будет выполнять свои прямые обязанности начальника санитарной службы всей дивизии. Хоть и недалеко он уехал, а мне взгрустнулось. Тайком от Зуева я даже всплакнула...

Товарищ Товгазов хозяйственную деятельность начал с того, что накормил нас на целую неделю за один раз. Мы стояли в Старорусском пригороде Дубовицы, а рядом был птичий совхоз. Брошенные на произвол судьбы куры и утки галдели, как на птичьем базаре. Их бы-

ли сотни, тысячи, белоснежных леггорнов и пекинок. Наш комбат, как злой коршун, метался среди птичьей стаи, проворно хватал неповоротливых уток и в мгновение ока откручивал им головы. Старшина Горский и повар складывали тушки в мешок.

Обед был щедрый: по целой утке на брата. Мы до того наелись жирной утятины, что потом несколько дней не обедали. Вылив в канаву оставшийся нетронутым куриный суп, разобиженный повар объявил пост, что нам было только на пользу: и так уже у Лины-аптекарши опустошили запасы салола и белладонны... Старшина Горский похохатывал:

— Ай молодец комбат! Накормил так накормил...

Комбат был неглуп. Он сразу же забраковал наш метод работы и всё изменил. Обычно мы располагались в центре дивизии, где-нибудь на большой дороге, и работали все в одном месте, скопом. На наших машинах, на попутном транспорте, на лошадях санитарных рот полков к нам доставляли раненых, а мы отправляли их дальше — в полевые госпитали и на эвакопункты. Фланговые полки дивизии зачастую находились от нас на значительном расстоянии и иногда даже не знали места дислокации медсанбата.

Теперь всё было по-другому: мы выдвигали вперед веером по фронту три контрольных поста с транспортом. Эти сменные посты и были связующими звеньями между полками и медсанбатом. Четвертый медицинский пост из двух человек был учрежден на командном пункте дивизии. Зуев теперь занимался эвакуацией раненых только с контрольных постов до медсанбата, а в самом медсанбате командовал расторопный Леша Иванов.

Наши передовые посты оказывали первую помощь: останавливали кровотечения, перевязывали и вводили противостолбнячную сыворотку. В самом медсанбате занимались тем же и, кроме того, под местной анестезией делали незначительные операции. Раненым с большой кровопотерей переливали кровь, используя собственных доноров, которыми командовала доктор Вера, сама донор-ветеран. На большее наш медсанбат пока не был способен: не в чем было стерилизовать материал и инструменты, да и обстановка была беспокойной: нас нередко обстреливали вражеские пушки и очень надоедали самолеты. К тому же больше одного-двух дней

мы на месте не стояли, и в дальнейшем рассчитывать на сколько-нибудь нормальные условия работы не приходилось.

Но вновь прибывший ленинградский хирург Николай Африканович Быков каждый день требовал от комбата автоклав. Усатый командир позволял себе ироническую усмешку, и это приводило старого доктора в ярость. Он гремел:

— А что вы ухмыляетесь, уважаемый? Что дикого в моем требовании? К вашему сведению, я хирург-полостник, а не санитар! Да-с! А по вашей милости я лишен возможности вскрыть брюшину. Ранили человека в брюшную полость — погибай! А если и довезут беднягу живым до госпиталя — всё равно умрет от перитонита! А вырезал бы я ему на месте аршин-другой кишок, и жив был бы боец... Так я говорю, коллега Журавлев?

— Вы абсолютно правы, уважаемый Николай Африканович,— поддерживал доктора Быкова наш второй хирург Александр Семенович.— Я тоже считаю, что мы должны, даже обязаны, делать на месте лапоратомии, ампутации, а если понадобится, то и трепанации.

Раскосые черные глаза доктора Журавлева загорались решимостью, на острых скулах вспыхивал румянец.

Комбат удивлялся, дергал себя за ус:

— Вскрыть брюшину в таких условиях?! Трепанация, когда бомбят по десять раз на дню!

Доктор Быков не сдавался:

— Какие такие особенные условия? На войне как на войне... К тому же мы можем работать по ночам — ночью меньше бомбят, а коль и бомбят, то неприцельно,— сыпал он скороговоркой, заметно напирая на букву «о».— Дайте нам стерильные простыни, халаты, и мы любую баньку приспособим под операционную. Автоклав и сносная керосиновая лампа — вот всё, что нам надо для нормальной работы! А так больше не пойдет, товарищ комбат! Ведь это не работа, а примитив! Рану-то и Соколов перевяжет...

Комбат, наконец, сдался и пообещал при первой же возможности достать автоклав. Можно было поверить: достанет. Комбат Товгазов производил впечатление человека делового и энергичного. Но уж очень был шумен: в гневе кричал, как на южном базаре, топал ногами и

ругался по-осетински и по-нашему, но, к счастью, был отходчив, а отойдя мог во всем разобраться правильно и справедливо. Эту особенность характера комбата мы скоро узнали и старались не попадаться ему на глаза под горячую руку. Правда, удавалось это не всегда. Однажды мы оказались свидетелями происшествия, о котором никто из нас потом не мог вспоминать без смеха.

Рано утром из придорожных кустов выскочил наш комендант Хижнев и без ремня, в одном сапоге, несуразными заячьими скачками понесся по шоссе в сторону тыла. А сзади, размахивая ременной плеткой, бежал комбат и что-то грозно кричал. Мы с недоумением глядели им вслед. Было очевидно одно: пожилой комбат не догонит молодого проворного коменданта. Но Варкес Нуразович неожиданно и ловко, как кошка, вскочил на подножку проходившей мимо машины и, нагнав беглеца, так же ловко, на всем ходу спрыгнул на землю, взмахнул плеткой и на глазах всего честного народа трижды вытянул Хижнева пониже спины. Оказалось, за дело. Ночью на посту уснули часовые комендантского взвода, а коменданта комбат обнаружил «в подвыпитом виде» и совсем не там, где он должен находиться...

Мы разбежались по кустам — хохотали в одиночку, сходились группами и снова хохотали. Впрочем, не настолько громко, чтобы мог услышать грозный товарищ Товгазов. Да, с нашим комбатом шутки плохи... Когда он приезжает на дивизионный склад материального снабжения, интенданты или прячутся или безоговорочно выдают все, что он требует для раненых.

Зуев, довольный, улыбается:

— Ну, Чижка, кажется, судьба послала нам настоящего джигита — с таким не пропадем!..

Ладно, поживем — увидим.

Про Николая Африкановича у нас говорили: «с причудами старик». Было ему за пятьдесят, лицо интеллигентное, с мелкими, тонкими чертами, на хрящеватом носике золотое пенсне на шнурочке, а за стеклами умно и молодо поблескивали глазки табачного цвета. На поясе у доктора позвякивал голубой чайник литра на

три и с ним, как с оружием, Николай Африканович никогда не расставался. В первый же день приезда старого доктора, уходя на кухню за чаем для всех, я попросила у него чайник:

— Я вам чаю принесу.

Старик церемонно поклонился:

— Спасибо, мой друг, но чайник свой я никому не доверяю.

Я пожала плечами: вольному воля!

Несколько раз в день доктор разжигал костер и пил чай собственного приготовления. Получая на кухне заварку, он, как старик Каширин, шутя считал на ладони чаинки и укорял старшину Горского:

— Э, папенька, нехорошо: обжулил старика! Вчера чаинки были крупнее да и дал ты больше...

Старшина смеялся и подсыпал чаю на докторскую ладонь.

В первый же день Николай Африканович спросил меня:

— Не знаешь ли, козочка, где здесь военторг?

— Отродясь не слыхала. А зачем он вам?

— Хотел бы чаем запастись. Ты шумни мне, если какой-нибудь интендант к нам забредет, а я его распотрошу на пачку чаю: пусть дает взятку.

— Вы берете взятки?

— Только чаем, мой друг...

— Тяпкин-Ляпкин брал борзыми щенками...

— Ах ты, зелье-озорница!..

Но разорить интенданта на чай не пришлось. Он не пришел — его привезли. Машина с продуктами попала под бомбежку, и сидящих в кузове придавило бочками и ящиками. У интенданта была сломана нога и три ребра, и с ним возились долго. Закончив, старый доктор восторженно сказал:

— Ну, папенька, ты не интендант! Ты суворовский солдат! И не пикнул...

Я напомнила про чай, но Николай Африканович отмахнулся:

— Какая может быть взятка с такого героя! Ему самому надо дать взятку! Сбегай-ка, козочка, в аптеку да принеси товарищу интенданту граммов двести антигрустину.

Всех раненых доктор Быков называл «папеньками»

и грубовато с ними шутил,— исследуя рану, ловко заговаривал зубы:

— Откуда родом, папенька?.. А... вятский! Земляк, значит. Мы, вятские, парни хватские: семеро одного не боимся! Сунься-ка, как лягушку истыкаем!— Ярославцу он говорил:— Я и сам ярославский водохлеб. То-то гляжу — личность знакомая...— Над горьковчанином посмеивался:— Как у нас там корова-то, чай, пила?— Сибиряка поддразнивал: — У нас в Сибири таких нет. Чтобы сибиряк, да боль не терпел — не поверю! Ты коли меня куда хочешь шилом, как свинью, все равно не хрюкну...— Своим помощникам доктор Быков смеяться не разрешал и то и дело кому-нибудь из нас грозил сухоньким кулачком.

Однажды я не вытерпела и закатилась так, что уронила таз с грязными бинтами на ногу доктору Вере. Разгневанный Николай Африканович сгреб меня за шиворот и вышиб из перевязочной коленом под зад. Не закрывая двери, грозно оглядел своих подчиненных:

— А ну, кто еще хочет вслед за козой?!

Я каталась по траве и хохотала так, что напугала старшину Горского. Он подумал, что со мною припадок, и позвал на помощь Машу Васильеву.

Вечером во время ужина старый доктор спросил меня:

— Что, попало тебе, коза? Не будешь смеяться под руку. Сама виновата.

Я возразила:

— Нет, это вы виноваты. Сами смешите. Работали бы молча, как доктор Журавлев.

— Я буду молчать, «ранетый» кричать, а руки мои дрожать...— зачастил Николай Африканович.— Ничего ты, козило, не понимаешь! Это пси-хо-терапия! Запомнила? Я и коллеге Журавлеву это же рекомендовал, да не получается у него.

Муза и Кира, следуя «папенькиному» методу, тоже применяли психотерапию, но только несколько на свой лад. Они не скупились на уговоры и на ласковые слова, особенно Кира. Она нежно ворковала над раненым:

— Потерпи, мой милый... О, как тебе больно, родной... Сейчас, сейчас, голубок, мы всё сделаем...

Доктор Быков недолго терпел эти сантименты и од-

нажды пронзительным фальцетом положил конец «телячьим нежностям»:

— Прекратить кошачество! Это вам не лазарет ее величества! Не бедные русские солдатики, а советские воины! Я вам покажу милосердную сестру! И брата покажу!

Кира сконфузилась до слез, а я молча тряслась от неодолимого смеха и в добровольном порядке вылетела из перевязочной.

Официально я не состояла в штате хирургического взвода, но не пропускала ни одного «папенькиного» дежурства, работая за санитара.

Когда начиналась бомбежка, старый доктор кричал мне:

— Ну-ка, коза, бегом марш под развесистую клюкву!

Мы бежали за ближайшее укрытие и там отсиживались. Доктор долго не мог перевести дух: в груди у него что-то хрипело и клокотало. Я глядела на него с жалостью:

— Что это у вас?

Он только махал рукой:

— Ерунда!

— Зачем же вы на фронт пошли?

— А ты зачем?

— Я здоровая, а вы больны. Сидели бы где-нибудь в тыловом госпитале да и делали бы свои лапоратомии..

— Ишь ты, коза, запомнила! Не мог я сидеть, когда все честные люди на войне. Одни воюют, другие переживают за ближнего. Вот и мы пошли с женой в военкомат. Ее не взяли — старовата, а я, как видишь, проскочил. Послушай-ка, что мне пишет Софья Борисовна. Ага, вот... «Друг мой, береги себя. Не пей сырой воды, не ходи потный — чаще меняй белье...»

Мы с «папенькой» перемигнулись и захохотали. Мы и в бане-то ни разу не были с тех пор, как война началась. Изредка кое-как смывали пыль и грязь в попутных водоемах до споласкивали единственную смену белья.

Я поинтересовалась:

— Вы ленинградец, а окаете, как волжанин. Или вы это нарочно?

Николай Африканович засмеялся:

— Ах ты, выдумщица! Я в Нижнем Новгороде ро-

дился. Ох, давненько не бывал в родных местах! Только оканье и осталось, как память об отчем крае...

Когда не было раненых и не нахальничали самолеты, доктор Быков садился на березовый пенек и читал наизусть из «Евгения Онегина» или «Медного всадника»:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...

— Ах, как хорошо, козочка! Продолжай-ка, друг мой. — И я продолжала. Так и шпарили мы поочередно целые главы наизусть.

Соколов восторгался:

— Во дают, старый да малый! Мне бы такую память...

Современных стихов Николай Африканович не любил. А мы, молодежь, были поголовно влюблены в поэтов Симонова и Уткина, в их лирические стихи. Новинки я доставала через знакомых дивизионных корреспондентов. Тут же на ходу переписывала через копирку и дарила своим сослуживцам. Как-то и «папеньке» преподнесла стихотворение Уткина. Старый доктор, протерев пенсне, прогудел скороговоркой в одну строчку:

— Подари мне на прощанье пару милых пустяков папирос хороший чайник томик пушкинских стихов. — Недовольно сморщил носик.— Ну как можно подарить чайник папирос?

Я только заморгала:

— И верно — нескладно. Кто-то из переписчиков переиначил. Листок-то был уже весь дырявым.

— Это, козочка, другое дело. Но все равно Пушкин лучше. Ты только послушай:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты...

Пел Николай Африканович слабеньким дребезжащим баском, но так задушевно, что у нас навертывались слезы. Исполнитель конфузился, махал рукой:

— А, какое уж там, к лешему, чудное мгновенье!.. Спой-ка, козочка, лучше «Березку».

«Березку» мы сочинили вдвоем с Соколовым и музыку придумали сами.

Родная сторонка.
Березка цветет.
За синею речкой
Девчонка живет.
Глаза у девчонки —
Озерца без дна.
Такая девчонка
На свете одна...
За эту девчонку
Ушел воевать.
Заветной березки
Врагу не ломать!
За синею речкой
Березка цветет,
Меня под березкой
Любимая ждет...

«Заветной березки врагу не ломать!» Так-то оно так, но сколько уже русских березок досталось фашистам!.. Отступает огромный фронт от Белого моря до Черного... А из заветной березки гитлеровцы мастерят кресты на могилы своих головорезов. Ну не подлость ли?.. Кол бы им осиновый, а не нашу березку!..

К счастью, Николай Африканович не умел долго грустить и нам не давал унывать. Улыбаясь всеми лучиками-морщинками, он поцеловал меня в щеку:

— Это тебе за «Березку»! Ах ты, чудо-юдо пехотное! А теперь вот что, евины дочки, открою секрет: я тоже пишу стихи!

Мы не верили, смеялись, старый доктор побожился и, встав в позу, трагически завыл:

Я выливал стихи из крови
И мог геройски воевать.
Теперь обвисли мои брови
И стали сердце волновать.

Валя Левченко взвизгнула и свалилась со старого пня. Наш неистовый хохот достиг ушей грозного комбата. Товарищ Товгазов явился собственной персоной и, узнав, в чем дело, против ожидания не рассердился — посмеялся вместе с нами.

Незаметно для себя я очень привязалась к доктору Вере и, когда пришел ее черед дежурить на КП дивизии, напросилась ей в помощницы.

Штаб дивизии расположился километрах в пяти от медсанбата, на краю большого болота, что начиналось

от самой деревни Чечилово. Стоянка, видимо, предполагалась кратковременная, так как даже штабное имущество не было снято с машин, стоявших под низкорослыми сосенками. В штабе было неспокойно. Поговаривали о том, что у нас в тылу немец высадил десант с танками и перерезал дорогу Демянск — Лычково. Но толком никто ничего не знал.

Ждали полковника Карапетяна из штаба армии с новостями. Все с нетерпением поглядывали на деревню, откуда должна была появиться его машина.

Было начало октября, но дни стояли сухие и теплые, и только от чечиловского болота тянуло сыростью. Мы с доктором Верой сидели на плащ-палатке под сосной и думали невеселую думу. Нас обеих пугало слово «окружение». Хотелось в медсанбат, к своим. Как-то они там?.. Нам-то что, как-нибудь выберемся налегке, а вот нашим придется худо. Раненых не бросишь, да и материальную часть тоже...

— Может быть, к своим двинем, пока не поздно? — спросила я доктора Веру.

Она поглядела на меня с укоризной:

— Ты же знаешь, что без приказа мы не можем покинуть пост.

Да, без приказа не уйдешь... Разговаривать не хотелось. Мы долго сидели молча.

Из деревни Чечилово, откуда ждали начальника штаба дивизии, вывалились три небольших танка и поползли в нашу сторону. Мы не обратили на них никакого внимания. Танки развернулись поперек дороги и ударили по кромке болота из пушек и пулеметов... Штабники бросились в глубь болота, и мы без памяти понеслись за всеми...

Несколько дней прожили в болоте на подножном корму, бродили по колено в противной чавкающей жиже. Проголодались как следует, и страха поубавилось — стали выходить на сухое место. Командиры посовещались и решили, что надо пробираться к озеру Селигер, повыше местечка Полново, — фронт теперь проходил там, а мы оказались в немецком тылу. Выстроились гуськом друг за другом и шли всю ночь. Благополучно добрались до шоссе Кузнечково — Демянск и тут засели в густом придорожном лесу. К вечеру откуда-то подтянулась крупнокалиберная артиллерия со своими машина-

ми и тягачами. Народу теперь собралось порядочно, в основном — армейские тылы да отдельные бойцы, отставшие от своих полков.

Начались споры о дальнейшем маршруте движения, и конца им не предвиделось. Почему спорят и кричат артиллеристы — понятно: у них кончились снаряды и бензин, как решиться бросить пушки, тягачи и машины? А вот тыловая-то братия чего орет?

— «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...» — задумчиво произнесла доктор Вера и тут же спросила: — Чижик, откуда это?

Я ответила с досадой:

— Все оттуда же! (Этот «Витязь», наверное, всю жизнь будет меня преследовать...)

Настроение было подавленное. Хотелось есть и спать, а в довершение всего зарядил нудный, по-осеннему холодный дождь, и я совсем упала духом. Неужели когда-то я имела надежную крышу над головой, чистую простыню, пододеяльник в голубых цветочках, а главное, бабушку!.. «Что ты раскисла? — кольнула меня совесть. — Одна ты, что ли, в таком положении?» Верно, не одна. Много, очень много сейчас обездоленных людей: ни дома, ни хлеба, ни покоя... Чтоб ты сдох, проклятый фашист!..

— Чижик, что ты там бормочешь, как маленькая колдунья? — окликнула меня доктор Вера.

Я не отозвалась.

Майор Капустин, артиллерист из нашей дивизии, только что выписался из госпиталя и даже пушки свои не успел поглядеть, как оказался в окружении. Он не стал дожидаться окончания споров, а возглавил группу добровольцев и предложил нам с доктором Верой свое покровительство. К ночи мы ушли.

Майор, глуховатый, как многие старые артиллеристы, был умен и осторожен. Он вел нас по таким местам, где наверняка мы не могли встретить не только немца, а и вообще живого существа. Голодать нам почти не приходилось: если мы заходили в глухие лесные деревни, местные жители кормили нас досыта. Но потом леса пошли реже, да и погода испортилась: заладили нудные холодные дожди. Немцы, как запечные тараканы, забивались в тепло, и теперь было небезопасно заходить в населенные пункты.

Мы шли по ночам, а днем отсиживались где-нибудь в лесу и сушили одежду возле дымных костров. От дождя натягивали над костром палатку, дым шел понизу и выедал глаза, одежда не сушилась, а парилась. Многие кашляли так, что глуховатый майор ворчал:

— Перхаете, точно овцы. Тоже мне — воинство...

Теперь, прежде чем зайти в деревню, наш командир посылал нас с доктором Верой на разведку. В одной деревне нам для этой цели пожертвовали по старой ватной кацавейке, по рваной юбке и по половинке головного платка. Все это мы таскали с собой. У доктора Веры были чулки, и она их бережно каждый день зашивала. У меня (под солдатскими брюками) чулок не было, и, чтобы не ходить в разведку с голыми ногами, я надевала под юбку голубые кальсоны, которые нашлись в вещмешке у одного из бойцов.

Собираясь в разведку, мы ловко маскировались под деревенских жительниц. Майор, оглядывая нас, всякий раз удовлетворенно хмыкал:

— Точь-в-точь сестренки-колхозницы...

Он сначала наблюдал за деревней в бинокль с опушки леса, а потом говорил:

— Ну, девочки, айда!

Доктор Вера брала в руки веревку, а я хворостину, и мы уходили ловить нашу неуловимую корову.

Оккупанты тогда еще не были напуганы партизанами и особой бдительности не проявляли. Не было еще ни комендатур, ни полицаев, а в иных местах еще ни разу не показывались немцы. Это был прифронтовой тыл, и движущиеся к фронту вражеские войска в деревнях подолгу не оседали. Поэтому риск в нашей разведке был невелик. Немцы могли нас схватить только в случае прямого предательства со стороны кого-нибудь из местных жителей, но мы в это не верили и «ловили корову» без опаски.

Если немцев в деревне не было, мы стучались в первую попавшуюся избу и откровенно себя называли. Пока хозяйка собирала продовольствие на всю нашу братию, расспрашивали о дороге, закусывали и грелись у русской печки.

Бывало и так, что едва мы, нагруженные мешками с продуктами, выбирались за околицу, как с другой стороны в деревню въезжали немцы. Тут не приходилось

жалеть ног и разбирать дорогу — во весь дух неслись в сторону спасительного леса.

Если в деревне уже были немцы, мы не спеша проходили по улице и первого же встречного мальчишку просили незаметно выйти за околицу. Немцы на меня не обращали никакого внимания, а доктора Веру провожали нахальными взглядами, но ни разу нас не остановили. Миновав деревню, мы садились у канавы «отдыхать» и здесь дожидались нашего завербованного. Мальчишки были готовы притащить не только хлеба, но и связанного живого немца.

Однажды с нами в разведку пошел молодой политрук Саша. Он напялил на себя рваное гражданское пальто. Подходящего головного убора не нашлось, и Саша отправился без оного. Давно немытые и нечесаные Сашины волосы стояли дыбом, и мы дорогой шутили, что политрук похож на дикобраза в состоянии обороны.

В сотне метров от деревни нас встретил конный немецкий разъезд — шесть человек верховых.

— Не останавливайтесь, — шепнул Саша.

Впереди на сытом сером коне с очень коротким хвостом ехал толстый офицер. На угреватом носу немца поблескивали стеклами очки в роговой оправе. Тесня конем политрука, немец на ломаном русском языке стал нас расспрашивать, кто мы такие и куда идем. Мы отлично понимали вопрос, но, не сговариваясь, прикинулись идиотами и, раскрыв рты, глядели прямо немцу в очки.

Верховой спросил:

— Дорф Фатолино?

Тут мы «поняли» и дружно закивали:

— Да, да мы из Ватолино, корову ходили искать!

Доктор Вера показала веревку, потрясла ею перед носом у верхового, а я для вящей убедительности несколько раз промычала.

— Но-но! — закричал немец. — Вэг! [1] — И привязался к Саше: — Зольдат?

Саша, не мигая, глядит немцу в очки и отрицательно трясет головой.

— Комиссар? — Тут немец перегнулся с седла и рванул за воротник Сашино пальто так, что оно затрещало по швам.

---

[1] Прочь *(нем.)*.

«Ну, всё», — подумала я и даже закрыла глаза. Но, к удивлению, не последовало ни крика, ни стрельбы. Зацокали подковы, и Саша меня позвал:

— Чижик, очнись! Пошли. Чего ты так испугалась?

— Я думала, что вы надели пальто прямо на гимнастерку, как мы с доктором...

Политрук весело засмеялся:

— Дурак я, что ли? Старый конспиратор, вон рубаху розовую в полоску надел. Чем не жених? Ох, девчонки, а фашист-то сдрейфил! Как он от веревки отпрянул! Ха-ха-ха!

Доктор Вера сказала:

— Вот что, жених, больше вы с нами не пойдете. Одним нам спокойнее, верно, Чижик?

— Конечно, немцы к нам еще ни разу не приставали.

...Мы сидели в чистой кухоньке и хлебали из большой миски горячие постные щи. Хозяйка поставила на стол ведерный жбан простокваши и сказала:

— Всё съешьте...

Но мы и половины осилить не могли и сидели на лавке осоловевшие, разморенные, борясь со сном. В кухне было тепло и приятно пахло свежеиспеченным хлебом.

Прибежал немец: малорослый, белобрысый, пустоглазый. Ловко схватил с припечка кусок мыла, прямо под носом у хозяйки, и шмыгнул за дверь. Она охнула и выбежала на крыльцо, закричала на всю деревню:

— Ах ты, гад белоглазый! Ворюга германская! Ну попадись ты мне только, огрызок собачий! Я об тебя ухват-то обломаю!

Мы молча тряслись от смеха.

— Последний кусок мыла, змей, уволок! — в сердцах сказала хозяйка, возвратившись в кухню.

— Катя, — обратился к ней политрук, — и не боитесь вы так немцев ругать?

Хозяйка беспечно рассмеялась:

— А что они понимают, бесы немые?

— Небось понимают, что не хвалите.

— Ну и наплевать. Это не эсэсы. Вот тем гадам слова сказать нельзя. Золовку мою застрелили, паразиты, ни за что, ни про что.. — Катя вздохнула и стала складывать в мешок теплые круглые хлебы.

Доктор Вера сказала:

— Катя, вы, кажется, нам весь хлеб отдаете, а сами как же?

— А сейчас еще квашню затворю, мука пока есть.

— Но ведь соседям может показаться странным, что вы дважды в сутки хлеб печете? Могут донести...

Катя улыбнулась:

— Не донесут! У нас таких нет. Все дома красноармейские.

Провожая нас вечером через свой огород, Катя всплакнула:

— Вот и мой мужик да два братана где-то так же маются...

— А вы верите, Катя, что наши придут? — спросила ее доктор Вера.

Катя даже обиделась:

— А как же! Не век же нам под германцем жить!

Прощаясь, мы все трое поцеловали славную Катюшу и пожелали ей дождаться своих фронтовиков живыми и здоровыми.

Было холодно и сыро. Ночи стали такими темными, что, не зная местности, двигаться дальше можно было только днем. Теперь по ночам мы спали. Мы с доктором Верой ломали еловые ветки, стряхивали с них дождевые капли и устраивали постель. На ветки стлали мою шинель, ложились в сапогах и кацавейках, в которых ходили в разведку, и укрывались второй шинелью. С вечера удавалось уснуть — усталость брала свое, но с половины ночи уже никто не спал — приходилось заниматься зарядкой, чтобы согреться. Но это мало помогало. Мы пропитались сыростью насквозь: мокрое до нитки обмундирование, вечно мокрые сапоги... От холода ломило руки и ноги, стучали зубы, и нас трясло как в лихорадке. Некоторые ворчали, что майор не разрешал ночевать в сенных сараях. Они во множестве стояли на луговых низинах. Но мне думалось, майор Капустин был прав. От любого сарая до леса не менее трехсот метров, в случае чего и не добежишь, а ведь только в лесу мы были в безопасности.

Мы шли всё время вправо, оставив в стороне Новую Руссу, и теперь все отчетливее слышали артиллерийскую канонаду. Это вселяло бодрость: значит, наши уже близко.

В глухой лесной деревушке Старые Ладомири мы сделали большой привал: вымылись в бане и отоспались в тепле.

Отдохнувшие, повеселевшие бодро двинулись дальше, и, наконец, вышли к озеру Селигер, вернее, к одному из его многочисленных заливов. Залив был неширок — не более километра. На самом берегу стояла рыбачья деревня: дома добротные, со светелками под высокими крышами, крытыми белой дранкой.

Майор долго смотрел в бинокль на деревню, на ту сторону залива и сказал:

— Думаю, что мы у цели. На той стороне определенно наши. А вот есть ли в деревне немцы — это вопрос.

Он решил, что в разведку должна идти я одна.

— Здесь передовая, и немцы наверняка не такие лопухи, как в тылах. Вдвоем идти опасно: фашисты могут привязаться к доктору, а на девчонку не обратят внимания. Шагай, Чижик, смело, но будь осторожна. Помни, что мы у цели.

Я благополучно добралась до деревни и, никого не встретив, постучалась в окно крайнего дома. Вышел хромой старик и всё мне объяснил. Немцы в деревне не стоят, а только патрулируют на мотоциклах. На той стороне свои, родные, но переправиться не на чем: лодок нет... Их угнали наши на свою сторону...

— И никто туда не переправляется? — спросила я упавшим голосом.

Старик почесал в затылке:

— Как не переправляться! Переплывают, которые из окружения выходят...

— Неужели вплавь? Такой холод...

— Зачем же вплавь? Машут да кричат, вот и присылают лодки с того берега.

...Мы стояли на берегу, кричали во все горло и размахивали руками. День был хоть и холодный, но ясный, противоположный берег виднелся отчетливо, но там не замечалось никакого движения. Наверное, не видели наших сигналов.

Притрусил хромой дед, он приволок длинный тонкий шест и вытащил из кармана белую тряпку. Майор Капустин размахивал белым флагом, а доктор Вера не отрывала глаз от майорского бинокля.

Мы стояли не дыша.

— Отчалили! Отчалили! — вдруг закричала доктор Вера и чмокнула меня в щеку.

Лодки приближались медленно-медленно, и, не дожидаясь, когда они пристанут, мы бросились в воду и мигом разместились на трех рыбачьих баркасах.

Только уселись, послышался слабый шум моторов.

Дед ахнул:

— Немцы! — сорвал с шеста белую тряпку и, припадая на больную ногу, заковылял к своему дому.

Мы не достигли и середины залива, когда над нашими головами запели пули. Я сидела спиной к движению и видела, как десять немецких солдат, стоя у самой воды, стреляли по нашим лодкам из карабинов и автоматов. Но с того берега ударили минометы, и пальба прекратилась.

Ступив на песчаный берег, мы обнимались и кричали «ура». Нас посадили на грузовую машину и долго куда-то везли. А потом заперли в пустом холодном сарае.

Майор Капустин присвистнул:

— Вот так встретили свои!..

Мы с доктором Верой обнялись и заплакали, как маленькие...

На следующий день мы должны были пройти проверку — нечто вроде допроса.

Молодой самоуверенный лейтенант не верил ни одному моему слову и во что бы то ни стало старался (мне или себе) доказать, что мы это не мы и что, шатаясь по немецким тылам, мы непременно продались немецкой разведке!.. От путаных вопросов лейтенанта, от его грубого остроумия я совсем обалдела и вскоре утратила способность что-либо соображать. Убедившись в моем законченном идиотизме, следователь оставил меня в покое и принялся за доктора Веру. Но при первом же упражнении в остроумии получил отпор: доктор Вера топнула ногой и, гневно раздувая крылья короткого носа, назвала остряка мальчишкой. Она категорически отказалась отвечать на его вопросы и потребовала вышестоящего начальника.

Пока лейтенант, обдувая с пера волосинки, думал, как ему быть, вышестоящий пришел сам. Это был высокий и очень худой майор. Вежливый. Доктор Вера предъявила ему свой партийный билет, который она сберегала в сапоге под стелькой завернутым в компрес-

сную бумагу. Майор задал несколько вопросов и отпустил нам все прегрешения.

Нас вымыли в бане, переодели в новое зимнее обмундирование, накормили обедом. Сытые, довольные, мы стояли и смотрели, как посреди широкой деревенской улицы жаркий костер пожирал вместе со вшами обмундирование и барахло, снятое с окруженцев.

На другой день нас отправили в родную дивизию.

Медсанбат стоял в большой деревне Гачки. Машина подвезла нас прямо к штабу. Доктор Вера отправилась на доклад к начальству, а я побрела вдоль деревни разыскивать знакомых.

Возле одного из домов шли танцы под гармошку, с участием деревенских румяных девчат. Незнакомый гармонист наигрывал «Прощай, мой табор», а пары танцевали что-то среднее между танго и фокстротом. Я остановилась на середине улицы и стала глазеть на танцующих.

Вдруг ко мне бросился Зуев. Живой, здоровый, милый Зуев! Он схватил меня в охапку и закричал благим матом:

— Чижик ты мой Пыжик! Где ж тебя носило?

Мы обнимались и целовались к вящему удовольствию танцующих, они смеялись и кричали гармонисту:

— Туш! Давай туш!

Я чуть-чуть не пустила счастливую слезу, не знаю, как и удержалась...

Весь остаток дня Зуев посвятил мне. Привел меня к себе на квартиру (а жил он в том же доме, около которого танцевали) и представил хозяйке:

— Вот он, тетя Нюша, наш военный Чижик! Жив курилка!

И они стали обсуждать, где устроить мне постель.

Хозяйка предложила:

— А что, если постелить на лежанке?

Зуев возразил:

— Коротко там. Чижик, а ведь ты подросла!

Я не знала, подросла я или нет, но намерзлась предостаточно и очень обрадовалась возможности погреть кости на теплой лежанке.

Мы пили чай с топленым молоком, и тетя Нюша все пенки из кринки собрала в мою чашку. Зуев рассказы-

вал новости. Он выходил из окружения вместе со всем медсанбатом. Носатый комбат не ударился в панику и вывел своих подчиненных к линии фронта за неделю. Машины и оборудование бросили, конечно.

— А раненых? — спросила я.

— К счастью, их не было, а то бы мы так легко не выскочили.

— Выскочили бы! — возразила я. — Бросили бы раненых и вышли бы.

Зуев даже чаем поперхнулся:

— Что ты такое мелешь? Как можно бросить раненых?!

— А то, думаешь, я не видела брошенных раненых! Прямо на машинах бросили. Мы с доктором Верой ходили их перевязывать.

— Ну и что вы сделали?

— А что мы могли сделать? Перевязали, напоили да сказали местным женщинам, те обещали спрятать.

Зуев заволновался:

— Нет, бросить раненого! Да за такое... Чижик, кто бросил? Я подам рапорт. Бросить живого человека — это не то что бросить пушку, а ведь и за пушки кому-то придется отвечать. Из какой дивизии?

— А я откуда знаю!

— И тебе не стыдно? Проявить такое равнодушие к ближнему!..

Чувствуя себя виноватой, я молчала.

По дороге отстали от медсанбата Муза и Кира. Вместе с «Антилопой» пропал Кривун. Пропала и Валя Левченко...

— Неужели все они попали в плен?

— Не думаю, — ответил Зуев. — Муза и Кира наверняка пристроились к какому-нибудь госпиталю, им ведь всегда у нас не нравилось. А Валю ее летчик умыкнул. Он приезжал накануне этой заварухи, Валя ушла его провожать, да и не вернулась. А вот про Кривуна ничего не могу сказать. Как ты знаешь, Гришенька храбростью не отличался... Хорошо, хоть Иван Алексеевич в тот момент оказался в медсанбате.

У нас с Зуевым было и личное горе: пропал наш Соколов, наш верный Соколов — частушечник и балагур... Я высказала предположение, что он, может быть, еще придет, но Зуев отрицательно покачал головой:

— Вряд ли... Все давно уже выбрались. Это вас майор Капустин до второго пришествия водил бы, не наткнись вы на озеро.

— Мы шли по карте, — заступилась я за майора.

— По карте-то по карте, а крюку дали верст двести. Ну да ладно. Выбрались благополучно, и на том майору спасибо.

— Не в плену ли наш Соколов?

— Ну да! В другую дивизию, наверное, попал.

— Так его должны к нам переслать!

— Ну и смешная же ты, Чижка!

Дивизия отдыхала и пополнялась. Медсанбат наш формировался почти что заново. Каждый день прибывали новые люди: врачи, сестры, санитары. Зуев вставал ни свет ни заря и отправлялся на ближайший полустанок: он командовал выгрузкой машин и оборудования. Его сменял Леша Иванов. Выгрузка шла днем и ночью. Привезли, наконец, загадочный автоклав, и Зуев мне сказал:

— Николай Африканович ходит по деревне гоголем. Ему не терпится кому-нибудь брюшину вспороть... А сам чуть живой. Простудился наш «папенька» в окружении, да и сердце сдает...

Зуев пропадал целыми днями, иногда даже не ночевал дома. Приходил усталый, голодный, но веселый и, смеясь, говорил, что у него от забот «вся голова в кругах».

Все мы учились, готовились к предстоящим боям. Больной Николай Африканович не сдавался — читал лекции для сестер, фельдшеров и отдельно для молодых врачей, на занятиях чудил, как на работе, и сам же удивлялся, жаловался тете Нюше:

— Зело смешливы евины дочки: палец покажи — захохочут, как русалки...

С санитарами и дружинницами занимались Зуев, Зоя и Наташа. В Гачках было тихо, как в самом глубоком тылу: ни канонады, ни самолетов. Большая деревня жила почти мирной жизнью: люди, имущество, скот — все было на месте, а ведь до фронта не так уж далеко — всего каких-нибудь полсотни километров. Это и радовало и удивляло.

Старый доктор, тяжело вздохнув, сказал мне:

— У нас-то, козочка, тишь да гладь да божья благодать. Повыдохся к чертовой бабушке Гитлер — не хватает силенок гвоздить на всех фронтах, как в начале войны. А вот под Москвой дела наши ой-ё-ёй... Поглядел я вчера на карту... Даже говорить неохота — почти к самым стенам белокаменной подступили фашисты, будь они трижды прокляты! Да и с Ленинградом дела плохи, очень плохи... Софья Борисовна писать перестала. Жива ли?.. И ни Леша Иванов, ни Галочка Григорьева — никто писем не получает... Но ничего, друг мой, перемелется — мука будет. Время работает на нас. Зима на носу, а план Барбароссы тю-тю! Погоди-ка, хохотунья, как начнем мы чехвостить хваленых гитлеровских генералов и в хвост, и в гриву! Любо-дорого будет посмотреть...

Однажды Николай Африканович сказал нам с тетей Нюшей:

— Еду к высокому начальству с визитом. Вызывают в штаб фронта.

Я испугалась:

— Ну, значит, вас от нас заберут!

— Эка незадача, — махнул рукой доктор. — Небось отбрыкаюсь.

Но «отбрыкаться» не удалось: Николай Африканович к нам не вернулся. Его направили в глубинный госпиталь. С дороги мне письмо прислал: «...Прощай, мое милое чудо-юдо! Еду в тыл. Это комбат Товгазов мне такую свинью подложил. Доброхот несчастный: зело печется о моем здоровье... Передай ему, что эту медвежью услугу я не прощу до конца своих дней...» Дальше шли многочисленные приветы и поклоны. Я долго плакала.

Вернулся Зуев и накричал на меня:

— Вот эгоистка! Мало ей нянек! А о «папеньке» ты подумала? С его ли здоровьем и в его ли годы по фронтам мыкаться? Молодец комбат!

А вечером явились новые «няньки», и настроение у меня сразу поднялось. Доктор Вера и Галина Васильевва Григорьева шили мне юбку из лоскута синей материи. Лоскут был явно мал, и они долго ломали голову и нарезали множество бумажных выкроек. Тетя Нюша налаживала для портних свою старенькую зингеровскую машинку. Зуев, по обыкновению, где-то пропадал.

Неожиданно явился комбат Товгазов. Вежливо поздоровался и, кивнув на выкройки, спросил:

— Ателье на досуге открыли?

— Да вот добыл где-то старшина на всех нас один лоскут материи, — ответила доктор Вера. — Думали мы думали, и решили Чижика приодеть, а то она в своих солдатских штанах больше на сорванца похожа, чем на девочку.

— А она и есть сорванец, — улыбнулся комбат, — да еще какой! — Он дернул меня за косичку.

Варкес Нуразович разговаривал с доктором Верой, но то и дело поглядывал на Галину Васильевну, а та краснела и низко наклоняла над шитьем красивую маленькую головку. А что! Такие огромные черные глазищи хоть кого смутят!.. Пользуясь тем, что комбат стоял ко мне спиной, я скроила ему рожу. За «папеньку». Доктор Вера заметила и погрозила мне пальцем.

Когда за комбатом закрылась дверь, из-за ситцевой занавески проворно выкатилась тетя Нюша и очень нас насмешила.

— Ахти лихо-тошно! — в непритворном ужасе всплеснула она руками. — Ну что твой колдун!.. Из каковских же он?

А мы уже привыкли к не совсем обычной внешности комбата и приноровились к его характеру. Товарищ Товгазов был строг, но не мелочен и не придирчив, — с таким командиром жить было можно.

— Э, а комбат-то наш, похоже, втюрился в Галину Васильевну, — сказала я, ни к кому не обращаясь. — Глаза загорелись, как у камышового кота.

— Это что еще за «втюрился»? И что за «камышовый кот»? — строго спросила меня доктор Вера. — Ты что, человеческого языка не знаешь?

— Ну влюбился... Какая разница?

— Чижик, не болтай глупостей! — прикрикнула Галина Васильевна.

Пришел Зуев и тоже на меня напал:

— Совсем от рук отбилась. Ходит по гостям, как поп по приходу. Вчера целый вечер ее искал — с ног сбился. А она забралась к артснабженцам. У нее, видите ли, там плановый концерт! Тоже мне — артистка из погорелого театра! Дерет глотку, а потом хнычет: горло болит... Если так будет продолжаться, придется этому Чижику

прищемить хвост. Того и гляди, влюбится, наломает дров.

— Я ж пока нормальная, — буркнула я, а сама подумала: «Читай нотацию хоть всю ночь. Ходила по гостям и буду ходить».

В середине ноября тяжело груженные машины медсанбата двинулись к фронту. Было очень холодно, дул пронизывающий ветер, небо низвергало что-то противное: не то колючую крупу, не то мелкий дождь пополам со снегом. Я ехала с эваковзводом, Зуев, опасаясь за мое здоровье, устроил меня в кабине. На короткой остановке, пряча в воротник шинели лицо, вдоль колонны прошла доктор Вера с повязкой дежурного по части. На душе у меня сразу потеплело: пока есть доктор Вера, пока живет на земле Зуев, пока рядом такие люди, как доктор Журавлев, ничего плохого не может случиться!..

Въехали в старинный город Торжок и ужаснулись. Город был полностью уничтожен с воздуха: сожжен, взорван, изуродован. Немцы до последнего времени не бомбили прифронтовой городок, и торжане решили, что война их миновала. Они рассуждали так: «А что есть в нашем городе, кроме церквей? Ни заводов, ни военных объектов — для чего же немцам тратить бомбы?»

Темной ноябрьской ночью на беззащитный городок налетели сотни бомбардировщиков и стали не просто бомбить, а методически уничтожать городские постройки — квартал за кварталом. Люди были застигнуты врасплох. Ночной город превратился в море огня, от осколков бомб и под обломками зданий погибло много торжан...

Мы были потрясены. Все молчали, и только Зуев, сняв кубанку, тихо проговорил:

— Ах ты, бедный закройщик из Торжка...

Медсанбат остановился в большой пригородной деревне Голенищево. Усталые, расстроенные, мы улеглись спать, а утром стали устраиваться.

— Ну, Чижик, — сказал мне Зуев. — Похоже, что станем надолго. Дивизия заняла позиционную оборону. Довольно тебе путаться под ногами. Надо придумать, куда тебя пристроить.

Мы хлебали суп из одного котелка, когда пришел комбат. Он, как всегда, был вооружен до зубов.

Зуев заговорил с ним обо мне. Товарищ Товгазов всегда решал сразу:

— В хирургический взвод. Агрегатом заведовать...

«Каким еще агрегатом? — подумала я. — Уж не автоклавом ли?» Делать нечего, — автоклав так автоклав, и я отправилась в хирургию. Там все сверкало белизной: потолок и стены были обтянуты простынями, на окнах поверх светомаскировочных циновок висели марлевые занавески. Посредине стояли два высоких стола, покрытые белыми клеенками.

В операционной никого не было. Я заглянула на кухню. Там на ящике из-под медикаментов перед маленьким зеркальцем сидела Зоя Глазкова. Она расчесывала свои великолепные волосы. В зубах у Зои торчали шпильки. На мое приветствие она кивнула головой и улыбнулась одними глазами. Я поискала агрегат, но ни на кухне, ни в операционной ничего похожего не обнаружила. В сенях на лавке стоял закопченный примус, ведра с водой. В углу направо две пары носилок, налево мешки с ватой и шипами, и все.

— Зоя Михайловна, а где же мой агрегат? — спросила я, не закрывая двери в сени.

Зоя, не вынимая изо рта шпилек, показала пальцем на примус.

— Вы смеетесь! Ведь это же просто примус!

— Ага, примус. Будешь инструменты кипятить...

— Вот, тебе и на... — проговорила я упавшим голосом. — Примус накачивать. Да не буду я! Ну его!

Но военфельдшер Глазкова умела ставить на место не таких чижиков. Зоины глаза стали вдруг очень холодными. Она вскинула узкий подбородок и сложила губы в ироническую усмешку:

— Ты, Чижик, может быть, хирург? Или фельдшер? Нет? Так что же ты хочешь?

Я молчала. А Зоя, ядовито улыбаясь, продолжала:

— Я разрешаю тебе обратиться к комбату и обжаловать его приказ...

«Обратиться к комбату! Нашла дуру!»

Я схватила свой агрегат за тощие ножки и часа два остервенело купала его в тазу. Потом натерла толченым кирпичом, и он засиял, как бабушкин медный самовар.

Что делать? Надо было приступать к обязанностям фронтовой Золушки.

Я дежурила двенадцать часов, а потом целые сутки была свободна. Но во время дежурства, даже если не было раненых, не имела права никуда отлучаться.

Зуев дразнился: «Попался бычок на веревочку»...

Если раненые не поступали, я садилась на табуретку у порога операционной и готовила к стерилизации блестящий металлический барабан — бикс, наполняя его марлевыми тампонами. Если раненых было немного, то тоже ничего: за все дежурство вскипятишь два-три стерилизатора с инструментами да чайник чаю на всю нашу смену, и всё. Но когда на переднем крае начинался очередной «сабантуй», мне приходилось солоно. Проклятый агрегат не хотел гореть нормально: однобокое желтое пламя лениво лизало дно стерилизатора, инструменты долго не вскипали, а Зоя Михайловна торопила:

— Чижик, ты копаешься, как черепаха!

Будто это от меня зависело! Я то и дело прочищала примус иглой, но это мало помогало. Кроме того, он ужасно коптел, отравляя мне жизнь. После каждой смены я стирала свой халат, но всё равно ходила в саже, То и дело кто-нибудь говорил:

— Чижик, поглядись-ка в зеркало...

До зеркала ли тут!

Но вот инструменты наконец вскипали. Я натягивала на рот марлевую маску, брала с примуса стерилизатор, толкала ногой дверь в операционную и ставила стерилизатор на кирпичи. Снимала крышку и пятилась подальше от Наташиного стерильного стола. Пока Наташа Лазутина выбирала из стерилизатора инструменты, я наблюдала за операциями. Работали на двух столах: Александр Семенович Журавлев с доктором Верой и новый доктор Бабаян с доктором Григорьевой. Наташа успевала подавать инструменты на оба стола сразу. Леша Иванов теперь заведовал наркозом, он же и бинтовал. Раненых вносили и выносили два санитара: Власов и Ибрагимов. Общим порядком командовала Зоя Михайловна. На ней же лежали все хозяйственные заботы нашего хирургического взвода. Вот и вся наша смена.

Александр Семенович работает, как всегда, молча. Только изредка бросает слово-другое доктору Вере или Наташе. Когда доктор Журавлев опасается за жизнь раненого или проводит особо сложную операцию, на

острых скулах его перекатываются желваки, а губы выпячиваются вперед, оттопыривая маску.

Доктору Бабаяну всегда жарко — лицо блестит от пота, белый колпак сбит на затылок. Он косит на меня черным глазом и спрашивает:

— Это ты, Тижик, так натопила?

— Нет, это Власов.

С градусником в руке подходит Зоя Михайловна и говорит:

— Температура нормальная.

Доктор Бабаян машет рукой в резиновой перчатке:

— А, нормальная там... Как в банэ...

— «В банэ», — передразнивает его Зоя. — Натопишь тут, как в бане! Черти какие-то жили: на такую хоромину игрушечная печурка. И кухня на отшибе.

— Тижик, будь свидетелем, старшая сестра меня перэдразнивает!

— Ну довольно болтать, Арамчик! — кричит доктор Григорьева. — Проверьте анестезию! Можно начинать?

Арам Карапетович постукивает пальцем по замороженному месту и подмигивает мне:

— Ну, Тижик, рэжем?

— Режьте себе на здоровье... — Я забираю пустой стерилизатор и ухожу из операционной.

— Чижик, стол! — голос Леши Иванова.

Значит, раненого сняли со стола на носилки. Мою стол, смываю кровь раствором сулемы, собираю в тазик грязные инструменты.

— Чижик, шину! — а это уже доктор Вера.

— Чижик, бегом в аптеку — новокаин кончается, — а это Зоя Михайловна.

Санитар Власов тоже просит:

— Товарищ Чижик, помоги-ка, друг сердечный, никак не могу раненого разуть — обмотка захлестнулась...

Иногда я получаю сразу несколько приказаний:

— Чижик, беги за ватой! Быстренько!

— Вата успеет, заправь лампу!

— Чижик, отставить! Обложи-ка сначала раненого грелками — у него шок.

Я с минуту стою на месте, соображая, что же надо сделать раньше.

Доктор Бабаян посмеивается:

— Тижик, ходи сюда — стой на месте!

Зоя сердится:

— Ну что ты мечешься как угорелая? Ведь все равно сразу все не сделаешь! Иди, куда послали. И запомни: ты в моем распоряжении, и только мои приказания для тебя закон! Хоть бы у Лизы Сотниковой поучилась работать...

Лиза Сотникова — моя сменщица. Она-то знает себе цену — лишнего шага не сделает. За это ее не любят санитары.

— Нэ учись, Тижик, у Лизы. Она флегма. Нэ люблю таких...

— Но ведь так можно затыркать девчонку — каждый распоряжается! — возмущается Зоя Михайловна.

— Ничего со мной не станется, — ворчу я.

— Вэрно, Тижик, молодому всё пустяк — час поспал и как умытый. Это вот нам, старикам...

— Беспомощный старикашка Бабаян приступил к седьмой операции... — смеется доктор Вера.

При наплыве раненых к концу смены у меня подкашиваются ноги. Подав очередной стерилизатор, я на минуту опускаюсь на корточки возле самого порога и прислоняюсь спиной к стене...

— Тижик!

Вскакиваю на ноги.

— Храпишь, как Аванэс на канюшнэ... Иди поспи на кухню.

— Не хочу я спать. И не храпела я вовсе. Всё вы выдумываете!

— Вах! Вах! Вах! Всегда виноват бедный Карапэт!

Веселый доктор молчал только тогда, когда «рэзал». А извлекая пули и осколки под местной анастезией, зубоскалил и, как бывало «папенька», грубовато шутил с ранеными:

— Чего вэртишь своим красивым задом! Не поднимайся! Лэжи спокойно.

— Так ведь у вас, доктор, в руках ножик! — упавшим голосом говорил раненый.

— Вах! Это называется ножик! Тижик, что это такое?

— Это медицинский скальпель.

— Слыхал? Убэдился в собственной сэрости? Ну и лэжи. Нэ тряси стол — зарэзать могу...

С санитаром Власовым мы подружились сразу. Был

он уже не молод — молчаливый и всегда грустный. Садясь на скамейку в перерыве, горбил спину и шумно вздыхал:

— Эх, тех-тех-тех-тех...

— Отчего вы всегда скучный, Иван Васильевич? — как-то спросила я его.

Власов страдальчески сморщился и стал потирать правую руку:

— Нет причины-то веселым быть, товарищ Чижик.

— Рука болит?

— Нет, дочка, не рука. Сердце ноет, душа болит...

— Хотите, я принесу вам капель?

— Не вылечат капли мою болячку. Немцы у нас дома. Из-под Новгорода я... Два сына в первый день добровольцами ушли и как в воду канули. Потом меня призвали. Одна хозяйка дома да четверо ребятишек. Как-то они там! Живы ли... Ноет у меня нутро, и сосет, и сосет.

Я ничего не ответила, да и можно ли было найти слова утешения. Я и сама часто думала о доме, о бабушке, о ребятишках, но думы свои поверяла только доктору Вере да Зуеву. Зуев старался перевести разговор на другую тему:

— Ладно, Чижик, мы с тобой мужчины, надо держаться...

Его родные были тоже в оккупации в Молдавии. И доктор Вера ничего не знала о своих близких, хотя куда только не писала. У доктора Григорьевой в осажденном Ленинграде остались мать и сестренка-школьница. Не очень-то много насчитывалось в нашем медсанбате счастливцев, которые могли быть спокойны за судьбу своих близких. Но что толку было жаловаться друг другу, вспоминать и плакать? Мы предпочитали молчать и надеяться...

С другим нашим санитаром Ибрагимовым у меня произошла стычка в первый же день. Он вдруг схватил самый большой стерилизатор и хотел насыпать в него картошку. Я вырвала, но Ибрагимов схватил за другую ручку и потащил к себе, заругался:

— Па-чему не даешь? Варить хочу. Какой шайтан девка!

— Нельзя в нем картошку варить! — кричала я и тянула стерилизатор к себе.

— Можно! — упрямился Ибрагимов.

Власов пытался нас разнять, хлопал руками по тощим бедрам и кудахтал, как большая курица:

— Иса-бей, товарищ Чижик! Да побойтесь вы бога! Господи Иисусе! Иса-бей, да бросьте вы! Вот мой котелок, варите на здоровье!

Котелок у Власова был узкий и не становился на примусные ножки.

— Не нада! Ноги нет, крышка нет! — кричал Ибрагимов.

На шум вышла Зоя Михайловна. Ну и досталось бедному Ибрагимову! С тех пор Иса-бей стерилизаторы больше не трогал, но на меня еще долго сердился.

Комбат Товгазов ввел день политучебы. Занимались все вместе: врачи и рядовые, члены партии и беспартийные. Занятия проводил маленький политрук Лопатин, откомандированный к нам с переднего края из-за какой-то хронической болезни. Не мудрствуя, Лопатин обычно оглашал свежую сводку Информбюро, читал вслух две-три газеты — вот и всё занятие. А потом мы толпились у огромной карты, находили населенные пункты, упомянутые в сводке, спорили и кричали так, что политрук болезненно морщился и затыкал уши.

А сводки становились все тревожнее. События развивались грозно и стремительно. Гитлер отдал свой знаменитый приказ: «Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей Москвой». Пятьдесят одна немецкая дивизия рвалась к Москве. 18 ноября немцы перешли в решительное наступление с четырех сторон: с юга, юго-востока, запада и севера.

Наши войска сопротивлялись с невиданным мужеством, но всё же вынуждены были шаг за шагом отступать, теряя пространство, но выгадывая время. В начале декабря пульс Центрального фронта бился особенно напряженно. Ценою огромнейших потерь противнику удалось захватить дачный посёлок Крюково. Именно отсюда фашисты думали вонзить бронированный кулак прямо в сердце Москвы. В эти дни немцы хвастались на весь мир, что они видят в бинокли самую середину рус-

ской столицы. Гитлер готовился принимать парад на Красной площади.

А мы не верили, что Москва падет! Никто не верил. Но на сердце у каждого из нас было тяжело и тревожно.

На одном из занятий политрук Лопатин бухнул кулаком по столу и тяжко, по-мужски заплакал... Никто из нас не проронил ни слова. Несколько минут стояла такая тишина, что у меня звенело в ушах. Мы понимали и не ставили Лопатину в вину его минутную слабость: болен же человек — нервы сдали... К тому же он коренной москвич. В эти дни мы собирались вечерами в своем клубе-сарае. Какое уж тут веселье!..

Но вскоре всё изменилось.

Однажды, когда я отсыпалась после ночного дежурства, меня разбудила Маша Васильева. Она ворвалась в избу как сумасшедшая, закричала над моим ухом:

— Что ты дрыхнешь, несчастный Чижик! Беги скорее в штаб. Там такое!.. — и убежала.

Я проворно сунула ноги в валенки и понеслась в штаб. Здесь собрался почти весь медсанбат. Ничего не поймешь: кричат «ура», поздравляют друг друга и целуются, а Наташа Лазутина плачет...

Я выхватила из рук политрука Лопатина небольшой листок бумаги и, пробежав его глазами, заорала благим матом:

— Ура! Качать политрука!

Лопатин ахнуть не успел, как оказался в воздухе. Мы не очень-то высоко подбросили его два раза и отпустили с миром.

— Комбата качать! — взвизгнула Катя-парикмахерша.

Но комбат — это не безобидный Лопатин. Он крикнул что-то по-осетински и юркнул в сени. Мы догнали его и уцепились за ремни, перекрещенные на крутой спине. Но качнуть начальство нам так и не удалось. Комбат отбивался весьма энергично и визжал неожиданно тонким бабьим голосом. Посмеялись и успокоились, но мне этого было мало. Радость всё ещё распирала меня, надо было ее на кого-то излить, и я выбежала на улицу. Я носилась вдоль деревни и кричала встречным и поперечным:

— Немцев разгромили под Москвой!

Меня пытались остановить и узнать подробности, но я отмахивалась и неслась дальше. Бегала до тех пор, пока не нарвалась на Зуева. Ни слова не говоря, он расстегнул поясной ремень и погнался за мной. Я юркнула в ближайший проулок и чуть не сбила с ног старшину Горского.

— Что такое? — удивился старшина и, спрятав меня за широкую спину, расстопырил руки.

— Да вот ума хотел вложить, — сказал Зуев. — Бегает раздетая.

— В такой день экзекуция? — старшина лукаво улыбался. — Отложите, товарищ военфельдшер, до другого раза. Тем более, что я получил официальный приказ выдать ради праздника по сто граммов горючего.

Буквально на другой день войска Калининского фронта перешли в наступление. Наша дивизия с боем освободила станцию Панино и всеми полками успешно продвигалась вперед на Ржевском направлении, вдоль линии железной дороги. Немцев выбили из Нелидова, Оленина, взяли несколько десятков мелких населенных пунктов, — наступление развивалось успешно.

Медсанбат снялся и двинулся вслед за наступающими войсками. Мы останавливались на короткое время и, едва развернув операционную, начинали принимать раненых. К ночи обычно снова снимались и ехали вперед, на запад. Мы валились с ног от усталости. Но какие это были радостные дни! Мы наступали! Немцы не просто отходили, а бежали! Панически бежали, бросая технику и военное снаряжение.

Последний бой наша дивизия вела за деревни Дешевку и Штрашевичи. Здесь у фашистов был сильный промежуточный рубеж, — их так и не удалось сбить с господствующих высот. Дивизия снова заняла оборону.

Мы не получали смены почти двое суток, так как наши сменщики работали в дополнительной операционной. Ночью к нам заглянул комбат. Он вымылся, облачился в стерильный халат, занавесил маской нос и хотел подменить доктора Веру, но она не согласилась и тогда комбат отправил отдыхать доктора Григорьеву.

Операции шли всю ночь. Под утро над деревней зловеще загудели самолеты.

— Это немцы, — сказала я, — ишь как хрюкают...

— Чижик, тебе какое дело, кто там хрюкает! — при-

крикнула на меня Зоя. — Иди, держи лампу, Власов проверит маскировку.

Я взяла у Власова керосиновую лампу и встала у операционного стола. Самолеты гудели уже над самой крышей. В операционной было так тихо, что слышалось дыхание каждого из нас. Зоя Михайловна подала Наташе барабан и открыла его. Наташа вытащила из барабана две стерильные простыни: одну подала доктору Вере, другую комбату — это на всякий случай, чтобы было чем прикрыть операционное поле.

Александр Семенович зашивал брюшину. У другого стола доктор Бабаян ощупывал раздробленное колено раненого и, видимо, соображал: «рэзать или не рэзать»...

На деревню будто каменный поток обрушился. Дом несколько раз подпрыгнул и качнулся, посыпались стекла.

— Чижик, не тряси лампу. Я ничего не вижу, — спокойно сказал Александр Семенович.

— Не могу я не трясти, когда пол под ногами ходит!

Тут рвануло с такой силой, что я отлетела к порогу и больно ударилась головой о косяк двери. Лампа вырвалась из рук и покатилась по полу, выплескивая керосин. Еще раз успела перевести дух, как рвануло ещё раз, и Ибрагимов уронил вторую нашу лампу. На полу загорелся керосин. Мы с Власовым кинулись топтать пламя ногами. Зоя нас отстранила и набросила на огонь одеяло. Она зажгла свечку и крикнула:

— Власов, Чижик, бегом, лампы!

Мы заправили лампы и, получив от Зои по новому стеклу, снова заняли свои места.

Самолеты улетели, не нанеся существенного урона. Прибежали комендант и старшина Горский, вместе с санитарами они спешно заменили выбитые стекла фанерой. Операции продолжались.

К вечеру второго дня поток раненых и обмороженных прекратился, но и наши силы уже были на пределе. Комбат так до самого конца и не отходил от операционного стола. Доктор Бабаян сердито на него покрикивал, но Варкес Нуразович ни гу-гу — тут не он был хозяином.

Я вымыла последнюю партию грязных инструментов и поставила на примус наш семейный чайник. Вышел покурить доктор Журавлев. Он сказал:

— Ну, Чижик, кажется шабаш! — Присел на мешок с ватой и вдруг потерял сознание...

Александра Семеновича привели в чувство, и он тут же в холодных сенях заснул мертвым сном — вот уж действительно храпел, как «Аванэс на конюшнэ»... Я прикрыла измученного доктора двумя солдатскими одеялами.

Уходя комбат сказал:

— Всему личному составу хирургического взвода объявляю благодарность в приказе и могу вас поздравить — к нам назначен комиссар.

Мы так устали, что нам было всё равно. Только доктор Вера вяло обронила:

— Ну и что ж! Вам теперь будет легче...

Деятельность нового комиссара началась не совсем обычно. В первый же день он посадил на гауптвахту скромника Лешу Иванова. Комиссар застал его в гостях у Лины-аптекарши и прочитал нотацию. Леша огрызнулся, и комиссар запер его на замок в пустом чулане при штабе, а ключ положил себе в карман. Это было ЧП. Мы и представления не имели о гауптвахте. Мелкие проступки разбирались внутри взводов. За нарушения посерьезнее по-кавказски распекал сам батюшка-комбат да иногда читал мораль политрук Лопатин. Вот и все виды наказаний. Да и не было у нас таких серьезных нарушений, за которые следовало бы сажать под арест. В гости друг к другу и ближайшим соседям нам ходить не возбранялось. От нас требовалось одно: будь на месте, когда ты нужен. Это неписаное правило соблюдать было вовсе нетрудно, потому что в дни затишья действовал строгий график дежурств по сменам, а когда на переднем крае начинался «сабантуй», мы и сами никуда не отлучались — знали, что могут прибыть раненые.

Нашей аптекарше Лине, девушке серьезной и мнительной, казалось, что теперь она опозорена на всю дивизию — ну кто поверит, что Леша читал ей свои стихи! Мы знали Лину и верили ей. Но Лина плакала до самого отбоя, да и ночью, наверное, не осушала глаз, потому что на другое утро Линино лицо было сплошь покрыто красными пятнами.

Леша был на хорошем счету и пользовался авторите-

том у комбата. Узнав о его аресте, комбат рассвирепел, сломал замок и выпустил Лешу. Комиссар снова его арестовал и на сей раз приставил часового.

Комбат бесновался, как Чапаев, топал ногами и пронзительно кричал:

— Моих людей под арест?! Да как он смеет?!

Обычно на нового человека устрашающий внешний вид комбата и его гнев действовали, как ледяной душ, но комиссар Сальников и бровью не повел. Наш народец призадумался...

В тот же вечер около одиннадцати часов раздалась команда:

— Выходи на вечернюю поверку!

Это тоже было новшество. Собирались долго, строились у штаба, в темноте путали взводы. Комбат нервничал и то и дело на кого-нибудь кричал. Наконец построились. Толстый писарь Вася освещал фонариком наши лица и считал нас по пальцам. Он несколько раз сбивался и начинал счет сначала.

Комиссар вдруг выразил неудовольствие.

— Ноев ковчег, а не воинская часть! — сказал он негромко, но так, что услышали все. Луч Васиного фонаря нечаянно скользнул по лицу нового начальства и выхватил из темноты тонкие, плотно сжатые губы.

С этого вечера поверка была узаконена. Она отменялась только в дни наплыва раненых.

Я теперь жила вместе со всеми девушками-сандружинницами: комиссар разлучил нас с Зуевым, — он нашел предосудительным мое пребывание под одной крышей с мужчиной...

В хирургическом взводе над этим откровенно смеялись. Доктор Бабаян меня поддразнивал:

— Значит, твой Зуев мужчина? Скажи на милость!.. А я и нэ знал.

Зуев сказал:

— Чижка, ты не очень-то радуйся: моя родительская длань тебя и на расстоянии достанет...

Мой опекун по обыкновению шутил, но я-то знала, как возмутило его распоряжение комиссара.

Комиссар Сальников был затянут в скрипучие ремни, как строевой конь. Он ежедневно брился, а подворотничок его гимнастерки по белизне мог соперничать со све-

жевыпавшим снегом. Несмотря на холод, комиссар носил не валенки, как мы все, а хромовые щегольские сапожки. Он не курил и, по выражению старшины Горского, пробки не нюхал, питался из солдатского котла, отказался от ординарца и от квартиры, спал прямо в штабе на голой лавке, подложив под голову полевую сумку. По этому поводу Зуев сказал:

— Как бы от стольких добродетелей нам не пришлось плакать...

И верно. С самого первого дня мы начали бояться комиссара, хотя он никогда не повышал голоса: молча ходил из подразделения в подразделение, внимательно ко всему и ко всем присматривался и почти не делал замечаний, но под осуждающим тяжелым взглядом человек вдруг начинал говорить и делать совсем не то.

Старшина Горский возмущался:

— Ну что он стоит над моей душой? Стоит и молчит. Уж если считает меня вором, так и сказал бы прямо. Нет, раз ты комиссар, ты не молчи, а помоги вот мне раздобыть теплые конверты для тяжелораненых... Все ноги обил...

К сожалению, всегда и во всем комиссар оказывался прав. Но нам от этого было не легче. Не любили мы его... В особенности Зуев. Он говорил:

— Сухарь. Черствый сухарь.

Как-то очень поздно во время дежурства я несла из аптеки новокаин и возле штаба встретилась со своим бывшим опекуном. Зуев дежурил по гарнизону. Он сказал:

— Чижка, я тебя подсажу, а ты загляни в окошко, погляди, что делает наш праведник. Может быть, спит, — так я тогда и докладывать не пойду. Душа не лежит.

Маскировочная штора на штабном окошке была задернута неплотно — в левом углу на улицу чуть-чуть пробивался тусклый свет. Я встала Зуеву на согнутое колено и, заглянув в окно, от неожиданности полетела в сугроб. Комиссар плакал!..

Зуев не поверил и, взобравшись на завалинку, сам заглянул в щелку, тихо сказал:

— В самом деле плачет. Фотографию какую-то рассматривает... Ох, Чижка, трудно живется таким людям и другим с ними трудно...

А утром рано комиссар пришел к нам в хирургию: застегнутый на все крючки, сухой и неприступный, точно закованный в броню. Не человек — кремень!

Вскоре Зуев добился перевода в отряд особого назначения. Мой друг собирался почти весело, а я не осушала глаз.

— Зуенька, миленький, не уезжай!

— Не нравится мне, Чижка, такая война. Не мужское это дело. Да и скучно у нас стало. Э, рева-корова! Утри глаза. Ты теперь совсем большая и не так уж во мне нуждаешься.

Провожал Зуева весь медсанбат. Девчата откровенно плакали, а я ревела белугой. Пришла машина, Зуев со всеми перецеловался и поставил ногу на колесо. В это время подошел комбат и комиссар. Зуев низко поклонился комбату:

— Прощайте, Варкес Нуразович! Не поминайте лихом.

Толстые усы комбата дрогнули, он крепко поцеловал Зуева.

Зуев залез в кузов машины, крикнул мне сверху:

— Я напишу при первой же возможности! — и укатил...

С отъездом Зуева в медсанбате поселилась зеленая тоска, не было слышно ни шуток, ни смеха, ни песен. Молодые сестры бродили вялые, как сонные мухи. А у меня работа валилась из рук. Дни не шли, а тянулись медленно-медленно: серые, будничные, безрадостные. Погасил строгий комиссар живинку, так необходимую в солдатском быту...

Я теперь не только не ходила по гостям, «как поп по приходу», но даже не имела возможности выбраться к своим самым закадычным друзьям: в артснабжение и редакцию дивизионной газеты.

Артснабженцы — инженеры, люди пожилые и серьезные, очень меня любили и баловали. В особенности их начальник — майор Воронин. Я ему напоминала умершую до войны дочку, и Иван Сергеевич не раз предлагал меня официально удочерить. Я отшучивалась: «Очень надо, чтоб вы меня пороли ремнем!» Но в принципе иметь такого приемного отца была бы не против. Я пела артснабженцам песни и соколовские частушки — это Зуев и именовал ядовито «плановыми концертами». В

награду, кроме похвал и аплодисментов, получала что-нибудь вкусненькое.

В редакции обитал суматошный веселый народ, и там я тоже чувствовала себя как дома. Газетчики звали меня не Чижиком, а лавреневской Марюткой за то, что я умела рифмовать подписи под карикатурами на гитлеровских генералов. Получалось не всегда удачно, но зато смешно: «Гром гремит, земля трясется: на Москву фашист несется. Артиллерия гремит — от Москвы фашист бежит».

Меня настойчиво приглашали и артснабженцы и газетчики, но я отказывалась: самовольно уйти было немыслимо, а просить разрешения у комиссара духу не хватало. Комбат же Товгазов теперь этим не ведал. Они с комиссаром поделили власть пополам: комбату хозяйство и строевая подготовка, комиссару — вопросы быта и воспитания. Лучше бы наоборот...

У меня теперь часто бывало мрачное настроение. И вдруг приехал начсандив! Я давно не видела милого Ивана Алексеевича и очень обрадовалась.

— Что с тобой, малышок? — ласково спросил он меня? — Похудела, осунулась... Да уж не больна ли ты?

И я заплакала.

Начсандив решил, что мне необходимо проветриться. Он сказал:

— Не хочешь ли прогуляться на передний край?

У меня забилось сердце. У нас частенько кого-нибудь посылали в командировку в полки: уколы делать или что-нибудь проверять, но я на переднем крае не была ни разу. Как-то заикнулась об этом комбату, так еле ноги унесла. А тут сам начсандив предлагает командировку! Ну не чудо ли? Конечно же я согласна! И задание было очень простое: надо было во всех трех батальонах одного полка обследовать источники водоснабжения, посмотреть, что пьют бойцы, и проверить, хлорируется ли вода.

Иван Алексеевич сказал:

— Учти, Чижик, что это очень важно! В полку вспышка брюшняка. Всё проверяли и не раз. А вот на днях опять случай тифа, и всё там же. Гляди внимательно! Это проверка не официальная, а лично для меня. Видишь, как я тебе доверяю?

— Иван Алексеевич! Да я для вас что хотите сделаю! Вот на этом самом животе всю передовую опол-

заю! — Я чмокнула начсандива в круглый полный подбородок.

— Ладно, ладно, подхалимка, — засмеялся Иван Алексеевич — Ишь расхвасталась!

Я додежурила свою смену и стала собираться.

Возмутился доктор Журавлев:

— Кого-кого, а уж Ивана Алексеевича я считал нормальным человеком. Ребенка под огонь посылать!

— Александр Семенович, да какой я ребенок?!

Зоя Михайловна неопределенно пожала плечами:

— Чижика в полк? Странно...

А доктор Бабаян, как всегда, балагурил:

— Тижик, если убьют, домой нэ приходи. Рэзать нэ буду!

Потом я выдержала целое сражение с доктором Верой. Она хотела, чтобы в полк я шла в ватных брюках и валенках, а я надела праздничную юбку и сапоги. Новая юбка всю зиму пролежала в мешке, и теперь мне захотелось щегольнуть. Заступилась Наташа Лазутина.

— Не поставят же Чижика в траншее на пост. Не замерзнет.

И доктор Вера уступила. Она поцеловала меня в щеку:

— Иди, девочка. Только будь осторожна. Честное слово, я тебе завидую. Совсем мы здесь заплесневели...

На другой день к обеду я была уже в полку.

Командир санитарной роты, военврач третьего ранга, неприветливо спросил:

— Что будете проверять?

— С вашего разрешения, колодцы, — важно ответила я.

— А чёрт бы вас побрал, всех проверяющих и контролирующих! — рассердился доктор, но провожатого мне дал.

Надо сказать, что я была разочарована. Я ожидала чего-то необыкновенного, романтического: опасностей, риска, увлекательных происшествий. Ничего такого не случилось. Я шла по тропинке и не чувствовала никакой войны. Лишь изредка впереди, где-то совсем близко, трещали одиночные винтовочные выстрелы, как на учебных занятиях на стрельбище.

Ну и денек выдался в честь моей командировки! Солнышко прямо ослепляет, и где-то высоко-высоко в небе заливается мирный гражданский жаворонок — какое ему дело до войны.

Спотыкаясь на скользкой тропке, я задирала голову вверх, но так и не могла разглядеть беспечного певца.

Дорожка петляла по болотистому мелколесью, изрытому небольшими воронками. Всюду свежевзрытая земля и черный, местами подтаявший снег.

Глядя на вывернутые с корнем карликовые сосенки с длинными голубоватыми иглами, я вдруг вспомнила, что ветками таких болотных сосен бабушка подметала под русской печкой, прежде чем посадить туда хлебы на кленовых листьях. Такой колючий веник назывался помело.

Из далекого детства в памяти вдруг всплыли последние две строчки частушки:

Я схватила помело
Да нарумянила его...

Кого его? Ах да, в частушке говорится о папаше-пьянице, который не разрешает дочери румянить щеки. Гм... Папаша! Я совсем не помню, какое у него было лицо... С самого рождения и до поступления в школу я воспитывалась в деревне — у бабушки с дедушкой. Мать два-три раза в год приезжала меня навестить, а вот отец... что-то не упомню... Зато первое свое знакомство с ним не забуду никогда...

Овдовевшая бабушка привезла меня к родителям в город насовсем. Я сидела под столом и, накручивая на палец длинную бахрому скатерти, пела свою любимую частушку:

Из нагана выстрел дали,
Дролечка заплакала.
По моей белой рубахе
Ала кровь закапала...

Он пришел и вытащил меня из-под стола. Большой, прямоплечий и злой — острые глаза, как буравы... Сам себя спросил: «И в кого она такая некрасивая! Нос курносый, губы сковородником... А это еще что за игра природы? Волосы как лен, а брови смоляные... Гм... Как у белой лошади черный хвост...»

От обиды я заплакала. Бабушка схватила меня в охапку, прижала к теплому животу. «Какая же она некрасивая! Вся в меня, и брови соболиные! Мы, Хоботовы, все чернобровые!» — закричала моя безбровая бабка. В тот же день мы с отцом поссорились. У нас были гости: знакомый инженер с женой, и отец для них играл на скрипке. Услышав что-то знакомое, невыразимо прекрасное, я осмелела и выбралась из-под стола. Немного послушала и вдруг неожиданно для себя громко запела с середины такта:

Судили девушку одну,
Она дитя была годами...

Отец перестал играть, грозно нахмурил широкие брови: «Дура! Это же полонез Огинского! А ты несешь такую пошлятину! Вот скобариха!» — «Не лайся, сам дурак!» — не осталась я в долгу, и родитель пребольно оттаскал меня за ухо... Вскоре он совсем ушел из моей жизни. Исчез, как недобрый сон...

Увлекшись воспоминаниями, я вздохнула так глубоко, что мой провожатый оглянулся. Это был пожилой санитар. Он грустно и пристально на меня поглядел, и его прокуренные, сиво-желтые усы дрогнули в усмешке: точно мысли мои прочитал.

Чтобы скрыть смущение, я спросила, указывая на воронки:

— Значит, не всегда тут так тихо у вас?

Связной поправил на сутулой спине лямку от санитарной сумки и на ходу ответил:

— Когда как... Всё больше по ночам немец ошалевает. Палит из минометов почем зря. Всё болото покорябал. А что есть-то в этом болоте? Пущай себе беса тешит — нам ведь евонных мин не жалко...

Дорожка привела нас в глубокий овраг. Похоже, что по дну лощины протекала речушка: снег там был почище и заметно вспучился.

Командир санитарного взвода первого батальона, молоденький военфельдшер, беспрекословно водил меня от колодца к колодцу. Я наклонялась над очередным водоемом и с видом знатока рассматривала темную воду. Военфельдшер котелком, привязанным к ремешку от планшетки, брал пробу. Я отпивала глоток ледяной воды, а остальное выплескивала на снег. Вода везде была одинаково невкусной и пахла хлоркой и болотом.

К ночи все источники водоснабжения были проверены, а в моей записной книжке появились условные значки — обозначения и приметы колодцев. Я «закинула удочку»:

— Надо бы посмотреть, как живут бойцы на переднем крае... Начсандив говорил...

Фельдшер, не подозревая подвоха, согласился провести меня по обороне, но сначала предложил пообедать и отдохнуть.

Мы возвратились в блиндаж санвзвода, растопили печку-бочку, разогрели суп со ржаными галушками и уселись обедать.

Я в упор рассматривала милого парня. Он был худ, большеглазый, застенчив: краснел, отводил глаза в сторону и подозрительно быстро наелся.

Я сняла мокрые сапоги и портянки, пристроила их к печурке, извинилась и полезла на земляные нары. Уснула почти мгновенно, а проснулась от грохота.

Где-то рядом не то бомбили, не то снаряды рвались. Землянка вздрагивала, с потолка сыпался песок прямо мне на лицо. Отплевываясь, я села на нары и огляделась. Коптила лампа — гильза от мелкокалиберного снаряда, гудела раскаленная докрасна печка. Фельдшер что-то писал за колченогим столиком, по-детски наклонив голову набок.

— Уже ночь? — спросила я.

— Двадцать три ноль-ноль, — ответил он, не глядя на меня.

— Что же вы меня не разбудили?

— А что ночью увидишь? У нас оборона спокойная, мы днем пробежимся.

За пределами санитарного убежища, где-то там наверху, наверное над оврагом, шла нещадная пальба из всех видов стрелкового оружия.

— Это бой? — спросила я.

— Нет. Это просто так. Чтобы не заснуть.

Мина разорвалась у самого входа в землянку. Лампа-гильза заморгала, а дощатая щелястая дверь распахнулась настежь и захлопала-заскрипела на ременных петлях. Хозяин, не вставая с места, протянул руку, схватил дверь за веревочную ручку и посадил бунтовщицу на самодельный крючок.

— Да, у вас очень спокойная оборона, — не без ехидства сказала я.

Фельдшер с улыбкой взглянул на меня из-под пушистых ресниц, но ничего не ответил. Я опять улеглась и проспала до самого утра.

После завтрака мы отправились в поход. Вылезли из оврага наверх и сразу оказались в траншее.

— Главный ход сообщения, — кивнул мне через плечо мой спутник.

Я никакого представления не имела о переднем крае. Вернее, думала, что там палят друг в друга днем и ночью, сходятся врукопашную, бегают и прячутся где попало...

Я была приятно поражена: здесь был полный порядок. Ни дать ни взять — настоящий земляной город каких-то древних поселян. Главная траншея — центральная улица, а от нее к фронту и тылу отходят переулки-тупики. В переулках, ведущих в сторону противника, чего только не понастроено: доты, дзоты, капониры, стрелковые перекрытые ячейки... В тыловых переулочках спрятались под заснеженными крышами жилые блиндажи. Ни сутолоки, ни драки — тишина... Я присвистнула:

— Вот так наворочали! Зарылась матушка-пехота.

— Фор-ти-фикация, — важно пояснил мне фельдшер.

Мой спутник здесь чувствовал свое явное превосходство и довольно толково всё объяснял. Иногда он подавал команду:

— Бегом марш!

И мы бежали там, где ход сообщения прерывался и вместо траншеи была устроена снежная насыпь, замаскированная со стороны противника понатыканными в снег сосенками.

Я всё ожидала чего-то необыкновенного, но нас даже не обстреляли. Я глядела в мальчишеский стриженый затылок своего гида и размышляла на ходу: «Ох, и растяжимое же понятие — «фронт». Сказать: я был на фронте — значит ничего еще не сказать. И где же всё-таки настоящий фронт? Где ему начало и где конец? Медсанбат — фронт, а от передовой восемь — десять километров. Армейский полевой госпиталь тоже фронт, а от него досюда километров двадцать пять — тридцать,

не меньше. А ведь есть и такие фронтовики, что воюют за пятьдесят, а то и за все сто километров от переднего края. Вот наш писарь Вася вернется домой после войны и скажет жене: «Я был на фронте», и она ему поверит, и все поверят. А как же! Ведь упрекает же нас комиссар чуть не каждый день: «Забыли, что вы на фронте?» А мы вовсе и не на фронте, а только около фронта. Вот он где, настоящий-то фронт!..»

В одном месте мы повстречали какое-то начальство: человек семь, и все в белых маскировочных костюмах. Начальство, видимо, прошло высокое, потому что фельдшер вдруг покраснел и, прижавшись спиной к самой стенке траншеи, вытянулся в струнку. Нас, можно сказать, не заметили, и только замыкающий сверкнул на меня цыганскими глазами и удивленно-весело воскликнул:

— Откуда здесь девушка?

— Кто такие? — спросила я своего спутника.

— Новый командир дивизии со свитой.

— Что ж вы мне сразу-то не сказали! Я ведь еще ни разу не видела нашего генерала.

Фельдшер промолчал, а я подумала: «Значит, и генералы бывают на передовой, а я-то думала, что они только издали командуют»...

Часовые и патрули весело с нами здоровались, с любопытством на меня поглядывали и разговаривали с моим спутником.

— Ну как, ребята, все здоровы?

— Так точно. Как колхозные быки!

— По зубам получали?

— Как всегда — два раза.

Тут я не выдержала — любопытство одолело, спросила:

— Кто же вам дал по зубам? Немец?

— Зачем немец? Старшина наш угостил.

— Так он дерется, ваш старшина?!

Окаянные парни глядели на меня, как на дурочку, и хохотали. Фельдшер объяснил:

— Это код такой условный. Значит, люди поели.

— А для кого и для чего нужен такой код?

— Чтобы противник не догадался Немец подключается в нашу телефонную связь и подслушивает.

— Очень интересно немцу знать, поели вы или нет. Подумаешь, какая военная тайна!

— Для противника каждая мелочь представляет интерес, — назидательно сказал фельдшер. — А как же! Поел солдат — значит, боеспособен. Голоден — уже нет того боевого духа...

Мы задержались у пулеметчиков. Они сидели в дзоте на земляных лавках и набивали патронами пулеметные ленты. Сержант Терехов, рослый, с правильными чертами лица — таких на военных плакатах рисуют, — пояснил:

— Сегодня у нас перерасход. Всю ночь фрицы колготились, шумели, железом каким-то брякали. Часть, видно, сменялась, ну мы и устроили им проводы. Вот набьем боекомплект и уляжемся спать.

Дзот большой, с тремя амбразурами, узкий, как танковые щели. Две из них прикрыты изнутри деревянными щитами, в третью тупым рылом глядит станковый пулемет. «Максим» важно стоит на маленьком столе и на его ребристый кожух напялена самая настоящая кальсонина, даже с завязками.

— Чего это вы его в кальсоны вырядили? — спросила я.

Сержант ласково, как живое существо, погладил пулемет по вороненой щеке и сказал:

— Чай, он тоже мужчина, наш «максимка».

Я поглядела через прорезь прицела на мушку пулемета. Черная мушка была нацелена на левый угол колодца с обломанным журавлем. До колодца не более трехсот метров.

— Там немцы? — спросила я.

— Да, там немецкие позиции.

— А чего ж это я ни одного фрица не вижу?

Пулеметчики засмеялись:

— А мы, думаете, их часто видим?

— А как же вы стреляете?

— Как они в нас, так и мы в них. По ориентирам.

— Какая же это война? Ни одного фашиста не убьешь, а если и убьешь, то случайно, не узнаешь об этом.

Пулеметчики, выравнивая о коленки набитые ленты, подталкивали друг друга, перемигивались, пересмеивались и тормошили чернявого крепыша:

— Ну какой ты пулеметчик, Ахмет? Ведь ты ни одного фрица не видишь...

— А если танки на вас пойдут?

— Не пойдут здесь танки — болото перед нами, — пояснил Терехов.

Ну, а если всё-таки пойдут?

Вместо сержанта мне ответил Ахмет. Он проворно выхватил из земляной ниши две зеленые гранаты, величиной с поллитровую банку каждая, и поднес к моему носу:

— Хороший, однако, закуска?

— Ахмет, положи на место! — строго сказал Терехов. — Этак можно напугать человека. Сует прямо в лицо — никакого соображения нет...

Когда мы уже собрались уходить, сержант, улыбаясь, спросил:

— Не хочешь ли из пулемета пострелять?

У меня даже во рту пересохло, но я прикинулась равнодушной:

— Мало ли кому что хочется...

— А хочется, так стреляй на здоровье. Он заряжен. Этот хвостик подними и нажимай на площадку. Ну! Что же ты зажмурилась?

Я всем телом повисла на рукоятках — и стреляла до тех пор, пока кончилась лента. Я стреляла! Из самого настоящего пулемета по настоящим немецким позициям! Эх, видела бы бабка, как ее внучка стреляет по фашистам!..

Надо было уходить, а не хотелось.

Пулеметчики шутили:

— Бросай свою медицину, переходи к нам. Будешь, как Анка, из пулемета строчить.

«Анка с примусом, — грустно подумала я. — Нет, попасть на передовую — несбыточная мечта. Кому пулемет, а кому и примус. Всякая бывает война на фронте...»

Во втором батальоне мне, можно сказать, не повезло. Командир санитарного взвода, грузный и лохматый, поднялся с нар, как медведь. Он глядел на меня без радости: лицо опухшее, глазки заплыли. Я так и не разобрала, старый он или молодой, с похмелья или от неумеренного сна такой...

Медведь-хозяин сунул мне, как лопату, шершавую руку и буркнул свою фамилию. Не разобрала: не то Ду-

бонос, не то Кривонос, переспросить постеснялась. Он равнодушно выслушал меня и молча надел полушубок. Мой новый знакомый ничуть не напоминал своего гостеприимного деликатного соседа. По пути от колодца к колодцу я не слыхала от него ни одного слова, кроме чертыханий, когда он всей тушей проваливался в рыхлый снег.

Разговор пришлось начинать мне: два колодца не были хлорированы.

— Почему? — спросила я Дубоноса или Кривоноса.

— А бес его знает! — равнодушно ответил он. — Я посылал санитара.

«Санитара он посылал, — с неприязнью подумала я.— Небось проверить поленился, дрыхоня».

Мы подозрительно быстро обошли все колодцы. Я спросила с недоверием:

— Как, уже все?

— Вроде бы все, — ответил фельдшер и с подвыванием зевнул.

— Сколько же у вас колодцев?

— А бес их знает! — Опять раздирающий скулы зевок

— Вы что, трое суток не спали?

— Это никакого отношения к колодцам не имеет, — сердито буркнул Дубонос и поспешил со мною распрощаться.

«Ну что ж, так и доложим начсандиву. Пусть присылает кого-нибудь поавторитетнее. Мне с медведем не справиться».

В третьем батальоне меня встретили музыкой. В землянке санитарного взвода было двое: пожилой играл на баяне, сидя на березовом кругляше, а молодой фальшиво, но зато здорово пел:

Черная бровь,
Губы, как кровь,
Счастье сулят нам
И любовь...

Увидев меня, гармонист перестал играть, а певец невыносимо фальшиво рявкнул:

— Иль это сон? Мария, ты ли?

Он захохотал во всё горло и вместо приветствия спросил:

— Как вам нравится мой голос?

— Ничего. Немцы, наверное, слышат, — ответила я и подумала: «Еще один чудик».

— Я и громче могу. Будем знакомы. Военфельдшер Кузьма Азимов. А это мой штатный аккомпаниатор санитар Иван Грязнов.

Пожилой баянист молча поклонился, не сгибая забинтованную шею. Я подала им по очереди руку:

— Чижик.

У Кузьмы Азимова веселые глаза и большой улыбчивый рот. Здесь были свои порядки. Азимов сказал, что для осмотра водоемов надо получить разрешение командования батальона.

— А в других батальонах не спрашивали никакого разрешения, — возразила я.

Вместо ответа веселый фельдшер пропел:

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Саратове...

— Всё равно сегодня поздно проверять, да и в батальоне никого из начальства нет — все в штабе полка на совещании. Ужинайте и спать.

Что мне оставалось делать? В гостях — не дома.

Утром Грязнов принес кашу и чай, и мы поели.

— Ну, потопали, — сказал Азимов. — Разрешаю тебе звать меня Кузей. Имечко что надо! Терпеть не могу выкаться и чинодральничать. Договорились?

Едва вышли из землянки, Кузя рявкнул песню во всю мочь легких.

Как только отзвенела последняя фальшивая нота первого куплета, завыли мины. Они разорвали в клочки окружающий воздух, опалили нас жаром, оглушили, забросали комьями грязного снега. Кузя схватил меня за поясной ремень и, как на буксире, потащил обратно в землянку.

Я сидела на земляном полу и ловила открытым ртом воздух — так быстро мы бежали.

— Испугалась? — спросил Грязнов.

— Не знаю, не успела разобрать.

Кузя захохотал:

— Ах, гадский фриц! Ни черта в музыке не разбирается. Петь не дает!

— Неужели это били по нас?

— По нас, конечно. Проверено: как запою, так и лупит.

— Когда «Катюшу» исполняете — не бьет, — сказал Грязнов.

«Исполняет он! Ревет, как бык...» — усмехнулась я.

— Вот сейчас пойдем, так «Катюшу» спою.

— Ради бога, не надо! — испугалась я. — Как-нибудь в другой раз.

Кузя пожал плечами:

— Не надо так не надо. Другой бы спорил, а я буду молчать.

Но молчать Кузя не умел. Он был весь как на пружинах: всю дорогу приплясывал, мотая лобастой головой и выворачивая ноги пятками наружу, напевал веселую чепуховину:

Моя милка чучело,
Какое-то чумичело...

Солдаты посмеивались, глядя на чудака-фельдшера. Один из них остановил Кузю и стал жаловаться на колотье в боку. Кузя указал пальцем на две тоненькие березки впереди и сказал мне:

— Там штаб батальона, ковыляй, Чижичек, потихонечку, я догоню.

День опять обещал быть славным. Солнышко выкатилось из-за пухлых облаков и засияло совсем по-весеннему.

По оврагу бродили бойцы. Они здоровались со мной, как со старой знакомой, и задавали вопросы:

— Далеко собралась, сестренка?

— К нам на уколы?

Я молча со всеми раскланивалась и не ковыляла, а летела как на крыльях — спешила к двум тоненьким фронтовым березкам, как будто там меня ждало счастье.

Я беспричинно улыбалась весне, солнцу, незнакомым бойцам. Дышала полной грудью, волновалась — всем своим существом предчувствовала, что со мною должно произойти что-то необыкновенное.

И чудо случилось: я увидела парня в распахнутой ватной телогрейке. Он стоял на краю оврага, у самой крыши землянки, задняя стенка которой врезалась в крутой склон.

Он был весь пронизан солнцем, этот незнакомый парень-богатырь, шапку держал в руках, а ветерок ласково теребил его густые темно-русые волосы. Красив? Нет, это не то слово, и не красота незнакомца меня поразила, тем более что я даже не видела его лица. Сама не знаю, почему я вдруг так заволновалась: остановилась как вкопанная и, задрав голову, смотрела на него снизу вверх, боясь перевести дыхание, точно видение могло исчезнуть...

У меня запершило в горле, и я кашлянула. Парень резко оглянулся и спрыгнул вниз. Мы молча друг друга разглядывали.

Выше среднего роста, складный, черты лица приятные: широкий гладкий лоб, темные брови вразлет и серо-синие внимательные глаза. Левый уголок рта незнакомца дрогнул в усмешке. Совсем мальчишеская усмешка: трогательная и какая-то виноватая, точно он в чем-то передо мною молча извинялся. Славный какой! И какая знакомая усмешка!..

И вдруг я вспомнила: это же его портрет, вырезанный из фронтовой газеты, висит в нашем девичьем общежитии над столом! Кто-то из девчат вместе с текстом статьи отрезал подпись под портретом, и мы не знали, кто этот видный парень в белом полушубке. На листке бумаги я в шутку написала: «Это мой жених!» И пришпилила бумажку пониже портрета. Комиссар Сальников шутки не понял и бумажку мою со стены содрал, но портрет не тронул...

Молчание слишком затянулось. Я почувствовала, что краснею, и первая опустила глаза. Выручил подошедший Кузя. Он сказал:

— Товарищ комбат, это Чижик из санбата, она к нам по делу.

— Капитан Федоренко, — представился мне комбат и жестом хозяина пригласил в землянку.

Федоренко... Федоренко... Постой, постой... Ах, Федоренко! Легендарный молодой комбат! Так вот это, оказывается, кто! Это его считали погибшим в Латвии, а он вдруг воскрес: вырвался из самого пекла, да не один, а во главе роты смельчаков и даже с двумя пленными немецкими офицерами. Мне об этом еще Зуев рассказывал... Это капитан Федоренко быстрее всех в дивизии вывел свой батальон из Демянского окружения, и не

как-нибудь, а в полном составе, со всем оружием. Это его в числе самых первых в дивизии представили к ордену. Интересно: получил или нет?..

Мне вдруг стало грустно, я подумала: «Он комбат да еще герой, а ты кто?» Настроение испортилось, точно меня в чем-то жестоко обманули...

В землянке были двое: комиссар батальона — старший политрук Белоусов и начальник штаба — Алексей Карпов.

Рыжий комиссар, нахмурив белые брови, разглядывал меня довольно сердито. Потом его лицо вдруг расплылось в широкой улыбке, и он сказал:

— Братцы, так ведь это же Чижик. Она и есть.

Я пригляделась к комиссару, но никак не могла вспомнить, где мы с ним встречались. Мысли были заняты другим. Я ни разу не взглянула в сторону комбата, но все время думала о нем.

— Чижик, разве ты не помнишь, как меня перевязывала? — откуда-то издалека доходил до меня голос комиссара. — Я тогда еще тебе книгу подарил — «Витязь в тигровой шкуре», где-то под Старой Руссой подобрал. Этакий роскошный переплет! Помнишь?

Еще бы не помнить! Царевна Тинатина всю жизнь у меня в печенках сидит!.. В самом начале войны комиссар Белоусов был ранен в ногу и ни за что не хотел в госпиталь. С неделю ездил с нами на «Антилопе» — и вылечился.

Комиссар продолжал:

— А я, Чижик, было расстроился, увидев тебя. Ну, думаю, опять какую-то Еву-искусительницу прислали по наши души. Будь на то моя воля, я бы вашего брата и близко к передовой не подпускал — грех от вас один и беспорядок. Чего смеешься? Не веришь? Даю слово. Вот хоть у Кузи спроси. Тут одна по осени приходила, так он из-за нее чуть на дуэль Карпова не вызвал. Я тогда даже начсандиву звонил, чтобы не присылали к нам представительниц лукавого пола. До сих пор бог миловал.

— А я вот пришла.

— Ты не в счет, ты же малолетняя. Ведь не будешь же ты нас совращать?

Рыжий комиссар, сам того не подозревая, вернул мне хорошее настроение.

— А это как сказать, — насмешливо посмотрела я

на него. — Дело не в возрасте, да и не такая уж я безобидная, как кажусь.

Комиссар и Карпов засмеялись. Кузя дурашливо закричал:

— Полундра! — завалился на нары и в полном восторге замахал в воздухе короткими ногами.

— Эк тебя разбирает! Чего дурачишься? — прикрикнул на него комиссар.

Один только Федоренко не смеялся. Глядел на меня внимательно и чуть-чуть улыбался левым уголком рта.

— Ладно, Чижик, уж так и быть, совращай вот этих двух отпетых, — комиссар показал пальцем на Кузю и Карпова, — они будут только рады. Такие проходимцы — пробы ставить негде! А вот комбата, прошу, не трогай. Не порти мне скромного парня. Ведь как-никак на его руках батальон...

Комбат поймал мой взгляд и усмехнулся. Кузя проворчал:

— Не развешивай, Чижик, уши. В тихом болоте всегда черти водятся.

Я подумала: «Пожалуй, что так. Комиссар, конечно, шутит».

— Чижик, пошли—потопали, — позвал меня Кузя, — колодцев много, дай бог к вечеру справиться.

— Чижик, мы не прощаемся, — сказал комиссар, — ты ведь еще зайдешь?

— Да, я должна вас информировать о состоянии водоемов в батальоне.

«Должна! А в первых двух батальонах не была должна!» — укорила меня совесть. Но что же делать, если так хочется еще раз увидеть его, а благовидный предлог один...

Кузя, видимо, решил поберечь голос, не пел, так что мы благополучно обошли все колодцы. Вот так Кузя-весельчак! Поет и пляшет, а дело знает — все захлорировано. Попробуй придерись!

Уже в сумерках мы возвратились на КП батальона. Комиссар, комбат и Карпов, полулежа на нарах, застланных плащ-палатками, собирались то ли ужинать, то ли обедать — на передовой и не разберешь. Молодой солдат наливал из термоса в котелки какое-то густое варево. Вкусно запахло лавровым листом и разварной тушенкой.

Комиссар сказал:

— Гостям честь и место. Ну-ка, подвиньтесь.

Мы с Кузей сбросили обувь и тоже залезли на нары. Кузя устроился полулежа, а я уселась по-турецки, старательно натянув на колени свою праздничную юбку. Почему-то подумала: «Как хорошо, что я не послушалась доктора Веру и сняла ватные брюки. Ну на кого бы я была сейчас похожа!..»

Оглядев своих сотрапезников, пошутила:

— Вы как римские патриции на пиру.

— Только венков не хватает, — откликнулся комбат.

— И рвотных перьев, — добавил Кузя.

Комиссар строго на него поглядел:

— Нашему Кузьме зачастую мешает полуинтеллигентное воспитание! Брякнет так уж брякнет — хоть стой, хоть падай... Чижик, а ты усы не раздувай — водки не получишь. Малолетних не спаиваем.

Я возмутилась:

— У нас в медсанбате пьяниц нет! А вот вы по какому случаю собираетесь напиться? Праздник сегодня, что ли?

— Напиться! — буркнул Кузя. — Да от такой порции и воробей не окосеет...

Комиссар, разливая водку из фляги в маленькие латунные стаканчики, тоже возразил мне:

— Какая же это пьянка? Законные фронтовые сто граммов на брата. Не пропадать же добру...

— Значит, по привычке хлещете? — съехидничала я.

— Ох! — Карпов затрясся в приступе беззвучного смеха и, опрокинув стаканчик на плащ-палатку, заворчал: — Противная девчонка!.. Всё до капли пролил...

— Поделитесь с начальником штаба, — посмотрела я на Кузю, — а то он заплачет от огорчения...

— Птичка-невеличка, а язычок с аршин, — покачал головой Карпов.

— Другой бы спорил, — пожал плечами Кузя, — а я всегда пожалуйста. — И поделил свою порцию пополам. И комбат добавил. Стаканчик Карпова оказался полным до краев.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — усмехнулся комиссар. — А теперь, Чижик, тихо. Довольно людей смешить. За столом должен быть порядок. Да и есть охота.

Полужидкое варево из гречневой крупы, консервов и сушеного лука было сильно наперчено, попахивало дымком, но ели все с завидным аппетитом.

— Как вкусно! — сказала я. — А у нас в медсанбате все одно и то же. На первое суп с галушками, на второе — каша.

— Вот оно где у меня это дежурное меню застряло, — комиссар провел ребром ладони по горлу. — И сегодня бы давились галушками, если бы не я. Лодыри, — указал он на своих сотрапезников, — лучше весь день на нарах проваляются, чем для себя что-нибудь сделают. Это я пошел в хозвзвод да из тех же продуктов организовал эту похлебку.

— Значит, вы их плохо воспитываете, — сказала я, — надо с ними строже.

— Ну, братцы, держись! Комиссар себе союзника приобрел, — засмеялся Карпов.

Комиссар укоризненно на него поглядел:

— Вот полюбуйся, Чижик. Никакой серьезности. Хлебом не корми, дай посмеяться. Как соберутся они с Кузей вдвоем, хоть из дому беги. Ни тебе солидности, ни приятного разговора. «Хи-хи-хи» да «ха-ха-ха»! — только и дела. Они и комбата испортили бы, кабы не я. — Голос комиссара был сердитый, а маленькие голубые глаза смеялись.

Когда опорожнили котелки, комиссар Белоусов сказал:

— Ну, дети мои, делу — время, потехе — час. Я пошел в роты. Ты, Михаил, как? — обратился он к комбату.

— Я с одиннадцати буду на правом, Алексей на левом. Комсорг из политотдела вернется — в центр пойдет.

— Ох, глядите, ребятушки! В оба надо глядеть. Немец части заменил. Вся система огня новая, идешь и не знаешь, откуда ударит...

— Не волнуйся, комиссар, — успокоил его комбат, — все будет в порядке, не в первый раз.

Вот тебе и еще один комиссар. Конечно, не Фурманов, но зато и не Сальников. Человек. Шутник и весельчак, а ведь уважают, это же сразу видно.

— Чижик, ты оставайся у нас ночевать, — сказал комиссар, засовывая за ремень две рубчатые гранаты, — нечего по ночам бродить, еще подобьют, как на грех,

или ногу сломаешь. У нас тут все кругом изрыто. Да и Кузе доверять нельзя. Он позовет своего Грязнова и запоет тебя до обморока. Такие случаи уже бывали.

— Не слушай, Чижик, пошли! — Кузя подал мне шинель.

— Скажи-ка, не нравится, — улыбнулся комиссар. — Ну, я на оборону, друзья мои.

Карпов показал Кузе кукиш:

— Видал? Чижик останется у нас. Ишь хитрый Митрий, — как какая девушка появится — всё к нему, а мы что, не люди?

— Чижик, ты к кому в командировку пришла? К ним или ко мне? — кипятился Кузя.

Я стояла в нерешительности: и Кузю не хотелось обидеть, и уходить было жаль.

Комбат сказал:

— Останьтесь, пожалуйста! Не уходите.

Этого я и ждала.

— Вольному воля, а пьяному рай, — буркнул разобиженный Кузя и ушел.

— Вы не знали раньше нашего Азимова? — спросил меня комбат. — Замечательный парень. А видели бы вы его в бою! Это не фельдшер, а природный военачальник. Я ему роту стрелковую предлагал, да ваше медицинское начальство не согласилось.

— Чем бы это заняться до одиннадцати? — вопросительно поглядел на меня Карпов.

— Давай, Леша, уточним новую схему огня, — предложил комбат.

— Гостеприимный хозяин, нечего сказать, — усмехнулся Карпов. — Да и что там уточнять, когда еще ничего не ясно. Вот сегодня еще раз понаблюдаем, донесения сопоставим, а потом уточним. Согласен?

— Пусть будет так, — кивнул комбат. — В карты что ли, сыграть?

— Можно и в карты, — согласился Карпов. — Только я сначала Тане позвоню — надо соблюсти ритуал. — Он стал накручивать ручку полевого телефона.

— Кто это Таня? — спросила я у комбата.

— Фельдшер. Командир санитарного взвода соседнего полка.

— Разве в нашей дивизии есть девушка на передовой?

— Пожалуй, одна только Таня.

Карпов тем временем ругался с телефонистами и называл условные позывные.

Комбат взял меня за руку:

— Слушайте внимательно, представление будет коротким.

Карпов, наконец, прорвался к Тане. Лицо его вдруг стало глупым, сладчайшая улыбка растянула рот до ушей, голубые глаза стали маленькими-маленькими. Он спросил умильным голосом:

— Это вы, Татьяна Ивановна? Добрый вечер, добрый вечер, дорогая! Это Карпов. Да. Леша. Да вот мы с комбатом...

— Меня-то зачем приплел? — недовольно пробурчал комбат. Карпов погрозил ему пальцем и продолжал вкрадчиво:

— Ах, какая скука! Если бы вы... Что? — Он повернулся к нам: — Сеанс окончен. — Положил на место трубку и захохотал: — Ах эта чертовка Таня! Бес, а не девка. Положи, говорит, болван, трубку да пробежись со своим комбатом разок другой по обороне, вот блажь и пройдет... Так и сказала!

— Правильно сделала, — улыбнулся комбат. — Татьяна Ивановна молодец. Ну, сдавай, что ли!

Карты были истрепанные, и, плохо разбирая масти, я проигрывала. Комбат подсказывал, Карпов злился и ворчал:

— Ну что играть с дураками? Давайте лучше поболтаем.

Мы болтали с Карповым, как два давнишних приятеля, хохотали и дурачились. Я рассказывала о наших девчатах, о комиссаре Сальникове — смешила Лешку, а он меня. Комбат молчал, украдкой поглядывал на меня и улыбался своей загадочной улыбкой.

Около одиннадцати комбат и Карпов стали собираться на оборону.

— А вы ложитесь спать, — сказал мне комбат. — Ничего не бойтесь. Тут будет дежурный телефонист. Ванюшка, позови сюда Чалого. Пусть переключит аппарат на нас, — приказал он ординарцу.

Но спать мне не хотелось. В землянке было жарко и душно. Большая печка-бочка раскалилась докрасна.

Мне захотелось подышать свежим воздухом, и я вышла из блиндажа.

Ночь темным-темна. Влажные облака висят над самой головой. Попахивает пороховыми газами. Отчетливо доносится ожесточенная перестрелка. В общем хаосе звуков ухо улавливает знакомое: вот рвут тугую парусину темноты ружейные нестройные залпы; а это басит «максим». «Чук-тюк! Чук-тюк!» — хлещет короткими очередями автомат. Злобно заливаются пулеметы МГ — длинную строчку ведут немецкие «портные» — шьют саваны про запас...

И что-то всё время вспыхивает там, на верху оврага. Призрачный мертвенный свет выхватывает из темноты отдельные предметы: белый ствол березки, крышу блиндажа, глубокое, как колодец, дно оврага.

— Где вы тут? — это меня окликнул вышедший из землянки комбат.

Я промолчала, и он опять позвал:

— Идите сюда, здесь не только слышно, но и видно.

Он взял меня за руку, и мы выбрались на кромку оврага, туда, где он стоял утром. Я взглянула в сторону передовой и ахнула:

— Вот так иллюминация!

Цветные ракеты вспыхивали непрерывно, расцвечивая в фантастические тона снежное запорошенное поле. Справа что-то сверкало, рассыпая во все стороны яркие искры, наподобие бенгальского огня. Вот снова взвилась целая серия красных ракет, потом зеленых.

— Немцы забавляются, — сказал комбат. — Жарят цветными без разбора. Они это любят. Видно, так ночь короче кажется.

— И наши забавляются?

— Нет. Наши освещают позиции, чтоб фашисты незаметно не подобрались. А цветные ракеты у нас только для определенных сигналов, иначе будет путаница.

— А что это за огоньки? Как их много!

— Это трассирующие пули.

— Так это они так отвратительно гнусавят?

— Да. Это старуха безносая поет.

Мы немного помолчали. Потом я спросила:

— Страшно вам здесь?

Он засмеялся:

— Да нет, не очень... Привычка.

Спускаясь, я споткнулась в темноте и вдруг оказалась у него на руках. Так и донес он меня до землянки, осторожно опустил у входа и, не сказав ни слова, ушел.

Я забралась на нары, укрылась чьей-то шубой. Наверное, не заснуть. Он ушел, а я всё еще вижу его отчетливо, так ясно слышу его голос... Вот так попала на передовую! Голова кру́гом...

В углу за маленьким столом чернобровый телефонист, мешая русские слова с украинскими, вел телефонный разговор. «Это, наверное, и есть Чалый», — подумала я и невольно прислушалась.

— Урал? Я Гора. Слухай: три карандаша сломались. Простые. Один можно заточить. Два узяв землемер, и труба сломалась. Яка труба? С граммофону. Жука? Не треба. Совсем не грае. Двадцать пьятого нема. Двадцатого тоже и восемнадцатый за́раз на свадьбе. Самоцвет! Самоцвет! Який я тоби Чалый? Я Гора. Хиба ж не знаешь?..

«Опять этот код», — подумала я, да так и заснула под мелодичный говорок телефониста.

Проснулась я от артиллерийского обстрела. На верху оврага, где-то над самым перекрытием блиндажа, снаряды сотрясали землю. За жердьевой обшивкой стен, как что-то живое, шурша, сползал песок.

Услышала встревоженный голос комбата:

— Новая батарея!

— Да нет, это всё та же, из Дешевки, — сонно отозвался Карпов.

— А я тебе говорю, что новая! И бьет прямо по Зернову. Не веришь? А ну, айда — поглядим. — Две пары ног протопали мимо нар.

Артналет давно кончился, а комбат с Карповым все не возвращались. Было тихо, так тихо, как бывает в деревне перед самым рассветом. Только часовой покашливал на улице, да в противоположном углу нар кто-то носом выводил заливистые трели. Я приподнялась и увидела рыжий затылок комиссара. Слышалось равномерное «пых-пых-пых» — это лампа-гильза высасывала длинным фителем последние капли бензина. Я подумала: «Значит, уже утро». Спать больше не хотелось. Хлопнула входная дверь, и опять послышался негромкий голос комбата:

— Теперь эта сволочь покоя не даст. Надо связаться с Решетовым. Они, наверно, засекли. Звони Зернову: всё ли у них благополучно? Я отмечу по карте.

Два друга спорили вполголоса, шуршали картой и по очереди разговаривали по телефону. Я лежала не шевелясь и думала: «Вот у Карпова совсем не такой голос...»

— Ну, задымил! Убирайся. Комиссар проснется, он тебе задаст.

— И за́ какие только грехи я попал в такую поганую компанию! — заворчал Карпов, направляясь к выходу. — Напиться нельзя, выругаться нельзя, влюбиться тоже нельзя! Даже покурить всласть не дают! Настоящий монастырь! Тьфу!

— Двадцатого требуют. — Чалый передал комбату трубку.

— Двадцатый отдыхает, — тихо сказал в трубку комбат, — только что лег.

Вернулся Карпов. Спросил:

— Что это ты делаешь?

Комбат ответил шепотом:

— Понимаешь, у нее гвоздь в сапоге, под самой пяткой. Хочу вытащить и не могу зацепить.

— Загони его внутрь. Пристукни гранатой. Очумел совсем, парень! Запал-то вытащи...

Комбат засмеялся и опять шепотом:

— Леш, сапоги!.. Кошачьи лапки...

— У них всё кошачье, — буркнул Карпов, — только язык с вожжину длиной. Попробуй женись — визг с утра до отбоя. Знаю я ихнюю породу.

— Откуда ж такой горький опыт? Ведь ты пока не женат?

— На чужое счастье насмотрелся досыта. Век не женюсь.

Проснулся комиссар. Сел на нарах, потирая со сна лицо, заворчал:

— И что ты, Алексей, за человек? Не успеешь глаза закрыть, как он: «бу-бу-бу!» Времени тебе для разговоров не хватает, что ли? Ни черта из-за тебя не выспался.

— Так поспи еще, — сказал комбат, — мы больше не будем разговаривать.

— Нет уж, раз проснулся, теперь шабаш, хоть глаза выколи — не заснуть. Ложитесь сами. Я подежурю.

Комбат и Карпов выспались скоро. В одиннадцать все уже завтракали.

Пришел Кузя. Я заикнулась было насчет передовой, но он меня поддел:

— А у нас в траншее колодцев нет.

— Нечего тебе там делать, — решил комиссар.

Нечего так нечего, во всяком случае представление о передовой я теперь имела. Стала собираться домой. Меня отговаривали в четыре голоса: просили погостить еще денек. Но мне было пора: нельзя злоупотреблять добротой начсандива, да и комиссар Сальников мое опоздание расценит как лишнее доказательство недисциплинированности.

— Чижик, ты что задумалась? — спросил комиссар. — Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. За своего парня просватаем.

Я не отозвалась на шутку и стала прощаться.

Провожали меня Кузя и комбат. У поворота в землянку санитарного взвода Кузя раскланялся и протянул мне руку лодочкой.

— Куда же вы? Ведь обещали проводить! — голос мой был фальшив, как Кузино пение.

Кузя поглядел на меня насмешливо и, уже отойдя на несколько шагов, запел:

Вот и кончилось наше свиданье.
Дорогая, простимся с тобой!
Ты скажи мне свои пожеланья, —
Я вступаю в решительный бой...

На сей раз мне было не смешно, хоть Кузя фальшивил больше обычного.

Мы шли молча. Перебираясь через большую воронку, комбат подал мне руку и не отпускал мои пальцы до самого конца пути. А меня вдруг сковала робость, так не свойственная моему характеру. Язык был точно деревянный, и во рту пересохло. Я злилась и на себя и на него: «Ну а он-то чего молчит как в рот воды набрал? Тоже мне герой!..»

Возле расположения санитарной роты полка остановились. Дальше дорога шла прямо в тыл, провожатого тут не требовалось. Я сказала:

— Прощайте! — и выдернула руку из его теплой ладони.

Он посмотрел мне прямо в глаза. Усмехнулся. Вздохнул. Так и не сказал ни единого слова. Молча пошел прочь. «Вот и всё, — подумала я, — может, больше никогда не увидимся...» И неожиданно для себя заплакала.

Он отошел уже довольно далеко, но вдруг обернулся, увидел, что я стою на том же месте, и побежал назад.

Я шарила по карманам шинели и не находила носового платка. Силилась улыбнуться и не могла.

— Ты плачешь? — Он подхватил меня на руки. Смеясь, говорил что-то несуразное, а я только и поняла, что у меня губы соленые. Наверное, от слез...

— Пусти. Увидят...

— Пусть видят, — сказал он, но поставил меня на ноги. Еще раз поцеловал и ушел. Уже издали крикнул: — Я напишу тебе! — несколько раз обернулся, помахал шапкой.

Проваливаясь по пояс в снег, я забрела в глубь лесочка, уселась на поваленную снарядом сосну и всласть наплакалась.

Возвратясь в медсанбат, я первым делом написала отчет и сдала его на пункт сбора донесений для передачи Ивану Алексеевичу. Потом сняла со стены газетную фотографию Федоренко и спрятала в записную книжку, в левый карман гимнастерки. Вечером Катя-парикмахерша возмущенно сказала:

— Девчонки, а ведь комиссар-то всё-таки содрал нашего героя!

Я промолчала, только улыбнулась про себя: «Не всё вам иметь тайны. Есть и у меня теперь свой секрет».

На другой день утром состоялся разговор с доктором Верой. Раненых не было, и из врачей дежурила только она.

— Доктор, вы не знаете такого капитана Федоренко? — заливаясь румянцем, спросила я.

— Комбата? Знаю. Видела несколько раз в штабе дивизии на партийном собрании.

— Он вам понравился?

— Как тебе сказать... Милый парень... А почему он тебя интересует?

— Потому что я его люблю...

— Чижик! — доктор Вера всплеснула руками. — Что

ты такое говоришь! Опомнись! Когда ж ты успела его полюбить?

— Я люблю его всю жизнь и буду любить до самой смерти!

Доктор Вера долго молчала, а я с тревогой ждала, что она скажет.

— Милая девочка, мне очень тебя жаль, — наконец сказала моя наставница. — С тобою случилось несчастье.

— Разве любить — это несчастье?

— Сейчас — да. А для тебя в особенности.

— Почему?

— Тут, Чижик, много «почему». Во-первых, ты еще слишком молода и неопытна. Во-вторых, не воображай, что вас разделяют какие-то ничтожные десять километров. Между вами лежит война. Ведь не попросишься же ты у комиссара в полк на свидание? А ему и думать нечего оставить батальон хотя бы на два часа. Как же вы будете видеться? Знать, что он где-то рядом, и не иметь возможности встретиться — это тяжело.

— Я переведусь в полк.

— Абсурд. Кто тебя пустит в полк, несовершеннолетнюю? И еще тебе скажу: а вдруг убьют твоего Федоренко? Ведь такое надо пережить...

— Убьют Федоренко?! Да что вы, Вера Иосифовна! Разве это мыслимо?

— Убивают же других. Ведь ты знаешь, где он находится.

— То других...

— Скажи, Чижик, он тебе объяснялся?

— Не объяснялся. Но я знаю, что он меня любит. Он меня целовал.

— Целовал? Ну, знаешь ли...

— Доктор, честное слово, я не виновата! Это же нечаянно получилось. Само собой...

И я рассказала, как всё было.

Доктор Вера опять задумалась.

— Вот что, девочка, — сказала она после долгого молчания, трудно здесь что-либо советовать. Может быть, это еще пройдет. Я понимаю: необычность обстановки, сила первого впечатления, твое взбудораженное состояние... Одним словом, время покажет. Ну, а уж если не пройдет — значит, это серьезно. Разбирайся тогда сама. Тут никто не поможет.

Потянулись нудные дни. Письма от Федоренко не было. Я жила как во сне. Всё валилось из рук: кипятила шприцы с поршнями, и они лопались. Забывала вставлять иголки мандрены, а в стерилизаторы решетки.

Зоя Михайловна, не терпевшая ни малейшей небрежности в работе, сердилась:

— Чижик, спишь ты, что ли?

— Тижик, ты тихо спэши, — советовал доктор Бабаян. — Так поступали дрэвние грэки...

Когда моя задумчивость уж очень раздражала старшую сестру, он за меня заступался:

— На нашего Тижика плохо действует вэсна. Это бывает.

Какая весна? Я ее не замечала. Доктор Вера оказалась права: не было никакой возможности увидеться с Федоренко. Да и нужно ли это? Может, он просто пожалел, что я плачу?..

Я теперь постоянно прислушивалась к грохоту на передовой и про себя соображала: «В каком это полку?»

Наступил апрель. Мне исполнилось семнадцать лет, но настроение от этого не улучшилось: писем не было, вообще не было никаких известий из полка. И вдруг приехал Карпов!

Увидев Лешку, я до того обрадовалась, что чуть не повисла у него на шее. Он приехал не один, а с комсоргом батальона. Младший политрук Заворотний, молодой, черноглазый, увидев меня, белозубо заулыбался:

— Так это и есть Чижик?

Я засмеялась. Карпов достал из сумки толстенное письмо и протянул мне:

— Ответ приказано на пяти листах. А где у вас тут зубной врач?

— У тебя болят зубы? Как жаль. А у политрука не болят? Нет? А у Федоренко? Тоже нет? А может, заболят? А? У нас такой зубодер — ахнуть не успеешь — все зубы повыдергает. Старшине вытащил сразу три — и хоть бы тебе что...

Я, наверное, поглупела от радости: смеялась и болтала не переставая.

Карпов, держась за щеку, болезненно сморщился:

— Да замолчи ты, сорока-белобока! О-о, спа́су нет... Веди скорее к своему эскулапу. А потом комсоргу пока-

жи, где живут выздоравливающие. Ему кое-кого повидать надо.

Мы шли по середине улицы. Комсорг вел в поводу коней, захлюстанных грязью по самое брюхо. Я показала Карпову зубной кабинет, а комсоргу — госпитальный взвод и убежала читать письмо. Забралась на кухню и закрылась на крючок.

Письмо было длинное — на трех страничках полевого блокнота. Почерк крупный, буквы клонятся влево, но зато какие слова!

Я лихорадочно писала ответ — получалось что-то многословное, нескладное, а времени в обрез! Два раза разорвав написанное, я взяла новый листок бумаги и написала: «Я тебя люблю одного на всю жизнь. И я приеду. Ты жди». В коробке из-под новокаина отыскала свою единственную фотографию. Это мой приятель корреспондент Маргулис как-то снял меня на память о Старой Руссе. Не очень-то похожа, но другой нет. Скажи на милость, и чего набычилась? И нижняя губа оттопырена... А, пошлю какая есть, просит же...

Принимая от меня тоненький конверт, повеселевший Карпов недовольно сказал:

— Только-то? А бедный Мишка всю ночь сочинял...

— И я напишу... Потом...

Уехали.

Теперь письма от Федоренко приходили чуть не каждый день. Подавая мне очередное письмо, старшина Горский показывал в улыбке редкие желтые зубы:

— Ну о чем можно каждый день писать?!

— Мало ли о чем! О погоде, о весне...

— О весне, как же! — ухмылялся старшина. — А уши пылают, как маки.

Иногда письма были веселые, бодрые, но чаще грустные: он хотел меня видеть и не знал, как это устроить, и я не знала. Долго думала и решила обратиться к начсандиву и все откровенно ему рассказать. Иван Алексеевич поймет меня и отпустит навестить Федоренко. А если не отпустит? Нет, отпустит — он добрый и славный. Я посоветовалась с доктором Верой и показала ей последнее письмо Федоренко. Она задумчиво сказала:

— Ну что ж, пожалуй, ты права...

Надо было узнать, когда в медсанбат приедет нач-

сандив. Но узнавать не пришлось. Дальнейшая моя судьба решилась в течение ближайших суток.

Утром рано в нашей деревне появился веселый корреспондент Маргулис, и комиссар поинтересовался, к кому он пришел. Маргулис, не моргнув глазом, ответил:

— К Чижику!

Действительно ли я была ему нужна, или он просто дразнил комиссара — не знаю, но комиссар на меня рассердился. Наверное, подумал, что Маргулис мой кавалер.

Днем старшина мне сказал:

— Ну, Чижик, берегись! Кажется, ты загремишь в тыл. Всё утро сегодня комиссар с комбатом сражался. Комбат не хочет тебя отправлять, но ты же знаешь, чем обычно кончаются подобные баталии.

Я ахнула:

— Да за что же меня в тыл?! В чем я провинилась? Старшина, миленький, дорогой, ну что мне делать?!

— Не знаю, — пожал плечами Горский. — У доктора Веры проси совета. Она разумница — что-нибудь присоветует.

Перспектива отправки в тыл испугала меня несказанно. Куда в тыл? Зачем? Уехать с фронта; бросить дивизию, друзей-товарищей, ближе которых у меня никого нет, —— да разве это мыслимо?.. Бросить Федоренко!.. И всё этот чертов Маргулис! Ему хаханьки, а мне слезы...

Я побежала к доктору Вере. Вера Иосифовна меня успокоила:

— У комиссара нет никаких оснований отправить тебя в тыл, следовательно, и расстраиваться нечего. А в крайнем случае ты поедешь в Мелеуз, к жене доктора Журавлева. Мы этот вопрос как-то обсуждали. София Павловна возьмет тебя в свою больницу и устроит в девятый класс. Тебе же, девочка, учиться надо...

— Так-то вы все меня любите! — с горечью сказала я. — Только бы с глаз долой... — И выбежала на улицу.

Ну что делать? К кому обратиться? Пойти к самому генералу и всё ему рассказать?.. Но ведь я совсем не знаю нового командира дивизии, генерал-майора Кислицина. А может, попросить майора Воронина? Да нет, пожалуй, и он, как доктор Вера, скажет: «Тебе надо учиться...» Ведь он не раз уже заводил такой разговор. Оста-

ется одна надежда на начсандива. Если уж и Иван Алексеевич не заступится, тогда — всё...

Я стояла на улице и плакала, не вытирая слёз. Даже не заметила, как подошел Вася-писарь и позвал меня в штаб. В штабе комбат Товгазов и начсандив пили чай из маленького самовара, который старшина Горский возил с собой. «Про гостей». Комиссара, на мое счастье, не было.

Иван Алексеевич, поглядев на мою зареванную физиономию, усмехнулся:

— Чует кошка, чье мясо съела... Значит, не хочешь в тыл? Садись-ка, Чижик, с нами чаевничать. Надо обсудить один вопрос.

От чая я отказалась и, глядя себе под ноги, молча глотала слезы.

— Ну вот, — сказал Иван Алексеевич, — куда же ее в полк? Ревет...

— Меня в полк?! — Я разом вытерла слезы. — Насовсем?

— Разумеется. Видишь ли, один комиссар просит прислать для работы на командном пункте полка девушку. Он считает, что вопросы санитарии и гигиены лучше вручить в женские руки. Надо, чтобы девица была боевая, чтоб сумела за себя постоять, — в полку пока женщин нет. Вот мы с комбатом и решили предложить комиссару Юртаеву твою кандидатуру.

— И там комиссар? — Испугалась я.

Комбат засмеялся, а Иван Алексеевич сказал:

— И там комиссар. Да еще какой! У товарища Юртаева по струнке будешь ходить.

Он говорил еще долго, но я точно оглохла и слышала только, как поет мое влюбленное сердце: «В полк! В полк!» Но вот оно тревожно замерло: «В какой полк?» Тут я опять обрела способность слышать: начсандив назвал не тот полк, в котором служил Федоренко...

Должно быть, на моем лице отразилось разочарование, потому что Иван Алексеевич спросил:

— Ты недовольна? Не хочешь? Тогда пошлем кого-нибудь другого.

— Нет, что вы, я согласна! — закричала я, и вопрос был решен.

Девчата наши как взбесились. Сначала налетели на меня, потом на начсандива: оглушили его упреками и

просьбами — еле отбился, бедный. Катя-парикмахерша, вытирая слезы прямо рукавом шинели, кричала:

— Хоть сто рапортов подавай — толк один! А кто не просится — того посылают, да еще несовершеннолетних... Вот напишу заявление в ЦК комсомола: воевать человеку не дают!

Собралась я по-солдатски — в пять минут. Очень спешила, все боялась, как бы не вмешался комиссар Сальников, — от него всего можно ожидать... По этой же причине с друзьями-товарищами распрощалась кое-как. А в артснабжение и вовсе не зашла. И к газетчикам зайти не успела...

Вот я и в полку! Такой же овраг, как в батальоне Федоренко. Только здесь он круче забирает вправо и больше отклоняется в сторону тыла. В овраге командный пункт полка и штабные подразделения. В этом же овраге чуть подальше — кухня, а еще дальше санитарная рота в лесочке и тылы полка.

На верху оврага интересного мало: всё то же болотистое мелколесье тянется в сторону фронта километра на полтора. Кочки, колючая трава-осока да голубые сосенки-раскоряки в мой рост.

Там впереди, где кончается болото, ярко выделяется желтая полоса — это окопы: два батальона занимают оборону.

А третий — резервный — «месит глину» в непросохшем поле, что километрах в трех от линии окопов.

С раннего утра до обеда и с обеда до самого вечера две роты «наступают» на третью. Три полковые пушчонки-сорокопятки изображают артиллерию: тявкают вхолостую.

Пехотинцы стреляют тоже холостыми патронами, кричат «ура» и «сходятся врукопашную». Люди учатся наступать.

Ходила и я поглядеть на эту игру, да зареклась. Полковые разведчики в маскировочных костюмах с нашитыми по материи мочальными хвостиками бесшумно подкрались, свалили меня на землю, связали по рукам и ногам, заткнули рот чем-то вонючим, набросили на голову плащ-палатку и куда-то поволокли. Чуть не задохнулась!

У командного пункта резервного батальона меня развязали и вытащили изо рта шерстяную варежку. Командир разведчиков Мишка Чурсин пресерьезно доложил комбату, что они «достали языка».

Я яростно отплевывалась: шерстяной ворс налип на язык и нёбо, в горле першило, во рту было отвратительно кисло.

Командир батальона, капитан Пономарев, человек немолодой и серьезный, глядел на меня с сочувствием и стыдил озорников.

Мишка Чурсин нагло щурил желтые глаза, лениво оправдывался:

— Так ведь надо же тренироваться!

— Ну и тренируйтесь на здоровье: таскайте друг друга.

— Друг друга неинтересно. Какая же это игра, если я наперед знаю, что меня сейчас утащат. Интересно, когда неожиданно.

— Но девушке-то не больно интересно, нахал! Скройтесь с моих глаз! И чего лезете в расположение батальона — места вам, что ли, мало!

Мишка, посмеиваясь, ушел и увел своих подчиненных.

Ох, уж этот Мишка Чурсин! Глаза совсем как у кота, и повадки кошачьи: не ходит, а крадется по земле, и все время начесывает свою кривую соломенную челку: как лапой умывается.

Мишка о себе высокого мнения: еще бы — в свои двадцать лет он уже лейтенант. В течение зимы его разведчики приволокли четыре «языка» — сам командир дивизии пожимал Мишкину храбрую руку.

Разведчик в числе самых первых в полку был награжден медалью «За отвагу». Мишка кровно на меня разобиделся: не оказала я должного внимания полковому герою.

Вначале он меня просто игнорировал. Мы сталкивались по нескольку раз в день, но Мишка даже не здоровался со мною, а иногда демонстративно отворачивался. Меня это мало задевало. Не мне же первой ему кланяться! Молод слишком.

Мишку, видимо, заело мое равнодушие. Он начал меня задирать. Уже не отворачивался при встрече, а, про-

ходя мимо, нагло щурил глаза и бросал ядовитые реплики.

Вскоре после моего появления в полку для комиссара Юртаева привели нового жеребца. Красивое животное плясало у коновязи возле штаба, а вокруг яростно спорили лошадники во главе с Мишкой.

Увидев меня, разведчик скроил невинную физиономию:

— Как вы думаете, сестричка, это конь или кобыла? Никак что-то не разберемся...

Мишкина выходка всех рассмешила, но я осадила озорника:

— Это не конь и не кобыла, а такой же жеребец, как и ты!

Мишкины однополчане взвыли от восторга и захохотали так, что жеребец стал рваться с привязи. На Мишкину отчаянную голову посыпались насмешки:

— Что, разведка, съел?! Не подавись, гляди...

— Получил прикурить?

— Буль-буль — и на дно?

На шум из землянки вышел начальник штаба полка капитан Казаков. Он хмуро поглядел на веселую компанию, строго спросил:

— Вам что, делать нечего? Ржут как лошади, — жеребца испугали! А ну, марш по своим местам!

По утрам я ежедневно проверяла все штабные подразделения на вшивость, или «на форму сорок», как у нас говорили по местному коду. Малоприятная эта обязанность не очень бы меня обременяла, если бы не дурил Мишка.

В первое же мое посещение он скомандовал:

— Раздеваться догола!

Рослые, как на подбор, красивые парни весело повторили команду и, усевшись на траву, с комической поспешностью стали стаскивать с ног сапоги. Такие же озорники, как и их командир!

Я топнула ногой и сердито поглядела на Мишку:

— Вы что, с ума сошли? Сейчас же дайте команду раздеться только до пояса!

Мишка с насмешливой улыбкой глядел мне в лицо и мерцал желтыми глазами. Шутливо поклонился:

— Пардон, мы вас не поняли. — И пропел: — Отставить догола! Раздеваться только до пояса!

Мой новый начальник, военфельдшер Володя Ефимов, жалобу на разведчиков выслушал внимательно и, лукаво улыбаясь, сказал:

— Сама виновата: не оказала Мишке должного внимания — вот он и куражится с досады. Он же, как пчела, по крошке собирает дань восхищения. Ничего, мы его перехитрим. К разведчикам больше не ходи — я сам буду их осматривать.

Перехитришь такого Мишку, — он еще и не то придумает!

Мой курносый молодой начальник молчалив и серьезен не по годам. У Володи большой шишковатый лоб и пристальные серо-зеленые глаза, а над верхним веком левого глаза красная, как бусинка, родинка. Разговаривая, Володя улыбается, и тогда в углах его большого рта появляются маленькие лукавые ямки, а некрасивое лицо хорошеет. Встретил он меня без особого восторга, с досадой сказал:

— Надо строить землянку.

— Что я за начальство — обойдусь и без отдельной землянки.

Володя помолчал немного: наверное думал, что со мною делать, а потом носком сапога провел по земляному полу черту как раз посередине и сказал:

— Чур, друг другу не мешать. Здесь мы повесим плащ-палатку вместо занавески.

Я пожала плечами: мне не нужна была занавеска — я не собиралась много времени проводить под землей, тем более что погода установилась почти летняя.

Когда Володя куда-то отлучился, я вымела все углы ольховым веником, обмахнула стены, заправила плащ-палаткой свой топчан и поставила в консервной банке букет желтых кучерявых цветов, которые мы в детстве звали «кошечки». Полюбовалась на свое новое жилье — осталась довольна.

Мы с Володей почти не разговаривали, а так как я не привыкла молчать, то старалась быть дома как можно меньше, тем более что в полку для меня все было ново: и люди, и непривычная обстановка.

Володя мог часами сидеть неподвижно, подперев кулаками тугие щеки, и в это время у него был странный отсутствующий взгляд: казалось, он ничего не видел и не слышал. Иногда он что-то писал карандашом в поле-

вом блокноте или листал очень толстую и очень старую книгу, которую прятал в изголовье.

Однажды я не вытерпела и спросила, о чем он всё время думает и что пишет?

— Видишь ли, Чижик, меня интересуют некоторые вопросы философии, — задумчиво ответил Володя.

Я была поражена. В моем понятии философ — это прежде всего мудрец, мыслитель, и потому философия доступна только избранным.

В восьмом классе на уроках литературы и истории нас бегло знакомили с древнегреческими философами, с французскими вольнодумцами, упоминали о творчестве Гегеля и Фейербаха. Серьезный Мишка Малинин самостоятельно осилил «Общественный договор» Руссо! А я прочитала только «Монахиню» Дени Дидро.

А тут вот рядом со мною человек изучает философию на войне! Ну не чудо ли? Это и удивляло, и внушало почтение. Но всё же я спросила:

— Зачем вам философия, ведь вы же медик, а не политработник?

Володя усмехнулся:

— Почему ты решила, что философия должна интересовать только политработников? Я считаю, что каждый культурный человек должен изучать философию, независимо от специальности, времени и места. А что касается моего медицинского звания, то я ошибся в выборе специальности и после войны буду переучиваться.

— Разве вы не пойдете в медицинский?

— К черту, Чижик, медицинский! К дьяволу самого Эскулапа! Я буду таскать кирпичи и месить глину, пилить доски и класть печи. А вечерами засяду за книги. Меня интересует римское и международное право, основы политических учений всех формаций, история войн на земле и вопросы дипломатических отношений. Поняла?

Володя вдруг спросил меня, что я буду делать после войны? Странный он какой: я об этом еще и не думала. «После войны» — это что-то такое прекрасное, что трудно себе даже представить...

Философия дело хорошее, но ведь и работать надо. Так я и сказала своему начальнику. Володя только рукой махнул:

— А, какая это работа! Раненых почти нет, «формы сорок» нет, эпидемий нет, а что еще от нас требуется?

— Только вчера начальник штаба отчитывал командира санитарной роты за беспорядки на кухне. Ваше счастье, говорит, что старший батальонный комиссар Юртаев замотался один без командира полка, а то бы он вам показал пищеблок! Володя, а где наш командир полка?

— Его отправили в тыл — он очень болен.

Володя явно заинтересовался моей информацией:

— Ну, а Ахматов что?

— А доктор Ахматов сказал капитану Казакову: «Я у вас на КП держу полтора лба — с них и спрашивайте!» — Я засмеялась: — Это мы с вами полтора лба. Ну правильно: вы философ — значит лоб, а я за половину сойду. Нет, кроме шуток, Володя, давайте наведем порядок на кухне? Ну что нам стоит! А не то, и правда, доберется до нас комиссар. Я так боюсь этого Юртаева, что всегда прячусь, когда он попадается навстречу... Может, попробуем, а?

— Пробовал и отступился. Там такой ископаемый дед, что его колом не проймешь. К тому же это прямая обязанность хозяйствеников. Если мы с тобой полтора лба, то начальник тыла, капитан Никольский, целых два, да еще медных!

— И все-таки надо попробовать...

— Пробуй, Чижик, на здоровье! Предоставляю тебе полную свободу действий.

Да, старик-повар был действительно занятной фигурой. Большой, кургузый и неопрятный, как состарившийся медведь, он неуклюже поворачивался вокруг котлов и что-то все время ворчал на низких нотах.

Всё на поваре было, мало сказать, грязное, а какое-то заскорузлое. Некогда белый фартук не лежал, а стоял на поварском животе, и казалось, постучи по нему пальцем, он зазвенит, как железный, от впитавшегося жира и грязи.

Я не представилась, а повар не ответил на приветствие — наше знакомство началось со ссоры. Я сказала:

— Надо постирать фартук!

Василий Иванович хмуро на меня поглядел. Лицо у него большое, рыхлое, а маленькие хитрые глазки шныряют проворно, как серые мышата.

Повар буркнул:
— Есть у меня время фартуки расстирывать!
— Давайте, я постираю.
— Не для чего. Он и так чистый!
— Да что вы?! На нем грязи и сала целый пуд!
— Вот ужо будет время — ополосну в речке.
— Не поможет — его надо два часа в горячем щелоке отмачивать.
Старик не на шутку рассердился.
— Что тебе тут надо, божья коровка? — недобро поглядел он на меня.
— Надо навести порядок на кухне.
— Наводил один такой, да я его коленом под зад наладил отсюда!
Василий Иванович ворчал и выплескивал грязную воду из таза прямо мне под ноги.
— Зачем вы выливаете где попало? Остатки пищи везде валяются, мухи зеленые развелись, как на скотном дворе...
Повар возмущенно хлопнул себя по толстым ляжкам:
— Яйцо учит курицу! Да ты еще и на свет не появилась, как я уже беляков бил с самим Чапаевым! Да вот не этой поварешкой, а из пулемета их крошил! А ты меня учить собираешься! А ну, мотай отсюдова, пока я добрый! Некогда мне с тобой лясы точить...
И я ушла, сопровождаемая сдержанным хихиканьем дежурных по кухне.
— Ну как? — спросил Володя, мило улыбаясь.
— А никак... Поругались, да и все.
— Я так и знал. Отстань от упрямца.
— Нет, не отстану! У меня тоже этого качества хоть отбавляй!
— Ну-ну... — Володя засмеялся.
— Смешно вам? А когда комиссар будет с нас шкуру снимать — вы тоже смеяться станете? — набросилась я на него. — Лучше бы подсказали, с чего тут начать, к кому обратиться?
— Видишь ли, Чижик, нет у меня опыта по части организации полевых кухонь. Да и не привык я со стариками сражаться, будь бы он помоложе...
— Это правда, что он с самим Чапаевым воевал?
— Должно быть, так. Какие-то заслуги у него имеются. Ведь Василию Ивановичу за шестьдесят, его даже

как добровольца на фронт не брали. Добился: персональным распоряжением наркома зачислен в наш полк. В станковые пулеметчики рвался, а у нас как раз тогда повара ранило. Узнал комиссар, что Василий Иванович кашеварил в колхозе на покосе, да и приставил его к котлу. Четыре сына у старика на фронте, сам пятый — вот и считается с ним комиссар, а то стал бы он терпеть на кухне такого неряху!

— Тем более деду надо помочь, раз он человек заслуженный.

Володя отмахнулся, а у меня тоже никакого опыта по части устройства пищеблока не было. Надо было посоветоваться с кем-то сведущим. Я было надумала зайти к самому комиссару Юртаеву, но не решилась. Он всё время был занят. Днем пропадал на тактических занятиях в поле, а ночью — на переднем крае. А если когда и бывал в штабе на месте, то всё равно не имел свободного времени: то совещания, то инструктаж, то партийное собрание, то отчитывал кого-нибудь... Нет, не до кухонных дел сейчас комиссару и не до меня. Он, наверно, еще и не знает, что начсандив по его просьбе прислал в полк «скромную девушку»... Комиссара я видела только издали: большой такой и черный-пречерный, а ходит так быстро, что полы зеленого тонкого плаща разлетаются в стороны. Да и что я скажу комиссару? На старого повара пожалуюсь? А комиссар спросит: «А сама ты что сделала?» А ровным счетом ничего... Нет, не надо беспокоить комиссара!

Я направилась к начальнику штаба.

Капитан Казаков исправлял карты: сразу несколько экземпляров. На мое приветствие поднял от стола маленькую голову и скупо улыбнулся:

— Ну, как дела? Привыкаем? Не обижают?

— Спасибо, всё хорошо. Вот что, товарищ капитан, завтра на кухне будет генеральная уборка. Василию Ивановичу может это не понравиться, так вы имейте в виду, если он жаловаться придет...

— Ничего, вытерпит! Действуйте. Я давно говорил вашему Ефимову — что об стену горох. Может быть, хоть вы его расшевелите. Давайте требуйте, доказывайте, — делайте что хотите, но чтоб порядок на кухне был!

— Надо повару новый фартук и колпак.

— Всё, что потребуется, получите от моего имени у

капитана Никольского. И хорошо бы командирскую столовую на новое место перевести, а то поставили столы на самом солнцепеке — кто там будет обедать? Жара, да и маскировки никакой — не очень-то приятно есть, когда над самым котелком «мессер» вьется...

Хорошо сказать: требуйте, нажимайте, доказывайте! Потребуешь от такого Василия Ивановича, нажмешь на него! Где сядешь — там и слезешь... Тут бесполезно доказывать, тут надо действовать. Неплохо бы вымыть и выскоблить котлы и всю кухонную утварь. Яму для отбросов надо вырыть, все подмести и прибрать. Командирские столы в кусты, что ли, запрятать?..

Я побывала у начальника тыла. Капитан Никольский оказался молодым и красивым. Играя карими глазами, галантно шутил:

— Какой счастливой звезде я обязан столь лестному визиту?

Но мне было не до любезностей, я прямо приступила к делу.

— В печенках сидит у меня этот дед! — с досадой сказал Никольский. — Измучился я с ним. Я ему про грязь, а он мне про Чапаева, как будто одно к другому имеет отношение. Вы знаете, сколько на моих руках кухонь? И везде порядок. Да я бы для того, кто мне этого деда перевоспитает, не знаю, что сделал бы! Вы думаете, легко быть хозяйственником? Мечешься целый день — не присядешь, а ни от кого хорошего слова не услышишь. Вы знаете, что такое интендант? Нет? Вам смешно? А здесь плакать надо. Вы хотели бы быть в моей шкуре?

— Боже упаси!

— Вот и все так. Думаете, я хотел? Я, может быть, тоже о подвигах мечтал, а вот приходится возиться с тряпками да с котлами.

Любезный начальник тыла сам проводил меня в хозроту и распорядился выдать коленкору на поварскую спецовку и несколько жестяных мелких тарелок для столовой — больше ничего подходящего не оказалось.

Я скроила два передника и колпаки и весь вечер шила. Примеряла на Володю. Он смеялся:

— Ты, Чижик, решила подкупить повара?

К Володе пришел его приятель Димка Яковлев, комсорг нашего полка, и они засели за шахматы, а на прощанье, как всегда, разругались.

Я еще не встречала таких ярых спорщиков. Они схватывались по вопросам международной политики, да так, что только не брали друг друга за грудки.

На сей раз спор зашел о втором фронте. Я не прислушивалась, все думала о кухне: с чего начать и как начать. Очнулась от своих мыслей, когда друзья-шахматисты уже друг на друга кричали.

— Никогда не поверю, чтобы старый Черчилль желал нам добра! Я глубоко убежден, что в сорок втором году второго фронта не будет. Да и вообще я в это не очень-то верю — на себя надо надеяться, а не на дядю! — горячился Володя.

Димкины круглые голубые глазищи метали молнии, он даже слюной брызгался:

— А декларация двадцати шести государств? А переговоры с Англией и Штатами? А англо-советский договор? Это тебе что — кот начихал?

— Собрались, поговорили... Черчилль и Рузвельт пообещали — и завтра будет второй фронт, — ехидничал Володя. — Нет, мой милый, жирный Черчилль еще полюбуется со стороны, как льется русская кровушка, ему ведь ни холодно, ни жарко!

— Что ты городишь?! Ведь Лондон бомбят!

— А Черчиллю-то что? Думаешь, он в Лондоне? Наверняка все английские акулы отсиживаются где-нибудь в укромном местечке.

— Так ведь не взяли же они с собой заводы, банки и фабрики! Разрушения неизбежны...

— Такие, как Черчилль, согласны все потерять, лишь бы нас Гитлер раздавил, — усмехнулся Володя.

Белесый жесткий хохолок на Димкиной макушке от возмущения встал дыбом, и, раздувая ноздри маленького носа, Димка заорал:

— Что ты мне тычешь в нос своим Черчиллем! Черчилль — это еще не английский народ! Гарри Поллит сказал, что английские трудящиеся...

— Гарри Поллит сказал — и завтра, конечно, в Англии произойдет революция, — насмешливо перебил его Володя.

Димка весь кипел от возмущения:

— Подумать только — он не верит во второй фронт! Может быть, ты и в победу не веришь?!

— Псих, — сказал Володя, — совсем ненормальный, а еще комсорг полка!

— Чижик, кто из нас ненормальный — он или я? — вскричал Димка.

— А ну вас! Надоели оба! Чего орете? Каждый вечер ругаетесь. Скоро подеретесь.

— А что, и набью морду твоему начальству! — хорохорился Димка.

Володя потянул его за гимнастерку:

— Сядь, петух, остынь.

— Нет уж, я лучше на оборону пойду!

— Во-во, прогуляйся-ка по переднему краю, расскажи своим комсомольцам про доброго дядюшку Черчилля — они тебе поверят...

— Дур-рак! Ноги моей больше не будет в этом доме! — Если бы не малый рост, Димка в гневе был бы великолепен.

Я вышла на улицу вслед за Димкой. Прелесть майской теплой ночи нарушали минометные залпы. Немцы молотили по пустому болоту. Передовая ворчала, как несытый зверь. А Мишкины разведчики пели что-то совсем мирное и грустное.

На зеленой траве мы сидели,
Целовала Наташа меня...

Я вспомнила Федоренко. Мы не виделись больше месяца. Ведь вот где-то он совсем рядом. Моя первая любовь — яркая, как звездочка, а увидеть нельзя...

Утром сразу же после завтрака я пришла к разведчикам. Мишка Чурсин удивился, его желтые глаза вспыхнули торжеством: «Ага, явилась все-таки!» Выслушав мою просьбу, он разочарованно присвистнул:

— Срамотища! Разведчики — и вдруг в кухонные мужики!

— Ничего здесь зазорного нет! Не хотите — не надо! А я-то думала, что разведчики народ чистоплотный, брезгливый...

— Ну что у вашего брата за привычка: чуть что — сразу в бутылку! — с досадой сказал Мишка. — Мы

же не отказываемся. С братвой надо посоветоваться.

Братва пришла в полный восторг: захохотали, загалдели, окружили меня со всех сторон:

— А что надо делать?

— Котлы опрокинуть?

— Повара утопить?

— Мы это запросто...

— Вот видишь, — сказала я Мишке, — с твоей братвой каши не сваришь. Они же там всё вверх ногами перевернут.

— Не перевернут, — уверенно тряхнул он соломенной челкой. — Я Поденко старшим назначу. Сколько надо человек?

— Ну шесть-семь...

Охотников оказалось в два раза больше. Наломали веников, нарвали хвощей на болоте, со смехом и шутками двинулись к кухне. Перед самой кухней я предупредила:

— Только не озорничать! К повару с полным почтением — он чапаевец!

Сеня Поденко обиделся, сощурил серые глаза:

— А когда мы озорничали? Мы всегда скромные.

— Скромные-то скромные, а вот рукавицу в рот мне засунули...

— Так это ж Иманкулов додумался! — засмеялся Сеня.

— Во, накал какая! Сам мне рукавица давал! — возмутился Иманкулов.

— Ладно, не спорьте. Я уже не сержусь.

Пришли на кухню и вступили с Василием Ивановичем в дипломатические переговоры: предложили дружескую бескорыстную помощь.

— Начхал я на вашу помощь! У меня и без таких красивых есть кому помогать, — отрезал старый повар и повернулся к нам широкой спиной.

— Василий Иванович, мы объявляем на кухне аврал, — обратилась я к нему. Старик даже не ответил.

— Ноль внимания, фунт презрения! — констатировал Сеня Поденко.

— Ну что ж, ребята, начинайте! — скомандовала я.

Сеня оказался толковым распорядителем, мне почти не пришлось вмешиваться. Разведчики ринулись на по-

левую кухню и завалили ее на бок — только колеса в воздухе закрутились!

— Иманкулов, Васин, выдраить эту полундру! Чтобы блестела, как знаете что? — распорядился Сеня.

— Песком с мылом и горячей водой, — добавила я.

Остальные бегом потащили к речке тазы, сковородки, поварешки на длинных ручках и всю прочую кухонную мелочь.

— Что ж это вы, бандиты, делаете?! — вскричал повар плачущим голосом и замахнулся на Сеню пустым ведром.

— Спокойно, папа! — сказал Сеня и бережно усадил старика на березовую колоду. — Неприлично: разведчика, да еще и одессита — ведром! Самоваром еще туда-сюда, но ведром...

Василий Иванович гневно вскочил с колоды и погрозил мне толстым сизым пальцем:

— Это всё ты, змейка, погоди, достанется тебе ужо на орехи!

Сеня захохотал:

— Даже не змея, а змейка, — это очень остроумно!

Два помощника Василия Ивановича стояли без дела и растерянно поглядывали на своего начальника.

— Что рты открыли? — прикрикнул на них Сеня. — Берите лопаты да ройте помойку поглубже.

Тут уж старый повар не вытерпел: сорвал с себя фартук и колпак, повесил на березу и засеменил к штабу.

Поварские засаленные причиндалы я бросила в костер.

— Аминь, — сказал Сеня, — сгорела жабья кожа! — Смешливые парни рады были похохотать.

Уборка была в самом разгаре, когда пришел ординарец комиссара Юртаева — Петька Ластовой. Постоял, поглядел — ничего не сказал, собрался уходить, но его остановил Сеня:

— У вас, что ли, наш дед?

— А то где же! — засмеялся Петька. — Прибежал до старшего батальонного комиссара, аж трусится весь: ЧП, говорит, пришла пигалица, навела целую банду головорезов — кухню громят!

— Ах он, старый хрен! — захохотал Сеня. — Ну, а комиссар что?

— А они деда успокаивают, вот меня послали посмотреть.

— Ну и что же ты доложишь комиссару? — поинтересовалась я.

Петька шмыгнул курносым носом, рот в улыбке до самых ушей:

— А то и доложу: на Натаху-замараху обиход пришел! — И убежал.

Мы работали около трех часов, а Василия Ивановича все не было — где-то отсиживался.

Закончили уборку, полюбовались. Пришел Володя — похвалил:

— Что молодцы, то молодцы — ничего не скажешь! А где же сам хозяин?

— А кто его знает! Вот как не придет обед варить, будет тогда нам баня.

— Придет... Как можно людей без обеда оставить?

По предложению Володи в густых зарослях ольхи на самом берегу речушки мы вырубили всю мелочь и выпололи мелкозонтичную цикуту. Перенесли туда командирские столики.

Явился Мишка, прищелкнул языком:

— Красотища! Что и требовалось доказать: и не жарко, и не марко, и дешево, и сердито.

Мы закончили все кухонные дела, и я повесила на березовый сук новый фартук и колпак.

Пришел хмурый повар, не глядя в нашу сторону, облачился в новую спецовку и молча принялся за свое дело.

— Финита ля комедия, — вполголоса сказал Володя Ефимов и подмигнул Мишке. — Чижик, надо бы в санроту сходить, — обратился он ко мне, — я кое-что выписал.

— Ладно, только сначала приведу себя в божеский вид.

Я отправилась на речушку мыться. Там уже плескались «кухонные мужики»: намыливали свои изрядно засаленные маскировочные костюмы, плавали по дну руками и гоготали от удовольствия. «А ведь славные парни разведчики», — подумала я. Мне тоже хотелось искупаться, но воды в речке было курице по колено, а ползать руками по дну не очень-то почтенное занятие для взрослого человека.

Из санитарной роты возвращалась я уже после обеда. Шла прямиком через поле по едва заметной тропинке. Жара совсем меня одолела. Тяжелая санитарная сумка оттягивала плечо, гимнастерка прямо прилипала к телу. А что если раздеться? Я оглянулась: вокруг ни одной живой души — кто меня здесь увидит!

Скинула санитарную сумку, засунула в нее пилотку, расстегнула ремень и сняла гимнастерку. Осталась в одной сатиновой майке. Мешали волосы. Выдернула ленты из косичек — еще хуже: не только шею, но и спину зажгло. Завязала пук на затылке, подтянула повыше — хорошо!

Подергала лямки майки, засмеялась от удовольствия: вот так бы и воевать налегке!..

А вокруг трава некошеная чуть не до пояса, и целое море цветов: белые ромашки, лиловые колокольчики, красный клевер, кукушкины слезки, белая мята... И как все это пахнет!

А какая тишина! И небо легкое и ласковое: голубое-голубое — мирное. Никакой войны...

Э, нет, вот она, война: «юнкерс-88» над головой, и довольно низко — вдоль фронта плывет...

Не боюсь я тебя! Это не сорок первый год: на одного маленького человека не будешь бомбу тратить, а из пулемета поди-ка попади!

Вот уже стервятник над штабом полка — сейчас тебя наши встретят! Вот так пальба! Зенитки, пулеметы, винтовки и даже противотанковые ружья — всё пошло в ход... Лупите его, братцы, в хвост и в гриву! Ага, сдрейфил: вверх полез... Ах ты, сволочь! Бомбу отцепил! Плевали мы на ваши бомбы, господин толстобрюхий Геринг! Не умеете вы бомбить пехоту! Вот города разрушать — на это вы мастера, да там и умения не надобно, — куда ни брось — во что-нибудь попадешь... Улетел... Унес на сей раз ноги. Ничего, мы тебе еще припомним сорок первый!

Опять тихо, и не пахнет войной. А не нарвать ли мне цветов в командирскую столовую? Пусть не в вазах, пусть в консервных банках, но всё равно цветы — это приятно.

Я положила гимнастерку на сумку и стала собирать букет. Самые крупные ромашки сажала за ворот майки и в волосы. Ах, как хорошо! Ветерок вдруг потянул с во-

стока, зазвенели в траве метелки. Я запела во весь голос:

Продал девушку отец —
Променял на скот.
И она в чужой земле
Горько слезы льет.
Элико, Эли-май, родина моя!

Эту грустную песенку каждый вечер поет раскосый Иманкулов. Тот самый разведчик, который засунул мне рукавичку в рот. Ну и пусть засунул — я его простила: он славный...

Трава зашумела под чьими-то быстрыми шагами. Я оглянулась и чуть не выронила цветы: Федоренко! Живой, здоровый Федоренко, и Лешка Карпов с ним...

— Ага, проспорил? — весело закричал Карпов. — А мы, понимаешь ли, из штаба дивизии идем. Чижик, говорю, поет, а Мишка не верит...

Не слушала я, что говорил Карпов, и не на него глядела. Федоренко тоже смотрел на меня. Он улыбался, а я заливалась краской и старалась закрыться цветами. Чуть не плакала с досады — застали в таком виде. Я потянулась за гимнастеркой.

— Ну что, онемели от радости? — спросил Карпов.

— Ты любишь цветы? — кивнул Федоренко на мой букет и, отобрав гимнастерку, положил ее на траву.

— А кто их не любит...

— А вон Лешка не любит, для него это просто покос, сено...

— Осел! — крикнул Карпов. — Не обо мне речь! «Ах, любишь ли цветы?» — перездразнил он приятеля. — Да поцелуй ты ее, черт нескладный! Когда еще увидитесь!

Федоренко засмеялся, порывисто притянул меня к себе и крепко поцеловал. Я выронила цветы.

— Леш, уйди, ради бога! — взмолился Федоренко. — Оставь нас на минутку, я догоню.

Карпов достал из кармана галифе часы и сказал:

— Времени у нас почти нет. В шестнадцать ноль-ноль соберутся командиры. И всего-то вам, бедолагам, на любовь отпускается пятнадцать минут.

— Это не так мало! — улыбнулся Федоренко, не отпуская мою руку.

— Ну, я пошел. Смотри, не опаздывай, командир полка будет. Да собственно, я мог бы и не уходить. —

Карпов ехидно ухмыльнулся. — Смело можете свидание назначать в центре базара. Телят колхозных и то не смутите...

— Алексей, ну что ты за человек?

Лешка, посмеиваясь, ушел.

Обнимая меня, Федоренко сказал:

— Чижик, я все еще не верю, что это ты. Даже растерялся. Ждать больше месяца, и вдруг сразу...

Пятнадцать минут пролетели как одно счастливое мгновение.

Он помог надеть мне гимнастерку, сам подпоясал ремень, подобрал цветы и подал мне, взял санитарную сумку и, как я ни протестовала, проводил почти до самого штаба моего полка.

Ушел... Вернее, убежал: большими скачками понесся по полю, помахивая пилоткой. Как и не было встречи...

Ночью я и часу не спала: грезила наяву. Вот он: большой, синеглазый, черные брови вразлет... Улыбается, протягивает ко мне горячие руки... Фу ты, черт, как храпит Володя! Экое бесчувственное бревно!

Так и не могла уснуть. Пошла бродить по оврагу. Заглянула к комсоргу. Димка играл в шахматы с... Маргулисом!

Увидев меня, Маргулис заулыбался:

— Ах ты, Чижик, вот она, оказывается, где окопалась! Что ж ты нам корреспонденций не шлешь?

— А о чем писать? Ведь меня не пускают на передовую.

— Найдем нужным — пошлем! — солидно сказал Димка.

— Ах ты, пыжик, как выросла! — улыбаясь продолжал Маргулис.

— Выросла, а ума не вынесла, — сурово набычился Димка.

— Да нет, вроде бы ничего девчонка, — возразил газетчик.

— Как же, красавица писаная, — буркнул комсорг.

Я возмутилась:

— Как вам не стыдно! Разговаривают обо мне так, будто меня и нет здесь.

— Не нам, а тебе как не стыдно: без году неделя в полку, а уж Мишке Чурсину голову вскружила — ходит,

как полоумный! — закричал Димка. Его глаза полыхали гневом. — Ты мне комсомольцев не разлагай! И Мишку оставь в покое! Враз на бюро поставлю!

— Ха-ха-ха-ха! — закатился Маргулис. — Вот это директива! А что, Яковлев, ты и в самом деле береги своих комсомольцев! Хо-хо-хо-хо!..

— Голову Мишке вскружила! — передразнила я комсорга. — Нужен-то мне больно ваш Мишка! Как будто мне некому и без него голову кружить!

— А что, Чижик, и в самом деле есть кому? — лукаво улыбнулся Маргулис.

— Во всяком случае Яковлев за своих комсомольцев может быть спокоен.

— Ладно. Можешь идти спать, — буркнул Димка, — твое дело не наше горе: посапывай себе носом, а нам надо на передок идти. — Комсорг явно подобрел.

На другой день за мной явился Петька: меня вызывал комиссар Юртаев.

Не без робости я переступила порог комиссаровой землянки. Дверь была открыта настежь, у самого входа на корточках сидел не кто иной, как сам Мишка Чурсин, и курил, пуская дым на улицу.

Взгляд у Мишки, как всегда, нагловато-насмешливый. Нет, Димка определенно что-то напутал — разве так смотрит на меня Федоренко!..

За столом сидел смуглый человек лет сорока. Его крупное породистое лицо меня поразило. Где же я видела этот большой гладкий лоб, твердый подбородок, негритянские губы и иссиня-черные тугие завитки волос?.. Черные глаза комиссара с огромными голубоватыми белками имели какую-то притягательную силу. Совершенно необыкновенное лицо! Мое внимание отвлек голос Петьки Ластового, он заворчал на Мишку:

— Что вы здесь дымите? Старший батальонный комиссар не курят!

— А я тоже не курю, — возразил Мишка, — я только комарей отгоняю.

— Комарей! — усмехнулся комиссар, и зубы его сверкнули ослепительной белизной. — Вот полюбуйся, — обратился он ко мне. — Парень восемь классов окончил! Петр, как надо правильно сказать?

— Комаров, товарищ старший батальонный комиссар! — гаркнул Петька.

— Слыхал, грамотей?

— А то я и без вашего Петьки не знаю, как надо правильно говорить! — дерзко ответил Мишка.

— Ну, а если знаешь, так что ж ты русский язык коверкаешь? Я — узбэк, должен тебя учить твоему родному языку? (Комиссар так и сказал: «узбэк».) Он повернулся ко мне: — Ну-с, а у нас какое образование?

— Восемь классов.

— Значит, грамотная. А ну-ка, перечисли нам хронологию династии Романовых.

Я очень удивилась:

— Династии Романовых?

— Не знаешь?

— Нет, почему же! Я знаю, но только это очень странно...

— Что ж здесь странного? Каждый культурный человек обязан знать историю родины. Ну, начинай, собьешься — лейтенант поправит.

Когда я дошла до царицы Анны Иоанновны, комиссар меня остановил:

— Продолжай, лейтенант!

— Петр третий, — не долго думая, ляпнул Мишка.

— Так? — спросил меня комиссар.

— Нет, не так. Малолетний император Иоанн Антонович и правительница — мать его, Анна Леопольдовна...

— Слыхал, командир разведки?

— Сравнили! — возразил Мишка. — Когда я учился, а когда она?

— А ты знаешь ли, когда я учился? — спросил его комиссар. Но Мишка не сдавался:

— Девчонки же зубрилы!

— Ты мастер собственное невежество оправдывать, я уже в этом убедился. Ну, а как у тебя шпрехен зи дойч? — это уже опять ко мне.

Я пожала плечами. Комиссар сказал:

— Назови по-немецки номер нашей дивизии и полка. Быстренько!

— Я не знаю по-немецки слов «полк» и «дивизия» — мы не учили военную терминологию.

Комиссар протянул мне словарь:

— Найди.

Я нашла и сказала:

— Заген, битте, нумер регументс! — И по-немецки назвала номер.

— Гут, — кивнул комиссар головой. — Вполне сносно. Учи по пять фраз в день. Учить немецкий — это мой приказ. Сам буду проверять.

— Есть учить немецкий, — без особого воодушевления повторила я.

— Но я тебя вызвал не для этого. Завтра прибудет новый командир полка — майор Голубенко. В блиндаже командира давно никто не живет. Надо его хорошенько проветрить и всё прибрать, — одним словом, привести в жилой вид. Что потребуется — получишь у Никольского. Поможет тебе мой Петр.

— И я могу помочь, — вызвался Мишка.

— Ну вот и еще один помощник, — согласился комиссар. — Действуйте, вечером проверю.

— А ну, подойди-ка поближе! — вдруг сказал он мне. — У тебя есть, надеюсь, носовой платок?

Я кивнула.

— Потри-ка бровь. Сильнее! Теперь губы...

Я в недоумении потерла и то и другое.

— Я, кажется, ошибся, — улыбнулся комиссар, — думал — красишься. Не люблю этого.

Мишка злорадно захихикал. Комиссар строго на него посмотрел:

— Ну, а начальник твой всё спит?

— Почему это спит? — обиделась я за Володю. — Он философию изучает!

— Вот как! — комиссар усмехнулся. — Философ в нечищенных сапогах! Философия — дело полезное, но ведь порядок на кухне, оказывается, можно было навести и без размышлений о бренности бытия. Ох, доберусь я до этого Диогена! Кстати, Михаил, где жил Диоген?

— В Греции. Где ж еще! — ответил Мишка. — Там все эти древние трепачи кантовались.

— Ну и лексикон у командира! — возмутился комиссар. — Хоть бы девушки постеснялся! Чижик, где жил Диоген?

— Он жил в бочке.

— Вот именно. На сем точка. Идите и занимайтесь делом.

На улице я сказала Мишке:

— Э, да он совсем не страшный! А я так его боялась...

Мишка усмехнулся:

— А ты натвори что-нибудь, тогда узнаешь...

— Миш, я вспомнила наконец, на кого он похож! Это же вылитый Отелло!

Мишка заморгал густыми ресницами:

— Какое Отелло?

— Какое?! — я всплеснула руками. — С луны, парень, упал! Не знать Отелло!

— Это который женку-то за измену придушил? Сравнила! Он же был чокнутый! — Насмешливо прищурив глаза, Мишка пропел:

А у Отелло в батальоне
Был Яшка — старший лейтенант,—
На горе бедной Дездемоне
Великий плут и интригант...

— Не трогай Шекспира, варвар! «Интригант»! Тьфу!

Разведчик сказал:

— Ну, вас с комиссаром пара. Вы споетесь! Тот тоже всегда придирается: этого не читал, да того не знаешь! Скажи, обязан я знать, кто такая Аврора Дюдеван? Она что, в разведку со мной пойдет? То-то и оно, а комиссар за эту мадам два дня на меня не глядел...

— Комиссар прав. Это же Жорж Санд. Эх ты! Командир должен быть образованным человеком. Читать надо больше, грамотей!

Новый командир полка положил в своем блиндаже вещмешок и серый довоенного образца плащ, а жить там не стал. Напрасно мы с Мишкой старались — майор Голубенко поселился у комиссара.

В первый же день командир полка в сопровождении комиссара ходил по расположению штаба и знакомился с людьми.

Он был одного роста с Юртаевым, но полный и рядом с подтянутым комиссаром выглядел грузным и мешковатым.

Майору было жарко: он тяжело дышал, и из-под зеленой пограничной фуражки по светлым прядкам волос стекали струйки пота.

Увидев меня, он удивился:

— И девушки, оказывается, у нас есть?

Я представилась по форме, а комиссар сказал:

— Да вот, взяли одну... Для эксперимента, так сказать...

На кухне майор задержался. Пробовал суп и хвалил кулинарные способности старого повара. Василий Иванович сиял, как его сковородки, и, выпятив чрево, отвечал по уставу. Однако не преминул ввернуть, что он воевал с самим Чапаевым.

На кухне было чисто, и майор остался доволен. Тут наш сердитый дед нарушил устав и гаркнул простуженным басом:

— Рад стараться!

— А еще чапаевец! — с досадой вполголоса сказал мне Петька.

— А откуда ты знаешь, как отвечали чапаевцы? — спросила я.

— Да уж не так, как в старой армии при царе!

— Ну уж и не так, как теперь!

— Ладно, спрошу у комиссара, — решил Петька.

— А он знает?

Петька вместо ответа постучал себе пальцем по лбу: дескать, девка, у тебя не все дома...

Для Петьки во всей нашей армии не было человека умнее, храбрее и порядочнее комиссара Юртаева. Даже говоря о своем начальстве в третьем лице, Петька употреблял множественное число. «Они все израненные и перераненные: в гражданскую воевали, в Испании были, в финскую воевали, на Хасане сражались...» Или «...Вчера нас пулемет на стыке прищучил, ну, я копыта и откинул. А они смеются: «Петр, говорят, ты что землю носом пашешь! Пули-то идут выше второго этажа!» Разберешь там, как они идут...»

Петька не скупой: последним сухарем с товарищем поделится, но из комиссаровых пожиток нитки никому не даст — лучше и не проси. Раз я попросила у него щетку сапоги почистить, Петька замахал руками:

— Что ты, что ты! Как можно? Щетка комиссарова.

— Да что ей сделается? Съем я ее, что ли?

— Не в том дело, что съешь, а не мое это добро.

За то и слывет в полку жмотом наш курносый Петька — бывший тракторист.

Комиссар увел командира полка на передовую, а ве-

чером в нашу землянку ввалился хмурый Петька. Он сердито шмыгнул носом и спросил:

— Где твой начальник?

— Его вызвал в санроту доктор Ахматов.

— Ну тогда ты к нам пойдешь. Лекарство захвати.

— Какое лекарство?

— А я откуда знаю! Дышать им нечем. Влипли старший батальонный комиссар, ох и влипли!

— Да что с ним случилось-то?

— Да не с ним, а с майором! Вернулись они с передка и свалились.

— Так комиссар-то тут при чем?

— Ну и дура! — рассердился Петька, — ничего не понимает! Опять им хворого прислали! То всё майор Толкачев болел, а комиссар один воевал, а теперь вот опять командир полка... — он не договорил — махнул рукой.

Командир полка лежал на топчане и тяжело, со свистом дышал. Рядом стоял комиссар и озабоченно говорил:

— Всё-таки надо вызвать врача. Я позвоню Ахматову.

— Прошу тебя, Александр Васильевич, пожалуйста, не надо! — возражал майор. — Это пустяки, сейчас всё пройдет.

«Узбек, а зовут по-русски», — отметила я про себя.

— Чижик, ты имеешь какие-нибудь познания в терапии? — спросил меня комиссар. Я отрицательно покачала головой.

— Вот видишь, Антон Петрович, — сказал он, — надо врача.

— Ничего, обойдется. У тебя, душенька, есть что-нибудь от сердца? — Майор облизнул сухие серые губы.

— Кофеин и ландышевые капли, — ответила я.

— Ну давай хоть кофеин...

Я дала больному порошок и хотела уйти.

— Нет уж, ты останься, — сказал комиссар, — не умею я с больными.

— Какой же я больной! — возразил командир. — Александр Васильевич, да побойся ты своего аллаха!

— Помолчи-ка, Антон Петрович, больные должны молчать. Так ведь, Чижик?

Я кивнула. Мы молчали с полчаса, и было слышно, как комиссаров карандаш шуршит по бумаге.

Майор Голубенко то и дело вытирал полное потное лицо совершенно мокрым носовым платком. Я дала ему большую марлевую косынку и забрала платок:

— Я постираю.

— Спасибо, душенька! У тебя, видно, рука легкая — вот уж мне и легче. — С этими словами майор сел на топчане.

— А теперь, Чижик, дай-ка командиру полка капель, — приказал комиссар.

Майор покорно выпил лекарство и вздохнул:

— Ты уж меня извини, брат!

— Охотно, брат, — в тон ему сказал комиссар, — только ты мне скажи по-честному, Антон Петрович, зачем ты с больным сердцем в пехоту полез? Ты хоть узнавал, что это за болезнь?

— Какие-то сердечные спазмы, — нахмурил командир безбровое лицо. — В пехоту, говоришь, зачем полез? Не мог иначе. На восточную границу меня посылали — отбоярился с трудом. Я ведь с июня сорок первого не воюю — все по госпиталям да в резерве. На погранзаставе меня ранило на третий день войны. Мы стояли насмерть — с винтовками против танков, а против самолетов и вовсе были беззащитны. Если бы ты только знал, Александр Васильевич, какие были у меня ребята! — Майор тяжело вздохнул. — Почти все на глазах погибли: один за другим, — голос его дрогнул. Майор Голубенко помолчал, снова подавил вздох и продолжал:

— Очнулся я уже в санитарном поезде, ноги мне перебило. — Он совсем тихо закончил: — Семья у меня там осталась: трое детишек...

Нездоровое лицо майора застыло, как неподвижная маска, а в широко открытых голубых глазах притаилась боль.

У меня по щекам поползли слезы. Я сдерживалась изо всех сил, но всё равно расплакалась. Комиссар покачал львиной головой:

— Ай-я-яй! А еще бывалый воин! С первых дней на фронте... — и отправил меня умываться.

Поливая мне на руки из котелка, Петька издевался:

— У вашего брата слезы что вода: крантик открыл, и полилось...

— Заткнись! У тебя бы все близкие остались у немцев, небось не так бы запел!

Петька вдруг ощетинился:

— А то они у меня, думаешь, в Сибири! — и выплеснул остаток воды из котелка прямо мне на сапоги...

А вечером у нас произошло ЧП. Наш уютный овраг бомбили «юнкерсы»: ранило двух связистов, да не очень сильно пострадало хозяйство Никольского — погибли две фронтовые клячи. А бомбили долго и по новому способу: бомбы швыряли с сиреной. Они так омерзительно выли, что к горлу подступала тошнота.

Уже когда бомбардировщики легли на обратный курс, один из сопровождающих их «мессеров» вдруг вернулся обратно и начал носиться над оврагом на бреющем полете, поливая склоны пулеметным огнем. В «мессера» стреляли кто из чего мог, но нахал и не думал подняться выше и, казалось, был неуязвим.

И всё-таки его сбили! И не зенитчики: зенитки молчали, да и как они могли стрелять, если ас носился чуть не брюхом по кромке оврага! Сбил самолет бронебойщик Петерсон из противотанкового ружья. Не знаю, куда он там попал, но из брюха у «мессера» вдруг вырвался черный дым, и веселый огонек заплясал на бензобаках. «Мессер» взвыл, бросился вверх, потом вниз, опять вверх и потянул не через линию окопов, а в наш тыл и грохнулся в районе расположения нашей санитарной роты — только земля загудела! Целую секунду стояла тишина, а потом мы закричали «ура», выбрались из своих укрытий и набросились на Петерсона.

Множество рук подбрасывало вверх долговязое тело бронебойщика: у него даже обмотки на тощих ногах размотались...

Потом Петерсона обнимали и целовали все по очереди — еще бы! Не каждый день пехота самолеты сбивает!

Пришел комиссар и торжественно объявил герою благодарность.

Петерсон поклонился и сказал:

— Спасибо! Покорно вас благодарю!

Все засмеялись, а он смутился:

— Ах да, извините пожалуйста, — служу Советскому Союзу!

— А что с него взять! — сказал Петька. — Ученый. Они все такие ненормальные...

— Какой ученый? Откуда он здесь взялся?

— С луны упал, — ответил мне Петька. — Ты думаешь, он случайно «мессера» сверзил? Как бы не так! Он заранее всё высчитал. У него и приспособление такое круглое есть — сам придумал. Математик.

— Так ему в зенитчики надо или в артиллерию!

— Старший батальонный комиссар предлагали — не хочет.

Я во все глаза глядела на бойца Петерсона — первый раз в жизни видела настоящего ученого! Самый обыкновенный человек, и даже без бородки и без обязательного пенсне...

У нас в полку праздник! Мишкины разведчики притащили «языка»! Мишка ходит именинником, правая рука на перевязи: ранен в мягкие ткани предплечья. Володя хотел отправить его в медсанбат, но Мишка наотрез отказался и поглядел на меня так, что можно, пожалуй, поверить Димке Яковлеву...

«Язык» достался не даром: тяжело ранили Сеню-одессита, и ранение средней тяжести получил Иманкулов.

А как взбесился фриц! Целые сутки били немецкие батареи и минометы, и даже в наш уютный овраг залетали горячие осколки. А что делалось ночью на передовой! Пулеметы МГ охрипли от злости... Бесись не бесись, а «язык» у нас: сидит на полу в комиссарской землянке и плачет. И не какой-нибудь там стандартный сивый фашист с белыми глазами, а черный, как жук, крючконосый командир взвода Эрик!

Эрик посты ночью в траншее проверял, а Мишкины разведчики — ему кляп в рот и мешок на голову! Ординарца пристукнули, а Эрика приволокли.

Пленного допрашивал комиссар, а переводила я. Вначале ничегошеньки не понимала из того, что быстро-быстро лопотал фриц. Это ведь не со школьной «немкой» разговаривать!

Все ждали, а я решительно ничего не могла перевести. Командир полка даже усомнился: немец ли пленный?

— Прикажи-ка, Чижик, ему замолчать и переводи мои вопросы, — сказал комиссар.

Дело пошло на лад. С грехом пополам да с помощью словаря мы узнали всё, что нам требовалось. Черный Эрик и не думал запираться и дал ценные сведения. Его полк входит в дивизию «Дубовые листья». Эрик назвал фамилии офицеров, численность солдат и показал на карте огневые точки.

После разгрома дивизии под Москвой ее командир был расстрелян в ставке фюрера, а дивизия исключена из списка отборных частей. Сейчас идет нестроевое пополнение. Эрик тоже нестроевой, его не брали в армию до марта месяца по болезни: у него диабет. Он был младшим офицером еще в первую мировую войну и с тех пор в армии не служил. Он не любит войну, он преподавал философию во Франкфурте-на-Майне. Не убил ни одного русского...

— Бедная старая мамочка, — плакал Эрик, — бедная Клара!..

Я переводила дословно.

Комиссар спросил:

— Кто эта Клара — жена?

— Чужая жена.

— Чижик, не дури.

— Я и не дурю: никак не пойму, чья она жена, только не его.

А дальше пошло еще хуже.

Комиссар подвел итог:

— Сейчас наш Эрик скажет: «Гитлер капут» — тут и комедии конец.

Но Эрик не сказал «Гитлер капут», он попросил... расстрелять его!

— Тут что-то не так, — усомнился комиссар. — Я еще не встречал ни одного немца, который бы пожелал добровольно умереть. Что ты, Чижик, путаешь? Спроси еще раз. Он фашист?

Эрик понял вопрос без перевода и энергично затряс головой.

— Нет, он не нацист, и даже никогда не сочувствовал партии фюрера.

— Запуталась переводчица, — съязвил Мишка.

— А ты, умник, переводи сам, — осадил его комиссар — ведь у вас одинаковое образование.

Я спросила у Эрика еще раз: он желает быть расстрелянным.

Видя наше замешательство, пленный даже плакать перестал и глядел на нас вопросительно и тревожно.

Выручил начальник штаба, он только что возвратился из дивизии и тоже пришел на допрос. Капитан Казаков чуть-чуть получше меня владел немецким, но всё-таки разобрался, в чем тут дело. Да, Эрик просит его расстрелять, так как доктор Геббельс заверял по радио, что пленных русские вешают вверх ногами. Эрик не хочет висеть вверх ногами: он не убил ни одного русского и рассчитывает на снисхождение.

Все засмеялись. Мишка Чурсин присвистнул:

— Во брешет, хромой кобель! Я бы этого доктора...

Комиссар сказал:

— И это грамотный человек: философию преподавал! Можно себе представить, как засорены мозги у рядового немца! — Он упрекнул меня, как это я не могла разобрать знакомую фамилию Геббельса.

Я взмолилась:

— Александр Васильевич! Да что я, настоящий переводчик, что ли! Вы послушайте только, как этот Эрик произносит фамилию Геббельса — ни за что не догадаетесь!

— А что ты, Чижик, фамильярничаешь? Какой я тебе Александр Васильевич?

— А что ж, я виновата, что у вас такой длинный чин? Старший, да еще и батальонный комиссар. И при чем здесь батальон, когда вы комиссар полка? Несклепица какая-то.

Все засмеялись.

Эрик заметно приободрился, наверняка усомнился в правдивости геббельсовского заявления: могут ли такие веселые люди повесить безоружного пленного, да еще и за ноги!

— Ладно, — сказал комиссар, — за хороший перевод разрешаю: так и быть, называй по имени-отчеству. Надо бы тебя за дерзость заставить величать меня по-узбекски, да боюсь, язык вывихнешь — кто тогда будет пленных допрашивать?

— И вас можно звать Антоном Петровичем? — обратилась я к командиру полка.

Он улыбнулся:

— На здоровье!

— Но смотри, при посторонних субординации не нарушай! — предупредил комиссар.

— А то я не понимаю...

Когда пленного отправили в штаб дивизии, командир полка задумчиво сказал:

— Даже не верится, что вот такой смирный и немолодой Эрик может расстрелять женщину, избить ребенка... А ведь звери, настоящие звери! Варвары...

— Тельман ведь тоже немец, — возразил комиссар. — И ты об этом никогда не забывай! — повернулся он к Мишке. — Передали мне, как ты своим подчиненным уроки вандализма преподаешь: «Придем в Германию, всех передушим, перебьем!» Ты это оставь! Тоже мне Джек-потрошитель... Немец и фашист — большая разница. Впрочем, до Берлина еще далеко, и у меня будет время доказать таким, как ты, что Гитлер и мать Эрика не одно и то же...

Мишка недовольно засопел: обиделся герой! Еще бы, вместо награды — отповедь...

Впрочем, комиссар — человек справедливый. Вечером он распорядился выдать Мишкиным орлам по триста граммов водки на брата, и разведчики загуляли. Лопоухий Ванечка Скуратов, сидя на перевернутом ведре, играл на гармошке «русскую», а плясал Серега Васин — самый маленький среди рослых товарищей. Серега ловко выколачивал дробь ногами в блестящих сапожках, а от его частушек зрители держались за животы:

Плясать пойду —
Рукава спущу,
Холостого из разведки
Ночевать пущу.

Вот озорник!

В тот же вечер я обратилась к комиссару по личному вопросу.

— А кто у тебя в соседнем полку? — спросил Александр Васильевич. — Что ж ты молчишь? Отец, брат, сват?

— Там капитан Федоренко... — ответила я едва слышно.

Комиссар поглядел на меня насмешливо:

— Ни больше ни меньше, как сам Федоренко? Интервью хочешь взять? Ты военкор?

— Нет, я просто так... (Ох, легче провалиться!)

— Ага!.. На свидание, значит? — догадался комиссар. — Любовь? Не пойдешь!

— Я так и знала, что вы не отпустите. Все комиссары против любви...

— Не знаю, как другие комиссары, но я любовь не отрицаю. Настоящую, разумеется. Где молодость — там и любовь. Соловьи и на фронте поют. Выйди-ка на рассвете к хозроте да послушай. Что выделывают, шельмецы! Даже сердце замирает...

— Очень-то нужны мне ваши соловьи... — голос мой предательски дрогнул.

— Отпусти ты ее, Александр Васильевич, — вступился за меня командир полка.

— Молода слишком на свидания бегать. Ведь ей, Антон Петрович, только шестнадцать лет.

— Всё и будет шестнадцать! Мне уже семнадцать с гаком...

— Ну иди, раз уж семнадцать, да еще с гаком, — усмехнулся комиссар, — но чтобы это было в первый и последний раз!

— Как бы не так! — засмеялся командир полка.

— Ах ты, сукин сын, толстяк начсандив! — захохотал и комиссар. — Нечего сказать, скромную девушку мне подсунул! Уж куда скромней...

Не помня себя от радости, я выскочила из землянки и стала лихорадочно собираться. Еле-еле выпросила у Петьки утюг юбку погладить. Во жмот! Утюг, видите ли, комиссаров. Понеслась на кухню.

Старый повар долго на меня сердился, но меня это мало беспокоило. На кухне поддерживался порядок, а больше мне от упрямого деда ничего и не требовалось. Качество пищи — это уж сфера деятельности Володи.

Но однажды, когда я принесла свежую спецовку, а старую забрала постирать, Василий Иванович впервые мне дружески улыбнулся. И с тех пор отношения у нас наладились.

Я нагрела утюг и на пустом ящике из-под консервов разгладила юбку. Попросила горячей воды.

— Зачем тебе? — поинтересовался старый повар.

— Голову хочу помыть.

Он подал мне ведро с горячей водой и предупредил:

— Не вздумай прямо в ведре, оно питьевое.

Ну, а таз и просить нечего: в нем Василий Иванович тесто месит... Ну что ж, сама научила... Придется идти с немытой головой.

— Грибов хочешь? — спросил меня повар.

— Грибов? Какие сейчас грибы?

— Натуральные. Колосовики-обабки...

Дело испортил Петька. Он кипятил на костре чайник для комиссара и, услышав предложение деда, заворчал:

— Грибы там! Одни черви... Старший батальонный комиссар даже есть не стали...

Разобиженный Василий Иванович напустился на моего приятеля:

— И комиссар покушал бы грибков в свое удовольствие, кабы не ты, болтун! Черви! Какие там черви! Не тот червяк...

Я очень любила грибы, но отнюдь не червивые. Отказаться было немыслимо, и я схитрила:

— Как жаль, что у меня сегодня что-то с желудком...

Василий Иванович согласился:

— Оно, конечно, грибы пища для желудка тяжелая. Вот я уже тебе конского щавелю заварю. Очень пользительно от поноса.

Еще не легче! Когда мы отошли на порядочное расстояние от кухни, Петька сказал:

— А ты, Чижик, врешь, как сивый мерин, и даже не краснеешь!

— Дурачок, да разве это вранье? Это же солдатская смекалка!

Мы похохотали всласть.

Я не спала почти всю ночь, а утром с досадой обнаружила, что юбка моя коротка до неприличия. И выпустить нечего — подол подшит другим. Но не идти же на свидание в галифе! А, была не была — пойду в юбке! Подумаешь, коленки видны... Что мне — сорок лет, что ли?

Выбираясь из оврага, на узенькой тропинке я столкнулась с Мишкой Чурсиным. Мишка возвращался с обороны с целой охапкой белой сирени.

— Куда так вырядилась? — спросил он и поглядел на мои колени.

— Ой, не спрашивай, пропусти!

— Уж не на свидание ли?

— Попал пальцем в небо. Я иду в соседний полк к друзьям. Дай одну веточку.

— Чужим девушкам цветов не дарю, — буркнул Мишка. — И кому ты врешь? Разведчику? — Он размахнулся здоровой рукой и бросил всю охапку в речку. Поглядел на меня хмуро: — Тебе что, в нашем полку парней мало?

— Мишенька, самый лучший парень в нашем полку — это ты!

— Посмеешься над кем-нибудь другим... — Мишка сошел с тропинки.

Федоренко дома не оказалось — он еще не возвращался после ночи с обороны. В знакомой землянке находился один комиссар Белоусов. Он обгорел на солнце, что твой медный котелок, кожа на широком носу лупилась, как луковая шелуха.

Увидев меня, комиссар заморгал белыми ресницами и зловеще сказал:

— Ага, явилась!

— Да вот, пришла вас навестить...

— Кого это нас? — Не отпуская моей руки, комиссар поглядел мне прямо в глаза: — Не ври, ведьма курносая! Не люблю. Ну что вы, дурачье, вздумали? Не было бабе забот, так купила порося. Так и вы. Не жилось спокойно — любовь понадобилась. А если убьют его, тогда как? А?

— Да что вы все как сговорились?! Не могут его убить!

— А ведь вас, пожалуй, пара, — задумчиво сказал комиссар. — Тот тоже будто одержимый: «Не могут меня убить — и всё тут!» Жалко мне вас, ненормальных. Своя молодость вспоминается: в боях да походах, да и потом не легче... Ни любить, ни пожить как следует так и не пришлось...

Комиссар стал звонить в роты, спрашивал:

— Не у вас двадцать пятый?

Но Федоренко уже стоял на пороге. И никакой он не двадцать пятый, а единственный на всем белом свете! Его глаза светились такой радостью, что у меня защемило сердце.

Из-за спины Федоренко высунулась Лешкина лисья физиономия.

— Скажи на милость! — удивился он. — Чи-жик! Недаром мне вчера чертенята всю ночь снились.

...Он привел меня на полянку, ярко-зеленую, солнечную, с ромашками и колокольчиками, с двумя белоногими березками. Щедро повел рукой вокруг:

— Это всё твое. Здесь никто не ходит. И еще ни один снаряд не упал. Полянка заколдованная...

А потом Федоренко рассказывал свой сон:

— Речка тихая, тихая... Берега крутые, березка к воде свесилась. А на скамейке на самом берегу девушка в белом платье. Лица не вижу, но знаю, что это ты. А рядом незнакомый парень. Я бегу, а ноги, как деревянные, кричу — голоса нет. И так мне больно, обидно... Проснулся — всё лицо мокрое...

Я глядела на него во все глаза, едва сдерживая слезы. Подумала: «А вдруг ничего этого не будет? Ни тишины, ни березки, не белого платья...» — и заплакала.

Он всполошился:

— Ну, что ты, малышка? Мало ли что может присниться. Улыбнись! Что ж так невесело? А это уже лучше.

«Счастливые часов не наблюдают». А он то и дело поглядывал на свои старенькие швейцарцы, а стрелки-предательницы так и прыгали, так и прыгали...

Вот уже и всё.

Мы нарвали ромашек и двинулись к дому.

Лешка Карпов ехидно ухмыльнулся:

— Я так и знал: ну, конечно же, они цветочки собирали! Нашли на что время тратить!

— Никак у тебя глаза на мокром месте? — спросил меня комиссар. — Уж не Михаил ли поддал? — Он засмеялся своей шутке, а Лешка захихикал, как от щекотки. Но нам было не до смеха.

Михаил бережно поставил цветы в котелок с водой и спросил:

— Завтракали?

— А то нет! — усмехнулся Лешка. — Вы-то любовью сыты, а нам с комиссаром чего ради поститься? Вам оставили. Вон в фуфайке завернуто.

Есть не хотелось. Федоренко меня уговаривал и кормил со своей ложки. Лешка выходил из себя:

— Ты смотри, комиссар, что он делает! Он ее с ложечки кормит! Корми, корми на свою голову! Она тебя отблагодарит... Знаю я ихнего брата...

— Налей-ка влюбленным по чарке из нашего НЗ,— сказал ему комиссар, — а то у них аппетита нет.

— Не надо, — отказался Федоренко и отправился меня провожать.

Через неделю я снова просилась на свидание. Комиссар возмутился:

— Повадился кувшин по воду! Ох, девчонка, испортит тебе твой капитан жизнь! Как пить дать, испортит. Надеюсь, он не женат?

Я даже отшатнулась:

— Как можно!

— Ты в штабе узнавала или он сам тебе сказал?

— Ничего я не узнавала, даже и не спрашивала об этом!

— Так откуда же ты знаешь?

— Да ведь он любит меня! И ему только двадцать четыре года, когда же он успел жениться?

— Святая простота! — покачал комиссар головой.— Будто женатый не может влюбиться! Да еще как вкрутит-то! А в двадцать четыре года можно уже кучу детей иметь. Как ты думаешь, мой Петр женат?

— Петька-то? Конечно нет.

— Вот и ошибаешься. Женат, и сына годовалого дома оставил, а ведь Петру только двадцать лет! Ну да ладно, я сам справлюсь об этом.

— Заодно проверь, батюшка-тесть, каково имение у жениха и нет ли закладных в банке? — подал голос командир полка.

Я невольно улыбнулась:

— А у него и в самом деле есть имение... Он мне поляну с цветами подарил...

— Ну уж если поляну подарил, да еще с цветами, то определенно не женат! И не сомневайся, Александр Васильевич.

— Да, женатый до этого, пожалуй, не додумается,— согласился комиссар. — Золотые горы посулит, но чтобы поляну... Тут нужна романтика. Если бы мне вдруг взбрело в голову за кем-нибудь поухаживать, то уж поляны дарить не стал бы, нет...

— «Поухаживать», — передразнила я. — Да ведь вы старый!

Комиссар рассмеялся:

— Это я-то старый! Слышишь, Антон Петрович, что говорит эта нахальная девчонка? Мы с тобою старики!

Мы еще живы, и мы еще молоды!
И мы еще вернемся, любимая моя!

Кто это написал? Не знаешь? Ну и я не знаю. Знал, да забыл — вот и вся романтика...

...Свидание не состоялось. Я пришла, а он уходил в штаб полка на партийное собрание.

— Может быть, подождешь? Мы скоро вернемся... — попросил он.

— Через час, не раньше, — сказал комиссар Белоусов.

— Нет, я никак не могу ждать. Меня и так комиссар еле-еле отпустил...

— Да что ему жалко, что ли! — нахмурил Федоренко брови.

— Он думает, что ты мне испортишь жизнь...

Федоренко покачал головой:

— Ошибается твой комиссар.

Вот и всё свидание.

— Чтобы ты поменьше думала о любви, я тебе дам нагрузку, — сказал мне как-то комиссар. — У нас в полку есть узбеки. Их немного: по два-три человека на взвод. Некоторые из них не говорят по-русски. Переводчиков у нас, к сожалению, почти нет. Агитаторы занимаются с основной массой и на моих узбеков мало обращают внимания. Надо им хотя бы регулярно читать газету «Кызыл Узбекистон». Черт! И всего-то три экземпляра — как хочешь, так и дели на всех... Поручить кому-либо из бойцов — на раскур пустят...

Я возразила не без ехидства:

— Вы полагаете, что я и узбекский знаю, как немецкий? Ошибаетесь, Александр Васильевич.

— А зачем тебе знать узбекский? Ты взгляни на газеты. Только слова узбекские, а буквы-то русские. Шпарь себе от доски до доски. Закрепляю за тобой первый батальон. Там больше всего узбеков.

Так я стала агитатором. Комиссар не велел мне одной ходить на передовую, он сказал:

— Как кто-нибудь будет идти в первый батальон, ты и пристраивайся в затылок.

Но я и одна ходила к своим однополчанам. До обороны рукой подать. Открытое место можно перемахнуть одним духом, а там уж и траншея — мне и нагибаться не надо: бруствер выше моей головы.

Командиру первой роты я сказала:

— Буду ваших узбеков просвещать.

Он махнул рукой:

— Валяй на здоровье.

Узбеки пожилые и очень серьезные. Слушают меня внимательно, степенно качают головами: «Яман! Яман!» Это они о сводке с Южного фронта. После каждого разрыва мины цокают языком, поднимают палец вверх и опять: «Яман! Яман! Миньмет. Аллах акбар!»[1].

А в третьей роте меня вдруг окружили настоящие дети солнца: круглоголовые, ясноглазые, смешливые. Улыбаются: «Хой, синглим!»[2]. Парнишки не кивали головами, не цокали языками, не поминали великого аллаха — они после чтения концерт устроили. Вдруг лукаво переглянулись и запели что-то очень веселое. Командир отделения Зия Зияев, самый бойкий из них, ударял деревянной ложкой по пустому термосу и после каждого куплета выкрикивал: «Яр! Яр!»

Все девять человек проводили меня до землянки командира роты, на прощанье махали руками и кричали: «Хой, синглим! Рахмат!»[3]

— Золотые ребята, — сказал про них командир роты, — смешливые, послушные. Комсомольцы...

Дома я сказала:

— Непорядок! Собрали молодежь в одном месте. Надо отделение Зияева расформировать по всем взводам — пусть молодежь тормошит своих земляков.

— Правильно, умница! — поддержал меня командир полка.

— Жалко разлучать, — улыбнулся комиссар, — они все из одного района. Добровольцы.

— Александр Васильевич, вы бы чайхану для своих

[1] Плохо. Велик аллах *(узб.)*.
[2] Эй, сестренка! *(узб.)*.
[3] Спасибо *(узб.)*.

узбеков на передке устроили, что ли, — сказала я, — заполдня отоспятся, а потом? Ведь скучают люди, а собраться вместе негде. Самовар раздобыть можно и чаю хоть фруктового тоже. Вот только сахару...

— Настоящий узбэк чай пьет без сахару. Я уже думал о чайхане. Но сейчас не стоит затевать, скоро двинемся вперед, а вот как опять встанем в оборону, тогда организуем и тебя чайханщицей назначим.

— Опять встанем? Мало мы стояли!

— А ты думала, так и пойдем до самого Берлина? Чувствуешь, что на юге делается? Гитлер в этом году думает нас задушить. К Волге рвется. Так-то, Чижик-политрук. — Комиссар вздохнул. — Тяжелое это будет лето.

Как-то я дольше обычного задержалась в третьей роте: учила молодых узбеков русскому языку, а они меня узбекскому. Не знаю, легко ли давалась учеба моим подопечным, но я определенно делала успехи. Сколько же узбекских слов я знаю: яман, якши, акбар, чирок, бар, синглим, уртак, аскер... И еще выучу. Вот будет фокус, если в один прекрасный день заговорю с Александром Васильевичем на его родном языке!

Я быстро шла по узенькой тропинке, по сторонам которой во множестве поблескивали озерца грязноватой воды, не просохшие после вчерашнего дождя. Настроение мне испортил старший лейтенант Устименов. Мы столкнулись нос к носу, и он не уступил дорогу. Это единственный человек в полку, который мне неприятен. Антипатия обоюдная — Устименов тоже меня не любит, никогда не здоровается — проходит, как мимо пустого места. Он красив, этот минометчик. Ростом и подбористой фигурой под стать Федоренко, но у него белое, слишком холеное для мужчины лицо, и красные губы всё время кривятся, как две жадные пиявки. Он знаток своего дела и требовательный командир, но в полку Устименова недолюбливают, в особенности Димка Яковлев. Устименов пытался оклеветать товарища, погибшего в честном бою. Было это давно, еще в самом начале войны. Многие забыли неприятную историю, но Димка не забыл и никогда не забудет. Такой уж это непримиримый парень — ученик комиссара Юртаева. И Мишка Чурсин — юртаевской школы. Собирается Устименову «на-

чистить клюв» за грязные разговоры о женщинах. Я заметила, что и комиссар Юртаев не питает симпатии к командиру полковых минометов. Как-то после совещания Антон Петрович проводил Устименова восхищенным взглядом: «Нет, каков орел!»

Александр Васильевич многозначительно усмехнулся:

«Орел-то орел, да только не дальнего полета...»

И вот мы стоим друг против друга, как два упрямых барана. Минометчик кривит толстые губы в презрительной усмешке, но я чувствую, как мое лицо перекосила не менее ядовитая гримаса. Я всегда готова уступить старшему по званию и возрасту, но только не такому! Ты невежа, и в грязь полезешь ты! И дело тут не только в начищенных сапогах — черт с ними, с сапогами! В моем лице ты не уважаешь женщину, а раз так — по-твоему не будет!

Не знаю, сколько бы мы так еще стояли, если бы не комбат Пономарев. Он возвращался из штаба полка на оборону и нарушил наш молчаливый поединок. Победа осталась за мной: в грязь ступил Устименов.

В овраге на меня налетел Петька Ластовой:

— Где ты шатаешься? К тебе тут приходили.

— Кто?

— Капитан один щербатый, вот кто!

— Сам ты щербатый, а ему немец зуб в рукопашной выбил... Где же он?

— Ушел. Ждал, ждал и ушел.

— Как жаль, — сказала я упавшим голосом.

Петька захихикал:

— Ну, старший батальонный комиссар ему небось вкрутили! Они ему, поди, показали, как жениxаться!..

— Петька! Что ты мелешь? Как он попал к комиссару?

— А так и попал. У меня не спросился. Свататься приходил.

— Болтун! Говори дело!

Петька криво усмехнулся, поигрывая новеньким автоматом:

— А я и говорю дело. Когда он пришел, у комиссара в аккурат комсорг сидел. А я на ступеньке автомат чистил. Всё слышно было. Вот твой и говорит: «Отдайте Чижика за меня замуж!» Да... Ну комиссар вроде бы

ничего сперва. Смеяться стали... А комсорг как саданет кулаком по столу да как заблажит: «Я ей покажу замуж! Она у меня в два счета из полка вылетит!» Тут и комиссар закричали, и твой тоже. Я просунул голову за плащ-палатку, чтобы послушать, что дальше будет, а комсорг и увидел. «Брысь! — говорит, — отсюда. Скройся!» Ну я и ушел.

Я глядела на своего приятеля и ничего не понимала. Свататься пришел!.. Замуж? Зачем?.. Прямо к комиссару! Без меня... Тут что-то не так. Но по Петькиным глазам я видела, что он не врет. А сердце мое бухало где-то совсем не на месте...

— Ну, комиссар с меня шкуру спустит!... — это я сказала вслух.

— Пожалуй что да! — согласился Петька. — Он у нас таковский!..

С Петькой разговаривать было бесполезно — одно расстройство. Надо идти к комиссару. Но с какими глазами!.. А может быть, подождать, пока вызовет сам?.. Нет уж, чего тут ждать! Семь бед — один ответ.

Комиссар был в землянке один. Что-то писал и, не поднимая от бумаг головы, махнул мне рукой, чтобы села. Я сидела не шевелясь и сосредоточенно разглядывала большого рогатого жука, копошащегося в пазу щелястого пола.

Но вот комиссар отложил в сторону карандаш, снял очки и, протерев их маленьким кусочком замши, посмотрел на меня долго и пристально. Я заерзала на табуретке, как на раскаленной сковородке. Александр Васильевич сказал очень спокойно:

— Приходил капитан Федоренко.

Я промолчала.

— Официально просит твоей руки, — продолжал комиссар.

— Фу ты, как пышно! — сказала я. — Как в старинном романе. А я еще и замуж-то не хочу.

Александр Васильевич усмехнулся:

— Так примерно и я сказал жениху. Девчонка, ветер в голове.

Это мне не понравилось, но возразить я не осмелилась.

— Между прочим, он уезжает. — Комиссар опять поглядел на меня испытующе.

У меня пересохло во рту, и еле слышно я спросила:
— Куда?
— По всей вероятности, его направят на учебу в академию. И будет это, пожалуй, в первых числах сентября. Вот почему он и делает тебе предложение. Ну, так как же ты к этому относишься?
Я осторожно спросила:
— А вы?
— А что я? Разрешу или не разрешу — финал известный... Так пусть уж лучше всё будет по закону.
— Александр Васильевич! — Я схватилась руками за пылающие щеки.
— Я сорок лет Александр Васильевич! Сиди и слушай. Ты думаешь мне делать нечего, кроме как сватовством заниматься? Я с Федоренко разговаривал не так, как с тобой, а как мужчина с мужчиной. Все доводы «против» ему привел. Но парень упрям. Он и мысли не допускает уехать без тебя. Видимо, по-настоящему любит. А вот ты — сомневаюсь... Ну что ты вертишься, как сорока на колу? Сиди спокойно.
Хорошенькое дело: «сиди спокойно!» Усидишь тут!
— Отвечай прямо: хочешь замуж или нет?
— Ох, не знаю... Александр Васильевич, милый, дорогой, мне очень стыдно, но он умный, красивый, храбрый... лучше всех... — я заплакала., — и если он уезжает, то я...
— Хоть сегодня замуж, — добавил за меня комиссар. — Ладно. Так и запишем. И чего, спрашивается, ревет? Ну, закрывай шлюзы. Довольно. Честно говоря, мне эта затея не по душе. Не такое сейчас время, чтобы свадьбы играть. Он мог и один уехать. Разлука любви не помеха. Но раз уж так — пусть будет так. Запишетесь первого сентября. Ну что ж? Сыграем свадьбу — удивим всю дивизию. Так-то, фронтовая невеста.
Я вытерла слезы и радостно закричала:
— Дост! Рахмат, уртак! [1]
Комиссар удивленно приподнял брови, и я выпалила весь запас узбекских слов. Александр Васильевич улыбнулся:
— Я вижу, общественное поручение тебе на пользу. Что ж, молодец. Между прочим, капитан просил отпус-

[1] Спасибо, товарищ *(узб.)*.

тить тебя завтра к ним в гости. Он с товарищами хочет это событие немного отметить.

— А вы отпустите, Александр Васильевич?

— Казнить — так казнить, миловать — так миловать! — решил комиссар. — Иди. Но... — он поднял большой палец вверх, — к ночи домой! Он дал мне слово.

— И я даю.

Я опять справлялась с вечера. Хотелось бы приодеться, но не было ни платья, ни туфель. Всё та же гимнастерка, русские сапоги да на выбор штаны или короткая юбка — вот и весь мой предсвадебный гардероб. Может быть, прическу устроить? Несолидно как-то — невеста с косичками... Стала накручивать волосы на тряпки с бумажками, а они не накручиваются, только путаются — слишком длинные. И как крутить: вверх или вниз? Пошла к Петьке за советом. Петька сердито засопел носом:

— Еще чего! Что я, парикмахер, что ли? Иди к Лазарю — он научит.

— Так ведь Лазарь тоже не парикмахер!

— Он до войны вашего брата чесал.

— Чесал! Балда.

Рыженький Лазарь — телефонист замахал руками, закартавил:

— Я не пагикмахег!

— Но ведь Петька мне сказал...

— Петька-таки наплачется у меня за тгепатню!

— Ну, Лазарь, миленький, как же мне быть? Я невеста, и завтра меня будут поздравлять, хотелось бы выглядеть хорошо, а я не умею...

— Так у тебя помолвка, что ли? Это интегесно! Давай тгяпки!

Локоны получились отменные и челка красивой волной. Первый раз в жизни я напудрилась для солидности — совершила преступление: как только Петька куда-то отвернулся, отсыпала зубного порошку в бумажку из... комиссаровой коробки.

Все были дома: и Федоренко, и комиссар Белоусов, и Карпов.

— Фу ты, какая финтифлюшка! — фыркнул Лешка и обошел вокруг меня. Он даже потрогал волосы паль-

цем. — Настоящие? А я думал, парик. — И вдруг захохотал: — Мишка! Да она рыжая, как лиса, твоя невеста! Откажись, пока не поздно, ведь рыжие все до одной ведьмы.

— Сам ты рыжий, а я блондинка! Верно, товарищ комиссар?

— Блондинка с рыжинкой, — подтвердил Белоусов.— Что он понимает? А зачем ты лицо мукой обсыпала?

— Ну вот и вы ничего не понимаете в женской красоте! Ведь это же я напудрилась! Зубного порошка у комиссарова ординарца украла...

Пока остальные смеялись, Федоренко, улыбаясь, вытирал мне лицо носовым платком:

— Тебе совсем не надо пудриться.

Сговор, помолвку или что-то в этом роде праздновали в Кузином блиндаже. Кузя выставил праздничное угощение: кашу гречневую с тушенкой, грибы на сковородке, масло и печенье — весь свой дополнительный командирский паек, наверное, пожертвовал для такого случая.

— Выпьем за здоровье жениха и невесты! — сказал комиссар Белоусов и чокнулся своей кружкой со мной и Федоренко. Карпов и Кузя закричали:

— Горько! Горько!

— Чего заревели? Что это вам, свадьба? —осадил их комиссар.

— Будем мы ждать до свадьбы! — захохотал Кузя. — Горько!

Где-то очень близко ударил минометный залп. Кузя сказал:

— Гляди-ка! Салют в честь жениха и невесты. — С потолка прямо на стол посыпался песок.

Комиссар укоризненно покосился на Кузю.

— Хоть бы палатку над столом догадался прибить! Тоже мне хозяин! Песок скрипит на зубах.

— Я не замечаю, — буркнул Кузя.

— Да ты и жареные гвозди съешь.

Выпили отдельно за жениха и отдельно за невесту, потом за родителей жениха, а когда очередь дошла до моих родителей, Федоренко встал:

— У моей невесты нет родителей. Я предлагаю тост за здоровье старшего батальонного комиссара Юртаева!

Выпили и крикнули «ура». Молодец. Выпить за Александра Васильевича не грех.

Вместо сцены я использовала единственную Кузину табуретку. Боясь, что она перевернется, Федоренко всё время стоял рядом, но я чувствовала себя очень ловкой, почти невесомой и, отплясывая «Карамболину», так вертела воображаемым шлейфом, что даже самой было смешно. А потом мы с Кузей на пару «разделывали под орех» модную в нашей дивизии вологодскую «Махоню» с припевками. Кузя ревел, как дьякон с амвона, но я его перекричала и дробила, не жалея ни каблуков, ни собственных пяток. А мой партнер выдавал такие замысловатые коленца, что Грязнов от смеха путал лады баяна, а зрители держались за животы.

Ох, Махонька росточком мала,
Ох, Махонечка на горке жила...

Кузя, войдя в раж, налетел на раскаленную печку-бочку, и у него задымились новые галифе. Карпов проворно окатил его водой из термоса. Но вместо благодарности Кузя начал ворчать и ругаться, а мы хохотали до слез. Грязнов чуть баян не уронил.

— Ну вас, ребята, к дьяволу, — сказал комиссар Белоусов, вытирая покрасневшее лицо большим носовым платком. — Пропали штаны! И чего дурень летом топит? — Он поймал меня за ремень и потрепал по щеке: — Ох, Махонька, и бедовая ты, шельма!

Приближалась ночь. Наступала пора, когда на передовой, как на пограничной полосе, не до веселья и не до маленьких личных дел. Тяжелые минометы вдруг долбанули так, что земля вздрогнула и глухо загудела. Вот он враг — совсем рядом. Только и ждет, чтобы мы забылись, развесили уши... Начиналась ночная вахта. Надо было собираться домой, а уходить не хотелось.

— Останься, — очень тихо сказал Федоренко, но я услышала и отрицательно покачала головой. Он схватился: — Ох, ведь я дал комиссару слово...

Он при всех поцеловал меня грустно и нежно, едва прикоснувшись губами, даже не смог проводить, так как ему было пора на оборону. Провожал меня хмурый Кузя, переодевшийся в старую форму. Он был не в духе — жалел галифе, ворчал:

— Ведут себя так, как будто бы им отмерено жить по крайней мере лет до ста. Вот ахнет сюда этакая дура, и всё...

— Не ахнет. А если и ахнет — то мимо.

Домой я пришла поздно и разбудила Володю:

— Володя, поздравь меня, я выхожу замуж!

Мой начальник поморгал спросонья и сказал сонным голосом:

— Чижик, оставь меня в покое. Я хочу спать...

Фу ты, философ сонный! А я и подумать не могла о сне и пошла бродить по расположению штаба. Носом к носу столкнулась с комсоргом. Димка обжег меня голубыми глазищами: злился.

— Кажется, ты замуж собралась? Ну и не видать тебе комсомольского билета, как своих ушей. Что-нибудь одно: или любовь, или комсомол.

— Да что ты, Дима, городишь? Где комсомол, там и любовь!

— Не болтай не дело! — сказал Димка. Он вообще-то признавал любовь, как таковую, но только к Родине.

— Но ведь мне сам комиссар Юртаев разрешил!

— Не бреши, не люблю.

— Честное слово! Ну спроси у него! — Димка призадумался.

— Дима, хочешь я тебе спою «Карамболину»?

— Еще чего? — заворчал Димка. — Иди лучше ведомость второго батальона подытожь. Нечего бездельничать.

— Наплевала я на все ведомости на свете! Ничего я сегодня не способна подытожить! Ка-рам-бо-лина! Карам-боле-та!

— Ты пьяная, — сказал Димка.

Я не пила водки, но согласилась:

— Верно, Дима. От счастья пьяна...

Димка постучал себе по лбу, потом по столу. А что, может быть, и правда я от радости рехнулась?

«Не дай мне бог сойти с ума...» Ах, Александр Сергеевич, если тронуться немного от счастливой любви, то это еще ничего...

Уходя, Димка сунул мне в руку газету нашей дивизии. Я взглянула и ахнула: доктора Веру и Лешу Иванова наградили медалями «За боевые заслуги»!

Я ворвалась в землянку к комиссару и с порога завопила:

— Александр Васильевич! Антон Петрович! Доктора Веру наградили медалью!

Комиссар взял у меня газету и надел на нос очки в черепаховой оправе, а командир полка сказал:

— Чижик, ты так сияешь, что можно подумать, что это тебя наградили, а не твоего доктора.

— Ну как же вы не понимаете, Антон Петрович, что это же всё разно как меня! — закричала я и неожиданно для себя сделала стойку на руках (Петька научил меня этому искусству).

— Взбесилась девица, — усмехнулся Александр Васильевич. — Ай-яй-яй, бесстыдница! А еще невеста! Бедный капитан Федоренко!

— А может быть, наоборот, очень богатый, — возразил командир полка. — Ну где он встретил бы еще такого второго Чижика?

— Вот именно! — подтвердила я и выскочила на улицу. Надо было всем рассказать новость и написать доктору Вере поздравительное письмо. А заодно справиться, нет ли вестей от Зуева.

В конце июля был общеполковой митинг, на котором присутствовали представители от всех наших подразделений. Повестка дня: положение на Южном фронте.

Первым выступал комиссар Юртаев. Я еще никогда не слышала такого пламенного оратора. У Александра Васильевича безупречная речь без малейшего акцента и приятный тембр голоса, говорит он страстно, убедительно и не признает никаких шпаргалок. Правильно — раз ты комиссар, так обязан быть трибуном!

В этом отношении Антон Петрович отстает, он не мастер произносить речи: то и дело заглядывает в бумажку и делает досадные остановки.

А комсомольский вожак Димка Яковлев строчит как из пулемета, шпарит, не признавая знаков препинания, и оттого Димкины горячие слова не сразу доходят до сердца. Он и выступает, как с Володей спорит: мечет громы и молнии и брызгается слюной.

Вот о чем говорили на митинге. Гитлер держит на советском фронте более двухсот тридцати дивизий, из них добрая половина — танковые. Немцы двинулись на юг, так как развернуть наступление по всему фронту, как в сорок первом году, у них уже не хватает сил. Гитлер

решил захватить у нас последние хлебные районы, уголь, нефтяные запасы, отрезать Москву от основной артерии снабжения — Волги...

Мы должны помочь Южному фронту. Наша задача разгромить северо-западную группировку немецких войск и освободить города Ржев и Зубцов.

Комиссар сказал, что союзники наши сделали официальное заявление о перенесении срока открытия второго фронта на 1943 год. Ох и костерили же мои однополчане и Рузвельта, и Черчилля, и всю международную дипломатию! Бедный Димка! Не будет теперь тебе спасения от Володиных насмешек.

Вечером приятели опять сражались. Володя считает, что наше наступление стратегического значения иметь не будет, что нам отводится роль громоотвода: оттягивать на свою голову отзвук южной грозы. Возьмем мы Ржев или не возьмем — не так важно. Турнут немца на юге: сам из-подо Ржева уйдет...

Димка задохнулся от гнева и чуть не полез на Володю с кулаками:

— Ты думаешь, оставил Гитлер мысль взять Москву? А сколько от Ржева до Москвы, ты знаешь? И кто тебе дал право обсуждать планы командования!

Они так кричали, что я подумала: «Ну, сегодня непременно подерутся...» — и ушла.

Буквально через несколько дней после митинга весь наш участок фронта пришел в движение. Одни части уходили, другие приходили. Тягачи таскали пушки вдоль фронта — артиллерия выбирала позиции, теснила пехоту.

Над оврагом, нам в затылок, окапывался какой-то полк другой дивизии. В нашей лощине стало вдруг тесно и шумно. Не осталось ни одного клочка свободной земли на склонах оврага: всё изрыто. В землянках у комиссара и начальника штаба повернуться негде: представители из дивизии, от артиллерии, от связи, от противотанковой обороны, от службы воздушного наблюдения, от прессы... Всех и не перечислишь!

Уточняли последние детали. Антон Петрович, забыв про свое больное сердце, носился, как молоденький: в батальоны, на наблюдательный пункт, к соседу справа и к соседу слева. О его состоянии я догадывалась по водянистым мешкам под глазами, и на ходу заставляла

его принимать лекарство, прописанное доктором Ахматовым.

В этой толчее меня отыскал Лазарь, он сказал:

— Где тебя чегти носят? Тебе дважды звонили из соседнего полка, а я тебя не мог нигде обнагужить. Пгиходи в пятнадцать ноль-ноль. Будут звонить еще газ.

За полчаса до назначенного часа я уже сидела возле Лазаря и ждала. Точно в пятнадцать ноль-ноль позвонил Федоренко. Но что можно сказать друг другу, когда линию стерегут сотни оттопыренных ушей. Ни одного слова не пропустят! Вот как наш Лазарь или его помощник Селезнев: привяжут трубку к уху, чтобы руки были свободные, и слушают весь день да и ночь тоже. А уж у нашего Лазаря уши! Настоящие лопухи с розовыми прожилками. Но Лазарь хороший парень. Рискуя нарваться на неприятности, он иногда разрешает мне неслужебные разговоры по телефону. И не только с Федоренко. На днях я позвонила в медсанбат. Комбат Товгазов так закричал в трубку, что затрещала телефонная мембрана. У Варкеса Нуразовича вместо «Чижик» получалось «Тыз-зик». Лазарь посмеивался, а мне было не до смеха. Я слушала медсанбатовские новости. Наши все были живы-здоровы, за исключением моей сменщицы Лизы Сотниковой. Она погибла при бомбежке. От Зуева так и не было ни одного письма — как в воду канул мой воспитатель... Зато Николай Африканович прислал комбату ядовитое послание: «...Распорядился мудрый Соломон: старого — с глаз долой; малого — под пули!...» Милый папенька!.. Мы разговаривали до тех пор, пока кто-то не рявкнул: «Кончайте болтовню!» А майор Воронин мне звонил сам, и не один раз. И Маргулис как-то позвонил. Не забывали меня старые друзья.

Передавая мне трубку, Лазарь предупредил:

— Только смотги, без глупостей!

Вот и поговори после этого, да еще с любимым...

Федоренко сказал:

— В ближайшее время не увидимся — сама знаешь почему. Береги себя, не лезь куда не надо. Помни: я тебя люблю.

— Я тоже.

В трубке щелкнуло, и сейчас же в уши полезли смешки и озорные голоса: «Кто там любит? Ах, счастлив-

цы!» — «Девушка, полюбите лучше меня!» — «Не верь, крошка, обманет!»... И Лазарь отобрал от меня трубку.

Наш полк перевели во второй эшелон, и мы теперь считались резервом командира дивизии. Но мы остались всё на том же месте, где и были, а наши батальоны, снятые с передовой, окопались за нашими спинами — в районе хозроты.

Дивизия наступала двумя полками при поддержке армейского гаубичного полка, полка легкой артиллерии и отдельных приданных артиллерийских и минометных батарей разного калибра.

Наша полковая батарея и «самовары» Устименова запасли «огурцов» — они тоже будут участвовать в артподготовке.

Теперь целыми днями над нашим оврагом висит богом проклятый «фокке-вульф» и нахально покачивает крыльями. Зенитки берегут снаряды, а пехотного огня он не боится. Говорят, у него брюхо бронированное. Так ли это — не знаю, но еще ни разу не приходилось видеть, чтобы пехота сбила «костыля».

С самого начала войны мы ненавидим этого шпиона, он хуже всякого «юнкерса»: как привяжется к одному месту — до тех пор будет висеть, пока всё не высмотрит! А только улетит — начинается: или бомбардировщики нагрянут, или новая батарея заговорит! И как только не ругает пехота этого окаянного «костыля»! И «горбыль», и «хромоногий идол», и «гитара», и «одноглазый свекор». По его милости наш овраг бомбят по четыре раза на день. «Юнкерсы», «хеншеля» и «дорнье» без устали швыряют на наши головы воющие бомбы. И не так страшно, и вреда от бомбежки немного, но уж очень действует на нервы сирена: любят немцы психологический фактор. А сами возмущаются: «Партизаны — нечестная война!» А бомбы с сиреной — честная?! А вообще война — честно?!

Августовским белесым утром, когда над нашим оврагом еще клубился туман, ровно в шесть ноль-ноль, с нашей обороны взвилась в небо серия красных ракет, и в ту же секунду рявкнули пушки. Началась артподготовка. Орудия ревели десятками, сотнями стальных глоток. Через наши головы свистели, шуршали, шипели, шеле-

стели, шли с тяжелым шорохом снаряды. Кромсали немецкие окопы, рвали в клочья воздух, плевались огнем, дымом и серой.

В нашем овраге трудно стало дышать, но мы смеялись, кричали «ура», хотя и не слышали друг друга. Горячие глаза Александра Васильевича вспыхивали огоньками, крылья носа раздувались, жадно втягивая воздух.

Антон Петрович держался левой рукой за грудь, тяжело дышал, каска съехала набок, — он совсем не был похож на полководца, наслаждавшегося музыкой боя. Я подумала: «А ведь наступление его доконает, опять останемся мы без командира полка».

Дважды — сначала у нас за спиной, потом откуда-то слева — дала залп «катюша», и тут я не поверила Володе. Нет, это не инсценировка наступления, не маневр отвлечения сил, а настоящий бой! Не на всяком участке фронта услышишь «катюшу». А я и вообще-то ее слышала впервые и очень испугалась, когда вдруг за спиной возникли ни на что не похожие скрежет и шипение. Не раздумывая, я плюхнулась на землю, чем насмешила весь наш штаб, а когда поднялась и оглянулась назад, то увидела только рыжее облачко над позицией, а «катюши» и след простыл!..

Артиллерия лупила без передышки больше часа, и можно было ожидать, что в немецких окопах после такой бомбардировки не осталось живой души. Но не тут-то было! Как только пехота поднялась в атаку, немцы вдруг ожили и встретили наступающие цепи ураганом огня: пулеметы строчили без передышки, мины рвались в наших боевых порядках пачками, вражеская артиллерия вела неистовый заградительный огонь по нейтральной полосе. Страшно было даже подумать, что там, где-то впереди, Федоренко... В наш овраг снаряды и мины падали под прямым углом к земле, прилетали откуда-то прямо с неба.

Опять налетели «юнкерсы» — оранжевобрюхие с черными крестами на фюзеляжах. Откуда-то из-за облаков вынырнули наши «ястребки» и стремительно ринулись на чужие бомбовозы. Одного «юнкерса» прикончили с ходу — стервятник, разваливаясь в воздухе, рухнул на свои же позиции и взорвался на собственных бомбах: столб дыма закрыл половину неба.

Второго «юнкерса» три проворных «ястребка» при-

жали к самой земле и повели, как на аркане. Бомбовоз ревел смертным ревом, но послушно шел туда, куда его гнали. Комиссар улыбался, не отрывая глаз от бинокля:

— Ах, молодцы! Повели, как бычка на веревочке!

— Куда это они его? — спросила я.

— Или носом в землю, или на свой аэродром!

«Юнкерсы» сбросили оставшиеся бомбы куда попало — половину на свои же траншеи, и ринулись наутек. Наши насели на немецкий конвой. Где-то рядом заговорила зенитка, но сразу же смолкла — стрелять было нельзя: небо над нами кипело и клокотало, как вода в огромном котле.

Три «мессера» полетели вниз, объятые пламенем, — два немца повисли на парашютных стропах, третий выброситься не успел. Но и наши две машины оказались подбитыми: один самолет штопором пошел к земле, из другого выбросился парашютист. Воздушный бой выиграли наши, хотя немцев было гораздо больше. И с самого начала войны так: никогда фашистские асы не вступают в равный бой, они привыкли наваливаться втроем, впятером, а то и семеро на один наш самолет. Но наши! Ах эти отчаянные парни: вдвоем, втроем бросаются на целую эскадрилью! Маленькие юркие истребители с красными звездочками на крыльях никогда не покидают поле боя первыми: они сражаются неистово, бросаются на врага, как одержимые, бьются до последнего патрона.

Фашистам мало подбить самолет, им надо обязательно расстрелять в воздухе парашютиста или пропороть пулями купол парашюта.

А беззащитный парашютист не знает, достигнет ли он живым земли. Да еще хорошо, если на земле ждут свои — вот как мы сейчас. Стоим, задрав головы в небо, и стонем: «Неужели отнесет?»

— Нет, кажется, у нас приземлится!

Парашютист приземлился на одной половине парашюта, вернее, не приземлился, а упал в расположение наших стрелков, и уже через несколько минут Мишкины ребята принесли его к штабу на плащ-палатке. Летчик весь изранен: пулевых ран и не сосчитать. Мы с Володей всю его одежду разрезали на клочки и сапоги тоже, и бинтовали его голого, обкручивали бинтами с ног до головы. Володя сказал, что летчик будет жить. При

падении он ударился о землю лицом и вывихнул нижнюю челюсть, так что не мог ни говорить, ни даже закрыть рта. Раненый был в сознании, и сколько мы его ни мучили, накладывая повязки, ни разу не застонал, только щурил или совсем закрывал глаза. Напоить его водой и то оказалось трудно, он не мог глотать, и мне пришлось по капельке выжимать воду из ватки прямо в сухой горячий рот летчика, а он, наверное, выпил бы целое ведро, если бы мог.

Подошла подвода, и раненого увезли в медсанбат — там Александр Семенович вправит ему поврежденную челюсть.

— Атака захлебнулась, — так сказал комиссар.

Цепи наступающих залегли на нейтральной полосе. Немцы сопротивлялись бешено: головы не давали поднять. К ночи по приказу из дивизии наши вернулись на исходные позиции. Доктор Ахматов выделил взвод санитарных носильщиков. Ночью Володя Ефимов повел их на поле боя подбирать раненых.

А утром всё началось сначала, с той лишь разницей, что наш полк тоже вступил в бой. В конце ночи мы сменили какую-то часть и заняли исходные позиции в своих же бывших траншеях. Командование полка перебралось на наблюдательный пункт.

На нейтральной полосе саперы установили дымовые шашки. С рассветом опять ударила наша артиллерия и задымили шашки: белый кудрявый дым, перекручиваясь, заклубился по самой земле и закрыл поднявшиеся в атаку цепи, но встречный ветер разметал дымовую завесу, и снова наступающие оказались как на ладони перед немецкими позициями.

Только после третьей попытки, около двенадцати часов дня наш левый фланг ворвался во вражеские траншеи. Кто-то из представителей сказал, что впереди идет батальон капитана Федоренко. Немцы имеют приказ самого фюрера — стоять насмерть, — бой идет за каждый окоп, за каждую огневую позицию. Но к четырем часам пополудни противник отступил по всему нашему участку фронта.

— Сиди здесь! — крикнул мне комиссар и вместе с командиром полка убежал догонять наступающие цепи. На НП остались только я да Лазарь с Селезневым. Володя ушел с комиссаром.

— Сосед к нам на пговод впутался. Федогенко твой говогит, — закартавил Лазарь.

Я вырвала у него трубку и сразу услышала голос Михаила. Он кому-то докладывал: «Я уже у объекта шесть. Двинули дальше. Сматываю связь. Что делается! Бегут фрицы!»

— Федоренко! Федоренко! — завопила я в трубку, но он меня не услышал, а Лазарь выругал:

— Неногмальная!

Я бросилась к амбразуре, подобрала чей-то бинокль, подогнала по глазам и ахнула: наши шли во весь рост, оставив позади себя немецкие окопы. Умолкли вражеские пулеметы, не рвались мины и только откуда-то издалека прилетали тяжелые снаряды. На немецкой обороне вставали огненно-черные смерчи разрывов: фрицы с запозданием громили свои позиции, — наших там уже не было.

Я смеялась и кричала:

— Лазарь, Селезнев! Наши погнали немцев! Вы только посмотрите!

— Я знаю, — ответил Лазарь. — Селезнев, давай сматывать связь.

— Лазарь, к нам Петька бежит!

— Узнай, что за пгиказ.

Я выбежала на улицу и закричала:

— Петька! Петька! Какой приказ?

— Сматывайте связь и вперед! — издали крикнул Петька и убежал.

Полк шел вперед. Мы двигались по дороге в походной колонне. Наш полк снова перешел в резерв. Дивизия взломала оборону противника, и немцы, видимо, бежали на промежуточный рубеж. Мы шли километр за километром, но звуков боя так и не слышали. Федоренко был где-то далеко впереди — его полк «висел на хвосте у противника».

Как весело шагать не на восток, а на запад. Каким торжеством светятся лица у моих однополчан! Еще бы: они пережили атаку и победили! Немцы не просто отступили, а бегут! Молодежь рвется в бой, некоторые ворчат:

— Что это комдив так уж нас бережет: чуть-чуть повоевали и опять сзади всех.

Пожилые солдаты настроены более трезво:

— Навоюешься еще по завязку, не спеши в пекло!

Артиллеристы тянут свои пушки, их лошади-битюги теснят нас к обочине канавы, а на обочине транспарант: «С дороги не сходить! Мины!»

На зеленом вездеходе мимо нас проехал развеселый комсорг дивизии Алексей Мишин. Он раскланивается направо и налево и размахивает пилоткой, а его бритая голова блестит, как зеркало. «Виллис» замешкался в дорожной толчее. Алексей крикнул мне:

— Чижик, шевели усами! Почему отстаешь? Вот возьмем без тебя Ржев — будешь знать! — И запел во всё горло:

Догоняй меня в Берлине,
Раскрасавица моя!

Вездеход вырвался наконец из пробки, фыркнул мотором и исчез из глаз. Солдаты заулыбались, заговорили:

— Во, чертов козел! И мин не боится.

— Какие мины? Тут до нас сотни прошли.

— Это что ж за марка такая? А?

— Американская. Рузвельт подарил вместо второго фронта.

Прошли добрый десяток километров и остановились в большой деревне. Она так и называлась — Большое Карпово. У колодца сразу выстроилась очередь. Вдоль зеленой улицы прошел комиссар. Он сказал бойцам, указывая на дома:

— Вот как бежали фашисты, — ни одной постройки не успели спалить!

Появились женщины, дети, старики: изможденные, плохо одетые, босые, но лица у всех радостные, взволнованные, — у меня запершило в горле. Женщины суют солдатам картофельные лепешки и печеные яйца, но хоть и не ели наши с самой ночи — ни у кого не хватает совести принять угощение: отнять кусок у вдов и голодных ребятишек. Но угощаться всё-таки пришлось — женщины разобиделись, некоторые даже расплакались. Одна подслеповатая старушка, указывая на меня пальцем, сказала:

— Бабоньки, гляньте, какого дитенка оторвали от родимой матушки, воевать заставили... Царица небесная!..

— Никто меня не заставлял, я сама! — ответила я сердобольной старушке.

Она всплеснула сухонькими ручками и заплакала:

— Господи Иисусе! Да ведь это девочка! Стало быть, всех парней германец перебил.

Бойцы засмеялись:

— Бабуся, а мы что, старики, что ли?

— Вовек нас всех германцу не перебить!

— Мы сами его в гроб загоним! Вот как драпает.

Но старушка всё плакала и крестила проходившую мимо нее полковую колонну.

Со мной рядом долго бежал стриженый мальчуган лет шести. Он подсмыкивал рваные порточки и старался на ходу заглянуть мне в лицо. С гордостью заявил:

— А наш батя тоже на фронте!

— Ну вот теперь письмо от папы получишь.

— Знамо, получу.

И столько уверенности было в голосе ребенка, что у меня защемило сердце. Нечего было подарить симпатичному мальчишке: в карманах не было ни сухарика, ни кусочка сахару, и я отломила ему большой кусок дареной лепешки. Малыш проглотил слюну, но мужественно отказался:

— Не, это вам. Моя мамка тоже пекла.

Я настояла: взял и съел с жадностью.

Мы шли до самой темноты и остановились в каком-то лесочке. Завалились спать прямо на голую землю, и я изрядно продрогла. На рассвете подтянулись кухни. Наелись горячей пшенной каши, напились чаю, что было кстати — погода испортилась. Небо обложило тучами, дождь повис над самой головой, заметно похолодало. Командир полка, поглядев на хмурое небо, сказал:

— Хоть на время от самолетов избавимся.

Но мое настроение испортилось вместе с погодой. Я мерзлячка, люблю солнце. В окружении я так намерзлась, что до сих пор боюсь холода, а раньше я любила крепкий ветер и веселый дождик, особенно летний, стремительный ливень. Но это было так давно, еще до войны... А на фронте другое дело. Что хорошего, когда у человека ноги мокрые или руки замерзли? У нашего Василия Ивановича от холода на кончике сизого носа всегда повисает подозрительная капля. В дождь он бьется над затухающим костром и ворчит по моему адресу:

«Хороший хозяин собаку в такую погоду из дому не выгонит, а ты шатаешься — сидела бы дома!»

Как будто в непогоду у человека нет никаких обязанностей.

Я заметила, что все озябшие злы, и я не исключение. Всё меня раздражает и всё не мило. Ну что стоим, спрашивается? Чего ждем? Называется, в наступление пошли. Знаю, что ждем приказа, а злюсь. Опять, наверное, большое начальство обстановку уточняет и решает, куда нас направить. Как будто заранее нельзя было определить, где наше место.

— Гнать надо немца, пока он не опомнился, а не ждать у моря погоды, — ворчала я, ни к кому не обращаясь. Комиссар насмешливо сощурился:

— Чего дуешься, как мыльный пузырь? Тоже мне стратег! Сиди да жди.

Надоело сидеть, опять пошла бродить по мелкому осиннику. Народу, как муравьев в куче: не только наш полк, но и еще какая-то пехотная часть и даже танкисты. «Тридцатьчетверки» не замаскированы — танкисты тоже, видно, любят нелетную погоду.

Все без дела и все ждут — нудный день тянется бесконечно. Танкисты устали ждать — концерт затеяли. Они притащили лист фанеры, положили его на поляну, придавили по краям камнями. Я не сразу и догадалась, что это походная сцена.

На сцену вышел цыган — танкист с гитарой, поклонился зрителям, скромно объявил:

— Вашему вниманию, товарищи фронтовики, предлагаются цыганские романсы. — Тряхнул смоляными кудрями, притопнул ногой, ударил по струнам, запел низким голосом:

Яко, да-ко, романэ́ —
Сладко нездоровится:
Как чума сидит во мне.
Жаркая любовница...

Больше половины не поняли, но хлопали, не жалея ладоней. Цыган спел «Бродягу», «Отраду» и захотел плясать.

— Братья по оружию, нет ли у вас гармониста? — вежливо обратились к нам танкисты. Разведчики вытолкнули к сцене Ванечку Скуратова. Он уселся на пенек и заиграл «цыганочку» с выходом. У плясуна длин-

ные тонкие ноги и поджарая фигура, цыган ли он на самом деле — не знаю, но под цыгана играет здорово.

— Колесом пройдусь! Печеного рака изображу! Гвардейским способом разделаю! — А ноги выбивают дробь так, что заглушают Ванечкину тальянку.

Зрители в полном восторге, поощряют плясуна лестными выкриками:

— Ну и бес танкист!

— Ну и дает, бродяга, жизни!

Танкисты довольны, задирают зрителей:

— Помогите, товарищи брюхолазы! Утомился парень.

— Желающих с вашей стороны чего-то не видно.

А цыган дразнит, издевается:

— Давай, давай, царица полей! Ну, кто исполнит танец живота? Разрешается даже ползком...

Мишка Чурсин стонет:

— Ах, Сережки Васина нет — он бы тебе показал ползком!

— Где ж твой Васин? — спросил его комиссар.

— В медсанбате. Покорябало его малость при прорыве.

— Покорябало! — усмехнулся Александр Васильевич. — Неисправим, бедняга!

Но Мишке не до замечания. Встав на цыпочки, он оглядывает ряды однополчан и хмурится, не находя достойного соперника танкисту. А тот поддает жару.

— Что, братки, гусеницы размотались? — И всё пляшет, как заведенный.

— Чижик, неужели ты такое вытерпишь? — тронул меня за рукав комиссар. — Э, а говоришь, что патриот полка, ветеран дивизии...

— А может, ей жених запретил публичные выступления? — съехидничал Мишка. Но я не удостоила его ответом. Просто у меня не было настроения, а без настроения какая же пляска?

Мишка, видимо, кое-кого сагитировал, потому что наши вдруг закричали:

— Чижик!

Весь полк кричит:

— Чижик! Чижик!

И танкисты:

— Чижик!

А цыган ударил ладонью по подошве сапога, закричал на весь лес:

— Все люди, как люди, и цыган, как человек, а ты чего ломаешься? Выходи, фартовый парень Чижик, давай на перепляс!

Наши подняли хохот.

Выручил меня дождь. Он собирался с самого утра и теперь вдруг распузырился вовсю: холодный, колючий. Танкисты убрали свою сцену, и зрители разбрелись по перелеску.

Завернувшись в плащ-палатку, я сидела нахохлившись, как мокрый воробей, и думала о Федоренко. Скоро он уедет в академию, и я с ним. Буду служить где-нибудь в тыловом госпитале... А как же полк? Все стремятся на фронт, а я в тыл... И с Федоренко расстаться немыслимо, и полк покинуть жаль до слез.

— Лазарь, ты не знаешь, какой срок обучения в академии?

— В мигное вгемя лет пять, не меньше, а сейчас — не знаю.

— А ты не знаешь, после окончания в свои части направляют?

— Чижик, отвяжись! — буркнул Лазарь и занялся своими телефонами. Он натянул плащ-палатку наподобие шалаша и втиснулся туда боком, а длинные ноги торчали наружу. За широкие голенища лился дождь.

— Лазарь, подбери свои ходули!

— Они в моем двогце не помещаются...

Во «дворец» к Лазарю то и дело приходит начальство, и тогда телефонист задом выбирается наружу и, пока идет разговор по телефону, стоит под дождем, приподняв худые плечи выше воротника куцей шинелишки.

А я сидела на пне и мечтала.

...Разобьем фашистов, заявимся с Михаилом к бабушке. «Бабуля, вот мой муж!» — скажу я. Нет, телеграмму, пожалуй, сначала пошлю, а то бабка, чего доброго, не разобравшись, задаст мне трепку: «Ах ты, Марфа Посадница! Я тебе покажу мужа!» Полюбит бабушка моего Федоренко... Его нельзя не любить. И заживем мы все вместе где-нибудь в таком поселке, как Пушкинские Горы. Чтобы обязательно кругом лес был. Большой лес. И речка или озеро — всё равно. И посадим мы сад. И рощу посадим. Из одних березок. Миша ведь лесотех-

ник. Дом новый построим. Светлый, с балконом... И целый дом гостей назовем: доктора Веру, Зуева, Николая Африкановича, комиссара Юртаева, командира полка, Димку Яковлева, Лешку Карпова, Лазаря — всех!.. И комбат Товгазов приедет. Спляшет лезгинку. Ох и здорово же он плясал в тот день, когда немцев от Москвы погнали!.. На одних носочках, в зубах кинжал, а глазищами туда-сюда, туда-сюда... Испечет бабушка псковские кокоры, пирог-курник, драчену — на это она мастерица!..

Ох, как ревут пушки! Хоть уши затыкай... Какого же это калибра? Размечталась!.. А где-то впереди идет бой. И до победы еще надо дожить... Мы-то с Федоренко доживем!

Дождь шел до самого вечера. Моя палатка до того пропиталась влагой, что больше уже от дождя не спасала. У меня начали постукивать зубы. И надо же было оставить шинель в обозе! Подумаешь тяжесть! Вот солдаты те умнее: все в шинелях и под палатками. Зато комсостав налегке, вроде меня, — «дрожжи продают» в одних гимнастерках под мокрыми плащ-палатками... Брр!.. И связные без шинелей — мокрые с головы до пят, снуют в разных направлениях по мокрой траве. Мой приятель Петька замерз, как кочерыжка, глазенки тусклые...

Солдаты брюзжат и вполголоса поругивают каждый своего старшину за то, что мокро и нет курева, за то, что холодно и хочется горячей похлебки, за то, что надоело ждать и вообще за всё понемногу. Не знаю, как в других родах войск, но в пехоте всегда и во всем виноват старшина. А кого же больше и ругать солдату? Друг друга не интересно, командира не положено, а старшину сам бог велел — вытерпит: брань на вороту не виснет.

Подошел Мишка Чурсин, вытащил из-под полы плащ-палатки сухую ватную телогрейку и протянул мне.

— Мишенька, какой же ты молодец! — Я еле ворочала языком, а озябшие пальцы не могли справиться с пуговицами.

Мишка застегнул сам и сказал:

— Не стоило бы заботиться о чужой невесте, но уж ладно — по старой дружбе.

Приказ получили ночью, а с рассветом выступили. Теперь двигались строго на запад. Дождь перестал, но было не по-летнему холодно. Северный ветер налетел с правой стороны, пронизывал до костей.

Деревня Глинцево стоит на холме. Слева деревенские огороды омывает игрушечная речушка без названия. Высоко над водой повис игрушечный мостик. По мостику из деревни Воробьево режут немецкие пулеметы: пули гнусавят и щелкают — от резных перилец щепки летят.

Все, кому надо на «глобус», переходят речушку вброд. «Глобус» — это маленькая круглая роща на крутом противоположном берегу речки, а за рощицей Воробьево, то самое, которое должна штурмовать наша дивизия. Наши вышибли немцев из рощицы только сегодня утром, но взять Воробьево не смогли: окопались на поле впереди «глобуса».

Бой сейчас идет ни шатко ни валко: постреливают понемногу и наши и противник. По «глобусу» хлещет немецкий миномет, по деревне Глинцево с большими интервалами бьет тяжелая вражеская батарея.

Мы должны сменить полк, в котором служит Федоренко, и форсировать наступление на Воробьево. Но нечего и думать вывести батальоны на позиции до наступления темноты.

Остановились на глинцевских огородах. Бой за Глинцево, видимо, был серьезный, и трофеи налицо: четыре вражеских танка, две разбитые зенитки, несколько пушек и целая гора мин и снарядов.

Немцы здесь устраивались капитально: на огородах множество просторных блиндажей в несколько накатов — половину деревенских построек разобрали фрицы на строительный материал. На дверях дощатого нужника прикреплено объявление: «Только для офицеров». Я прочитала вслух и перевела.

— Как бы не так, — сказал Мишка Чурсин, — хорошо и в штаны гадите, господа гитлеровские офицеры! — и объявление сорвал.

Наши бойцы отдыхают последние часы перед боем: проверяют оружие, сушат портянки, бреются и пишут письма. Неразговорчивы люди перед сражением: каждый думает о своем. Не последний ли котелок супа вы-

хлебал солдат? Не последний ли раз побрился?.. Не последнюю ли весточку послал на родину?..

Политработники провели летучки, с узбеками говорил сам комиссар. Задача одна: надо взять Воробьево!

С наступлением темноты двинулись на исходные позиции. Всё обошлось благополучно: немец не усилил огня.

Ночь прошла беспокойно. Всё уточняли и уясняли обстановку. На улице опять моросил дождь, и в командирский блиндаж набилось народу — яблоку негде упасть. Входили и выходили командиры, сновали связные. Хорошо, что Александр Васильевич строго-настрого запретил курить, а то тут бы задохнулся.

Командир полка нервничал: нам пообещали придать танковый батальон, а потом отказали из-за пересеченной местности. Антон Петрович кому-то доказывал по телефону, что рельеф «для утюгов» у нас самый подходящий и что нашу речку петух вброд переходит даже в половодье. Повернув голову к комиссару и держа трубку в руке, он возмущался:

— Они, видите ли, должны беречь материальную часть, а я людей не должен?

— Ведь проходили же здесь немецкие танки, а наши чем хуже? — нахмурился комиссар.

— Вот поди докажи, что ты не верблюд... — ворчал Антон Петрович и кричал сразу в две, а то и в три телефонные трубки.

Я сидела на полу, застланном свежим льном, от тесноты не могла рукой пошевелить и клевала носом.

— Иди спать! — приказал комиссар и подсадил меня на верхние нары.

Я дремала вполглаза, но слышала каждое слово. Над деревней мирно фырчал У-2. Я невольно улыбнулась: пошел в обход «председатель колхоза» — значит, дождь кончился.

К утру мне приснился голос Федоренко, не он сам, а именно голос. Он с кем-то спорил. Даже во сне у меня заболело сердце..,

На рассвете к нам на командный пункт пришел Федоренко и вызвал меня на улицу. Он был выбрит, в каске, с автоматом и двумя гранатами за поясом. Улыбаясь, сказал:

— Малышка! Жива-здорова? Мы ночью отдыхали рядом с вашим КП, а я и не знал, что ты тут. Такая досада! Я пришел тебя поцеловать. Опять выдвигаемся.

— Опять в бой?

— Опять. Все три батальона нашего полка свели в один, и я теперь командую сводным. Будем поддерживать правый фланг вашего полка.

— Береги себя...

— А как же! Я очень осторожен. Ведь у меня есть ты...

— Осторожен! Вся фуфайка в пробоинах...

Его ординарец отвернулся. Излишняя деликатность: если бы даже рядом стоял сам командир дивизии — я бы всё равно поцеловала любимого! Я его провожала в бой...

Точно из-под земли вынырнул Петька Ластовой — надо было идти на комсомольское собрание.

Комсомольские билеты получили тридцать пять человек, в том числе Лазарь, Петька и я. Петька, приняв от Димки билет, отчеканил:

— Служу Советскому Союзу!

А Лазарь закатил целую речь, а потом спутался и замолчал. Но мы все уверены, что Лазарь комсомольской чести в бою не уронит.

Я ничего не сказала, молча спрятала в карман гимнастерки маленькую книжечку с силуэтом родного Ильича.

Володя меня поздравил и долго инструктировал. Вот что он говорил:

— Ночью выдвигаемся в «глобус». Утром штурм. Командир полка будет на левом фланге, комиссар на правом. Ты пойдешь с комиссаром. Предупреждаю: бой будет жестоким. Немцы Воробьево легко не отдадут. Возможны контратаки. Рот не разевай и в цепь не лезь — там и без нас с тобой пока обходятся. Санитарная служба в полку поставлена неплохо. Наше дело обслуживать командный пункт и резерв. Раненых вниз к речке. Любой боец тебе поможет. Помни, Чижик, я на тебя надеюсь!

Это, очевидно, была самая большая речь в его жизни, но ведь мой начальник ставил боевую задачу: здесь не обойдешься двумя-тремя словами. Я ответила не по уставу:

— Не волнуйся, Володя, я тебя не подведу. Ведь я же теперь комсомолка!

Комиссар было не хотел брать меня в «глобус», но я вполне официально заявила:

— Знаете что, товарищ старший батальонный комиссар, кроме вас у меня есть непосредственный начальник, и я выполняю его боевой приказ!

Александр Васильевич улыбнулся:

— Э, Чижик, да ты, оказывается, птичка с характером! — И спорить не стал.

Мы поужинали и пошли впятером. Впереди Лазарь со своей катушкой, за ним комиссар, за комиссаром Петька, потом я, а замыкающим шел корреспондент армейской газеты Иван Свешников. Комиссар и его не хотел брать с собою, уговаривал остаться на КП, но упрямый парень как отрезал:

— Я всё должен видеть своими глазами.

Мы перешли речушку вброд, прохладная вода полилась за голенища сапог — сразу пропала сонливость. Невольно пригибаясь от низко летящих над землей трассирующих пуль, мы карабкались в гору, и я боялась в темноте потерять Петькину спину.

И вот мы уже на западной опушке рощицы. Пули свистят и щелкают о стволы деревьев, ныряют в лесу светляками. Мины рвутся не на земле, а где-то наверху, в ветвях деревьев. Не то чтобы уж очень страшно, но приятного мало. Одна мина разорвалась где-то у нас над головами — зафырчали, зашлепали горячие осколки. Я ткнулась лицом кому-то в самые ноги. Когда встала, сосед мой не поднялся, тихо окликнула его — не ответил, дотронулась рукой до лица — мертв...

Комиссар, корреспондент и я залезли в маленький блиндажик с жердьевым перекрытием, рядом в таком же укрытии устроились Лазарь и Петька. В блиндаже нельзя было встать во весь рост, и мы уселись по-турецки на влажный песчаный пол. Долговязый газетчик согнулся, как складной ножик.

Я светила Александру Васильевичу фонариком, а он что-то вычислял на карте и всё время разговаривал по телефону. То и дело приходил кто-нибудь из командиров и садился на корточки у самого входа. Комиссар мог с ними беседовать только по очереди с каждым, даже для двух лишних человек места в блиндажике не было.

После полуночи немец совсем осатанел: вражеские пулеметы неистовствовали, мины выли и рвались без передышки, покалеченные деревья скрипели и глухо роптали. Наши отмалчивались: то ли боеприпасы экономили, то ли силы для завтрашней атаки берегли. И только полковая батарея била и била прямо по Воробьеву.

На самой опушке окопалась резервная рота полка. У них были пострадавшие. При вспышках вражеских ракет я перевязала пятерых тяжелораненых. Эвакуировала всех пятерых удачно. Стоило только негромко сказать: «Резервная рота, помогите!» — как сейчас же в темноте спокойный и решительный голос командира резерва приказывал:

— Семенов, Курносенко, к сестре!

И снова я сидела в блиндажике и ждала, когда меня позовут на помощь. С ужасом подумала: «А что бы я делала с ранеными, не будь тут резервной роты? Могла бы сама дотащить до медпункта? Наверняка нет. Этаких богатырей мне и с места не стронуть». А ведь совсем недавно читала в газете, что какая-то знаменитая сандружинница, фамилию забыла, вынесла с поля боя двадцать раненых с оружием!

Из раздумья меня вывел голос комиссара, он велел мне позвать Петьку. Петька пришел, и Александр Васильевич приказал ему найти Федоренко.

Вскоре тот пришел и уселся рядом со мною у самого входа. Отыскав в темноте мою руку, крепко сжал.

— Вот это настоящая война! — сказал Федоренко.— Ну и хлещет — спасу нет! Товарищ старший батальонный комиссар, только что передали, что сводный батальон оперативно подчинен вам. Приказывайте.

— Хорошо окопались? — спросил его комиссар.

— Зарылись, как кроты, — ответил Федоренко.

— Потери большие?

— Несколько раненых, трое убитых.

— Люди ели?

— Обязательно, товарищ старший батальонный комиссар! — сказал Федоренко и украдкой меня поцеловал. Но комиссар заметил:

— Что же это вы, нахалы, целуетесь? Ну меня, положим, вы ни во что не ставите, но ведь здесь и посторонние есть!

— Мы только один разок, — засмеялся Федоренко,— ведь я ее давно не видел, — и опять поцеловал меня.

— А и в самом деле целуются! — рассмеялся Свешников.

— А что с ними сделаешь: жених и невеста, — буркнул комиссар.

— Настоящие жених и невеста?

— У нас всё настоящее: и война, и любовь,—сказал Александр Васильевич. — Вот только удачи нам пока нет.

Наступил рассвет, занялся новый день, а ни артподготовки, ни сигналов всё не было. Полк и сводный батальон Федоренко должны были наступать во взаимодействии с соседями. Ждали приказа из дивизии. Немец уже не бесчинствовал так, как ночью. Огонь стал заметно слабее.

Прячась за стволами толстых сосен, мы с Иваном Свешниковым глядели на Воробьево. Красивая деревня — вся в садах. Солнце всем одинаково светит: золотит верхушки воробьевских берез, веселыми зайчишками скачет по запорошенной траве перед немецкими позициями...

Иван напрямик сказал комиссару:

— Я не сведущ ни в стратегии, ни в тактике, но я понимаю, что брать Воробьево в лоб — авантюра.

— Ну, положим, не совсем в лоб, — возразил комиссар. — Мы несколько правее деревни. А потом, молодой человек, мы солдаты, и не привыкли обсуждать приказы. Бефель ист бефель. Так, кажется, по-немецки. Верно, Чижик?

— Да, приказ есть приказ. Но я согласна с представителем прессы. Воробьево наверняка можно обойти. Ведь должно же быть у немцев где-то слабое звено, это ведь не настоящая оборона, а только промежуточный рубеж.

— Браво, товарищ Чижик! — засмеялся Свешников, а комиссар насмешливо улыбнулся:

— А не порекомендовать ли тебя на должность начальника штаба, ну хотя бы дивизии?

У корреспондента были серые глаза и симпатичное чисто русское лицо. Он откинул со лба прядь выгоревших на солнце волос и, улыбаясь, сказал:

— Зря я не взял с собою фотоаппарат, а то бы обя-

зательно тебя сфотографировал вместе с твоим геройским женихом.

— Ничего. Вы нас снимете на свадьбе. Мы вас пригласим.

— И скоро свадьба?

— Первого сентября. Мы так решили.

— Ну раз решили — значит, будет. Я обязательно приеду.

После десяти часов утра Александр Васильевич утратил свое всегдашнее спокойствие, с досадой сказал:

— Ведь это же безобразие: вторые сутки держат людей под огнем без дела! Подобное ожидание изматывает силы хуже боя!

Подождав еще час, он собрался на КП — надо было выяснить обстановку. Пригласил с собою газетчика.

— Умоемся, позавтракаем заодно, — потом будет не до этого.

Но Свешников решительно отказался.

— Атаку боитесь прозевать? — спросила я его. Он засмеялся:

— Вот именно! Да и с бойцами мне надо поговорить.

— Ладно. Я вам принесу каши, — пообещала я. — Ложка-то есть?

— Нету ложки...

Я покачала головой. Вроде бы и парень подходящий: веселый и не трус, а ложки не имеет, как не настоящий воин.

Иван Свешников словно угадал мои мысли.

— Была ложка, да потерял.

— Ладно, я принесу.

Было солнечно и снова очень тепло. Александр Васильевич хмуро поглядел на небо. Я поняла, о чем он думает: конечно, анафемские «юнкерсы» не замедлят явиться — только их и не хватало на нашу голову!..

Нас догнал Федоренко. Он был уже без фуфайки и без каски. Глаза ясные, как будто бы и не было бессонных ночей.

— Не уходи, — сказал он, — сейчас принесут завтрак, у меня и дождешься комиссара, ведь он скоро вернется.

— Я не могу остаться...

Он посмотрел на меня с укоризной:

— Но ведь комиссар не один, с ним ординарец.

— Всё равно не могу, а вдруг ранят по дороге Александра Васильевича...

Федоренко вздохнул, с тоской сказал:

— Зачем только ты перевелась в полк? Я не имею ни минуты спокойной. У меня плохое предчувствие.

— Ну что ты? Я же скоро вернусь! Ничего со мною не случится. — Я встала на цыпочки и, сняв с головы Федоренко пилотку, погладила его мягкие густые волосы, чуть кудреватые на висках. Он поймал мою руку и поцеловал.

— Чижик, не отставай! — крикнул комиссар, и я побежала.

Оглянулась раз и два, и еще раз: он стоял на самой опушке и махал мне пилоткой.

Пока комиссар с помощью Петьки приводил себя в порядок, я сбегала на кухню. Она спряталась в густом орешнике, недалеко от КП. Василий Иванович обрадовался, заулыбался:

— Жива, божья коровка?

Я умылась, причесалась и получила кашу с консервами сразу в три котелка: в один для нас с Петькой, в другой Лазарю с газетчиком и отдельно комиссару.

Брезгливый Александр Васильевич не захотел есть в немецком блиндаже.

— Там такие миазмы, что лишишься аппетита дня на три, — сказал он, и я поставила котелки на подбитый немецкий танк.

Мы с Петькой не могли пожаловаться на отсутствие аппетита и ели наперегонки. Холодные консервы глотали, не разжевывая.

— Как лягушки — сами скачут! — сказала я с набитым ртом.

— Чижик, я тебе язык оторву! Ты же за столом! — рассердился комиссар.

— А это, Александр Васильевич, и не стол вовсе, а танк! — оправдалась я.

От речки прилетела шальная пуля, тюкнулась о комиссаров котелок и опрокинула его.

— Поесть, собака, спокойно не даст, — беззлобно выругался Александр Васильевич. Мне стало смешно.

— Ах, проклятый фриц! Не по правилам воюет: чуть самого комиссара полка не оставил без завтрака!

Не успели мы поесть, налетели «юнкерсы». Сделали

три захода, но никто не пострадал — отсиделись в прочных блиндажиках.

Время шло, а комиссар всё не собирался обратно на «глобус». Много дел накопилось на КП в его отсутствие. Наконец я потеряла всякое терпение. Сердце вдруг так заныло, что я вынуждена была на минуту присесть на ступеньку землянки. Меня охватила смутная тревога, предчувствие беды — ожидание стало невыносимым.

— Ну, скоро вы, Александр Васильевич? Мы же всё прозеваем! — крикнула я, заглянув в блиндаж.

— Сейчас пойдем, — откликнулся комиссар.

Вдруг на наш маленький «глобус» обрушился настоящий огневой шквал. Мины и снаряды рвались без интервалов, всё слилось в сплошной гул, и через эту адскую симфонию отчетливо доносилась ожесточенная ружейно-пулеметная пальба.

Сердце мое заколотилось, я снова крикнула:

— Александр Васильевич!

Но комиссар уже выбежал из блиндажа, а вместе с ним и все штабники.

— Немец атакует правое крыло! — тревожно сказал комиссар и дал распоряжение начальнику штаба: — Заградогонь! И хороший!

Через несколько минут заговорили наши батареи, где-то у речки зачуфыкали «самовары» Устименова. Пробежали цыпочкой разведчики, впереди с автоматом в руке Мишка Чурсин. Вот они перебрались через речку и понеслись к «глобусу»... Донеслось нестройное «ура», и немецкий огонь стал стихать.

Обогнав Петьку и комиссара, я бежала по знакомой тропинке, придерживая рукой санитарную сумку, а другой несла котелок с кашей.

С противоположного берега осторожно спускались с носилками четыре бойца. Еще издали я узнала темно-русые волосы. Что-то толкнуло меня в грудь, ноги подкосились.

Издалека-издалека донесся голос комиссара:

— Лей прямо на голову...

Вода полилась по моему лицу, потекла за ворот гимнастерки, и я очнулась.

— Э, слабачка, — сказал Александр Васильевич. —

Не убит, только ранен! Догоняй.

— А как же вы?

— Иди, тебе говорят!

Я бросилась догонять носилки, а ноги не слушались, дрожали и подгибались.

Носилки внесли в желтый дом на окраине деревни. Поставив их на пол, бойцы ушли, и остались мы вдвоем на нашем последнем свидании... Он был без сознания, в лице ни кровинки, и только ресницы чуть-чуть трепетали. Прибежал Кузя в каске, сдвинутой на затылок, сделал какой-то укол. Я спросила осипшим голосом:

— Куда ранен?

— Разрывной в бок...

— Кузя, ведь надо что-то делать?! Неужели ничем нельзя помочь?! Что же ты стоишь? Беги! Звони в политотдел! Самому командиру дивизии! Надо вызвать самолет.

Кузя махнул рукой и, обняв меня, заплакал... Мы стояли на коленях по обе стороны носилок и молча плакали.

Через несколько минут он скончался. Кузя закрыл ему глаза, а я сложила на груди руки. Родные руки, всегда такие горячие и ласковые, а теперь беспомощные и холодные. Кузя сказал:

— Скоро атака, и мне надо идти. Лешка занял его место, комиссар ранен. Боже мой, боже мой! Не могу поверить! Чижик, не хорони его тут. Увези в Большое Карпово, всё-таки тыл. Там штаб дивизии — тебе помогут... Я пришлю подводу. — Поцеловав мертвого друга, он ушел.

Всё было по солдатскому ритуалу. Поздно вечером его положили в ящик, наскоро сколоченный из неструганых досок. Из кармана гимнастерки вынули партийный билет и две фотографии: одну мою, другую матери с отчимом. Фотографии передали мне.

— Не надо ничего у него отнимать, — сказала я и положила фотографии на место.

Незнакомый комиссар из штаба дивизии сказал надгробное слово, нестройно прозвучал жидкий залп, и могилу зарыли. Насыпали жалкий холмик земли, воткнули палку с фанерной дощечкой, а на ней надпись:

Капитан Михаил Платонович ФЕДОРЕНКО.
Родился в 1918 году, погиб за Родину 18. VIII. 1942 г.

Взошло солнце, и начался новый фронтовой день, а моего любимого уже не было... Ненавистный «костыль» проковылял в голубом небе — отправился спозаранок на свою шпионскую службу. Высоко-высоко куда-то на запад прошли грозные «петляковы». Все ли вернутся назад?

Мимо тянулись дымящиеся кухни, подводы со снарядами, проходили бойцы. Некоторые останавливались, участливо спрашивали:

— Кого похоронила, сестренка?

Я не отвечала. И не было больше веселого беззаботного Чижика. За одну ночь я вдруг стала взрослой.

Командный пункт был на прежнем месте. Командир и комиссар сидели над картой в штабном блиндаже. Антон Петрович начал было меня утешать.

— Не надо! — остановил его Александр Васильевич, а сам погладил меня по голове.

Я поцеловала эту отеческую руку и заплакала. Он налил мне водки чуть ли не полный граненый стакан:

— Выпей.

Теперь запротестовал Антон Петрович:

— Не надо, не поможет. По себе знаю.

— Пей! — приказал комиссар. — Ты на человека не похожа. Тебе надо поспать.

Я выпила водку единым духом и проспала всю ночь. А утром боль вернулась с удесятеренной силой и горестные мысли были неотступны.

— Опохмелиться не дам, — сказал Александр Васильевич, — а то привыкнешь.

— Избави меня бог от такой отравы!

Я отыскала Мишку Чурсина.

— Мишенька, дай мне автомат!

Он не спросил зачем. Просто ответил:

— Лишнего автомата нет. Я дам тебе кавалерийский карабин — он легкий.

Комиссар сходил в «глобус» и вернулся без своего Петьки — маленький связной был убит. И Лазаря без меня убили. И ранили моего начальника Володю Ефимова... Я очень к ним была привязана, но эти горестные

новости меня не поразили. Должно быть, у меня, как у Антона Петровича, окаменело сердце...

Воробьево штурмовали не раз, но взять так и не смогли. Бойцы устали и, видимо, потеряли веру в свои силы. Дважды начиналась артподготовка, но пехота в атаку не поднялась. Часов около пяти комиссар сказал командиру:

— Ну что ж, дорогой мой Антон Петрович, предпримем последнюю попытку. Я полагаю, что наше место теперь в цепи. Как думаешь?

— Я готов! — сказал командир полка и потуже затянул ремешок каски на полном подбородке. — Как быть с Чижиком? — спросил он.

— Не возьмем. Пусть сидит тут, — решил комиссар.

— Да вы что, Александр Васильевич! — вскричала я. — Я вам заменю Петьку.

— Нет, — сказал комиссар, — ты мне не годишься. Ты сейчас как лунатик. Да и не надо мне связного. Мы с Антоном Петровичем теперь будем вместе, и с нами пойдет взвод разведки — наш последний резерв... Ладно уж, иди и ты. Возьми бинтов побольше, будешь своим делом заниматься.

Наш небольшой отряд отправился в боевые порядки — впереди разведчики. Гуськом, друг за другом, мы миновали западную опушку «глобуса» и по одному, по двое короткими перебежками стали выдвигаться на правый фланг батальона Пономарева. Мины рвались справа, слева, впереди и летели через наши головы на «глобус». Удивленный нашей дерзостью, противник перенес на наш отряд огонь сразу нескольких пулеметов. Низко пригнувшись к земле, бежали бегом, падали на землю, опять бежали и даже ползли. И только я, погруженная в свои печальные думы, шагала, как смертник, во весь рост. Комиссар обернулся и погрозил мне кулаком:

— Я, однако, этого самурая заверну в тыл!

Подействовало: я тоже стала бежать и ползти.

Остановились в маленькой канаве, заросшей травой. втиснулись в ячейки, вырытые нашей пехотой для позиций «лежа». Селезнев, занявший место погибшего Лазаря, продувал трубку, вызывал штаб дивизии: «Сочи!»,

«Сочи!» Никто не отзывался. Антон Петрович выругался:

— Черт бы побрал твои «Сочи»!

Селезнев виновато заморгал:

— Наверно, обрыв... — и побежал, взяв в руку телефонный провод.

Я перелезла через ординарца командира полка и взяла трубку: «Сочи!» — никакого ответа. Связи не было, и Селезнев не возвращался. По линии связи побежал Титов, ординарец Антона Петровича. Он устранил повреждение. «Сочи» ответили, но, только я передала трубку командиру полка, опять замолчали. Возвратившийся Титов, тяжело дыша, сказал:

— Селезнев убит. — И снова взял в руку провод.

— Лежи! — крикнул ему комиссар. — Бесполезно. Рвется, как катушечная нит... — он не договорил. Мина разорвалась у нас в ногах: нас обдало жаром, полетели осколки и комья земли. В ушах звенело. Титова ранило в спину.

Я сорвала с него ремень и закатала изодранную в клочья гимнастерку. Комиссар тронул меня за рукав, крикнул:

— Да ведь ему уже не нужна перевязка!

То и дело кто-нибудь звал санитаров. Я перевязывала и возвращалась на свое место. Нечего было и думать до темноты убрать раненых. Огонь всё усиливался: фриц совсем озверел.

Я перебежала в окопчик к Мишке Чурсину и крикнула ему в самое ухо:

— Как стемнеет, поможете раненых убрать?

Мишка молча погладил мою руку. Я опять ему на ухо:

— Куда ты стреляешь?

Он показал пальцем куда-то вперед. Была видна только половина деревни: кроны деревьев и разбитые крыши. А понизу клубился густой сизый дым — он закрывал немецкие позиции, и встречный ветерок гнал дым прямо на нас.

Я тоже стала стрелять, целясь из карабина в нижний край дымовой завесы.

— Санитар!

Кладу на землю карабин и бегу на вызов. Перевязав, снова возвращаюсь к Мишке в окопчик и снова стре-

ляю, не видя куда. Совсем рядом, чуть правее, татакает «максим». Кто-то крикнул:

— Санитара! Комсорга ранило у пулемета!

И я побежала туда, где минуту назад басил пулемет.

Охая, Димка Яковлев пытался перевязать себе голову. Увидев меня, обрадовался:

— Чижик, скорее — некогда!

Рана на макушке была небольшой, но сильно кровоточила — кровь заливала Димкины голубые глаза и лицо, и он отфыркивался, как морж в воде. Я остановила кровь и наложила на голову комсорга повязку-шапочку. Димка попробовал надеть на голову каску, но, охнув, отшвырнул ее прочь. Я повязала его зеленой медицинской косынкой, и Димка успокоился.

— Теперь хорошо.

Он жадно напился из моей фляги, перезарядил пулемет, приказал:

— Ты будешь моим вторым номером! Надо воды...

Я сняла каски с убитых пулеметчиков и из ближайшей воронки принесла грязной жижи.

— Это нельзя заливать в пулемет, — сказал Димка, — лей сверху.

И я вылила грязь на горячий ребристый кожух «максима» — только пар пошел.

Минометы вдруг как подавились, неожиданно стало очень тихо.

— Сейчас попрут психи! — сказал Димка. — Начну стрелять — придерживай ленту, чтобы перекоса не получилось.

Впереди послышался какой-то шум: не то музыка, не то лай, и из-за сизого занавеса, как на сцену, выкатилось что-то серо-зеленое и потекло в нашу сторону. Забухали винтовочные залпы, застрекотали чужие и наши автоматы, ударило сразу несколько станкачей, в том числе и наш «максим». И снова загудело, засвистело, завыло — казалось, само небо обрушилось на наши головы...

— Куда?! Лежать! — сквозь вой и свист донесся грозный голос комиссара. — По фашистской сволочи — огонь!

Вдруг Димка охнул и завалился на правый бок. Я наклонилась к нему и привычным жестом выхватила из сумки бинт. Он выплюнул кровавую слюну и, ударив

меня по руке, показал глазами на пулемет. И мне пришлось стрелять. Я била до тех пор, пока не кончилась лента. Беспомощно оглянулась на комсорга. Он подполз, вставил новую ленту, перезарядил и упал лицом вниз, цепляясь руками за обгоревшую траву. И я опять стреляла. Вода в кожухе кипела, как в самоваре, из пароотводной трубки хлестал пар.

— Вперед! За Родину! Ура!!! — Слева от меня в окружении разведчиков пробежали командир полка и комиссар. Жидкая цепь поднялась в атаку и закрыла мне сектор обстрела.

Я ясно увидела, как споткнулся командир полка, как он выронил автомат и тяжело рухнул наземь, вытянув вперед руки.

— Антон Петрович!.. — закричала я не своим голосом и бросилась к нему на помощь.

Очнулась в лесу, подумала: «Это я на «глобусе». Уже темнело, и было тихо. Где-то впереди, гораздо дальше Воробьева, шла ленивая перестрелка. Первым, кого я увидела, был Мишка Чурсин. Он наклонился ко мне и, улыбаясь, сказал:

— Наконец-то! А то мы напугались. Вроде бы и рана не смертельная, а ты как мертвая...

У меня гимнастерка была разрезана, как распашонка, сверху донизу, левый рукав распорот по шву. Покосившись на бинт на груди, подумала: «Наверно, Мишка перевязывал».

— Воробьево взяли?

— Взяли, черт бы его побрал! Свежая бригада здорово помогла — прямо с ходу в бой.

— Где Антон Петрович? — Мишка не ответил. Я спросила громче: — Где командир полка? Где майор Голубенко?

Ответил комиссар:

— Командир полка майор Голубенко пал смертью храбрых! — Голос Александра Васильевича в вечерней тишине прозвучал торжественно и грустно.

Я закрыла глаза и сразу вспомнила: «Да ведь его же насмерть...»

— А Димка Яковлев?

— Жив. Самолетом отправили.

— Мишенька, где наш полк?

Мишка повел рукой вокруг себя:

— Все тут.

И только теперь я услышала храп. Измученные люди лежали на голой земле и спали мертвым сном. Я села и огляделась:

— И всё?!

— Остальные там... — махнул рукой Мишка в сторону деревни.

— Раненых-то подобрали?

— А как же! И сейчас там почти вся санрота — проверяют, не остался ли кто...

— Это ты меня вынес? Спасибо.

— Не стоит, — сказал Мишка. — Ты и не весишь-то ничего. Я бы мог тебя до самого медсанбата нести.

Подошел комиссар, протянул мне записку:

— Вот на всякий случай письмо подполковнику Воронежскому. Мы отходим в тыл на переформировку.

— Зачем мне к Воронежскому?

— Он командир запасного армейского полка. После госпиталя ты обязательно попадешь туда. Воронежский мой друг, и он тебя направит в нашу дивизию, где бы мы ни находились.

Подошла подвода, и я крепко поцеловала Александра Васильевича. А Мишке сказала:

— Ты замечательный парень. Я желаю тебе большого-большого счастья. — Я и его поцеловала и почувствовала, как задрожали Мишкины губы.

Я попала в свой родной медсанбат. Все девчата, как по команде, сбежались в хирургический взвод: «Чижика ранили!» Мои подружки охали, ахали, гладили меня по голове и донимали вопросами, а мне совсем не хотелось разговаривать, да и рана побаливала. Пришел сам комбат Товгазов и от порога притворно строго закричал:

— Ах, бездельницы! Вон отсюда! — И девчата убежали.

Операция шла под местным наркозом и была короткой. Доктор Вера показала мне сплющенную тупоносую пулю.

— Чуть-чуть правее — и конец... — сказала она.

А я и бровью не повела и лежала на полевых носилках ослабевшая и равнодушная ко всему на свете. В тот

же день меня по настоянию комбата отправили в полевой госпиталь.

Полевой госпиталь был далеко от переднего края, возле самого Торжка, на берегу Тверцы.

Вновь прибывающие раненые лечатся, выздоравливающие отдыхают, как в санатории, наслаждаясь покоем и тишиной. Я единственная девушка среди раненых, и все ко мне здесь внимательны и добры, но я сама всех сторонюсь.

Рана моя заживает быстро, но выписать меня скоро не обещают. Доктор Щербина считает меня контуженной, его, видимо, смущает мой мрачный вид. Я покорно выполняю все его назначения, но иногда мне хочется сказать ему: «Бессильна здесь, доктор, медицина».

Я задумывалась, и всё об одном и том же: «Зачем я не осталась в «глобусе» в то утро? Если бы я не ушла, я бы сумела его уберечь... И никогда-то мы по-настоящему не виделись... Всё урывками, всё в спешке, всё под канонаду!..»

А сейчас покой и ласковое солнце, и ни единого звука войны. И речка тихая, и белая березка над самой водой, и даже скамейка на берегу... Всё, как видел он во сне...

На скамейке каждый вечер поет санитарка Настенька:

Шел со службы пограничник,
На груди звезда горит...

Хорошо поет девушка, и голос у нее сильный, красивый, но сердце мое протестует: «Как она может петь?»

Настенька рослая, на голове коса, как золотая корона. У нее много поклонников из выздоравливающих. Но она предпочитает сержанта Терехова из нашей дивизии. Это он мне позволил пострелять из «максима», когда я обследовала колодцы в полку Федоренко... Терехов ранен в правое бедро и ходит, опираясь на узорчатую палку из орешника. Днем он со мной, вечером с Настенькой.

Настенька не ревнует меня к своему кавалеру — знает, чем мы с ним заняты каждое утро на берегу реки. Терехов рассказывает мне о станковом пулемете и на

прибрежном песке своей палочкой чертит механизмы и детали.

Однажды Терехов сказал:

— Наша дивизия грузится в эшелоны на станции Панино.

Я промолчала. Сержант задумался, потом тронул меня за здоровое плечо и спросил:

— Может, подорвем, а?

— Зачем же самовольно? Попроси — выпишут...

— Просил. Даже совсем здоровых выписывают не сразу в свою часть, а сначала в запасной полк. Там тоже свои порядки. Если бы еще дивизия не снялась с фронта, так можно было бы надеяться, а теперь и думать нечего. Может быть, в полку ни одного знакомого нет, а тянет... Веришь ли, Чижик, так сегодня и не уснул. Сердце ноет и ноет—как всё равно с домом родным расстаюсь. Ну так как? Подадимся?

— Мне нельзя в тыл.

— А ты думаешь, надолго?

— Даже ненадолго не могу.

— Как хочешь. Тогда я один уйду. Вроде бы и легче воевать под родными знаменами... Я ведь с самой Латвии всё в одной дивизии. Вот и к ордену представлен.

— А как же твоя Настенька?

Терехов вздохнул, улыбнулся своим мыслям:

— Что ж, Настенька? Она девушка славная. Захочет — будет ждать. Другие-то ждут...

Он отдал мне записку для Насти с наказом вручить ей ровно через сутки, и в тот же день, после обеда, «подорвал». И еще несколько человек сбежали из госпиталя, и все из нашей дивизии.

Ровно через сутки я отдала Насте записку. Она прочитала, заплакала:

— Что ж это он со мной делает?

В этот же день в госпиталь на машине приехал майор Воронин. Я очень обрадовалась:

— Иван Сергеевич, дорогой...

Майор был в штабе армии по делам артснабжения и завернул ко мне, вернее, за мной. У него было письменное отношение на имя начальника госпиталя о моей досрочной выписке ввиду исключительных обстоятельств. Иван Сергеевич привез мне горестную весть: тяжело ранили комиссара Юртаева! Я недоумевала: как могли

ранить Александра Васильевича, если полк при мне вышел из боя? Никаких подробностей майор Воронин не знал, и я догадалась сама: самолеты...

Мы сидели на крутом берегу Тверцы, на моем излюбленном месте, под густым кустом боярышника. Иван Сергеевич долго меня уговаривал, и его добрые глаза излучали большую теплоту.

— Сегодня ночью грузится последний эшелон дивизии. Поедем, доченька. Тебя ждут доктор Вера, Александр Семенович и все твои друзья. Сам комбат Товгазов без слова подписал отношение... Едем, Чиженька... А комиссара Сальникова у вас больше нет. Его перевели наводить порядок в банно-прачечном отряде...

Я улыбнулась сквозь слезы:

— Бедные фронтовые прачки!..

Забота друзей меня тронула, но ехать я категорически отказалась. Чем больше сочувствующих, тем острее горе. Этак я никогда не приду в себя. А мне теперь надо много мужества. Я собираюсь воевать по-настоящему.

— Нет больше Чижика, — сказала я майору Воронину.

Прощаясь, Иван Сергеевич вручил мне дивизионную газету, посвященную героям последних боев. Всю вторую страницу занимала статья о батальоне Федоренко.

Я плакала так, что перепуганная Настенька позвала доктора Щербину. Я оплакивала не только свою первую любовь — я прощалась со всеми сразу: с погибшими друзьями, с комиссаром Юртаевым, с Димкой Яковлевым, с Мишкой Чурсиным... Прощалась с медсанбатом, полком, родной дивизией...

В запасном полку я назвалась станковым пулеметчиком. Мне не поверили и потребовали красноармейскую книжку, а у меня ее сроду не было.

Молодой командир учебной роты старший лейтенант Мыцик постучал пальцем по моей госпитальной справке:

— Тут же черным по белому написано, что ты медицина, а ты врешь и не краснеешь!

— Это ошибка. Я пулеметчик и ранена у пулемета. Даю слово!

— И куда ты лезешь? Ведь «максим» весит в два раза больше тебя! Перевязывай себе на здоровьечко.

— Ну поверьте мне, товарищ старший лейтенант!— взмолилась я.— Ну не смотрите на меня, как на девушку! Ну забудьте, что я не парень! Ну что вам стоит?

У старшего лейтенанта Мыцика веселые глаза, приплюснутый нос и рот, как танковая щель. Он ехидно засмеялся:

— Да хоть ты еще одно солдатское галифе, курносая, надень на себя, всё равно ты лукавое семя, и ничего уж тут не попишешь! Ишь ты: забудь, что она девушка...

Он задал мне несколько вопросов по материальной части пулемета и, получив более или менее удовлетворительные ответы, зачислил в подносчики патронов. И за это спасибо. Пронесло... Теперь дождаться комплектования маршевой роты — и на фронт!

Но начались учения. Каждый день с раннего утра мы в поле: то «наступаем», то «обороняемся», то в составе роты, то всем батальоном, а несколько раз была игра в составе всех подразделений запасного полка. Пулеметчики поглядывают на меня иронически, но я свое дело знаю: таскаю две коробки с лентами, каждая весом десять килограммов. Побаливает раненое плечо, но я терплю. На позиции неумело, но зато старательно, до мозолей, окапываюсь, обламывая ногти, набиваю ленты «под огнем противника» и сносно стреляю на учебном стрельбище. У меня верный глаз, и командир роты мною доволен. С непривычки очень устаю и засыпаю мгновенно, без снов. А вот в выходной день хуже.

Все уходят в кино и на танцы, а я добровольно остаюсь дневалить. Чтобы не плакать, принимаюсь за пулемет.

Однажды, разбирая пулеметный замок, я забыла спустить ударник с боевого взвода и была за рассеянность наказана: боевая пружина с силой вырвалась из нутра замка и глубоко рассекла мне правую бровь. Охая, я прикладывала к ране платок, смоченный водой из рукомойника. Черт принес командира роты. Заглянув в окно, Иван Мыцик крикнул:

— Эй, подружка, айда на танцы! Покажем класс!

Я не ответила, и он влез в окно.

Сразу понял, в чем дело, и засмеялся:

— Ага, кусается «максимка»? Иди в санчасть, Люся перевяжет. Впрочем, она сейчас на танцах. Подожди!— Он куда-то ушел и вскоре вернулся с йодом и пластырем.

Я собирала и разбирала пулеметный замок, тренируясь на скорость, а старший лейтенант Мыцик донимал меня вопросами, на которые не хотелось отвечать.

Ротному была непонятна моя замкнутость, мрачный вид, грустные глаза и неуемная тяга к пулемету.

Свои мысли Иван Мыцик высказывал вслух:

— Странно... Ведь ты совсем еще девчонка, какие могут быть у тебя заботы? Твое дело не наше горе — пой, пляши, раз выпала такая возможность. Знаешь, как в романсе старинном поется: «Плавай, Сильфида, в весеннем эфире...», — ротный хохотнул, — а вот как дальше, ей-богу, позабыл. А ты, как та горькая вдовица, от людей хоронишься. Ну, скажи на милость, чего ты куксишься? И что ты приклеилась до того пулемета? Что тебе в нем? Перевязывать — еще туда-сюда, но замахиваться на пулемет!.. Ну-ка, покажи руки! Ведь это же смехота... Грозна рука пулеметчика... Странно...

Я отмалчивалась, но в конце концов ротный довел меня до слез.

Он сказал:

— Похоже, что ты, подружка, зверски обижена, обманута. Что ж, бывает и такое — чего ж тут отчаиваться?

Я крикнула с досадой:

— Как ты мне надоел!— И отвернулась, глотая слезы. — Я потеряла самого дорогого человека на свете, а ты лезешь в душу прямо руками!

Мыцик не обиделся. Он тронул меня за плечо, повернул лицом к себе, с минуту молча пристально на меня глядел, потом дружески усмехнулся:

— Не обижайся. Такой уж я от роду дотошный. Любое дело мне треба разжуваты до самого зерна. Вот теперь всё ясно. Честное слово, я таких уважаю. А зáраз скажи: «Учи, дьявол, пулемету!»

Я невольно улыбнулась и вытерла слезы. Подумала: «А ведь мне чертовски везет на хороших людей...»

Ротный открыл короб пулемета, улыбаясь сказал:

— Раз такое дело — поехали. Разбирай до косточки.

В следующее воскресенье Мыцик снова заглянул ко мне в окно.

— Слушай, Анка-пулеметчица, ты на курсы не хочешь?

— На какие еще курсы?

— На курсы младших лейтенантов. Они готовят командиров взводов.

— Ну какой из меня командир взвода?

— Не скажи, характер у тебя очень даже подходящий.

Эта мысль, видимо, увлекла моего командира роты. Его большой рот улыбался, темные глаза более обыкновенного искрились весельем.

— Вот будет штука, если наши армейские курсы выпустят девушку-командира! Я поговорю с Широковым.

— Мне не на курсы, а на фронт надо! Почему так долго не формируете маршевую роту?

— На фронт спешишь, а пулемета не знаешь!

— Ну уж это дудки!

— Ничего не дудки. Сколько ты знаешь задержек? Перечисли.

— Перекос патрона, поперечный разрыв гильзы.

— А еще? А ведь их всех двадцать одна! Замолчит пулемет в бою, что будешь делать? А на курсах за три месяца ты изучишь «максим» как свои пять пальцев. Да и сама рассуди: подносчиком патронов воевать или командиром взвода? Пулеметный взвод — ведь это сила!

Я призадумалась.

Представитель курсов младших лейтенантов старший лейтенант Широков критически оглядел меня с головы до ног и решительно сказал:

— Нет, не пойдет!

— Слушай, у тебя отсталые взгляды на женщину!— упрекнул его Мыцик.

— Не в том, что женщина,— возразил Широков,— а комплекция не та: ни дородности, ни роста... Пулеметный станок в тридцать два килограмма как на нее взвалишь?

— Обязательно станок? А тело пулемета или, скажем, щит нельзя?

Они еще долго спорили.

— Ну запишу я ее для смеха,— сказал старший лейтенант Широков.— А ее всё равно не примут. Ты что, майора Пламипуу не знаешь?

— А если я ей дам рекомендацию?

— Твои не пляшут: надо от кого-нибудь посолиднее.

— Скажи, пожалуйста, какой поклонник авторитетов! Кто же ей даст солидную рекомендацию, ведь ее тут никто не знает?

Я вспомнила о записке комиссара к подполковнику Воронежскому, достала ее из кармана и молча подала Мыцику. Он прочитал вслух:

— «Дорогой друг! Подательнице сего окажи внимание, как всё равно мне. Твой Юртаев»,— и довольный захохотал.

— Рекомендация командира запасного полка тебя устроит?

— Вполне,— ответил Широков и обратился ко мне:

— А в каком ты звании?

Я возьми да ляпни:

— А ни в каком!

— Рядовых на курсы не принимаем.

Мыцик поглядел на меня с укоризной:

— Как это ни в каком? Ты же санинструктор, так и в справке сказано, а все инструкторы имеют полную «пилу»!

— Санинструкторы бывают разные,— возразил Широков,— бывают аттестованные, а бывают и без звания. Тебе присваивали звание?

На сей раз я ответила дипломатично:

— А я и не интересовалась!— И это было истиной.

Мыцик и тут не растерялся:

— Что значит — инструктор без звания? Давай позвоним в санчасть — справимся!

Позвонили: все инструкторы запасного полка оказались старшинами. И вопрос был решен.

Подполковник Воронежский был уже в годах: седой, дородный, меднолицый. Он прочитал записку комиссара и спросил:

— Где сейчас Александр Васильевич?

— Не знаю. Он был тяжело ранен уже без меня.

— Очень жаль. Ты помнишь Юртаева?— обратился

он к полулысому майору, упражнявшемуся на пишущей машинке.

— Помню,— брезгливо сказал майор,— немало мне крови попортил.

Выслушав мою просьбу, командир полка удивился, но рекомендацию дал, размашисто написал на листке полевого блокнота: «Рекомендую на курсы младших лейтенантов старшину...»

Иван Мыцик, прощаясь со мной, крепко тряхнул руку:

— Будь, как Анка из «Чапаева»! Может быть, и столкнемся где-нибудь на фронтовой дороге, я ведь тоже не собираюсь тут засиживаться.

— Славный парень!— сказала я ему вслед и споро зашагала по берегу калининской Волги.

Курсы располагались близ старинного города Старицы, совершенно разрушенного немцами.

Начальник курсов майор Пламипуу, прочитав рекомендацию, нацелил на меня крупные янтарные глаза в светлых ресницах и сказал с заметным прибалтийским акцентом:

— Вуй, тевчонка! Вуй, петовая какая!— и показал пальцами, что надо остричь волосы.

После смерти Федоренко мне было всё равно, и я спросила:

— Под мальчишку прикажете?

Майор поморщился:

— Зашем как мальшик? Только по ушки.

— Так они будут мне мешать, товарищ майор,—осмелилась я возразить,— в глаза полезут. Надо остричь или под бокс или совсем не стричь.

— Снимай картуз!

Я сняла пилотку, майор остался доволен:

— Клатенько. Не надо ресать. Вошки нет?

— Ну что вы, товарищ майор!

Расстались мы друзьми. Майор направил меня в пулеметную учебную роту.

Тут меня встретили хуже. Командир роты старший лейтенант Венчиков разговаривал со мною через открытое окно, лежа грудью на подоконнике. Впрочем, нашу полупантомиму и разговором-то нельзя было на-

звать. Старший лейтенант спрашивал, а я только отрицательно трясла головой.

— Медсестра? Телефонистка? Нет? Повариха? Тоже нет? Так кто же ты?— командир роты насмешливо улыбнулся.— Уж не курсант ли?

Тут наконец я открыла рот:

— Так точно, курсант!

Товарищ Венчиков язвительно засмеялся, с минуту буравил меня глазками-бусинками, а потом, заикаясь от возмущения, кукарекнул совсем по-петушиному:

— Ку-курсант? Как ку-курсант? — не дожидаясь моего ответа, крикнул кому-то в глубину избы:— Широков рехнулся: девку завербовал!

Я разозлилась:

— Выбирайте выражения, товарищ старший лейтенант! Какая я вам девка?

— А кто ж ты? Парень, что ли? Давай-ка сюда документы!

— Всё осталось в штабе курсов.

Командир роты молча захлопнул окно. Я пожала плечами и преспокойно уселась на завалинку. В доме старший лейтенант с кем-то спорил и куда-то звонил по телефону. Я невольно улыбнулась: «Ну и голосок! Петушись, не петушись — выше майора Пламипуу не прыгнешь...» Окно снова растворилось.

— Товарищ курсант, зайдите!

«Ага, уже курсант и на вы!»— подумала я.

Разговор был коротким: курсы — это не институт для благородных девиц, и если я рассчитываю на особые условия или поблажки, то их не будет... При первой же жалобе на меня или от меня вылечу пробкой туда, откуда пришла.

— Всё предельно ясно!— сказала я и бодро откозыряла командиру роты и его заму по политчасти.

По улице строем шли курсанты, на осеннем неярком солнышке серебрились штыки винтовок. Пулеметчики пели:

Наше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим...

Я поглядела на них с завистью. На этих ротный наверняка не кукарекал... Ишь какие богатыри!

Ну, держись, курсант! Снисхождения тебе не будет, бывший товарищ Чижик-фронтовик!..



ЧАСТЬ 2

Накануне Нового года я окончила армейские курсы младших лейтенантов. По всем предметам получила отличные оценки и только по штыковому бою — жирную нахальную тройку с длинным минусом. Да, штыковой бой — это заковыка. «Длинным коли!» — ни выпада, ни силы удара...

Старшина Нефедов меня утешал: «В конце концов ты не командир стрелкового взвода, авось и без штыка обойдешься. А если и дойдет дело до рукопашной, на то есть пистолет и ловкость».

Спасибо и прощайте, дорогой товарищ старшина! Вы хороший человек и отменный воспитатель, но расстаемся без слез. Кого-нибудь другого теперь дрессируйте: «На плечо! К но-ге!» А ваш милый голос запомнится мне на всю жизнь: «Сорок с недоразумением выходи на построение!» Сорок — это мои однокурсники-пулеметчики, а недоразумение, по мнению старшины — я, бывший Чижик. При боевом построении я должна была по-уставному кричать: «Сорок первый неполный!» Почему неполный? Обидно. Теперь всё это позади.

На выпускном вечере я не присутствовала, потому что звание младшего лейтенанта присвоили мне, и вроде не мне: фамилия в приказе по армии стояла в мужском роде.

Мои товарищи по учебе получили по паре парадных золотых погон и сразу вдруг зафасонили, обращались друг к другу не иначе, как «товарищ офицер!» Слово «офицер» было совсем новое, непривычное, и погоны тоже непривычные, но мне не дали ни погон, ни офицерского чина до выяснения досадной опечатки в приказе...

В отделе кадров армии я попросилась в свою родную дивизию. Мне отказали: дивизия входила в состав стратегического резерва главнокомандующего и сейчас отдыхала под Москвой, так что направить меня в свой бывший полк не мог не только армейский отдел кадров, но даже штаб фронта.

Зима была ранняя, вьюжная, морозная. Суровая зима сорок третьего года. Метели начались под самый Новый год и бушевали больше недели. А последние трое, суток пурга мела и выла без передышки, как где-нибудь на Крайнем Севере. Дороги не было. Фронтовые машины стояли. И все эти долгие трое суток я провела на контрольно-дорожном пункте, а как только вьюга начала стихать, собралась в путь. Случайные попутчики отговаривали меня в несколько голосов: «Подожди, ведь замерзнешь!» Даже смешно: ну как может замерзнуть живой человек? Подожди! А чего ждать? Когда еще придут тракторы и снегоочистители, а время не ждет. Стану я ждать, когда до штаба Сибирской дивизии осталось каких-то восемнадцать километров. Если даже гусиным шагом плестись — и то к вечеру доберешься.

Снежные кучи, как белые дюны, волнистыми рядами легли поперек дороги. Поземка курилась по самой земле. Сухой ветер обжигал лицо, сыпал за ворот колючие снежинки, сушил злые слезы. И мысли у меня были злые: короткие, юркие, как осы... Меня душила обида. Я шла уже в четвертую по счету дивизию! Комдивы, как сговорились: «На штабную работу». А в гвардейской дивизии генерал-майор Акимов даже и этого не предложил. По-стариковски ворчливо сказал неизвестно в чей адрес: «Экие канальи! Просишь командиров — присылают детишек!» Ведь есть же на свете такие чудаки, что с шутливой грустью восклицают: «Эх, где мои

семнадцать лет?» Черт бы побрал мои семнадцать! Будь мне под тридцать, гвардейский генерал не так бы со мною разговаривал... Было очень обидно, но я не заплакала, даже бровью не повела. Только быком поглядела на комдива, так что старый генерал засмеялся: «Гляди-ка, какой ежик!» Мне велели подождать в штабе, а потом еще раз пригласили к самому «хозяину». Теперь генерал Акимов улыбался: «Вот что, юный взводный. Мы решили тебя не обижать. Оставляем в гвардейской дивизии, но... — тут он многозначительно поднял палец вверх,— на зенитных установках и с испытательным сроком. Поглядим, что из тебя получится. Пулеметы ДШК знаешь?» Как мне показалось, я поклонилась с большим достоинством: «Благодарю за честь, но такая война не по мне. Прошу вернуть документы».

Маленькие, сиво-желтые усы генерала дрогнули в усмешке: «Дурочка, да ведь в резерве насидишься! А тут всё-таки дело».

Я ответила не очень-то учтиво: «Тоже мне дело — «костыля» пугать!»

На прощанье комдив Акимов сказал: «А ты, младший лейтенант, упряма, однако». Я грустно усмехнулась: «Согласитесь сами, что мне пока от этого не легче». И плотно закрыла за собою двери генеральского блиндажа-кабинета. Должно быть, хорошее было у меня выражение лица, потому что красивая штабная машинистка вдруг перестала стучать на «Ундервуде» и принесла мне стакан воды. Документы мне вернули только вечером. Поперек моего направления стояла резолюция: «Откомандировывается в ОК за невозможностью использования по прямой специальности. Вместо подписи стояла закорючка. Я с горечью подумала: «За невозможностью! И человек вроде бы хороший, а вот взвод не дал. Не решился».

Нечего было и думать пускаться в путь ночью. Я не знала пароля, а без этого даже с территории штаба не выпустят. Да и устала я как-то сразу вдруг — заболели ноги и плечи. Решила переночевать у гвардейцев. В кромешной темноте отыскала землянку коменданта и даже рот открыла от изумления, когда передо мною предстал не кто иной, как Лешка Карпов! Закадычный друг и соратник погибшего Федоренко... Вот уж, поистине, мир тесен! Я очень удивилась: из боевых коман-

диров и вдруг в коменданты! Но дело объяснялось просто: у Лешки после августовского ранения не заживает свищ на голени, и его пока не пускают в строй. Лешка удивился не меньше моего. Радостно закричал: «Ох, Чижик, откуда ты вдруг взялась?» Обнял меня так, что затрещали кости, и поцеловал сначала в правый глаз, потом в левый. Он сразу же принялся меня кормить, что было очень кстати — трое суток не ела ничего горячего, даже чаю не пила. Принципиально не хотела обедать в таких дивизиях, где меня не признавали. От сухомятки болел язык. И гвардейские жирные щи не стоило бы хлебать, но тут всё-таки угощал друг. Точно сговорившись, мы не касались прошлого, как будто боялись прикоснуться к открытой ране. Вели никчемный разговор, топтались вокруг да около: «Как ты» Да что ты? А с языка так и рвался горький вопрос: «Как же ты его не уберег?» Но Лешка ударил первый. Вдруг поймал мои глаза и требовательно спросил: «Забыла Михаила?»

Прошло уже полгода со дня смерти Федоренко, но было всё так же невыносимо больно, как будто непоправимое случилось только что... Я проплакала всю ночь напролет, а утром целый час прикладывала к лицу холодные компрессы.

Прощались мы с Лешкой Карповым долго и никак не могли распрощаться. Тяжело расставаться с друзьями на фронте — почти каждый раз навсегда... Балагур и неисправимый насмешник Лешка был растерянным и очень грустным и всё говорил: «Постой, Чижик, погоди... Он велел тебе сказать... Дай вспомнить...» И никак не мог вспомнить и всё целовал мою руку, не обращая никакого внимания на иронические взгляды девушки-регулировщицы. А мне было очень тяжело. Рядом с нами ощутимо, зримо стоял Федоренко... Незабытый, любимый.. Уже в кузове машины я с тоской подумала: «Хоть бы уж больше никого не встретить из своей родной дивизии. Этак можно всё мужество растерять...»

В отделе кадров армии добродушный полковник Вишняков с досадой сказал: «Опять не приняли! Ну что мне с тобой делать, несчастный взводный? Никак не могу ее просватать...» Я горько улыбнулась: «Вы плохой сват, товарищ полковник. Кто же сватает кота

в мешке? Люди ждут обыкновенного командира — и вдруг являюсь я. Очень уж реакция обидная. Не лучше ли нам раскрыть карты? Позвонить предварительно и рассказать, кто я и что я. Как вы думаете?»

Полковнику моя мысль понравилась. Он забавно сморщил нос и дружески подмигнул мне: «В самом деле, позвоню-ка я сначала. Самому молодому комдиву позвоню. Полковнику Севастьянову. Он должен тебя понять. Ему тоже кое-кто по молодости лет не хотел давать дивизию, а ведь командует, да еще как! Ну уж а если и Сибирская дивизия не примет, тогда, делать нечего, придется посидеть в резерве и, может быть, не один месяц». Полковник почему-то не захотел в моем присутствии разговаривать с сибирским комдивом и отправился на ЦТС. А я ждала и думала: «В резерве? Как бы не так. Да ни одного дня! На нашем фронте дивизий много, все до одной обойду, но своего добьюсь! Не зря же государство тратило на меня деньги и время. Неправда, найдется и для меня место в боем строю. Кто хочет — тот добьется! А я очень хочу!»

Полковник возвратился очень скоро и вручил мне направление в Сибирскую дивизию. Радоваться я пока боялась, а вдруг опять что-нибудь?..

За воспоминаниями и размышлениями я и не заметила как отмахала восемнадцать километров. «Замерзнешь!» Как бы не так. Да мне было жарко! Вот она, фанерная стрелка: «Хозяйство Севастьянова». Надо было собраться с духом и привести себя в порядок. Я уселась на высокий пень и вытряхнула из валенок снег. Потом наломала сосновое помело и почистила шинель и шапку-ушанку. Поглядев на колючий веник, вдруг вспомнила свою бабушку. Сердце дрогнуло. Бабка! Родная моя, милая бабка! Жива ли? Хоть бы ты пожелала удачи моей неприкаянной душе. Помолилась бы хоть, что ли!.. Аминь. Я забросила помело в сугроб.

Командир дивизии полковник Севастьянов был действительно очень молод. Он разговаривал со мною, как с самым обыкновенным командиром взвода, и это мне сразу понравилось. Комдив протянул мне бумажку, отпечатанную на машинке, улыбаясь сказал:

— Прочитай-ка для начала, младший лейтенант!

Я прочитала и забегала по просторному блиндажу:

— Батюшки! Вот так сталинградцы! Триста тридцать тысяч! Вот так котелочек!.. Фельдмаршала фон Паулюса хватит карачун. А фюреру, фюреру каково?— И вдруг очень смутилась:— Ох, товарищ полковник, извините. От радости забыла, где нахожусь...

Серые глаза полковника глядели на меня спокойно и дружелюбно.

Он опять улыбнулся:

— Ничего. Я и сам вчера пустился в пляс при всем честном народе. Как видишь, Донской фронт тронулся. Приступили к ликвидации окруженной группировки. Очередь за нами. Но ты еще успеешь и с народом познакомиться, и осмотреться. Скрывать не буду: контингент у нас несколько особенный. Но пусть тебя это не смущает. Люди хорошие. Замечательные! Мы воевали под Москвой. Потом освобождали Карманово, Погорелое Городище и ни разу не опозорили свои знамена. Так что всё зависит только от тебя самой. Как себя поставишь, так и будет. Назначаю тебя в полк товарища Филогриевского. Ну, взводный, ни пуха ни пера!

«К черту!»— сказал я про себя и обеими руками пожала богатырскую ладонь комдива. Не могла скрыть улыбки — до того обрадовалась. Уже за дверью подумала: «О каком же это особом контингенте говорил полковник? А не всё ли равно, раз я наконец получаю взвод?»

Эх комроты! Лаешь пулеметы!
Даешь батарею,
Что б было веселее!

Я шла по лесной дорожке и пела во всё горло. В первый раз пела после смерти Федоренко. Какие-то военные выбегали из леса, смеялись, что-то кричали мне вслед, но я даже не оглядывалась. В полк к товарищу Филогриевскому!

Командиру полка подполковнику Филогриевскому было под пятьдесят. Как и комдив, он разговаривал со мною дружески. Угощал чаем с печеньем. Я пила чай, спокойно и довольно толково отвечала на вопросы командира полка и почти физически ощущала, как отта-

ивает мое истосковавшееся по ласке сердце. Наконец-то мне повезло. Кажется, я попала к настоящим людям. Подполковник выразил уверенность, что в полку я быстро акклиматизируюсь, и с рук на руки передал меня своему заместителю по политчасти — майору Самсонову.

Пожилой и очень строгий майор первым делом запретил мне... красить губы и брови. Я вспомнила комиссара Юртаева и Мишку Чурсина. «Потри-ка бровь. Теперь губы. Извини, ошибся. Думал ты красишься». Мишка тогда очень смеялся... Ничего я не возразила майору Самсонову, только улыбнулась про себя: думай, что хочешь.

— Чтобы заслужить авторитет у солдат, вам надо за собою следить! Вы у нас единственная девушка — строевой офицер. Положение обязывает...—Майор Самсонов говорил не меньше получаса. Но я только делала вид, что слушаю, а сама думала о своем.

«Чтобы заслужить авторитет у солдат!» А как его заслужить? Вот являюсь к своим подчиненным: здрасьте, я ваша, то есть ваш... А дальше что? Какое очень важное слово надо сказать, в самый-самый первый раз? Чтоб хоть не испугались, поверили. А ну как ахнут: «Братцы, баба — командир! Пропали». Завоевывай тогда авторитет... Я мысленно взмолилась: «Батюшка майор Самсонов! На что мне твои рацеи? Мне надо конкретно. Помоги! Научи!» Но майор не умел читать мысли своих подчиненных и отпустил меня с миром, вполне уверенный, что его проповедь, как горящее сердце Данко, будет освещать мой нелегкий командирский путь...

На командном пункте батальона я убедилась в силе первого впечатления. У меня затряслись поджилки, когда навстречу мне из-за стола поднялся комбат Радченко: двухметровый, черный, как головешка, буйноволосый человечище с ярко-красными вывернутыми губами.

— Не испытываю особого удовольствия вас лицезреть,— зарокотал комбат густым басом.— Для телячьих восторгов я несколько устарел. «Ах, юная девица командует взводом в бою!»— оставим для газетчиков и агитаторов. Мое требование предельно ясно: в обороне

ли, в бою ли — огонь, и никаких фокусов! Чтобы пулеметы работали, как вот этот мой хронометр! — Комбат поднес мне к лицу часики величиной с хорошее блюдце. — Огонь! И еще раз огонь. В случае чего... одним словом, я не из жалостливых. Понятно?

Я только головой кивнула.

— Паша, позови связного первой роты!— приказал комбат.

Толстенький Паша с розовым обмороженным носиком подсмыкнул сползающие ватные брюки и неожиданно звонким голосом повторил приказание.

«Так ведь это, оказывается, девушка!»— от сердца отлегло. У Паши ярко-синие, круглые, как пуговицы, глаза, безбровое лицо, смешливая ямка на подбородке и пушистый рыжеватый чубчик. От удовольствия глядеть на необыкновенного ординарца я улыбалась, а Паша вдруг озорно мне подмигнула.

На улице она засмеялась:

— Что, небось, сдрейфила? Он у нас таковский. На кого хочешь холоду нагонит. Не жалует нашего брата. Когда узнал, что я не парень, раз пятнадцать с КП прогонял. Так меня и прогонишь!..

Ах ты Паша-сибирячка! Видно, девчонка-перец.

На прощанье Паша откровенно призналась:

— Не люблю твое ротное начальство. Старший лейтенант Ухватов трепло. А его зам Тимошенко хоть и не подлец, зато теленок.

Я посмотрела ей прямо в глаза:

— Паша, зачем ты мне это говоришь?

— Потому и говорю, что нашему брату с такими солоно приходится,— набычилась Паша.— По себе знаю. А ты первое время будешь, как в темном лесу. Держись ближе к командиру стрелковой роты. Старший лейтенант Рогов — человек.

— Спасибо, Пашенька, Я учту.

— Приветик!— Паша отсалютовала мне рукой в белой пуховой рукавичке.

Выслушав меня, командир пулеметной роты старший лейтенант Ухватов присвистнул:

— Так, стало быть, ты на место покойного Богдановских? Вот это хохма!— Но тут же себя утешил: — Ба-

ба командир. А что ж такого? Обнакновенное дело. (Он так и сказал: «обнакновенное»).

Ротный собирался на оборону, как ленивый школьник на уроки. Долго искал запропавшую портянку, ворчал на связного и всё в землянке перевернул вверх дном. Нашел портянку, потерял ремень. Отыскал под нарами ремень, пропали рукавицы. Наконец собрался, но оказалось, что в диске автомата нет ни одного патрона, и, пока связной снаряжал диск, ротный сыпал словами, как горохом. Я не вслушивалась, думала о предстоящей встрече с солдатами.

И вот мы в центральной траншее. Мой шеф катится впереди меня шариком и не закрывает рта:

— Чтобы иметь с солдатами общее чувство понятия и восприятия, надо знать душу солдата категорически и... аллегорически!

Я останавливаюсь и, как баран на новые ворота, смотрю своему начальству прямо в рот. А старший лейтенант Ухватов сердится:

— Чего встала, как истукан? Слушай, а к чему это ты рожи корчишь наподобие обезьяны? Не нравится?

Я только глазами моргаю. Ответить нечем.

Нейтральная полоса — болото. И даже не болото, а, как сказал ротный, заболоченное озеро — узкое и длинное, в летнее время непроходимое. На одном берегу болота, на самой лесной опушке,— наши, на другом — немцы, а между позициями белое унылое поле с серыми метелками камышей, торчащими из-под снега.

Ни мне, ни командиру роты не приходится нагибаться — высокий заснеженный бруствер укрывает нас от взоров противника. Свежевыпавший снежок вкусно похрустывает под валенками, на ослепительно белом фоне мелкие порошинки кажутся бусинками блестящего бисера. Над нашими головами кряхтят и постанывают израненные березы. Морозно, солнечно и так тихо, что даже не верится, что в четырехстах метрах, а местами и ближе, враг.

На правом фланге, на стыке двух стрелковых рот, нас встретил симпатичный дед в дубленом полушубке. Улыбаясь в окладистую бороду, браво доложил:

— Ночь прошла спокойно. Сержант Бахвалов.

— Здорово, урки! — весело произнес ротный, когда мы пролезли в низкую дверь маленького дзота.

Пулеметчики, к моему удивлению, не обиделись, ответили весело и дружно полезли в расшитый алыми маками кисет Ухватова.

Старший лейтенант Ухватов сказал деду Бахвалову:

— Ну, чапаевец, вот тебе новый командир взвода. Прошу любить и жаловать!— Он дружески похлопал меня по спине. У старого пулеметчика отвалилась нижняя челюсть, а приветливую улыбку как ветром сдуло.

— Ну что рты пооткрывали?— спросил ротный солдат. — Равноправие, братцы, ничего не попишешь.

— Это что же, повсеместно теперича в армии женское засилье или только нам такая честь?— ехидно спросил дед Бахвалов.

Командир роты захохотал:

— Что, герой, душа в пятки ушла?

Мои подчиненные показали мне спины: слушали командира роты. Анекдот был старый и неостроумный, но солдаты смеялись. Как всё просто: «Здорово, урки!» Потом анекдот о неверной жене, и дело в шляпе. Свой... Подавив вздох, я открыла короб пулемета, провела кусочком марли по раме — грязь! Позвала:

— Товарищ сержант!

Дед Бахвалов подошел не спеша, надменно выставив вперед бороду.

— Пулемет грязный,— сказала я ему.

— Нет, чистый!— сейчас же возразил дед.

— Нет, грязный! — Я показала ему марлю со следами перегоревшей смазки.

— Это не грязь.

— А что же это?

— Обыкновенная вещь при каждой стрельбе.

— После каждой стрельбы оружие положено чистить!

— Это как же прикажете понимать? Раз пальнул и разбирай?— Старый пулеметчик насмешливо улыбался.

— Товарищ сержант, вы отлично знаете, о чем я говорю. После каждой ночи пулемет надо чистить.

Командир роты прислушивался к нашей перепалке с явным удовольствием, и его голубые глаза светились самым заурядным любопытством. Точь-в-точь деревенская молодуха. Ишь развлечение ему...

Пулемет оказался к тому же неисправным, и с деда слетела половина спеси.

— Не ожидал я от тебя такого конфуза,— укорил его ротный.— Лучший пулеметчик дивизии, можно сказать, а так опростоволосился.

Дед ничего не ответил, но заметно стал нервничать. Подкручивал возвратную пружину, щелкал рукояткой затвора, осматривал замок—«максим» бил одиночными.

— Может быть, смазка замерзла,— предположила я вслух.

Дед поглядел на меня чертом и рявкнул на подчиненных: — Прокладку!

Но и это не помогло.

— Пошли дальше,— позвал меня командир роты и пообещал деду Бахвалову прислать ружмастера.

Старик возмутился:

— Пулеметчику Бахвалову мастера?! Да я сам любого мастера научу!— Его глаза молодо засверкали.— Разбирай, мазурики. Будет как часы.

Я сказала:

— Загляну к вам на обратном пути.

Дед не удостоил меня ответом.

— Это что же, во всех отделениях у меня такие деды? — спросила я Ухватова, едва мы отошли от дзота.

— Нет. Такой только один. А так всё больше молодые. А чем тебе плох дед? Очень даже отличный пулеметчик. Герой гражданской войны. Вот погоди, услышишь, как он «яблочко» на пулемете наяривает — хоть пляши.

— Он доброволец?

Ротный загадочно ухмыльнулся:

— Почитай что так.

Больше я расспрашивать не стала.

На втором стыке, где вместо траншеи насыпана снежная стена, замаскированная со стороны противника воткнутыми в снег елочками, в глубине обороны, углом назад, спрятался огромный ромбовидный капонир, а от него в сторону противника веером прорублены просеки для обстрела. Эта пулеметная точка в секрете, она не ведет огня и имеет задачу охранять левый стык стрелковой роты, чтобы немцы не обошли боевое охранение. В капонир можно попасть только со стороны хозвзвода. Не совсем удобно для поверяющих, так как приходится пробираться по глубокому снегу, зато надежно с точки зрения маскировки.

Перед нами точно из-под земли вырос богатырь в шубе. Узнав командира роты, опустил дуло автомата.

Капонир просторный, амбразуры удобны для ведения фланкирующего огня. Командует здесь маленький татарин Шамиль Нафиков. Красивый парнишка: круглолицый, краснощекий, глаза синие, ясные. Здесь весь расчет — молодежь. По поводу моего назначения не выразили никакого удивления. На меня дружески глядели веселые мальчишеские глаза. Оружие чистое, но пулемет смазан скупо.

— Суховат,— сказала я сержанту.

— Смазка нет,— белозубо заулыбался Нафиков,— старшина сказал: с хлебом, однако, кушаете... Вот опять банка пустой. — Он показал мне банку из-под консервов.

Я вопросительно поглядела на командира роты. Старший лейтенант Ухватов заверил:

— Будет смазка.

На улице он меня спросил:

— Ну, как?

Я не ответила.

— А теперь обедать и спать, — сказал ротный. — Ночью мы ведь не ложимся. В боевое охранение придется прогуляться.

— Мне надо зайти к Бахвалову, — возразила я и свернула к бахваловскому дзоту.

В дзоте дед мучил пулемет и пулеметчиков. Несмотря на холод, все были в одних гимнастерках с закатанными рукавами.

— Ну как дела?

— А никак,— сердито прогудел старик Бахвалов,— должен работать, а вот не работает, анафема, хоть ты тресни!

— Разбирайте!

— До скольких же разов его разбирать?— вскинулся дед.

Я тихо спросила:

— Как вы думаете, что получится, если солдаты будут спорить с вами, вы со мной, а я с командиром роты? А?

Хмурый дед ничего не ответил и одним ударом ладони вышиб из пазов затыльник пулемета. Мы разглядывали каждую деталь в отдельности. Вроде бы всё

в порядке: и замок, и рама, и шатун, и мотыль. Сменили прокладки, намотали заново сальники. Собрали — не работает!

— Надо срочно ружмастера,— сказала я.

— А что ружмастер?— возразил дед.— Нас шесть рыл, и все пулеметчики, и то ничего поделать не можем.

Ах ты, сибирская борода! Ни за рыло, ни за пулеметчика меня не считает!

— А не эта ли штуковина нас замучила?— показала я деду Бахвалову приемник. Пятка коленчатого рычага чуть-чуть сносилась.

Дед, оседлав нос очками, внимательно осмотрел и ощупал деталь, согласился:

— Вполне может быть. Увеличился зазор между вырезом станины рамы — вот оно и не подает...

— Как же мы проверим нашу догадку, ведь запасного приемника у вас нет?

— Можно взять приемник у соседа и испробовать. Тут ведь рядом.

— Пусть будет так,— кивнула я и отправилась к командиру стрелковой роты доложить, что с его участка обороны временно пришлось снять пулемет.

На улице у дзота стоял молодой солдат часовой: густобровый, с цыганскими глазами, румянец во всю щеку.

— Фамилия?

— Рядовой Попсуевич!

— Приветствовать командира положено, — сказала я мимоходом.

Солдат взял на караул «по-ефрейторски».

Принцип двойного подчинения штука не простая. У командира пулеметного взвода сразу два хозяина — командиры рот: пулеметной и стрелковой. С одним, Ухватовым, уже познакомились. Это, так сказать, специалист. Мой ближайший непосредственный начальник. Но на обороне истинный хозяин — командир стрелковой роты, которому по положению я тоже подчиняюсь, но только в оперативном отношении. Попробуй тут сразу разберись, кто из них главнее: страший ли лейтенант Ухватов или командир стрелковой роты Рогов?.. Хорошо, если они дружны между собою, понимают друг

друга, ну а если «бог свое, а черт свое»? Тогда бедный Ванька-взводный будет между двух огней. Да...

Подавив вздох, я постучалась в дверь КП стрелковой роты. Старший лейтенант Рогов, увидев меня, одернул гимнастерку и поправил пряжку командирского ремня. Выслушав, кто я такая и чего от него хочу, хрипло сказал, держась рукой за забинтованное горло:

— Чего только на свете не бывает.

И по его интонации нельзя было понять, имеет ли он в виду забастовавший пулемет или мое внезапное появление в его хозяйстве. Меня поразило лицо старшего лейтенанта: одутловатое, желтое, белки глаз совсем канареечного цвета...

— Что так смотрите?— прохрипел ротный.— Красив? Желтуха проклятая одолела. Два месяца в госпитале проболтался, вроде бы и отлежался, а вот физиономия так и осталась, как распухший лимон. А тут еще горло...

— Поправитесь,— утешила я.

— Поправлюсь из кулька в рогожку,— усмехнулся Рогов. — Но не в этом дело. — Он помолчал, глядя куда-то поверх моей головы, потом сказал:— Трудно тебе будет. Твой предшественник был парень с головой и к тому же земляк своих солдат. Они его любили. Верили.

Я подумала: «Какая уж там любовь! Лишь бы поверили, и то хорошо».

— Для начала вынужден тебя огорчить,— продолжал Рогов.— Недоволен я пулеметчиками. Немец до того обнаглел — головы не поднять. Прямо засыпает траншею пулями. А ваши отмалчиваются!

— Неужели трусят?— удивилась я.

Рогов поморщился:

— Не то. Обленились без командира. Ленты им лишний раз неохота набивать. Вот они и берегут боекомплект.

— Куда же в таком случае смотрит старший лейтенант Ухватов?— растерянно спросила я.

Мой собеседник безнадежно махнул рукой:

— А что ваш Ухватов! Ему бы только глаза залить, а там пойдет верещать: «Девки жали, не видали, где конфеточки лежали...»

Признаться, старший лейтенант Рогов меня очень расстроил. Я долго стояла в раздумье у ротной зем-

лянки. Да... Начало неважное. «Бог свое, а черт свое»... Пожалуй, что так...

Где-то близко хлесткими очередями ударил «максим». Догадалась: бахваловцы приемник проверяют. Ну что, ехидный дед, пулеметчик я или нет?

Дед встретил меня у дзота, улыбаясь в бороду.

— Как в воду глядел. В аккурат так и есть: скрошилась пятка...

Ах ты старый хвастун! В воду он глядел!

— Сейчас отряжу одного мазурика в полковую мастерскую. Там разом приварят. Тут недалеко — напрямки не больше двух верст.

— Ночью приду проверить.

Дед пожал плечами:

— Дело хозяйское. Будет как часы.

Знаю я твои часы!

У погибшего командира взвода Богдановских, моего предшественника, не было своей землянки, он жил вместе с командиром пулеметной роты Ухватовым. Землянка Ухватова находилась тут же на переднем крае, неподалеку от дзота деда Бахвалова. При первом же знакомстве старший лейтенант Ухватов хвастливо мне заявил: «Видишь, где я живу? А ведь мое место на КП батальона, при комбате. Но я не как иные-прочие, по тылам не прячусь». Я почему-то подумала: «А это еще надо посмотреть, зачем ты сюда забрался. Может быть, тебе выгодно быть подальше от всевидящих очей начальства».

Мне тоже пришлось поселиться вместе с Ухватовым и чувствовала я себя неловко.

Я было решила построить новую землянку, да передумала: земля промерзла основательно, котлован вырыть и то проблема. Жалко было мучить солдат, тем более что мы вот-вот должны были перейти в наступление. Переселиться к своим подчиненным некуда: в каждом дзоте по шесть человек — самим тесно, а если в капонир к Нафикову — оборона не под руками... Но с жильем надо было что-то придумать. С этими мыслями я спустилась по ступенькам ухватовской землянки, откинула плащ-палатку, занавешивавшую вход, и невольно улыбнулась: мой шеф плясал и пел тонким бабьим голосом:

Девки жали, не видали,
Где конфеточки лежали...

— А, ротное сердце!— закричал ротный, увидев меня.— Ты ведь ничего еще не знаешь? Нет? А у нас праздник. Прорвали блокаду Ленинграда! Ура! Пошел первый поезд по южному берегу Ладоги. Ур-ра! А ты думаешь небось, пьяница командир роты, залил зенки без причины? А я за Ленинград! Тебя ждали-ждали, да и того... пообедали.

Он выразительно щелкнул себя по кадыку:

А мне Семеновна платочек вышила —
Как фашистов бью, она услышала...

Потом закричал:

— Шугай! Порядка не вижу.

Связной Шугай отложил в сторону огромный валенок, который он подшивал, и поставил передо мною котелок горохового супа, подал хлеб и водку в алюминиевой кружке. Усевшись на березовый кругляк, снова принялся ковырять свой валенок.

Шугай большой, угрюмый, на редкость молчаливый человек. Настоящий сибирский леший с кудрявой ассирийской бородой. Увидев его впервые, я сразу подумала: «Почему именно его определили в связные? Ведь на широкой спине Шугая можно возить сразу по два пулемета».

— Пей, младший лейтенант, за победу!— верещал у меня над ухом командир роты.

Я сказала связному, кивнув на свою кружку:

— Выпейте за меня водку.

Сибиряк даже не поблагодарил, только сверкнул яркими лешачьими глазами.

Ротный засмеялся:

— Ему нельзя. Он богу зарок дал.

С этими словами Ухватов ловко схватил мою кружку и опрокинул содержимое себе в рот.

«Однако...»— подумала я и стала сосредоточенно хлебать суп. Я ела, а осоловевший ротный меня развлекал — рассказывал о себе:

— ...Сашка Ухватов в огне не горит и в воде не тонет. Семь лет на счетах щелкал: рубль за соль, рубль на соль, на рубль соли. Итого — три рубля! Попробуй меня прищучь: я сам себе завмаг, сам продавец и сам

бухгалтер. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Плати, баба, червонец и не греши. Ох и умел я вашего брата ублаготворить...

— Я хочу спать,— решительно перебила я.

— Ложись, кто ж тебе не дает? Хоть рядом со мной, хоть с Тимошенкой. Где хочешь...

Я устроилась на общих нарах с краю. Укрылась шинелью и почти сразу уснула. Проснулась оттого, что на меня положили что-то тяжелое. Открыла глаза, соображая: что это может быть? Рядом сонно забормотал ротный Ухватов. Я скинула с себя короткую толстую ногу начальства и повернулась на другой бок. Мой сосед томно раскинулся во сне и теперь забросил на меня руку. Бесцеремонно, как в сдобное тесто, я ткнула кулаком в мягкий бок ротного и громко сказала:

— Здесь тебе не сельская лавочка. Получишь с довеском!

Ухватов убрал руку и притворно громко захрапел. Рядом с ним, как кот, зафыркал его заместитель Тимошенко. Я опять заснула и проспала без помехи до тех пор, пока не разбудил Шугай,— начиналась ночная вахта.

За поздним ужином, глядя прямо в глаза своему шефу, я сказала тихо, чтобы не услышал Шугай, но тем не менее гневно:

— Вот что, старший лейтенант. Ты это брось! Чтоб это было в первый и последний раз.

— Так ведь пойми ты, еловая твоя голова, человек во сне не волен!— укорил меня ротный.

— Я в таких тонкостях не разбираюсь. С детства терпеть не могу, когда ко мне прикасаются.

— Гут,— засмеялся Тимошенко.— И даже аусгецайхнет.[1] Ходи, Кострома, ровней. Знай край — не падай.

— Да она невесть что подумала,— буркнул Ухватов.

— Хватит не о деле, — перебила я миролюбиво. — Вот что, товарищи, стрелки нами недовольны.

— Это Рогов, что ли?— нахмурился Ухватов.

— А хотя бы и Рогов. Он хозяин на обороне, а мы приданные средства.

— А когда он бывает доволен? Если он больной, то мы виноваты? Поди, клепал на меня, стопкой попрекал?

---

[1] Хорошо. Отлично (*нем.*).

— Ничего такого не говорил. Обижался, что огня мало даем.

— Мало ему?— Ухватов зло сощурил бабьи глаза.— Да у меня Федька Хрулев да Аносов почем зря патроны пережигают — не напастись!

Хрулев и Аносов — это командиры соседних пулеметных взводов.

— Речь идет о моих пулеметчиках,— возразила я.

— А то твои не стреляют?

— Ну сколько примерно Бахвалов потребляет за ночь лент?

— Это я тебя должен буду спросить, а тебе таких прав не дадено, чтобы меня допрашивать.

— Да я просто так спросила. Думала, знаете.

— Знаю или не знаю — это дело мое. А перед каждым я отчитываться не должен!

— Должен, не должен! Разве в этом дело?— Я начинала злиться.

— А в чем же? Чую я, откуда ветер дует. Это тебя Рогов науськал. Ох и вредная же скотина! Он и Богдановских против нас настраивал. Дорогу я ему перебежал или должен что?

— Что вы заладили: Рогов да Рогов! При чем здесь Рогов?

— В самом деле, чего ты лезешь в бутылку?— поддержал меня Тимошенко.— Она же дело говорит: мало ребята стреляют. Оборона должна быть активной. Ты это учти, младший лейтенант. Запасные площадки у тебя под снегом похоронены, а вот твои соседи метод ведения огня с открытых позиций применяют широко и эффективно.

— Да ведь я еще и оглядеться не успела! А вы-то тут чем занимались?

— А мы не командиры взводов,— отрезал Ухватов.— У тебя только один Рогов, а у нас три, да еще сам комбат в придачу. Рогову придан твой взвод, сама его и ублаготворяй, а я сегодня передам тебе остальное хозяйство,— с меня и взятки гладки. Рогов мне и так по завязку надоел.

— А мне ваши распри надоели,— равнодушно заметил Тимошенко.— И чего не поделили?

Я внимательно на него поглядела. Вроде бы и дельные вещи говорит человек, но таким равнодушным, туск-

лым голосом, как будто бы все это его нисколько не занимает. И взгляд у Тимошенко какой-то унылый, отрешенный: то ли устал человек смертельно, то ли болен неизлечимо... Что ж тут всё-таки такое?.. Надо приглядеться внимательнее.

Пришел старшина Букреев. Я только раз на него взглянула и сразу решила: жулик! Разговаривая, старшина не смотрит на собеседника — значит, совесть у человека не чиста. Пока они втроем выпивали и закусывали, я вычистила и смазала свой автомат. Его мне выдал старшина взамен пистолета. Сказал, что пистолетов нет на складе. А по мне, автомат еще и лучше — по крайней мере настоящее оружие.

Я надела ватную фуфайку и была готова в поход, а мое начальство всё еще сидело за столом. Ротному, видимо, мало было выпитого, и он с сожалением косился на опорожненную фляжку. Тимошенко с куском хлеба в руке неподвижно уставился куда-то в угол — задумался. И только один старшина чувствовал себя довольным — смачно жевал, двигая большими ушами.

— Ну, мы на «Прометей»,— сказал командир роты, стряхнув с ватных брюк крошки, и мы отправились.

«Прометей»— это позывные боевого охранения. Символическое название: впередсмотрящий. Пыталась это дорогой втолковать командиру роты. Не понял, отмахнулся:

— Что Прометей, что Матвей — один черт! Как-то надо было назвать, вот и назвали.

После выпивки к старшему лейтенанту Ухватову вернулось хорошее настроение, и он опять болтал и шутил, как будто у нас и не было перепалки во время ужина. Я подумала: «Плохой мир лучше доброй ссоры. К тому же он мой начальник. Не трус и, кажется, дело свое знает. Несимпатичен? Да. Но если бы приходилось иметь дело только с симпатичными людьми, так что бы и было...»

С наступлением темноты передовая ожила и заговорила. Вражеские пулеметы строчили без передышки, и всё трассирующими. Целые рои золотистых пчел выплевывали узкие щели немецких дзотов. И летели эти огненные пчелы над нашими головами, пели совсем

не медовую песню и пропадали — гасли где-то в темноте у нас за спиной.

Наши стрелки отстреливались вразнобой. И справа и слева экономичными очередями постукивали станковые пулеметы. Не мои — соседские. А мои ни гугу. Пока мы пробирались к «Прометею», пулемет деда Бахвалова дал две короткие очереди и снова замолчал, как подавился. Точно и нет на обороне героя гражданской войны.

— Старший лейтенант Рогов, оказывается, прав,— сказала я ротному.— Огня нет как нет.

— Командир взвода ты,— возразил Ухватов.— Ты и требуй огонь, а я потребую с тебя. А про Рогова больше мне не напоминай, а то опять полаемся. Только и всего.

Дважды, как рассерженный осел, проревел «дурило» — выплюнул мины сразу из шести стволов. Не по нас, левее.

«Прометей» зарылся в землю в Круглой роще, под самым носом у немцев. Роща эта значительно выступает за линию наших окопов углом вперед. Днем в боевое охранение не ходят: приказом комбата запрещено, да и небезопасно. И ночью-то сюда прогуляться охотников немного. Фашисты лупят из минометов почти что без передышки. И никакой рощи в прямом смысле этого слова нет: торчат из снега березовые да еловые палки с изувеченной корой — вот и всё. В боевом охранении стрелковый взвод, отделение автоматчиков и мой станковый пулемет.

С каждым минометным залпом мы с Ухватовым зарываемся носом в снег, и лишь только пролетают осколки, поднимаемся, как по команде.

У командира «Прометея» лейтенанта Лиховских задиристое мальчишеское лицо, вихрастый светлый чуб и веселые глаза. Вместо приветствия он потребовал от нас с самого порога:

— Подскажите рифму на слово «объятый»! Два часа бьюсь.

— Пошел ты со своей рифмой!— отмахнулся Ухватов.— Из Ленинграда на Большую землю первый поезд пошел. Вот тебе и рифма. Ей-богу, выпить не грех.

— Уже выпили. Вот стих по этому поводу сочиняю. Давайте мне рифму на «объятый»!

Молодой лейтенант поглядел на меня так, будто

рифму я нарочно прятала в кармане, и я сказала первое, что пришло в голову:

— Женатый.

— Вашему брату только и важно: женатый или нет,— ухмыльнулся сочинитель.

Присутствующий в землянке горбоносый старший лейтенант засмеялся:

— А что, Лиховских, подходяще. Послушай-ка:

«Прометей», мечтой объятый,
Холостой ты иль женатый?

— Видали, как начальство упражняется?— насмешливо спросил нас Лиховских.— Это называется оказывать военкорам повсеместную поддержку. Вот и сочини тут что-нибудь.

— А что вы сочиняете, если не секрет?— поинтересовалась я.

— Какой там секрет. В литературный конкурс сдуру вляпался — дивизионная газета объявила. На лучшее стихотворение. Приз: снайперская винтовка с полной оптикой. Очень уж хочется мне эту винтовочку получить.

— Ну и удалось что-нибудь?

— Почти что ничего:

Смело в бой советского солдата
Офицер советский вел.
Пропоем про Радченко-комбата...

А дальше — хоть ты тресни!

— Для начала подходяще. А при чем же здесь «объятый»?

— Так это я отвлекся. Сводка попутала. «Ленинград, огнем объятый»... А ты: женатый! Не пришей кобыле хвост.

— Ночь велика, что-нибудь придумаете,— утешила я доморощенного поэта.— А как тут мои ребята?

— Какие ребята?— Лиховских заморгал светлыми ресницами.

— Пулеметчики.

Лейтенант всё глядел на меня и всё моргал. Силился что-то сообразить и не мог.

Старший лейтенант, удачно использовавший мою рифму, поклонился:

— Замкомбата Соколов.

Я тоже назвала свой скромный чин и фамилию. Лиховских захохотал:

— Ну, это нечестно! Во-первых, милая девушка, надо знаки различия носить, а не ходить в солдатской фуфайке. Во-вторых, здесь я начальник местного гарнизона и новому человеку положено представляться по всей форме, а не вкручивать! Я ж подумал, что вы новая помощница Вари Саниной. Ха-ха-ха! И старший лейтенант Ухватов молчит, как правый.

— А заяц трепаться не любит,— скромно возразил мой ротный.

— Ну что ж, коллега, будем знакомы. — Лиховских крепко пожал мне руку.— А ребятами твоими я доволен. Их командир — Непочатов — моя правая рука — взводный начальник фортификации. Всё подсыпаем, углубляем, а фриц снова рушит...

В пулеметном дзоте я уселась на коробку с лентами. К противоположной стене на корточках привалились пулеметчики, подняв торчком колени в ватных брюках. Пять человек. Шестой на посту на улице.

Над фронтальной амбразурой за верхний край прибита к стене плащ-палатка, она складками спускается до самого пола и закрывает стол с пулеметом, чтобы свет из дзота не пробивался через амбразуру на улицу. Когда надо стрелять, подлезают под плащ-палатку.

В банке из-под американских консервов плавает крошечный фитилек, и этот самодельный светильник чадит и коптит куда сильнее моего примуса в медсанбате. По запаху я определила, что вместо бензина горит щелочь, которой чистят оружие.

В полумраке я не вижу лиц солдат, но знаю, что все внимательно и настороженно на меня глядят и ждут, что я скажу. А я ничего значительного сказать не могу.

— Скучно вам здесь?— спрашиваю сержанта Непочатова.

— Да нет, не особенно.— У Непочатова спокойный и уверенный голос.— Вот разве Пырков наш скучает. Украсть ему тут нечего.

— Ну чего-чего-чего?— добродушно ворчит Пырков.— Я ж молчу...

Теперь я вижу его толстые улыбающиеся губы и ряд

крепких белых зубов с золотой коронкой на правом резце.

— Патронов достаточно?

— Этого добра лейтенант Лиховских запас про целый батальон.

— Кормят как?

— Как всех. Не жалуемся. (Какой приятный голос у сержанта).

— Пулемет?

— Исправный.

Я подлезла под плащ-палатку и долго стреляла в темноту. При вспышке ракет вражеская узкая голая роща «аппендицит» казалась совсем рядом, и было видно, как мои пули взрывают снежную опушку на бруствере вражеских окопов.

Прощаясь, сержант Непочатов просто сказал:

— Вы за нас будьте спокойны. В случае чего мы отсюда ни шагу.

Из «Прометея» мы с Ухватовым выбирались молча. Петляли в темноте по причудливой тропинке, то и дело ложились в снег, пережидая очередной минометный налет. До последней, самой левой огневой точки, добрались благополучно. Я накануне мельком уже видела отделение сержанта Лукина. Командир мне не понравился. Вялый, равнодушный, точно ему не двадцать лет, а все сорок с гаком. Ротный про него метко сказал: «Соборовался парень и причастился. Помирать собрался».

Сержант Лукин спал в дзоте сном праведника. Храпел так, что слышно было на улице. Командир роты возмутился:

— Во дает дрозда! Хоть ты ему кол на голове теши, всё равно задрыхнет, как медведь в берлоге.

В дзоте темно, хоть глаз выколи, и холодно, как на улице.

— Кто тут есть живой?— закричал Ухватов с порога.

Вместо ответа кто-то поджег шнур трофейного кабеля, подвешенного к потолку. Дым пополз по помещению, перекручиваясь черной спиралью. Я трижды чихнула и только потом огляделась.

Сержант спал на нижних нарах. На верхних в унисон командиру храпели еще двое. Пожилой узбек с

длинными висячими усами, сунув большой нос в кисет, шумно нюхал махорку. Другой узбек, гораздо моложе, насмешливо наблюдал за своим земляком.

— Уртак, чирок бар?[1] — спросила я пожилого. Он не торопясь завязал кисет, аппетитно чихнул и только потом отрицательно покачал головой. Я опять спросила по-узбекски:

— Что пишет жена?

Он нахмурился и отвернулся. Молодой засмеялся и три раза произнес слово «талок!»[2] Поняла: разведенный. Получилось не совсем ладно.

— Как зовут?— спросила молодого.

— Керим Хаматноров, — с улыбкой ответил он и кивнул на пожилого:— Дусмат Раджибаев.

— Хоп, — сказала я. — Яшки [3].

Ухватов вдруг засмеялся:

— Никак ты узбечка?

«Бестактный дурак!»— чуть ли не сказала я вслух.

— Ничего, дохтур, ничего! — ответил за Раджибаева его земляк.

— Я не доктор. Я командир. Аксакал [4], — кивнула на пулемет.

Земляки растерянно переглянулись, в один голос воскликнули:

— Товба! [5]

На этом наша дружеская беседа прервалась. Ротный разбудил Лукина и стал его отчитывать. Сержант не оправдывался. Крутил спросонья круглой стриженой головой. Ноздри курносого носа закоптели.

— Ведь до чего ленивый! — возмущался командир роты. — Морозит солдат, как тараканов. Я тебе дров должен припасти?

— Бьет немец прямой наводкой, как только затопим,— лениво возражал Лукин.

— Не болтай не дело! «Бьет!»— передразнил его ротный. — А где он не бьет? В боевом охранении и то топят. А вот скажи, что лень раньше тебя родилась, так это не секрет. И какое ты имеешь право ночью

---

[1] Товарищ, лампа есть? (*узб.*).

[2] Талок — расторжение брака (*узб.*).

[3] Ладно, хорошо (*узб.*).

[4] Начальник. Здесь в смысле: командир (*узб.*).

[5] Восклицание, означающее удивление (*узб.*).

дрыхнуть? Был такой приказ, чтобы спать по ночам, я тебя спрашиваю? Того и гляди, проберется немецкая разведка и заберет, как сонного тетерю. Передаю тебе его со всеми потрохами,— повернулся Ухватов ко мне.— Хоть с квасом его съешь, хоть так сжуй — мне всё едино. А я об него мозоль на языке набил — никакого проку!

В дзот заглянул возвращавшийся из боевого охранения замкомбата Соколов. Он спросил:

— Как дела?

— Нормально,— ответили мы с Ухватовым в один голос. Ну и правильно. Нечего сор из избы выносить Надо самим наводить порядок.

Соколов позвал нас:

— Айда домой!

Ухватов ушел, а я осталась у Лукина. Надо было начинать неприятный разговор, а с чего? Прочитать нотацию? Но это уже сделал командир роты, и в довольно сильных выражениях. Поможет ли?

— Неужели нельзя соорудить коптилку?— кивнула я на немилосердно чадящий кабель.

— Так ведь горючего нет,— тихо возразил Лукин.— Что жечь-то?

— Другие жгут щелочь.

— Разве ее напасешься?

— Щелочи идет очень мало.

И опять мы молчим. Я смотрю на Лукина, а он на пулемет. Очень тихо, как бы про себя, я сказала:

— Бедные солдаты. Ведь, наверное, чертовски скучно с таким командиром. День и ночь — сутки прочь. А сутки кажутся длинными-длинными...

Лукин заерзал на нарах. Вот жаль, не видно в потемках, покраснел или нет.

А я опять:

— Мать-то, наверное, и сегодня, ложась спать, всплакнула: «Сыночек Родину защищает...» Защищает!.. Как же. Спит в холоде да в темноте — только и проку.

И вдруг решение пришло само собой. Я поднялась с нар и, направляясь к двери, как бы между прочим обронила:

— На днях переселяюсь сюда. И спячке вашей конец

— К нам на жительство?— удивился Лукин.

— А что ж здесь такого?

— Да я только так. Неудобно вам у нас будет.

— Об удобствах будем думать после войны.

В траншее Лукин шумно вздохнул за моей спиной:

— Скорей бы в наступление, что ли...

— Это с таким-то настроением в бой? Да я вас накануне наступления в хозвзвод отчислю! Понятно? Стрелковая карточка где?

— Ребята раскурили, наверное...

— Чтобы завтра была новая.

— Да я рисовать-то не горазд. Лейтенант Богдановских всегда сами...

— А я не буду. Завтра проверю.

Только выбралась из траншеи на тропинку, заревел «скрипун». Чтоб ты, сатана, провалился! Пехота дала ему имя — Лука и даже отчество — прозвище, которое при посторонних не вспоминают... «Скрип!» — как осколком стекла по железу. Снаряд медленно прошелестел над моей головой и мягко шлепнулся в снег где-то совсем рядом. Не взорвался...

«Скрип!»— и почти сразу же взрыв, как от хорошей бомбы. Говорят, что «скрипун» немцами создан по типу нашей «катюши», — тоже что-то реактивное. Но бьет он не залпами, а одиночными, с большими паузами. И, несмотря на оглушительный взрыв, разрушительная сила его снарядов ничтожна, а прицельности никакой — швыряет куда попало.. Но зато звук!.. Мороз по коже...

Неподалеку от дзота деда Бахвалова мне повстречалось начальство: командир полка подполковник Филогриевский, майор Самсонов и комбат Радченко. Впереди два солдата, замыкающим — Паша-ординарец.

— Милая девушка, почему вы бродите без сопровождающего?— остановил меня командир полка.— Вы хоть интересовались, при каких обстоятельствах погиб ваш предшественник?

— Так точно, товарищ подполковник.

— И какой же отсюда вывод?

Я молчала. Майор Самсонов укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. А комбат глядел хмуро, как сердитый свекор. Командир полка сам ответил на свой вопрос:

— Вывод один. Моим приказом категорически вос-

прещено офицерам в ночное время ходить по обороне в одиночку. Надеюсь, вы меня поняли?

— Так точно, товарищ подполковник.

Командир полка укорил меня отечески-добродушным тоном, но тем не менее мне было стыдно. Ведь знала, с первого же дня знала об этом приказе! Тимошенко предупреждал...

...На младшего лейтенанта Богдановских на стыке двух рот напала вражеская разведка Сибиряк сражался неистово — шестерых уложил на месте, но когда подоспела помощь, было уже поздно... Так погиб сибирский богатырь. Зря погиб. По своему собственному легкомыслию. Ну что ж, приказ есть приказ. Придется от дзота к дзоту брать сопровождающим кого-либо из своих солдат.

Тимошенко выспался и, позавтракав, куда-то ушел. Ухватова вызвал комбат. А я еще не ложилась после ночного бдения: ломала голову над сводной отчетной карточкой. Сверила свой увеличенный чертеж с картой-трехверсткой. Нанесла все огневые точки, но разобраться до конца не могла. Или ротный Ухватов врет как сивый мерин, или я ни черта не понимаю... «У меня система огня на ять!» Как бы не так! Видно, где захватил последний бой,— там и окопались. Какое же тут взаимодействие, когда каждый сам по себе! Положим, с Непочатовым всё ясно: огонь по «аппендициту». Точка. С Нафиковым тоже всё как будто бы в порядке: через правую амбразуру косоприцельным вдоль своих же позиций, через левую — почти до самого боевого охранения. А Лукин? А дед Бахвалов? Проклятые фронтальные амбразуры: от сих и до сих — как в мышеловке. А если обойдут?.. Правая амбразура в дзоте Лукина глядит на наши стрелковые ячейки — по своим, что ли, лупить?.. А перед левой накопилась целая снежная гора, как заслон. И у деда Бахвалова так же... Пожалуй, надо вместе со старшим лейтенантом Роговым в сумерках сделать общую пристрелку трассирующими. Посмотреть с наблюдательного пункта комбата, что получается. Ну, а если мои сомнения подтвердятся? Тогда что? Перестраивать дзоты?... Когда? Какими силами? Кто позволит?.. Выход один: срочно привести в порядок запасные пло-

щадки. Об этом же говорил Тимошенко... Снежные горы перед амбразурами долой немедленно. Надо только справиться, нет ли там мин. Фу черт! Даже голова разболелась. Я с досадой отшвырнула карандаш.

От невеселых дум меня отвлек пулеметчик Гурулев из расчета Лукина. Он проворно скатился по ступенькам землянки — маленький, щупленький, как подросток. Глаза смешливые, любопытные. Из жесткого воротника шинели, как из хомута, трогательно выглядывает голая тонкая шея. Солдатишко поискал глазами веник и, не найдя, отряхнул снег с валенок рукавицей. О чем-то пошептался с Шугаем и шагнул к моему столу:

— Здравия желаю! Дозвольте обратиться?

— Здравствуй. Разрешаю.

— Вот вам ракеты. Для сигналов, стало быть. Сержант Лукин прислал.

— Спасибо. Можешь идти.

Парень потоптался на месте, потом нерешительно сказал:

— А если вы сомневаетесь насчет того, что мы зэки, то это зря, товарищ младший лейтенант...

— Какие еще зэки?

— А из тюряги которые. Урки, стало быть.

— Это ты-то урка? Что ты городишь?— Я невольно улыбнулась.

— Урка и есть,— серьезно подтвердил Гурулев.

— И чего шлепает языком, шибенник? — подал голос молчаливый Шугай. — Судимость-то почти со всех уж сняли.

— Выходит, я вру?— возразил ему маленький пулеметчик. — Ты ж, дядя Федя, тоже урка!

Шугай махнул рукой:

— Мели, Емеля, твоя неделя.— И снова углубился в свою работу. Что-то шил из зеленой парусины.

— И Пырков наш — уркаган. Ворюга был — ужасти! Всё по поездам,— как ни в чем не бывало продолжал Гурулев.— И дедушка Бахвалов из зэков...

— Тебя товарищи просили об этом мне рассказать?— строго спросила я

— Да нет. я сам.

— Тогда рассказывай о себе. За что ж тебя судили, грозный урка? Сколько тебе лет?

— Мне-то? Двадцать второй пошел. А судили меня,

товарищ младший лейтенант, можно сказать, за дело. Тут у нас в батальоне есть мой земляк—почтарь Федька Шкирятых. Так вот нас с ним вдвоем. По девятнадцати нам тогда было. Раз пришли мы на гулянку с гармошкой в соседний колхоз. Ну, все девки, понятно, к нам. А тамошние мальцы на нас. Драка была — ужасти! Вроде бы и не шибко стукнули Петьку-комбайнера, а он в больницу попал. Ну нам и отмерили по два года. По году мы с Федькой как миленькие отбухали. А тут война. Весь лагерь взбунтовался: на фронт — и никаких! И мы просились. Если бы не взяла нас дивизия, всё равно бы убежали на войну. Мы уже договорившись с Федькой были...

— Всё?

— Как будто бы всё.

— Иди.

Гурулев не спешит уходить. Ему, видимо, интересно знать, как я отнеслась к его рассказу. Но я молчу.

— Так-таки и идти?— наивно уточняет молодой солдат.

Я усмехнулась:

— Можешь не идти, а бежать. Мне всё равно. Не споткнись только.

Гурулев засмеялся, неловко козырнул и протопал по ступенькам промороженными валенками, как веселый козленок копытцами.

Я крепко задумалась.

Чертеж системы огня без взаимодействия отодвинулся куда-то на задний план. Что взаимодействие? Дело наживное, поправимое. А вот народ!.. Никогда мне не приходилось сталкиваться с людьми этой категории Если бы только знала моя бабушка!.. Она панически боялась милиции, очень гордилась, что за всю свою жизнь ни разу не была в свидетелях, а проходя мимо Дновской тюрьмы, явно трусила: творила молитву и, как около кладбища, ускоряла шаги... Незадолго до начала войны в нашем поселке поймали знаменитого дновского бандита Гошку Рыжего, увезли в тюрьму.

Страшный был этот Гошка Рыжий. Много бед натворил. И тюрьма — страшное место. Гошка — бандит, и маленький безобидный Гурулев рядом?.. Непонятно. Как жаль, что я не попала в свою родную дивизию. Какие там люди!..

Мне вдруг некстати вспомнилось мое ласковое прозвище: «Чижик! Чижка!.. А «папенька» Быков: «Козочка. Козило — друг мой... Чудо-юдо пехотное». А Федоренко!.. «Малышка, ты помнишь полянку, которую я тебе подарил? Наш Кузя повадился тут своих санитаров дрессировать, но я их турнул в другое место, чтобы не топтали твои ромашки...» Мои ромашки! Когда это было?.. И было ли?.. «Чижик! Малышка!..» Предательская слезища, как горошина,— хлоп о фанерную крышку стола... Гулко. И вторая, и третья... Я вытерла лицо рукой и покосилась на Шугая. Слава богу, не видит. Неожиданно для себя хватила кулаком по столу так сильно, что онемели пальцы. Довольно! Шугай вздрогнул и уронил какую-то железку. Сверкнули его глаза, молодые, яркие, как две зеленоватые звездочки. Неужели такой мог совершить преступление?

Когда вернулся Тимошенко, я укорила его, воспользовавшись тем, что Шугай ушел за обедом:

— Что же вы мне не сказали, что в моем взводе есть осужденные?

— А разве тебя в штабе дивизии не поставили в известность?— удивился Тимошенко.

Ах да, ведь комдив намекал на какой-то особый контингент, но я не придала этому значения. Так вот что полковник имел в виду!..

— Какое преступление совершил Бахвалов?

— А ничего особенного. Человека кокнул.

— Господи помилуй! Так почему же он сержант?

— Два раза на снятие судимости подавали, а в штабах что-то перепутали—звание присвоили, а судимость снять забыли. Теперь надо ждать очередного «сабантуя»— еще раз подадим. Ты думаешь, дед Бахвалов и в самом деле убийца? Вора на своих капканах застал и тряхнул его по таежному неписаному закону. Не сдержался. А Шугай по пьянке свою старуху ненароком придушил. Пятый год себя казнит. Ты не гляди, что он похож на Соловья Разбойника. Он и мухи не обидит. И вообще, брось ты это! Люди как люди. Наша дивизия в Сибири формировалась из добровольцев. Почему бы такому Гурулеву не предоставить возможность защищать Родину? Или тому же Пыркову? Ты думаешь, если люди раз оступились, то они и не советские?

— Ничего я такого не думаю. Ухватов случайно не зэк?

Тимошенко засмеялся:

— Нет. Офицеров из числа осужденных у нас нет. Да он и не сибиряк. А что, похож?

— Замашки блатные. А старшина Букреев?

— Этот оттуда. Крупный растратчик. Таких, как Макс, на фронт не посылали, но он пролаза — добился.

— Я так и знала, что он жулик. Уверена, что он обвешивает солдат.

Тимошенко пожал плечами.

Мне вдруг стало смешно: Гурулев — урка... Парнишка с ласковыми глазами. Верхняя губа короткая, не закрывает мелкие веселые зубки, и оттого кажется, что улыбка не покидает круглое лицо Гурулева. Если все зэки такие, как этот Гурулев, — то воевать можно. Удивительное существо — человек. Стоило поговорить с Тимошенко, и уже утешилась. Ладно. Будем воевать. Им ведь тоже несладко — дали в командиры девчонку. А ведь молчат! Не протестуют. Ну и я буду молчать.

Тимошенко — заместитель Ухватова по политчасти, но по старой привычке многие зовут его политруком. Я внимательно к нему приглядываюсь, но так и не могу понять до конца, что он за человек. Парень со странностями. Тимошенко двадцать четыре года. До войны учился в одном из сибирских институтов с очень сложным названием — изучал что-то связанное с морской фауной. Мечтал о море, а попал в пехоту, на сушу. Тимошенко молчалив, никогда не повышает голоса и не употребляет бранных слов. Не трус и обязанности свои выполняет очень аккуратно: если назначил занятие или политинформацию на пятнадцать ноль-ноль, явится секунда в секунду. Но ему мешает слабый характер — он не умеет поставить на своем. И как политработник влияния на Ухватова он не имеет.

Но не в этом главная беда. Тимошенко — человек настроения. То живет и дышит во всю силу: инструктажи, совещания, читка газет, боевые листки — сутки напролет пропадает на переднем крае. А то вдруг раскисает, и всё ему становится безразличным. Политинформации проводит нехотя и так скучно, что слушатели за-

сыпают, как под гипнозом. А в свободное время сидит на нарах и, закрыв глаза, раскачивается из стороны в сторону, молча или с неизменной песней:

Не для ме-е-ня при-и-и-дет ве-е-сна
И Дон ши-ро-кий ра-золь-е-е-тся...

В такие минуты я гляжу на него почти со страхом и чувствую, как меня тоже начинает душить зеленая тоска.

— Ну что ты воешь, как собака на луну? — с досадой как-то спросила я его.

Тимошенко смутился, на минуту стряхнул оцепенение:

— Я тебе помешал? Извини, пожалуйста.— И опять хорошие карие глаза потухли — замер парень в непонятной тоске.

Иногда к нему приходит в гости приятель — командир минометчиков. Старший лейтенант Громов симпатичный: чистое лицо, серые честные глаза и добрая улыбка. В минуты меланхолии Тимошенко с ним не разговаривает. Громов посидит, посидит и, вздохнув, уходит. Тимошенко мучается день-два, потом — щелчок — и опять приходит в себя: человек как человек — деловой, собранный.

Зато наш Ухватов никогда не унывает. Каждый вечер колобродит. Теперь он уже не маскируется, как в первые дни моего приезда, а пьет просто так, за здóрово живешь. Жуликоватый старшина недодает моему взводу ежедневно триста граммов водки: на меня, на Хамагнорова и Раджибаева, потому что те не пьют. Да Шугай не потребляет по зароку. И всё это без зазрения совести «вкушает» ротный.

Однажды, когда Ухватов был сильно «подшафе», к нам в землянку заглянул комбат Радченко. Непьющий комбат сгреб ротного за наплечные ремни, по воздуху притянул к своему лицу и обнюхал волосатым носом. На Ухватова жалко было смотреть: чуть не плакал и зарекался на веки-вечные...

Через неделю я перебиралась на новое местожительство. Молча складывала свои нехитрые пожитки. Тимошенко хотел помочь, но я отказалась: какое у солдата

имущество? Фуфайку на плечи, мешок за плечи, под мышку шинель да в руки автомат — вот и все. Ухватов сидел на нарах мрачнее тучи — мучился с очередного похмелья. Меня не удерживал даже из вежливости — не ко двору пришлась. Тимошенко вышел вслед за мной на улицу. Спросил:

— Куда? К деду Бахвалову?

— Нет, к Лукину.

— Не одобряю. Место там опасное. До самого боевого охранения, кроме твоих, нет ни одного человека.

— Вот потому и переселяюсь, что там опасный участок. Телефон бы крайне надо, да не хочу у Ухватова просить. Может быть, поможешь?

— Ладно. Переговорю с начальником связи.

Я спросила:

— Скажи, ну что ты за человек? Как ты можешь с этим мириться? Он же каждый день пьяный! Хорош пример для подчиненных.

Тимошенко нахмурил тонкие черные брови. Лицо его стало грустным.

— Не умею грубить, а по-хорошему он не понимает. К тому же он старше меня на целых десять лет.

—Хоть на двадцать! Дед Бахвалов в три раза старше меня, так, думаешь, я ему позволю на себя верхом сесть?

—Ну заведу я свару. А дальше что? Мне не нравится командир, тебе, примерно, не нравлюсь я, а ты солдатам... И пошла писать губерния... Кому от этого легче? Я ж его воспитываю потихоньку.

Старая песня. Нечто подобное я в первый же день сказала деду Бахвалову, только там речь шла о пререканиях с командиром.

—Воспитатель! Нашлепал один раз по заднице, как младенца,— вот и всё воспитание. Да Ухватова надо так отшлепать на партбюро, чтобы он неделю сесть не мог! Передай ему, пожалуйста, чтобы ко мне пьяный не являлся. Я терпеть не буду. А на тебя не сержусь. До свидания.

Тимошенко шумно вздохнул и вяло пожал мою руку.

Варя Санина — наша санитарка, единственная девушка в роте, если не считать меня. С Варей я познакомилась в первый же банный день. Приехала фронтовая

баня-душ. Мылся наш батальон. Солдат снимали с переднего края небольшими партиями по очереди. Меня расстроил косоглазый банщик. Он запускал в баню сразу по двадцать человек. Я спросила:

— А как со мной?

— А как хочешь,— равнодушно пожал плечами банщик.—Хочешь — мойся со всеми, не хочешь — грязная ходи. Делов-то палата.

— Как же я буду мыться со всеми вместе, ведь я же не мужчина?

— А не мужчина, так и не лезь к мужчинам. Завтра буду мыть медсанбат, приходи в Вороново.

До Воронова добрый десяток километров. Кто же отпустит меня с обороны? Но банщику до этого нет никакого дела.

— Впустите меня одну хоть на десять минут,— попыталась я уговорить его.

— За десять минут знаешь сколько воды утечет? Рожки-то у меня не перекрываются! Где ж этак-то я воды горячей напасусь, а у меня план! Да и бьеть немец...

— «Бьеть!» — передразнила я и осталась без бани. Зато солдаты мои вымылись. Делать у бани больше было нечего, и я отправилась домой, злая, как мегера.

На узенькой тропинке, петляющей из хозвзвода к переднему краю, столкнулась лицом к лицу с Варей.

— С легким паром, взводный!— крикнула мне Варя с высоты своего великолепного роста.

Я ничего не ответила, и девушка загородила мне дорогу.

— Никак не помылись?— прищурила Варя свои лучистые глаза.

— Нет, не помылась.

— Досада?— Варя окала, как волжанка.

—Да еще какая!

—Есть о чем горевать. Вот сейчас узнаю у Паши, когда она будет для комбата баню топить, так после него вволю помоемся. А это разве баня? У нас в Сибири рассказать, бабы животы надорвут...

Уже на другой день к вечеру мы с Варей мылись в комбатовской бане. Варя так раскалила каменку, что я чувствовала себя, как в камере пыток: глотала открытым ртом сухой горячий воздух и не могла перевести дух. А где-то рядом, невидимая за знойным туманом,

как большая белая рыбина, с наслаждением плескалась Варя:

— Ах, жалко веничка нет!

Веничка тебе в таком аду!

Когда Варя одевалась, я вдруг увидела на ее пояснице и спине толстые безобразные рубцы.

— Что это у тебя?

Она спокойно ответила:

— Батина наука. Уму-разуму ременной треххвосткой учил!

Какой ужас! Бедная девушка...

У Вари крепкие руки и ноги и высокая грудь. И только живот несколько великоват для девушки. Перехватив мой критический взгляд, Варя улыбнулась:

— На пятом месяце...

Потом вдруг горестно сказала:

— Ох, как вы на меня поглядели! Даже сердце замерло... Вот и в тылу будут так-то. Скажут: фронтовая... А он у меня был первым и последним... — Варя, полуодетая, опустилась на холодный пол и закрыла лицо руками. Плакала. Еле-еле я от нее добилась, что «он» — это погибший лейтенант Богдановских.

В тот же вечер, плача, Варя поведала мне горестную историю своей любви. Дивизия формировалась в том городе, где жила и работала Варя. Тут она и познакомилась с молодым лейтенантом Богдановских — выпускником Омского пехотного училища. По словам Вари, ее избранник был совсем необыкновенный парень: красавец, умница и добряк. Они не успели оформить свои отношения — дивизия двинулась на фронт. А на фронте тоже было всё некогда, да и загса ближе чем за сто километров от передовой нет. Филипп всё собирался рапорт подать, да так и не собрался — погиб.

— Разве мы знали, что так будет? — плакала Варя, уткнувшись лицом в мои колени. — Мы ж думали вместе сто лет прожить. Да и то было бы мало... Любили.

Наплакавшись вволю, Варя вдруг попросила:

— Солдат не обижайте. Они же как дети... Филипп их любил...

— Ну что ты, Варенька, зачем же я буду их обижать? — Я поцеловала Варю в мокрую прохладную щеку.

Мое новоселье совпало с праздником. Как раз в этот день Информбюро сообщило об окончательной ликвидации сталинградской группировки. Огромные трофеи, тысячи пленных и сам фельдмаршал фон Паулюс!

По такому случаю Рогов нам пожертвовал целый ящик цветных ракет, и ночью мы устроили иллюминацию. Палили без разбора — красными, зелеными, синими и опять зелеными. Пример заразителен, вскоре разноцветными огнями запылал весь передний край. Но всех перещеголял «Прометей»— там лупили сразу из нескольких ракетниц и умышленно подбирали цвета: две зеленые, в середине красная, синяя, красная, опять синяя. Очень был красив этот «прометеев огонь»!

Самое удивительное то, что фрицы в эту ночь молчали: ни одного выстрела, ни единой ракеты! Как вымерли немецкие позиции, и даже дежурные собаки-минометы не тявкали.

Смешливый Гурулев предположил:

— А что если фрицы с горя всей кодлой повесились?

Смех смехом, но наша победа под Сталинградом наверняка не способствовала поднятию вражеского боевого духа.

Рогов спросил меня по телефону:

— Как думаете, кривому фюреру идет черный креп на рукав мундира?— И хрипло засмеялся.

Славный он, этот бывший учитель Рогов! Мне иногда очень хочется назвать его просто по имени-отчеству — так не идет ему военная форма. У Рогова с горлом всё хуже, ларингит перешел в хронический, и печень у него побаливает. Но в госпиталь старший лейтенант не собирается. Я сказала ему:

— Вы хрипите, как фагот. Как же будете преподавать без голоса?

Евгений Петрович ответил:

— Если доживу до светлого дня победы, согласен молчать до самой смерти. А профессия, что ж профессия? Профессий есть не перечесть.— Я услышала, как он тяжело вздохнул. — Всё было. И школа, и дом. Было да сплыло, не вернешь...

...До войны Рогов был директором семилетней школы на окраине Минска и жил с семьей при школе. В первые же дни войны, при ночной бомбежке, под развалинами школы погибли жена Рогова и двое маленьких

детей. Евгений Петрович эвакуировал какой-то важный архив. Вернулся домой: ни жены, ни детей... В ту же ночь он ушел добровольцем с отступающими частями. Мне об этом рассказала Варя Санина. Она боготворит своего командира. После тяжелого ранения Рогов лежал в госпитале в таежной стороне и принимал активное участие в формировании Сибирской дивизии. Он-то и помог Варе попасть на фронт.

В эту праздничную ночь телефон мой буквально разрывался. Почти непрерывно звонили совсем незнакомые люди и всё требовали «Малыша». Такую позывную мне присвоили озорники-связисты. Но это еще ничего, могло быть и хуже. Начальнику тыла полка, например, озорные мальцы дали позывную «Крокодил». Простоватый, не подозревающий подвоха капитан кричит в телефонную трубку: «Крокодил» слушает!» А телефонисты по всей линии хохочут.

На правах однополчан или просто соседей абоненты поздравляли меня с праздником, болтали всякий вздор и напрашивались в гости. В конце концов мне это надоело. Я посадила к телефону Гурулева и приказала всем подряд отвечать, что меня нет. Исполнительный Гурулев почти непрерывно кричал в трубку:

— Нету «Малыша». До ветру они пошли...

И было слышно, как хохотали на другом конце провода.

В середине ночи позвонили из «Прометея», и я взяла трубку. Только начала разговаривать с Лиховских, явился сам комбат. Товарищ Радченко прямо с порога пробасил:

— Запретите своим знакомым занимать линию неслужебными разговорами. Мне жаловался начальник связи.

Я растерянно на него посмотрела и сказала совершенно искренне:

— Так ведь это же всё незнакомые знакомые. Не знаю, кому и запрещать.

Суровый комбат вдруг улыбнулся и уже не сердито сказал:

— Вот незадача! Поклонники одолели. А это тоже незнакомый знакомец?— кивнул он на трубку, которую я держала в руке.

— Это лейтенант Лиховских.

Комбат взял у меня трубку и как школьника отчитал начальника «Прометея».

Он пробыл у нас недолго. Молча подошел к пулемету. Пострелял. Ничего не сказал. Уходя, ткнул носком валенка в кучу гранат, сваленных в углу дзота, проворчал:

— Места нельзя найти?

Оправданий слушать не стал. Спросил:

— Ваш Ухватов всё бражничает?

— Не знаю.

Паша пропустила вперед начальство и приложила к ушанке руку в белой рукавичке.

Под утро в «Прометее» поднялась бешеная обоюдосторонняя пальба. Вскоре позвонил Лиховских. Смеясь в трубку, сказал:

— Слышала? Вот так раздразнили мы фрица! Твой Непочатов рупор из жести сделал, и начал я орать, что иерихонская труба: «Ахтунг! Ахтунг!». Всё больше про Сталинград им напоминал. Сначала хорошо слушали, а потом завозились — офицеры, наверное, понабежали. Ну тут уж у нас пошел другой разговор.

Ну и неугомонный парень этот Лиховских! Он спутал все мои представления о режиме боевого охранения. Сидеть тихо и молча? Как бы не так! Наш «Прометей» — это язва у немца на самом носу. Не дает фрицам покоя ни днем ни ночью: «Ахтунг! Ахтунг! Слушайте информацию о Сталинградской трагедии!» И всё это по-немецки. Способный.

Однажды начальник «Прометея» до того доагитировался, что в боевое охранение из-за огня противника не было доступа двое суток. Лиховчане и непочатовцы сидели без хлеба и махорки. Комбат Радченко рассердился. «Вот что, Цицерон, ты умерь-ка свой ораторский пыл,— сказал он лейтенанту Лиховских.— Ведь тебе же известно, что перед нами стоит батальон СС Святой крест, так что твои речи — глас вопиющего в пустыне». Лиховских только посмеивался: «Никогда идеологическая работа с противником не приносила вреда». И при каждом удобном случае продолжает орать в свой самодельный рупор.

Впрочем, агитация на переднем крае практикуется

с обеих сторон. На наш участок обороны агитмашина с звукоустановками-усилителями подойти не может из-за отсутствия дороги, а вот в соседней роте, правее нас, в сумерках частенько слышится звонкий девичий голос: «Ахтунг! Ахтунг! Дейтше зольдатен унд официрен!» Это — Галя-переводчица.

Я ни разу не видела Галю, но знаю, что она не трусиха. Машина ни за что не уйдет, пока агитаторы не выполнят всей программы да еще и «Синий платочек» на прощанье не проиграют. Фрицы, как правило, молчат до тех пор, пока не вмешается кто-либо из чинов, — тогда начинается, только держись! Но и наши, сопровождая машину, дают огня, да еще какого! Галя может гордиться: так и генералам не салютуют.

Немцы тоже пытаются нас агитировать и делают это очень неуклюже. Я, например, даже представления не имела, что по ту сторону фронта меня ждет не дождется изменник Андрей Власов и... лучшие публичные дома Европы!

Передачи фашисты заканчивают всегда одинаково: «Штык в землю! Вот пароль — ключ к спасению жизни и счастью...» Что-то у нас не находится желающих воспользоваться ключиком от немецкого счастья...

В девять часов утра мы чистим оружие после ночной вахты, завтракаем и ложимся спать. В пятнадцать ноль-ноль подъем. Умываемся свежим снежком, и сон как рукой снимает. Дусмат-ака тоже умывается. Морщится, правда, но старательно натирает снежком лицо и шею. И зарядку делает вместе со всеми. Я его подхваливаю:

— Гурулев! Что согнулся, как старик? Шире плечи! Посмотри на Раджибаева. Молодец, Дусмат-ака! Батыр. Якши. Хаматноров, подбери курсак! Лишний жир солдату только помеха. Руки вверх! Начали. Раз-два! Раз-два!..

Сержант Лукин старательно проделывает все упражнения от начала до конца. Я вскоре узнала его болезнь. Проговорился коротыш Гурулев. Лукину изменила любимая девушка. Об этом ему из дому написала какая-то Густя. Я долго думала, с какой стороны подступиться к разочарованному парню, и ничего не могла придумать. Посоветовалась с комсоргом. Лева Архангель-

ский решил сразу: вызвать на бюро и снять стружку потолще — вся меланхолия соскочит! Я не согласилась. Здесь нельзя с плеча. Война войной, а солдатское сердце не камень...

Помог Тимошенко. Как-то он вручил мне распечатанное письмо:

— Разберись, пожалуйста, и ответь.

Письмо было от матери Лукина. В тот же вечер, собравшись к деду Бахвалову, я взяла с собою Лукина. По дороге как будто бы невзначай спросила:

— Кто такая Густя?

Лукин остановился, заморгал опушенными инеем ресницами:

— Густя? Какая Густя?

— Не прикидывайся. Та, что тебе про Шурочку написала.

— А... Августина Купцова. Товарка ейная.

— А эта Августина случайно за тобой не ухлестывала?

Лукин удивленно на меня поглядел. Я сунула ему в руки свой фонарик:

— Свети!— И, вытащив из кармана письмо, стала читать:

— «...Полтора месяца не пишет свет наш ясный. Ни мне, ни родне, ни знакомым. А только не верю я, товарищи командиры-начальники, что Коленька мой убитый. Сердце матери вещает: живой он. Напишите за ради христа... А что девушка евонная убивается — так и описать невозможно...»

— Ох!— сказал Лукин и сел прямо в траншею.— А мне написали, что она замуж выходит за Костю Кляпоносова...

— Так-то ты любишь! Первой сплетне поверил. Я бы на месте Шуры тебя не простила.

Лукин даже застонал:

— Ох, дурак! Набитый дурак... Мешок с мякиной.

— Убирайся! — сказала я и топнула ногой. — Марш письма писать! Да чтобы с утренней почтой все ушли!

— Ох, товарищ младший лейтенант, а я, дурак, думал: лучше бы она умерла...

— Дурак и есть,— согласилась я и вздохнула. Всё поправимо, кроме смерти...

Дед Бахвалов действует мне на нервы. Старый кержак умен и хитер: понимает, что приказ не фунт изюма, не оказывает открытого противодействия, но по любому поводу затевает дебаты. Как-то я обратила внимание, что у него не залита в пулемет охлаждающая жидкость, и сделала замечание.

— А зачем ее заливать заранее?— возразил старый пулеметчик.— Еще как на грех замерзнет.

— Да ведь жидкость незамерзающая!

— Это только так говорится, а налей — возьмет и замерзнет.

После каждой ночи я у него спрашиваю:

— Сколько израсходовали?

— С полторы ленты будет.

— Мало. Непочатов — четыре. Лукин — три.

— Так ведь дурацкое дело нехитрое, — возражает дед, — пали в белый свет, как в копейку, а патроны, они огромадных денег стоят.

— Зачем же в белый свет? Надо прицельно. Оборона должна быть активной. Немцы совсем обнаглели, а вы патроны экономите.

Старый партизан смотрит на меня с плохо скрытой иронией. Но я теперь знаю его слабое место и, в случае чего, бью без промаха:

— Стрелки нас в трусости обвиняют. Говорят: боится сержант Бахвалов фрицев. Сидит, как крот в норе, лишь бы его не трогали. Каково мне про вас, участника гражданской войны, такое слушать?

В ответ дед Бахвалов ревет, как раненый медведь:

— Ах, варнаки треклятые! Лешаки кержацкие! Бахвалов трусит?! А на ком оборона держится, как не на Бахвалове? Тоже мне защитнички: тюха да матюха... В случае чего, смажут пятки — не догонишь. А Бахвалов здесь костьми ляжет. Верно, мазурики?

Дрессированные «мазурики» отвечают дружно, как один:

— Так точно, товарищ сержант!

Когда я сказала ему про запасные площадки, дед по обыкновению затеял спор:

— Это еще зачем?

— Как зачем? Огонь ночью будете вести, чтобы по дзоту немец меньше бил. Да и плохо ли иметь запасные позиции? Пусть противник думает, что на обороне пуле-

метов прибавилось. Ночи теперь лунные: здесь постре-
лял, да там — кочуй себе с площадки на площадку.

— Еще чего? Старший лейтенант Ухватов...

— На обороне хозяин не Ухватов, а старший лейтенант Рогов!— решительно перебиваю я.

Дед глядит на меня, не мигая,— соображает, что бы еще такое возразить... Но я поддаю жару:

— Товарищ Рогов собирается про нас заметку в дивизионную газету написать. Недоволен он нами. Напишет — рад не будешь: опозоришься на всю дивизию. Вы этого хотите?

Последний довод решает дело в пользу площадок.

В тот же день мы с дедом осмотрели все площадки, заваленные снегом, и наметили капитальный ремонт. Ночью бахваловцы пилили тоненькие березки и обшивали ими земляные пулеметные столы Едва я успела поздороваться с пильщиками, как из немецких окопов вдруг вынырнул сильный луч прожектора и, как живой, зашарил по нашим лицам. Ослепленные, мы замерли на месте, а дед Бахвалов свалился в траншею навзничь, закрыл глаза и, как покойник, задрал кверху бороду.

Немцы закричали по-русски:

— Иван, плати за свет!

Прожектор помигал минуту-другую и погас. Дед проворно вскочил на ноги, обратился ко мне:

— Дозволите заплатить? Я им, сволочам, отстукаю отходную!

— Нам надо работать, пока тихо, а не забавляться,— возразила я.

Дед командовал работой и всё ворчал по поводу столь небывалого происшествия. А меня вдруг разобрал неодолимый смех. Вспомню, как наш бравый дед валялся в траншее вверх бородой — не могу! Я уже и рукавицу закусила, чтоб не расхохотаться на всю оборону. А дед поглядывает на меня чертом: «Смеяться над самим Бахваловым?!»

— Ох, Василий Федотович, извините. Это у меня, наверное, нервные спазмы от неожиданности...

Хитрость удалась. Дед расправил широкие плечи:

— Это, взводный, пройдет! Это бывает, когда человек сильно наполохается.

Бахваловские пулеметчики невозмутимы — ни один

не улыбнулся. Что делать, иногда и хитрить приходится. Надо ж щадить бахваловскую гордость.

Но поработать в эту ночь нам так и не пришлось. Помешали минометчики Громова. Их, видимо, возмутило нахальство фрицев. Завыли мины, полетели как раз в то место, откуда светил прожектор. Немцы ответили тем же, и понеслось!.. Только воздух загудел. Ударила полковая батарея, заговорили басом дивизионные гаубицы — полетели через наши головы снаряды. А фашисты начали бить по центральному ходу сообщения. Заревел «дурило», заскрипел «лука». Какая уж тут работа! У Рогова «четыре карандаша сломались», а мои все живы-здоровы. Отсиделись в дзотах. Но зато три бахваловские уже готовые площадки фриц полностью развалил — начинай дед сначала...

Чуть свет пришел замкомбата Соколов:

— Все живы? Слышу: лупит и лупит. Как там, думаю, наш взводный себя чувствует?

— Спасибо. Всё нормально.

По нашему участку обороны то и дело шныряют разведчики взвода лейтенанта Ватулина. Эти рослые парни имеют нежную позывную: «Белые лебеди», но, как и орлы Мишки Чурсина в моем родном полку, они нахальные и очень озорные. Всюду суют свой нос.

Однажды днем я занималась с Хаматноровым: как и в сорок втором году, решила учиться узбекскому языку и попутно обучала Хаматнорова русскому.

Керим Хаматноров — любознательный парень и русский учит охотно, но зато и сам требовательный учитель. Если я не понимаю или не могу правильно произнести слово, сердится по-настоящему.

Нам помешал лейтенант Ватулин. Он постоял, послушал, ехидно сказал:

— Узбекский ей понадобился, а подчиненные дрыхнут на посту, как суслики.

— Закрой дверь с другой стороны! — неласково посоветовала я. — И не лезь в чужие дела.

Разведчик ушел, посмеиваясь. Потом опять просунул голову в дзот:

— Думаешь, это травля? А хочешь докажу, что я прав?

— Проваливай по холодку. Еще чего выдумал: спят на посту! Как бы твои, гляди, не заснули в разведке.

Я тут же забыла об этом разговоре. Но буквально на другой день, когда бахваловцы безмятежно спали после ночного бдения, выставив, вопреки моему приказу, не двух, а одного часового, разведчики подкрались с тыла к Попсуевичу и засадили его в большой мешок. Парень и пикнуть не успел. «Пленного» приволокли в мой дзот. Лейтенант Ватулин разбудил меня и, приложив палец к губам, призвал к молчанию. Я сидела на нарах и, ничего не понимая со сна, глядела на мешок, в котором шевелилось что-то большое, живое. А вокруг с каменными лицами стояли разведчики и тоже смотрели на мешок. Лейтенант ткнул кулаком в середину мешка — ни гугу. Разведчик крикнул:

— Хенде хох![1]— и пнул мешок посильнее.

Мешок вдруг взвыл дурным голосом:

— Не бейте! Всё скажу! Я не русский, я гуцул!

В полном молчании разведчики развязали мешок и единым духом вытряхнули к моим ногам Попсуевича. Пулеметчик ошалело поглядел на всех нас по очереди и вдруг заплакал в голос. Лейтенант Ватулин глядел на меня с иронической усмешкой.

Я стукнула кулаком по столу:

— Это провокация! За такие вещи командир полка тебя по головке не погладит! Ишь подвиг они совершили! Сегодня же подам рапорт!

— Небось не подашь, — усмехнулся Ватулин. — Огласки не захочешь.

Я гневно поглядела на Попсуевича:

— Трус! «Всё скажу!» Он, видите ли, не русский, а гуцул! Ну что ж, придется доложить куда следует. Мало того, что заснул на посту, так еще...

— Да не спал я, товарищ младший лейтенант! Истинный бог не спал!— плачущим голосом вскричал Попсуевич.— И не сказал бы я ничего! Это я так, с перепугу...

Я молча глядела на его залитое слезами лицо и медленно успокаивалась. Где-то в самой глубине души вдруг ворохнулась непрошеная жалость — шутка бы-

---

[1] Руки вверх! *(нем.)*.

ла слишком жестокой. Но и разведчики, видимо, пожалели жертву своего озорства.

— Ну вот что, — сказал лейтенант Ватулин. — Будем считать, что твоих подлых изменнических слов не было. Простим тебе за несознательность, ты ведь сравнительно недавно стал советским. Но гляди, гуцул, да оглядывайся! Мы добрые, да только не всегда. В случае чего можем и без трибунала.

Он насмешливо мне поклонился:

— Инцидент «исперчен». Ауфвидерзеен!

История в тот же день получила огласку.

За отсутствие бдительности мне вкатили выговор по комсомольской линии. Ухватову за это же самое — партийный. Тимошенко тоже, но с другой формулировкой: «за плохо поставленную политико-воспитательную работу».

Тимошенко ничего не сказал, а Ухватов долго ворчал:

— Огребай вот за здо́рово живешь! Лишний раз лень ей по обороне пробежаться. Баба — она баба и есть...

А мне что оставалось? Отыграться на Бахвалове? Но с деда — что с гуся вода. Вначале старый кержак перетрусил:

— Ахти лихо, к немцам каторжник убег!— А потом меня и обвинил: — Всякое дерьмо в пулеметчики принимаете! Нет, чтобы со смыслом отбирать!

— Довольно болтать, товарищ сержант!— оборвала я деда.— Слушать надо, что командир приказывает, а не самовольничать! Вот и не будет никаких происшествий.

Дед Бахвалов не ожидал такой суровости, обиженно поджал губы. Ничего, переживешь!

В довершение всего меня обидел Лиховских. Он выпустил экстренный боевой листок «Прочти и передай товарищу». Во весь лист нарисовал мешок, а из мешка торчит женская голова в ушанке. Вылитая я. А под рисунком стихи о бдительности. Очень обидные. Да еще имел нахальство позвонить по телефону. Разговор был коротким.

— Пошел к черту!— крикнула я и положила трубку.

Злополучного Попсуевича я запрятала от любопытных глаз в капонир к Нафикову, но его и там разыска-

ли. И Тимошенко, и Лева Архангельский, и даже сам заместигель командира полка майор Самсонов проводили с ним индивидуальные воспитательные беседы.

Беда никогда не приходит в одиночку. Случай с Попсуевичем считался происшествием полкового масштаба и широкой огласки не получил. Второй был куда хуже. Не повезет так уж не повезет...

У нас пропал Гурулев. Пошел утром за завтраком в хозвзвод да и сгинул вместе с термосом. Ждали час, два, три — нет!

Я забеспокоилась. Лукин сказал:

— Заболтался где-нибудь, трепло!

Позвонила в хозвзвод. Маленький болтун давным-давно получил кашу...

Только собрались на поиски, позвонила Паша: вызывает комбат. «Семь бед — один ответ,— решила я по дороге.— Самому комбату и доложу о ЧП».

С мрачными мыслями я перешагнула порог комбатовской землянки и первое, что увидела: Пашины глаза. Они смеялись и показывали куда-то в угол, хотя Пашино круглое лицо было невозмутимо серьезным.

Я поглядела по направлению Пашиного взгляда и увидела виновника происшествия. Гурулев преспокойно сидел в углу на термосе и грел у печки руки!

Оказывается, он привел пленного немца! Обитатели командного пункта были немало удивлены: вышагивает здоровенный верзила-фриц, а сзади с большим термосом на горбу шествует мужичок с ноготок с автоматом да еще и покрикивает на пленного: «Давай, давай!»

Конвоир ввалился с немцем прямо в землянку к комбату и вручил ему трофейный автомат. Но тут-то и выяснилась обратная сторона медали.

— А где твое оружие, Аника-воин?— спросил Гурулева комбат.

А маленький пулеметчик, оказывается, пошел за кашей с голыми руками. И не он взял в плен фрица Вальтера, а фриц его!

Немец еще ночью перешел на нашу сторону, на стыке двух рот, благополучно миновав заснеженное минное поле. (Не пропали даром агитационные речи Лиховских!)

Перебежчик всю ночь бродил поблизости от дзота Лукина, но так и не решился подойти к часовым. А утром наткнулся на Гурулева: идет по траншее веселый парнишка без оружия и беззаботно напевает. Немец решился, тихо окликнул:

— Иван!

Гурулев ахнул — да бежать! Пулеметчик только тогда остановился, когда услышал за спиной знакомое: «Гитлер капут!»

Фриц вложил пулеметчику в руки свой автомат и приказал вести себя «нах гросс руски фюрер».

«Героя» вместе с остывшей кашей отпустили, а меня драили часа два в три голоса: комбат и его заместители. Впрочем, старший лейтенант Соколов больше смеялся, чем ругал. Зато комбат ехидничал за троих. Резюме: второй выговор по линии комсомола за отсутствие бдительности. Это мне. А Рогову — партийный за то, что по его участку обороны чуть ли не сутки безнаказанно прогуливался немец.

Но и это было еще не всё.

Через несколько дней в дивизионной газете в отделе юмора и сатиры появилась маленькая заметка под заглавием: «Медведя поймал». Начиналась она так: «На днях в подразделении младшего лейтенанта (мои имя и фамилия набраны крупным шрифтом) произошел забавный случай...»

От телефонных звонков и насмешек не было никакого отбоя. Если кто в дивизии и не знал, что где-то на переднем крае живет молодая разиня, то теперь это был секрет полишинеля.

Но я была несколько удовлетворена. В мое отсутствие в дзот к Лукину заявился дед Бахвалов и по-отечески нарвал уши Гурулеву:

— Не ходи, мазурик, без оружия! Не позорь нашу сибирскую породу!

Гурулев, потирая распухшее ухо, жаловался мне:

— Если я ростом не вышел, так меня можно за ухи? Да? Смешно вам? Вас бы с дедом так-то!

— А мы не ходим без оружия!

Рогов разбудил меня необычно рано, в двенадцать часов дня, и пригласил на артиллерийский наблюдательный пункт. По дороге спросил:

— Чего такая пасмурная? Не из-за выговора ли расстроилась?

— Их у меня уже целых два.

— Эка важность. Если считать с самого начала войны, то мой Лиховских больше десятка огреб, да и то не унывает.

Артиллерист-наблюдатель охотно уступил мне место у стереотрубы. Взглянув, куда он ткнул пальцем, я ахнула! Фашисты в рогатых касках толпились у большого блиндажа. Их было несколько человек, и чувствовали они себя как дома. Даже смеялись! И, может быть, вот этот красноносый верзила, заросший рыжей щетиной до самых глаз, убил Федоренко!..

— Мину бы сюда! Одну хорошую мину!— Я даже зубами заскрипела.

Рогов тоже посмотрел в стереотрубу и спросил артиллериста:

— И давно они тут собираются?

— Третий день в это же время колготятся. Я так думаю — тут у них учебный пункт.

— Что ж молчит ваша батарея?

— Место еще не пристреляно.

— Скажите, какая уважительная причина!— возмутился Евгений Петрович.— Так пристрелять надо! Я вот сюда комбата направлю. Пусть полюбуется.

— А я деда Бахвалова. Он всё патроны экономит. Пусть посмотрит, как фрицы пляшут у него под носом.

Мы с Роговым проделали в снежном бруствере дыры, просунули в них дула винтовок, взятых у солдат, и долго палили по месту скопления немцев. А вдруг подобьем кого-нибудь? У меня даже плечо от приклада заболело.

— Слушай, а почему, между прочим, ты не применяешь угломеры-квадранты? — вдруг спросил меня Евгений Петрович.

— Хватились! Да они, наверное, в архив сданы. Уставы-то наши устарели.

— В наступлении угломер, может быть, и чепуха, а в обороне...— Рогов не докончил свою мысль, перевел на другое:— Что ж ты не поинтересуешься, доволен ли я вами?

— А чего интересоваться? И так ясно. Вот выговор

из-за меня схватили. И каждый день то одно, то другое.

— Это всё, девушка, пустяки. А вот представь себе, что я сейчас пулеметчиками очень доволен. Огня даете достаточно, да и бдительность у вас теперь, как на границе.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло.

— Вот именно: на ошибках учимся.

По траншее, легко ступая, прошла Варя.

— Варвара, опять бродишь без оружия?— возмутился Рогов.

— А она хочет в мешок, как Попсуевич, — улыбнулась я.

Варя заокала:

— Это я-то в мешок? Точно и дело. Да где ж такой мешок найдется, в котором бы я поместилась? Разве только нарочно сшить.

— Ты не улыбайся,— строго поглядел на нее Евгений Петрович.— Вот утащат тебя когда-нибудь немцы.

— Верно, Варя, ты бы карабин взяла, что ли?— посоветовала я.

Варя отрицательно покачала головой:

— Ненавижу! Вот мое оружие. — Она похлопала рукой по туго набитой санитарной сумке.— Вы заняты?— спросила она у меня.— А я к вам на посиделки. Что-то взгрустнулось.

У Вари были для меня сразу две новости, да еще какие!

— Варначонок шевельнулся! — выпалила она, глядя мне прямо в глаза.

— Да что ты? — всплеснула я руками. — Уже? Так скоро?

Варя поглядела на меня с укоризной, усмехнулась, потом заворковала:

— Как двинет, шельмец, ножонкой под самое сердце — даже худо стало...

Вторая новость была не менее ошеломляющей: Варя получила письмо от матери Богдановских! Она молча плакала, пока я читала письмо. Мать погибшего называла Варю доченькой и родной невесткой, звала к себе в город Томск. Видно, сердцем писала осиротевшая мать...

— Ну вот,— сказала я, возвращая Варе листок,—

всё устраивается как нельзя лучше. Ты молодец, что написала.

— Я не писала, — всхлипнула Варя. — Это Лева-комсорг ей написал. А я даже и не знала.

— Молодец, Лева! Дурочка, ну чего же ты плачешь? — И хоть была Варя старше меня на добрых пять лет, я, как маленькую, погладила ее по голове.

Варя стойко держится в своем несчастье. Не распускается, не жалуется, разве только поплачет иногда в моем присутствии, и всё. За последнее время она заметно подурнела и осунулась. Серые глаза перестали излучать солнечные лучики, в углах пухлого рта залегли глубокие скорбные морщинки.

Варя очень добра и всегда старается найти себе дело: стирает, штопает, гладит. И что бы ни делала, делает с любовью и тщанием. Может быть, за это и любят Варю солдаты. Варя частенько меня навещает, бессознательно тянется ко мне доверчивым сердцем. И я ее очень люблю. А мои ребята относятся к Варе с ревнивым вниманием.

Как-то Березин, из расчета деда Бахвалова, бродил по лесу в поисках подходящих жердей для обшивки пулеметных столов на запасных площадках и наткнулся на останки немецкого летчика. Разрезал парашют и принес домой большие куски шелка. Спросил меня:

— На портянки употребить или сшить что? Как думаете, товарищ младший лейтенант?

Дед Бахвалов отобрал у него сверток:

— Нашему на пеленки...

— Жестковаты, — неуверенно возразила я.

— Если с золой проварить, будут мягче батиста, — со знанием дела ответил дед и отнес шелк Варе.

Он уверен, что у Вари будет непременно сын. Ворчит на Варю:

— Что ж ты, варначка, его душишь? Ослабь ремень, дуреха! Дышать же ему, мазурику, нечем...

Дед и имя будущему фронтовичку придумал: Мирон. Я возразила:

— Несовременно. Теперь так не называют.

Дед хитро улыбнулся в дремучую бороду:

— Самое что ни на есть теперешнее звание. Сообразите-ка: Мир — он! Я так кумекаю, что последнюю вой-

ну мы ломаем, не будут больше люди воевать. Так пусть он и зовется по-мирному...

Ну и дед! Не дед, а кладезь житейской мудрости. Варе имя понравилось, Евгению Петровичу тоже. Мирон так Мирон. Лишь бы рос здоровым да не знал того, что выпало на долю нашему поколению.

Иногда Варя пугает меня рассказами о своем чалдонском доме. Я с содроганием слушаю повесть о Вариной горькой жизни, и мне мое собственное детство, бедное родительской лаской, кажется счастливым сном...

...Варина бабка понесла в девках от беглого каторжника, и за это ее старообрядческая религиозная секта приговорила к очищению огнем. Совсем еще молодую женщину сожгли на дальней заимке «сестры и братья во христе». А Варину мать, слабенькую, покорную, на редкость красивую, пятнадцати лет от роду отдали в жены человеку немолодому и страшному. Варина мать утопилась, когда Варе исполнилось пять лет... Сколько Варя помнит себя, она в отцовском доме всегда была голодна и всегда бита Чем попало бил богомольный отец, с наслаждением таскала за волосы отцова сожительница «святая пророчица» Евпраксеюшка. На общинных радениях Варе дарили тычки и подзатыльники ее «братья и сестры во христе», и каждую неделю пьяный отец порол сыромятной плетью —укрощал Варенькину безгрешную плоть... От домашнего ада Варя освободилась только в девятнадцать лет. Пьяный «в дугу» тятенька приревновал свою сожительницу к гундосому «брату» Афанасию, да обоих и убил. Заколотила Варя крест-накрест узкие окна страшного родительского дома и подалась в чужие люди: нянчила детей, мыла, стирала, готовила. Потом перебралась в областной город, на меховую фабрику устроилась и зажила в девичьем общежитии безбедно и счастливо.

В этом городе и любовь свою встретила.

Частенько к нам заглядывает замкомбата по политчасти — капитан Степнов.

Этот грузный, начинающий седеть человек обладает редкостным даром вызывать в людях хорошее настроение. Где капитан Степнов — там и весело. Он нисколько не похож на сурового замкнутого комбата, но они от-

лично ладят между собою и как бы дополняют друг друга.

Капитан Степнов никогда не повышает голоса, не читает нудные рацеи, но его насмешливые замечания запоминаются надолго. Так, старшему лейтенанту Ухватову он при встрече, как бы между прочим, говорит:

— Опять лизнул горяченького? Доволен? Капитанскую звездочку обмываешь?

И нам ясно, что в ближайшем будущем Ухватову на капитанские погоны рассчитывать не приходится.

Меня замкомбата как-то спросил:

— Слушай, почему ты своим подчиненным портянки не постираешь? Или хотя бы носовые платки? Не смотри на меня так, я в своем уме. Говорю вполне серьезно. Ведь ты их опекаешь, как малышей в детском саду. А где ж твои сержанты? Один дед Бахвалов чувствует себя хозяином в отделении, а остальные шагу самостоятельно не сделают.

— Неужели так? Да что вы... — пролепетала я упавшим голосом.

— Да, к сожалению так. Контролируй, но не подменяй. Не подрывай авторитет младших командиров. Дай им больше самостоятельности. Ведь в бою ты не сможешь быть сразу рядом с каждым из них. Так-то, младший лейтенант.

Вот тебе раз, а я-то хотела как лучше. По десять раз в день проверяю...

— Какие у тебя отношения со стариком Бахваловым?

У меня чуть было не сорвалась с языка жалоба на старого упрямца.

— Ладим, скрепя сердце, — буркнула я.

— А дед-то тебя хвалит. Как-то спрашиваю его: «Ну как новый командир?» А он отвечает: «Командир как командир, — по мне что ни поп — то батька!»

— А что ни попадья — то матка! — машинально вырвалось у меня. — Ничего себе похвала!

— И это уже неплохо. Ведь на первых порах он бежать от тебя хотел. Четыре рапорта мне написал. — Капитан засмеялся.

Ах ты хрен бородатый! Значит, не только языком, но и тихой сапой действовал! Мне вдруг тоже стало весело.

В тот же вечер я отчитала Непочатова. Он позвонил мне по телефону и спросил:

— Можно освободить на три-четыре дня от нарядов Пыркова? У него пятка нарывает.

— Василий Иванович, хозяин вы у себя или нет? — сердито спросила я. — Такого пустяка самостоятельно решить не можете. — И положила трубку.

Вскоре после разговора с капитаном Степновым была назначена разведка боем. Пойдет наш сосед справа: рота старшего лейтенанта Павловецкого, при поддержке пулеметного взвода Федора Хрулева. Стали готовиться. Дополнительно в распоряжение Федора Хрулева я должна была выделить один пулемет с прислугой. Я откровенно позавидовала своему коллеге: идет на настоящее дело! Когда нас всех троих Ухватов собрал на совещание, я обратилась к Федору:

— Может быть, уступишь по дружески мне такую честь? А?

Федор засмеялся, озорно мне подмигнул и подкрутил воображаемый ус. Я не обиделась: и с ним, и с лейтенантом Аносовым подружилась сразу. Оба они славные парни, да и ссориться нам не из-за чего и некогда — видимся редко, от совещания к совещанию.

Услышав мою просьбу, Ухватов прищурил глаза:

— Тебя велено беречь, как глаз во лбу. Скоро в рамку тебя врежем и, как на икону, молиться будем.

Он был трезв и потому зол. Я промолчала, но ссориться всё равно пришлось. Ухватов приказал:

— От тебя пойдет Непочатов. А в боевое охранение временно Нафикова переведешь.

— Почему именно Непочатов, а не кто-нибудь другой? — возмутилась я. — И кто это, интересно, решил?

— Я так решил, — вызывающе ответил ротный.

— Но почему?

— А потому, что тебя не спросил! — Ухватов начал злиться.

— Не мешало бы и спросить! У себя во взводе я хозяйка. Пойдет сержант Бахвалов. Я так решаю!

— А я говорю: Непочатов! — закричал ротный. — Ты людей знаешь? На такое дело кого попало не пошлешь!

— Сержант Бахвалов не кто попало, а лучший пулеметчик в дивизии! Кто мне об этом говорил?

— Довольно! Что тебе командир роты — тряпка?

— А я тряпка? Приказано выделить пулемет с людьми — получайте! Но кого — это уж мое дело.

— Тимошенко, объясни ты этой бабе, почем фунт гребешков! — призвал на помощь Ухватов своего заместителя.

— Выбирай выражения! — осадил его Тимошенко.— Что значит баба? — И тут же сник — устало спросил меня: — Ну что ты споришь? Не всё ли тебе равно, кто пойдет?

— Нет, не всё равно! И даже очень не всё равно! Пойдет сержант Бах-ва-лов!

— Что здесь происходит? — раздался вдруг голос капитана Степнова.

Я и не заметила, как он появился в землянке ротного.

— Чего ты так кричишь? — спросил он меня с улыбкой. — Ну и характер! Думал, убьешь свое начальство...

Ухватов долго и нудно на меня жаловался и всё упирал на два обстоятельства: что я людей не знаю и что хочу отделаться от непокорного деда Бахвалова.

— В самом деле, почему именно Бахвалов? Можно кого-нибудь и помоложе, — сказал капитан.

— Я ни на минуту не сомневаюсь, что из четырех сержантов ни один не откажется от чести участвовать в деле. Все они отменные пулеметчики и не трусы.

— В особенности Лукин, — подал реплику ротный.

— Да, и Лукин! У него были неприятности личного порядка, и он некоторое время хандрил. Теперь прошло. Я там живу и вижу, как он держит оборону. Товарищ капитан, — повернулась я к Степнову. — Вы же знаете, что Бахвалов до сих пор числится зэком и это его тяготит. Еще три дня тому назад солдаты знали, что готовится операция. Бахвалов у меня чуть ли не со слезами просился, и я не могла ему отказать. Уверена, что все остальные сержанты со мною согласятся. А что касается моих взаимоотношений с Бахваловым, то они не так уж плохи. — Последнее адресовала Ухватову.

— Как по-вашему, кто из них прав? — спросил капитан моих коллег.

И большой румяный Хрулев и маленький смуглый Аносов, как озорные мальчишки, ткнули пальцем в мою сторону.

Мы вышли на улицу втроем. Два моих брата по оружию дружно захохотали.

— Как жаль, что траншея узкая, так бы я с тобой и прогулялся под ручку при луне, — пошутил Хрулев.

— Шиш тебе, — оттолкнул приятеля Аносов, — думаешь, если самый большой, то и самый красивый?

В тот же день вечером в капонире у Нафикова я провела со своими командирами совещание. Объявила им, что на дело идет дед Бахвалов. Непочатов и Лукин приняли известие спокойно, а у Нафикова загорелись глаза и раздулись крылья короткого носа. Но Непочатов дернул его за поясной ремень, и Шамиль успокоился.

— Значит, решено: товарищу Бахвалову мы единодушно доверяем участвовать в операции «икс», — подвела я итог.

Дед Бахвалов истово перекрестился:

— Слава тебе, господи, услышал ты мои молитвы!

— Василий Федотович, вы верите в бога? — спросила я.

— Не то чтобы уж очень верю, но без бога, как говорится, не до порога. Нельзя русскому человеку без этого, особливо если он в годах. Анпиратор-то Петр Великий возьми раз и крикни: «Всё мое и богово!» Да и хотел через Неву верхом перескочить. Ан, не тут-то было. А скажи он смиренно: «Всё богово и мое», — и как птица через реку перелетел бы. А теперь вот сиди до второго пришествия...

Молодые сержанты откровенно захохотали. Я улыбалась. Дед обиделся.

— А, что с вами, мазурики, о божественном толковать! Только беса тешить.

Вопрос о разведке боем был решен. Но на душе у меня было пасмурно. Стычка с ротным оставила неприятный осадок. Правда, победа на сей раз была за мной, но если всегда так придется доказывать свою правоту, то никаких нервов не хватит. Мелькнула предательская мысль: «А не перевестись ли в другой батальон?» Но я тут же устыдилась своего малодушия: бросить моих славных ребят?! Нет уж, останусь на месте.

С этими мыслями я ввалилась в землянку ротного санитарного пункта. Варя была одна: что-то вязала на самодельных спицах.

— Поздравляю, — сказала она мне, едва я закрыла

за собою дверь. — Хорошо отчехвостили Ухватова. Так ему и надо!

— Откуда ты знаешь? — удивилась я.

— Шугай рассказал.

— Шугай? Когда же это он успел?

— Успел. Федор Абрамович хороший человек. Он мой земляк. Лучший в области охотник. Три сына на фронте.

— Как же это он бабку-то свою убил?

— А, убил там!.. Было бы кого убивать. В праздник плясал на своем подворье и раздавил ненароком цыпленка. А бабка налетела на него с хворостиной. Федор-то Абрамович и не рассчитал свою медвежью силу. Вроде бы легонько тиснул, а из бабки и дух вон... Мучается он, бедняга... С Тимошенко-то ладите?

— А ну его! Не люблю таких вареных.

— Не надо на него сердиться, — сказала Варя. — Он немного не в себе.

— Как не в себе?

— А так. Жену у него фашисты расстреляли еще в сорок первом. Тоже студентка была. Вместе учились они. Уехала она к матери в Калининскую область, да там война и захватила. А фашисты ее расстреляли. Беременную. Раненого нашего она прятала. Вот он и не может забыть...

— Не у одного у него горе.

— Это верно, — вздохнула Варя. — Да ведь человек человеку не ровня. Одного горе сразу сломит, другой держится, как железный. Вон как Евгений Петрович. Виду не показывает. А ведь горюет. Ох и горюет! Я знаю... А Тимошенко, как узнал, — полгода в госпитале пролежал. С головой у него что-то было. Теперь-то что? Ожил, отошел. А бывало — беда. Встанет и бежит... прямо на минное поле. Или на вражеский пулемет. Не накормлю насильно — так и проходит голодный. Намучились мы с ним.

— Ладно, Варенька, спасибо. Я это учту. Кому ж такой симпатичный носок?

— Старшему лейтенанту Рогову. Холодно, а у него горло больное. Старшина два подшлемника на приданое моему Мирону пожертвовал. Я распустила, да вот и брежу. А приданое готовить заранее плохая примета. Так дедушка Бахвалов сказал.

Я засмеялась:

— Не дед, а сто рублей убытку.

Варя взглянула на меня исподлобья:

— Не любите его?

— Да нет. Ничего. Поначалу ссорились, а теперь обошлось. Скучно было бы в обороне без деда Бахвалова. А приданое у твоего Мирона будет не хуже, чем у других. Мы об этом позаботимся.

Варя тихо заплакала. Я возмутилась:

— Ну что ты всё плачешь? Родишь плаксу — будешь мучиться. Мне иногда тоже бывает тошно, как сегодня, а ведь не плачу. Нельзя.

Пришел Евгений Петрович и прямо с порога стал за что-то отчитывать Варю свистящим шепотом. Варя молча забрала свою сумку и ушла. На мой невысказанный укор старший лейтенант Рогов развел руками:

— Дружба дружбой, а служба службой. Ничего, это ей только на пользу, а то совсем опустит крылья. Ну что, младший лейтенант, дала бой своему начальству? Правильно. Всегда и везде будь принципиальной и имей свое собственное мнение. И вот тебе моя рука.

В ночь на двадцать третье февраля рота Павловецкого в полной боевой готовности заняла нашу траншею. У нас сразу вдруг стало тесно. Вылазка предполагалась из боевого охранения лейтенанта Лиховских. Солдаты, в белых балахонах и касках, не курили, не бренчали оружием и даже разговаривали мало, и то шепотом.

Лукин сказал мне вполголоса:

— Значит, от нас пойдет разведка боем. Ну, все мины и снаряды наши.

— Как-нибудь переживем, — сказала я и направилась к деду Бахвалову.

Бахваловский пулемет уже стоял в траншее на белой волокуше, прикрытый куском маскировочного халата. Тут же возле дзота пристроилась группа не наших солдат. Все бахваловцы были в дзоте: дед держал напутственную речь. Еще за дверью я услышала:

— О смерти в бою не думай. Ни-ни. Как только подумал — пропал: она, безносая, тут как тут и голову косой с плеч...

Увидев меня, оратор рявкнул:

— Встать! Смирно!

— Отставить. Сидите, — махнула я рукой и тоже присела на нары.

Бахвалов продолжал:

— Примета такая есть. Когда собираешься что-либо делать, не думай о худом. А то непременно лихо приключится. Вот про себя скажу. Случай какой был. Раз под рождество заварила моя старуха медовую брагу и залила ее в бутыль. Бутыль огромадная, еще николаевская, литров на сорок, не меньше. И берегла эту посудину моя баба пуще глаза. Ну где в тайге вторую такую достанешь? Взгромоздил я бутыль на поставец возле печки и тулупом прикрыл: «выхаживайся, голубушка». Вот и праздник подошел. Старуха пельменей налепила, напекла, нажарила, стол в горнице накрыла — гостей ждет. Да и говорит мне: «Сними-ка ты ее, батька, по кувшинам разольем». Стал я снимать да и подумал: «Не кокнуть бы анафему!» А нечистик тут как тут: толк меня под руку, ну и вдребезги... Сусло медовое по полу течет. Старуха голосит на всю тайгу и лупит меня кедровой скалкой по горбу. А я встал на карачки да прямо с полу и лакаю медовуху-то...

Солдаты захохотали.

— Прямо с полу? — удивился Березин.

Дед зверовато на него покосился, ухмыльнулся в бороду:

— Думаешь, у сибирячки такой пол, как у тебя дома? Да он чище иного стола выскоблен...

Я подумала: «А ведь дед неплохой агитатор. Умеет настроение перед боем поднять».

— Что это вы, Василий Федотович, вроде бы вдруг растолстели? — спросила я его.

Дед распахнул полы маскировочного халата. На его поясном ремне было подвешено не менее десятка гранат в зеленых рубчатых рубашках.

— Зачем вам столько?

— По немецкой траншее думаю ночью прогуляться, — ответил дед. — Чего это мы все у одного пулемета будем колготиться.

— Ну, это вы, пожалуйста, оставьте, товарищ сержант! — вспылила я и, вызвав деда на улицу, зашипела ему в самую бороду: — Только попробуйте оставить пулемет! Запрещаю!

— Да я шутейно сказал, а вы уже и прицепились! — возмутился дед.

— Таких шуток я, Василий Федотович, не принимаю. Этим не шутят.

Из темноты, из-за поворота траншеи, вынырнул Федор Хрулев, спросил:

— Чего ты шипишь, как разъяренная кобра? Случилось что-нибудь?

— Да вот сержант Бахвалов собрался в турне по немецким траншеям.

— Никаких турне! — строго сказал Федор. — У каждого своя задача. Пулемет исправный? Люди готовы?

— Не извольте сомневаться! — заверил дед Бахвалов и скрипнул зубами: — Ох, я их и турнул бы, так турнул!

— Может быть, Попсуевича возьмете? — спросила я.

— На лешего он сдался!

— А людей не мало? Не было бы тяжело.

— Какое там тяжело. Наст что стол, не только пулемет — танк свободно выдержит.

— Ладно. Запасной замок взяли? Извлекатель?

— Всё тут, — похлопал дед по противогазной сумке, повешенной через плечо.

Противогаз-то, поди, выбросил, старая борода! Доберется до нас начхим полка — отвалит на орехи.

Мимо нас в боевое охранение прошли саперы. Их вел сам комбат. За саперами гуськом тянулись разведчики. Впереди начальник разведки капитан Филимончук, замыкающим — лейтенант Ватулин. Филимончук, проходя мимо, едва кивнул мне головой: надменно и гордо. Я отвернулась — не нуждаюсь! Молодой капитан пытался за мною ухаживать, но получил решительный отпор. И отношения между нами сложились довольно прохладные.

Не останавливаясь, озорник Ватулин больно ущипнул меня за щеку. Я схватила его за маскировочные штаны (за первое, что подвернулось под руку) и с силой рванула. Резинка лопнула, и штаны, как белая живая кожа, поползли вниз. Лейтенант подхватил их обеими руками и с досадой почти крикнул:

— Что ты делаешь? Что я их в руках понесу, что ли?

Солдаты Павловецкого сдержанно захихикали.

— Не плачь, — насмешливо сказала я. — В индивидуальном пакете есть булавка, снова резинку вденешь.

— Подумаешь, и пошутить нельзя...

— Такие милые шутки ты шути с кем-нибудь другим! Понял?

Разведчик снял белые штаны, повесил их на руку и побежал догонять своих — наполовину белый, наполовину черный. А вслед ему по траншее незримым комом катился смешок.

— Слушай, за что ты парня из штанов вытряхнула? — посмеиваясь, спросил Хрулев.

— Он знает, за что.

— Так и надо, — одобрил дед. — Не заигрывай без пряников.

В десять часов вечера наша рота открыла по вражеским позициям активный ружейно-пулеметный огонь. Эту «музыку» поддерживали минометы Громова и учебная рота резерва, на время операции занявшая траншеи старшего лейтенанта Павловецкого. Под шумок павловчане благополучно передвинулись в «Прометей» и изготовились к броску. К одиннадцати огонь мы ослабили, а к двенадцати ночи почти совсем прекратили. Всё выглядело как обычно: то здесь, то там рванет ружейный залп или раскатится короткая пулеметная очередь, и опять тихо. Постепенно и фашисты угомонились.

Операция началась ровно в два часа ночи. Без артиллерийской подготовки стрелки и разведчики внезапно, одним броском, ворвались в «аппендицит» и схватились с немцами врукопашную. Шум, крики, взрывы ручных гранат — всё это разом взорвало ночную тишину.

Дружно заработали хрулевские пулеметы.

Я стояла возле дзота и прислушивалась. Рядом стонал Лукин:

— Мать честная, как руки чешутся!

— Сунь их в снег, перестанут.

Немецкие минометы кромсали Круглую рощу, отсекая нашим пути отхода. Я подумала: «Как-то там, на «Прометее»?»

В «аппендиците» вдруг вспыхнул и сразу же ярко запылал большой костер. Подошел капитан Степнов, молча встал рядом со мною. Прислушался, озабоченно поглядел на стрелки светящегося циферблата часов, сказал:

— Пора бы и отходить. Черт! Наши, что ли, противотанковый завал подожгли? Светло, как днем...

Из «Прометея» в немецкую траншею одна за другой полетели три зеленые ракеты — сигнал отхода. Капитан повернулся ко мне:

— Давайте на всю катушку правее костра, отсекайте правый фланг!

— Сержант Лукин, лично к пулемету! — скомандовала я и вдруг почувствовала озноб, даже пальцы рук закололо.

Ровно через семь минут после сигнала об отходе с нашей стороны заревели пушки, зафыркали минометы всего полка. Артиллерия обеспечивала отход. Застрочили пулеметы Лукина и Непочатова: один по правому флангу «аппендицита», другой по левому.

Отход занял всего несколько минут. Рейд можно было считать удачным. Стрелковая рота учинила у противника настоящий разгром: подорвали несколько дзотов, сожгли завал, захватили немало оружия и перебили не менее трех десятков немцев. Отошли благополучно, если не считать двух убитых и нескольких раненых.

Разведчики тоже не зевали: утащили начальника блока боевого охранения с картой — схемой огневых точек стоящего перед нами батальона СС.

Обера конвоировал лейтенант Ватулин и был до того горд, что даже и не поглядел в мою сторону. Позади своего плененного начальника вышагивали два низкорослых немецких солдата. Они тащили в руках перед грудью какие-то ящики. Им на пятки наступали разведчики, обвешанные трофейным оружием.

Победители чуть ли не бегом прошествовали мимо нас.

— Салют, взводный! — крикнул, проходя мимо, старший лейтенант Павловецкий. На его коротком широком носу в свете догоравшего костра весело пылали крупные рыжие веснушки. Хрулев на ходу пожал мне руку, а дед Бахвалов гаркнул так, что на него зашикали:

— Задание выполнено! Потерь не имеется.

Он протянул мне трофейный пулемет:

— Поглядите-ка, какая чертоломина!

— Это МГ-37. Несите к себе, потом разберемся.

— Ишь ты, пакость какая, — покачал головой дед,— чуть начисто палец не отхватило. Я его, паразита, там

же хотел к делу приспособить и сунул ненароком палец в затвор. — Он повертел у меня перед лицом распухшим почерневшим пальцем правой руки.

Едва участники ночного рейда ушли на свой правый фланг, немец точно осатанел. Бил остервенело, без передышки до самого рассвета. Мы забились в дзот, но и в дзоте может укокошить, если рот раскрыть: фронтальные амбразуры — настоящие уловители осколков. Сняли пулемет на пол, чтобы случайно не покорежило, и стояли вдоль фланговых стен, вплотную прижимаясь к смолистым бревнам. Артналет застал у нас Евгения Петровича. Он прошипел, вытягивая шею, как гусак:

— Залезла бы ты, право, под нары, — и показал глазами на потолок, — перекрытие-то не ахти. В случае прямого попадания...

Я только улыбнулась. Выдумает же Евгений Петрович: командир под нарами! И загнала под нары Раджибаева. Дусмат-ака заметно трусил: вздрагивал после каждого разрыва и шепотом повторял слова корана. И в самом деле, чертовски неприятно, когда за стенами не совсем надежного убежища грохочут, воют и визжат целые тонны искореженного металла.

Только к десяти часам канонада стала затихать. Сначала ушел Рогов. Потом собрался за завтраком Гурулев. Он надел на плечи лямки термоса и шагнул к двери, но вдруг вспомнил: покосился в мою сторону и взял из пирамиды автомат.

Наш подносчик пищи вернулся очень скоро и вместо горячего завтрака принес только по два сухаря на брата. Немцы разбили кухню, ранили повара и прямым попаданием снаряда разгромили полковой продовольственный склад.

После завтрака позвонил Лиховских, запел в трубку:

— Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, твой кляузный старик... Как дела?

— Какие у меня дела? Живы и ладно. Небось не утерпел, ходил в «аппендицит»?

— Ты угадала, подруга дней моих суровых! — захохотал мой приятель.

— Самовольно, конечно?

— Пристроился тихой сапой.

— Знаешь что? Ты непременно свой молодой век закончишь в штрафной роте.

— Боюсь, что ты права, вещая Кассандра[1].

— Рифму опять потребуешь? Небось торжественной одой разразишься на взятие обера?

— Единственный случай, когда ты не угадала. К черту музу и Пегаса! Сие увлечение юности прошло, как с белых яблонь дым.

— Что ж так скоро?

— А ты почитай дивизионную газету от пятнадцатого. Снайперская-то винтовочка тю-тю... Какой-то Самарин из соседнего полка получил, а думаешь у него стихи лучше, чем у меня?

— Ладно. Передай Непочатову, что ночью приду. Пусть встречают.

Днем я позвонила Павловецкому и Хрулеву. Напомнила, чтобы они не забыли в донесении упомянуть про деда Бахвалова.

К вечеру пришел Тимошенко. Он приказал всех свободных от вахты собрать в капонир к Нафикову и целый час скрипел, как несмазанное колесо. Бедный. Опять на него «нашло»... Не доклад, а пытка. Солдаты на пустой желудок слушали плохо, с трудом одолевая дремоту. Гурулев-таки не выдержал: всхрапнул. Лукин ткнул его кулаком под бок. Маленький пулеметчик вскочил, испуганно таращa круглые глаза. Ребята засмеялись. Наверное, бедняге пригрезилось страшное: или сон на посту, или встреча с фрицем Вальтером.

Дед Бахвалов куда интереснее проводит свои «лекции». Вот как он рассказывал о разведке:

— ...Вылезли из траншеи, темень, как у цыгана ночью в ноздре, ну как, скажи ты, на меня куриная слепота напала. Стрелки-то налегке: «Ура!» — и у него в окопах. А нам с пулеметом бегом несподручно. Пока подоспели — ничего не понять. Потасовка идет самосильная, а кто кого бьет — не разобрать. Слышу, лейтенант товарищ Хрулев окликает — огня требует. А куда? Раздумывать некогда — не у тещи в гостях. Поставили мы пулемет прямо с волокушей на ихнюю траншею да и дунули на всю ленту куда-то немцам в тыл. А тут и отбой. Только в раж вошли...

[1] Дочь троянского царя Приама. Бог солнца Аполлон наградил ее даром пророчества. Когда же Кассандра отвергла любовь Аполлона, он сделал так, что предсказаниям девы никто не верил.

— Гранаты-то обратно принесли? —спросила я.

— Дурак я, что ли, тяжесть туда-сюда таскать? В какие-то блиндажи на ходу покидал. А убило ли кого, нет ли, проверить было недосуг.

— Одного ведь прикончили, — подал голос Березин.

Дед свирепо выкатил глаза:

— Спрашивали тебя, мазурик?

— Сознавайтесь, Василий Федотович, чего уж там!

— Да пришлось одному сдохлику между рогов двинуть — и не пикнул. Не, не, вы не думайте, пулемет я не бросал! Этот фриц сам на нас наскочил.

— И сигареты небось вам фашист перед смертью преподнес...

— Ну до чего ж ваш, бабий, тьфу, извиняюсь, женский род вредный! Это мне разведчики дали. За бороду они меня уважают. Ивашин у них такой есть. Это он дал. Покури, говорит, дедок, немецкого эрзацу.

Ночью с большим мешком на горбу к нам явился сам старшина Букреев. Он принес хлеб, сахар, водку, табак, консервы и мне, как некурящей, триста граммов шоколадных конфет. Сбросил мешок у входа, вытер платком вспотевшее мясистое лицо и с досадой сказал:

— Таскай вот для вас...

Я неосторожно улыбнулась:

— Если гора не идет к Магомету...

— Плевал я на вашего Магомета! — огрызнулся старшина. — Комбат испугался, как бы вы тут с голоду не передохли, вот и пришлось переть...

— Мы бы не передохли, верно, ребята? А вот как бы с вами чего не случилось после такого героического подвига. Сколько же вам надо за ночь рейсов сделать?

Старшина накатил на глаза тяжелые веки, сердито буркнул:

— Пожалел волк кобылу... Оставляю на весь взвод. Сами делите.

И ушел.

Мои солдаты не любят старшину Букреева. За глаза величают его коммерсантом Комаровским и Максом-растратчиком. Зато Ухватов о прошлом нашего старшины вспоминает с почтением:

— Большого ума человек! Какими делами в торговле ворочал!..

А вот за что Максим угодил в места не столь отдаленные, ротный вспоминать не любит...

Из заключения старшина рвался на фронт, а сходил два раза в атаку — не понравилось: вспомнил про застарелую грыжу и сказался нестроевым. Тут и залучил его Ухватов под свое крылышко: рыбак рыбака видит издалека.

Максим умеет обжулить солдата даже в мелочах. Впрочем, после моей очередной стычки с ротным по этому поводу, жалобы на обмер и обвес прекратились. Более того, старшина вдруг стал выдавать нам всю водку.

Я не пью, но от своей доли не отказываюсь — заначку коплю. Когда отделение деда Бахвалова возвратилось с «сабантуя», я их премировала своей фляжкой, в которой кое-что булькало. Дед, принимая из моих рук подарок, не мог скрыть довольной улыбки.

Увидев шоколадные конфеты, Варя широко открыла глаза:

— Откуда?

— Не всё ли равно? Ставь чайник. Будем пировать.

Сначала мы их сосчитали. Ровно тринадцать штук. Толстые, широкие, в нарядных бумажках. Мы отложили лишнюю тринадцатую конфету для Евгения Петровича и порешили в день съедать по одной, после ужина. Половину съели, когда пили чай, а за ужином прикончили и остальные.

— Как видишь, Варенька, сила воли у нас с тобой есть, — засмеялась я. — Как решили, так и сделали.

Евгений Петрович, только что ввалившийся в землянку, засмеялся:

— Что там какие-то триста граммов! Вам этак с пудик...

— Я бы, пожалуй, и два съела, не моргнув глазом, — улыбнулась Варя.

Вскоре нам опять удалось полакомиться. Лейтенант Ватулин прислал послов с дарами. И я приняла предложение о мире. Трофейные сигареты мы с Варей отдали Евгению Петровичу, шоколад съели в один присест, а губную гармошку у меня в ту же ночь выпросил Лиховских. И теперь дразнит фрицев: у себя на «Проме-

тее» исполняет «Тирольский вальс». А лейтенанту Ватулину не дает прохода. Каждый раз подсмеивается:

— Как тебе нравится такая ситуация: он любит ее, а она меня? — И наигрывает «Разлуку». Самолюбивый разведчик на меня кровно обиделся. Даже письмо прислал по почте: «Смеется тот, кто смеется последним!..» И здороваться со мною перестал. И впрямь я нехорошо поступила, передарив дареную игрушку. А уж этот Лиховских! Настоящий лукавый черт в офицерских погонах! Когда-нибудь я припомню тебе гармошку!..

Евгений Петрович по этому поводу сказал:

— Какие вы еще, в сущности, дети! Вам бы в горелки играть, а не воевать. — Он погасил улыбку и долго молчал, глядя куда-то поверх моей головы. Потом точно очнулся: — Впрочем, у вас всё еще впереди. Лишь бы войну пережить. А вот такому, как я, почти ничего не осталось...

— Ну что вы, Евгений Петрович! — бодро возразила я. — Какие ваши годы? Вы еще тоже поживете.

Старший лейтенант вдруг рванул ворот гимнастерки и задышал часто и тяжело. Должно быть, у меня было испуганное выражение лица, потому что он успокоился как-то вдруг сразу и улыбнулся своей обычной, чуть насмешливой улыбкой:

— Ладно. Ты не придавай этому значения. Просто нервы иногда шалят. Вот что: скоро в наступление. Как же быть с Варварой? В медсанбат ее, что ли, откомандировать...

— А как Варя сама?

— И слушать не хочет. Ревет.

— Не надо ее отправлять. Тут же все свои, родные...

— А если убьют или ранят?

— Убить или ранить могут любого из нас. И даже в обороне. Ведь так?

— Пусть будет так, — согласно кивнул головой Евгений Петрович.

Мы стояли недалеко от моего дзота и разговаривали вполголоса. Был час дневного затишья. Только мины, завывая, летели через наши головы куда-то на полковые тылы да из боевого охранения доносилась редкая ружейная перестрелка.

Из дзота вышел Лукин, обратился ко мне:

— От Нафикова звонили. У него погиб отец. Ша-

миль плачет... От сержанта Бахвалова пришли. Сальники протекают — просят новый асбест.

Меня призывали повседневные дела.

На ближайшем же батальонном совещании я подняла вопрос о ведении навесного огня по закрытым целям. Потребовала снабдить нас угломерами-квадрантами. Ухватов насмешливо на меня покосился, махнул пухлой рукой:

— Блажь. Бабские штучки. Строчи, Гаврила, в хвост и в рыло, — вот тебе и весь квадрант!

Его с неумолимой логикой, и, как всегда, немногословно, разнес Рогов.

К удивлению, коллеги меня не поддержали. Аносов равнодушно пожал плечами:

— Почему ж не попробовать...

А Федор Хрулев прямо выступил против:

— Какие там приборы! Это всё устарело. До противника четыреста — пятьсот метров. Мы же дуем прямой наводкой!

Я не выдержала:

— Вот именно дуем! Патроны переводим. А фрицы и в ус не дуют. Чуть пригнулся в траншее — и от наших пуль никакого вреда. Какая же польза от такого огня?

Меня горячо поддержал командир минометчиков Громов:

— Конечно, нужны угломеры! Параллельный или сведенный веер — это же сила! Даже один пулемет, наведенный по угломеру, может отлично поражать закрытую цель.

Комбат Радченко утвердительно кивнул головой. Приказал Ухватову:

— Сегодня же выписать эти приборы.

Ухватов заворчал по моему адресу: зачем полезла через голову. Он, оказывается, тоже за угломеры, только мы его не поняли.

Тимошенко с досадой махнул на него рукой:

— Что ты ломишься в открытую дверь? Вопрос решен.

На складе нашелся всего один-единственный старенький угломер-квадрант, со стершимися делениями на круге. А кронштейна не было. Как его примостить к

пулемету? Я решила посоветоваться с дедом Бахваловым. Старый пулеметчик удивился:

— А что это за финтифлюшка?

Я удивилась в свою очередь:

— Разве вы в гражданскую не вели огонь по закрытым целям?

Василий Федотович только усмехнулся:

— Какие там закрытые, когда и на открытые патронов не было. Семеновцы, бывало, так и прут нахрапом. А комиссар наш, товарищ Забурунный, кричит: «Пулеметная команда, ни одного выстрела! Только по коннице». Почти что вплотную подпускали, чтоб, упаси бог, ни одной пули зря не потратить. Вот ведь какая война-то была, товарищ взводный. Какие уж там к лешему угломеры...

Всю ночь мы совещались с Непочатовым. Чертили, рисовали и спорили. Непочатов предлагал очень простую конструкцию: приварить угломер за ножку наглухо к кожуху пулемета — вот и все. Это не годилось. Нужен был съемный кронштейн, чтобы можно было стрелять из каждого пулемета по очереди. Выручил Лиховских — по его чертежу и заказали в ружейной мастерской кронштейн. А когда наконец водрузили угломер на пулемет деда Бахвалова, то оказалось, что никто из нас не может правильно рассчитать угла возвышения. На курсах про угломеры упомянули мельком, как про приборы, отжившие свой век. И в голове у меня ничего не осталось. Позвали на помощь Евгения Петровича. Он подозрительно долго наводил и считал, оправдывался:

— Я ж не математик:

К счастью, пришел Громов и всё объяснил. Оказалось, не так уж сложно.

На другой день после часу дня (время, когда немцы начинают просыпаться) мы с Евгением Петровичем сидели на НП и ждали. Пулемет деда Бахвалова я приказала установить на открытой площадке, в траншее между дзотом и наблюдательным пунктом. «Максим» был нацелен на вражеский центральный ход сообщения, чуть левее большого блиндажа с заснеженной крышей. Тут обычно фрицы, восстав от сна, собираются на перекур.

Больше часа мы сидели зря — немецкая траншея как вымерла. Никого. Но вот молодой наблюдатель, не отрываясь от стереотрубы, сказал:

— Начинается. Уже трое.

Евгений Петрович занял его место, немного погодя пригласил меня. Фрицев уже было семь человек. Они стояли тесной группой и, казалось, совсем были рядом — протяни руку и ухватишь крайнего за нос... Вот еще подошли двое. Задымили сигаретами. Я выбежала на улицу и дала деду Бахвалову условный сигнал зеленой ракетой.

«Максим» ударил какой-то особенно хлесткой очередью. Я улыбнулась: почерк самого Василия Федотовича. Не доверил наводчику Березину...

— Троих как корова языком слизнула, — сказал мне Евгений Петрович, уступая место у стереотрубы.

У блиндажа остались три фашиста. Остальные, наверное, утащили пострадавших. Откуда-то из-под земли вынырнул офицер в сизом мундире и без головного убора. Бесцветные взлохмаченные волосы наполовину закрывали его лицо. И офицер и солдаты, задирая головы, глядели на белесое зимнее небо и размахивали руками. Спорили: откуда пришла беда? Сейчас разберетесь!.. Я снова дала зеленую ракету.

— Офицер и еще один, — констатировал Рогов, когда я вернулась на НП. — На сегодня хватит, — сказал он мне. — Прикажи сматывать удочки, а то накроют.

Я выпустила красную ракету, что означало: «уходите, пока целы». Немного постояла на улице и снова вернулась на наблюдательный пункт.

— Смотри-ка, смотри, что делается, — засмеялся Евгений Петрович. — Поубавилось арийской наглости.

Я поглядела и тоже засмеялась: с большими интервалами, согнувшись в три погибели, опасное место перебегали фашисты с котелками в руках и, как полевые мыши, проворно ныряли под землю.

Ударили вражеские минометы — накрыли нашу траншею от того места, где только что стоял пулемет деда Бахвалова, и до самого НП. Швыряйтесь хоть до самой ночи — моих уже там нет!

Евгений Петрович был доволен:

— Так-то, умница!

— Это ведь ваша мысль.

— Я сказал да и забыл между делом, а ты вот вспомнила.

Дед Бахвалов ласково провел масленой тряпочкой по кругу угломера, ухмыльнулся в бороду:

— Скажи на милость, такая фиговинка, а пятерых как не бывало! Вот уж истина, мазурики, мал золотник, да дорог.

На другой день стреляли на левом стыке из пулемета Лукина. Опять подкараулили фашистов во время обеда. Огнем на сей раз, с моего разрешения, управлял дед Бахвалов. Тремя верными очередями подбили шестерых фрицев. Потом угломер снова перекочевал на позиции деда Бахвалова. И так каждый день на открытой площадке то здесь, то там появлялся пулемет с угломером и вел прицельный навесной огонь, а фашисты никак не могли засечь губительную огневую точку. В конце концов враг рассвирепел — минометы стали молотить по всему участку обороны роты Рогова. Временно я запретила использовать угломер.

Но тут позвонил Федор Хрулев:

— Милая соседушка, не одолжишь ли на один денек угломерчик?

Я съязвила.

— Милый соседушка, как ты сладко поешь! Зачем тебе наш угломерчик? Дуй прямой наводкой.

Федор засмеялся:

— Сдаюсь. Ну, пришлешь, что ли?

— Не давайте, — сказал стоявший рядом со мною Лукин. — Испортят или присвоят.

Но я всё-таки отдала. У Хрулева с помощью нашего угломера стреляли сам комбат и Лева Архангельский. Лева даже статью написал в дивизионную газету: «Дайте нам угломеры-квадранты!» Статья была дельной, если не считать, что комсорг перехватил через край: получалось, что с помощью одного угломера мы за несколько дней уничтожили чуть ли не половину личного состава стоящего перед нами батальона СС. Но зато заинтересовался сам командир дивизии и пообещал все наши пулеметы снабдить угломерами. Получить приборы мы не успели.

Двадцать две немецкие дивизии были разгромлены на Волге, на Среднем Дону и южнее героического Сталинграда.

Была подорвана военная мощь Германии, ее военный престиж. Пошатнулось всё здание военного фашистского блока.

Победа под Сталинградом стала исходным пунктом для мощного зимнего наступления Красной Армии на Северном Кавказе, в районе Верхнего и Нижнего Дона, под Воронежом, под Ленинградом.

В начале марта двинулись вперед войска Центрального и Западного фронтов. Наступление развивалось успешно. Был ликвидирован ржевско-вяземский плацдарм, освобожден город Гжатск. Линия фронта с каждым днем всё дальше и дальше на запад отодвигалась от Москвы.

В результате летнего наступления сорок второго года дивизии нашей армии вырвались далеко вперед и глубоко вклинились в линию немецкой обороны, и поэтому теперь, когда фланговые армии нашего фронта наступали, мы всё еще стояли на месте. И слева и справа гремела мощная артиллерийская канонада, а мы ждали своего часа. И вот он наступил.

Нас сменила гвардейская часть, и наша дивизия передвинулась по фронту на несколько километров вправо. Мы тоже должны были кого-то сменить на обороне, проходящей вдоль села Никольского. Впрочем, от населенного пункта осталось одно название: ни единой печной трубы, ни колодезного журавля — никакого признака жилья. Пустыня. А вернее, даже не пустыня, а черно-белый кромешный ад. Каждые пять минут ураганный минометно-артиллерийский налет. А в промежутках одиночные вражеские пушки, не умолкая ни на минуту, выплевывают снаряды на полковые тылы: бьет по штабам и хозяйственным взводам. И это днем! Можно себе представить, что здесь делается ночью... Снег совсем черный, весь в воронках, живого места нет.

Шли ходко, торопились забраться в траншеи — там-то мы как дома. Но всё же на подходе к переднему краю несколько раз попадали под минометный огонь. Погибли три стрелка из роты старшего лейтенанта Рогова, а у меня был убит молодой пулеметчик Абрамкин из расчета Нафикова. Варя перевязала несколько раненых.

Внезапная смерть товарища подействовала на моих ребят угнетающе. Они заметно приуныли. После очеред-

ного минометного налета смешливый Гурулев присвистнул:

— Вот это дает! Тут если и жив будешь, то худой будешь...

Ему ворчливо ответил дед Бахвалов:

— Ми-лай! Так ведь ты не у мамки на печке...

Последним в ротной колонне шел расчет Шамиля Нафикова. Солдаты молча тащили тяжелые волокуши и боекомплект. Я остановилась, пропуская их мимо себя. Наигранно бодро окликнула Нафикова:

— Как дела, сержант?

Нафиков остановился и, не глядя мне в лицо, глухо сказал:

— Худые дела. Абрамкина шибко жалко. Мать совсем больной. Как напишешь такое?..

Лицо маленького татарина перекосила гримаса боли, по румяной от мороза щеке, оставив влажную полоску, пробежала тяжелая слеза. Шамиль смахнул ее рукавицей и отвернулся. Я вздохнула. Тихо сказала:

— Матери напишу я. Выше голову. Солдаты на нас смотрят. Пошли.

На обочине дороги меня поджидал Лиховских. Проводив глазами пулеметные волокуши, спросил:

— Настроение у народа не ахти?

— Какое там настроение! Солдат вот погиб.

— А моим чертушкам непромокаемым хоть бы что! Послушай — песни поют!

— Твои привыкли. В «Прометее»-то разве лучше было?

Лиховских достал из кармана маскировочной блузы губную гармошку:

— Хочешь, для поднятия духа исполню гвардейский марш «Синий платочек»?

— Отстань. Не до музыки.

Нас обогнали разведчики в новых маскировочных костюмах. Проходя мимо меня, лейтенант Ватулин демонстративно отвернулся.

— Между прочим, я собираюсь ему ноги переломать, — усмехнулся Лиховских.

— Это за что ж такая немилость?

— А пусть не пялит на тебя глаза.

— Тебя, я вижу, одолевает юмор висельника?

— Думаешь, шучу?

— Довольно болтать! Кажется, пришли.

Только-только расставила пулеметы, даже оглядеться не успела — позвали к комбату на совещание офицерского состава. Перед тем, как уйти, я отыскала Непочатова. Он — командир первого отделения — по положению является моим заместителем. Даже строптивый дед Бахвалов безоговорочно признает авторитет молодого сержанта. А Непочатов очень смущается, когда я его называю по имени-отчеству — Василий Иванович, — ведь сибиряку только двадцать лет. Но это не насмешка, а дань уважения — умница! Непочатов немногословен, нетороплив, на первый взгляд незаметен во взводе, но я без него как без рук. Деловитая озабоченность сибиряка, его собранность, уверенный голос действуют успокаивающе и на окружающих, и на меня.

Я приказала:

— Василий Иванович, кухню не прозевать — это раз. Не стрелять, беречь боекомплект — два. Глядеть и слушать во все уши — три. Выставить часовых-наблюдателей по два человека на отделение. Остальным до сигнала отдыхать!

Непочатов повторил приказание, и я спокойно ушла. На него можно положиться.

Комбат поставил боевую задачу. Мы должны взломать вражескую оборону на всю глубину, овладеть деревней Новолисино, что в трех километрах за немецким передним краем, и вести преследование противника по направлению на Дорогобуж. Отмечая по карте наш будущий путь, я подумала: «Он будет нелегким».

Комбат сказал, что сильного сопротивления не ожидается, так как фланги нашего фронта еще несколько дней тому назад двинулись вперед. Это было приятное известие, но никому из нас не верилось, что победа будет легкой.

Старший лейтенант Рогов так и сказал:

— Рассчитывать на легкий успех не приходится. Оборона незнакомая. Систему огня противника не знаем, а для наблюдения не остается времени. Выходит, что я роту должен вести вслепую.

— Слушай, товарищ Рогов, — перебил его майор Матвеев, начальник штаба полка, — ведь тебе же передали схему огня?

— Какая там к чертовой бабушке схема? — вспылил

Евгений Петрович и ударом ноги распахнул дверь блиндажа. — Вот она, схема, в натуре — полюбуйтесь! Сплошной свинцовый ливень. Как тут вывести людей из траншеи?

— А ты что же хочешь, чтобы на войне не стреляли? — перебил его капитан Степнов.

Рогов круто повернулся на каблуках и, напрягая голос, раздельно ответил:

— Я всегда ценю ваше остроумие, но сегодня оно неуместно. Я хочу, чтобы приказы были разумны и целесообразны! Я веду в бой не роботов, а живых людей и зря нести потери — извините!.. Менять дислокацию перед самым боем! Это, знаете ли...

Комбат Радченко сердито прогудел:

— Может быть, прекратим дебаты? Командованию видней, где наше место. Есть приказ, и его надо выполнять. Ему, видите ли, неудобно здесь наступать! Он хотел бы идти в бой со старой обороны...

— Да не обо мне речь! — горячился Евгений Петрович. — И разве я за то, чтобы не выполнять приказ? Просто я хочу, чтобы майор Матвеев довел до сведения штаба дивизии мнение низовых офицеров. Думать побольше должны штабники, а не тяп-ляп — и готово.

Капитан Степнов резюмировал:

— Значит, верит командование в силы нашей дивизии, если перебрасывает нас на такой трудный участок. Честь нам и слава будет, если мы оправдаем это доверие.

— Я воюю не за славу, — буркнул Рогов, — а честь моя всегда при мне.

Евгений Петрович явно был расстроен. По-моему, он прав. Настроение у солдат далеко не бодрое. На своей обороне прямо рвались в бой. Дед Бахвалов даже себе кратчайшую тропинку наметил: «Шасть, и у них в окопах!» А тут притихли. Всё незнакомое, каждый метр пристрелян: фрицы буквально засыпают пулями наши позиции. Старый пулеметчик удивляется:

— Когда они, паразиты, успевают ленты набивать? Машина у них, что ли, такая?..

Комбат обещал хорошую артподготовку с участием гвардейских минометов. На это вся надежда. Впрочем, немцы могут применить свою излюбленную тактику: уйдут во вторую линию окопов и там отсидятся.

Пока уточняли детали и сигналы, я думала о своем: меня очень волновал предстоящий бой. Первый бой в роли командира взвода. Справлюсь ли?.. У Хрулева и Аносова по три станковых пулемета, а у меня четыре, поэтому Ухватов приказал один расчет выделить в резерв комбата. Я тут же решила, что в резерве останется Непочатов. Мелькнула мысль: «А ведь обидится молодой сибиряк!» Ничего. Он парень дисциплинированный. Поймет. В случае чего заменит меня. Справится. Остальные расчеты пойдут каждый со своим стрелковым взводом. Менять тут что-либо нецелесообразно: люди хорошо знают друг друга, а это немаловажно в бою. Лиховских будет недоволен, что от него возьмут Непочатова. Но ведь и Нафиков не хуже, весь расчет — комсомольцы.

Сама я решила быть в центре роты, при расчете Бахвалова, — так и огнем управлять удобнее, да и своевольный дед будет на глазах.

Едва кончилось совещание, началось совместное партийно-комсомольское собрание, и было оно коротким, как летучка. Наш комбат не любит много говорить. Когда мы обсуждали проект резолюции, в блиндаж ввалился командир хозвзвода Долженко, за ним батальонный парикмахер Кац. Долженко доложил комбату, что Кац отказывается встать на пост. Комбат решил перед боем уложить людей переднего края спать на несколько часов, а в это время посты должны были занять наши так называемые тыловики: писаря, ездовые, старшины, ординарцы. И вот один из нарушителей приказа предстал пред грозные очи товарища Радченко.

Комбат свел в одну линию свои устрашающие брови:

— Почему не встаешь на пост?

— Моя вера не позволяет мне взять в руки оружие, — кланяясь, ответил Кац, — с вашего позволения, пан комбат, я баптист...

Комбат удивился:

— Какой баптист? Впрочем, мне на это наплевать. Я тебя спрашиваю, почему нарушаешь приказ?

Кац что-то опять залепетал про свою веру. Долженко совал ему в руки винтовку, вполголоса уговаривал:

— Да иди же. Иди от греха.

Парикмахер пятился назад и по очереди смотрел на наши лица, видимо ища сочувствия. Я ему подмигнула

и показала глазами на дверь. Комбат взглянул на свои часы-блюдце и очень спокойно сказал:

— Если через десять минут не встанешь на пост, расстреляю.

Уловив в спокойной интонации его голоса металлические нотки, я подумала: «А ведь расстреляет!» Невыполнение приказа в боевой обстановке равносильно измене Родине. Упирающегося Каца Лиховских вытолкал за дверь.

На улице было очень шумно: то там, то здесь с треском рвались вражеские мины. Трассирующие пули неслись настилом над самой траншеей, разрывные щелкали о бронированные щиты семидесятишестимиллиметровых пушек, выкаченных с темнотой на прямую наводку. Кто-то надрывно стонал в ровике-окопе. Артиллерийский командир подошел ко мне и властно приказал:

— Сестра, займитесь раненым! Мой санинструктор ушел за бинтами.

Не разглядев в темноте ни лица, ни звания, я ответила в пространство:

— Я не сестра.

— Ну, фельдшер, какая разница?

— И не фельдшер.

Незнакомец рассердился:

— Человек кровью истекает, а я должен чиноблудием заниматься? Я вам приказываю!

— А вам, видно, собственный чин мешает оказать человеку первую помощь? Или бинта нет? И прошу не орать — фрицы слышат.

— Эй, бог войны, — подал из темноты голос Лиховских, — чего ты пристал к человеку? Она же строевик! Сейчас я пришлю Варю или санинструктора Шамшурина.

Артиллерист буркнул извинение и ушел. Эта маленькая перепалка неожиданно развеселила солдат. Послышались негромкие насмешливые голоса:

— Этот фельдшер полечит — сразу копыта на сторону...

— Она перевяжет стальной ленточкой!

У центрального дзота стояли на посту двое: пулеметчик Березин и... Кац! При вспышке ракет я еще издали увидела улыбающуюся физиономию парикмахера. Он весело доложил:

— Так что, милая пани, я охраняю сон ваших солдат!

— Хороша охрана без оружия!

— Так я ж только для паники...

— А паникеры нам не нужны.

— Матка боска! Пани, вы не поняли. Я ж панику подниму в случае тревоги, если те лайдаки нападут. Цоб их дьябли везли! Пся крев!

Я засмеялась:

— Это другое дело!

— Пани, хотите я вам расскажу за мой Львов?

— Как-нибудь в другой раз.

— Но, пани, уверяю вас, это же маленький Париж!

— Мне некогда, пан Иосиф. Послушайте лучше, что я вам скажу. Всего два слова. Никогда не оспаривайте приказов. Мне будет очень жаль, если вас расстреляют.

— Матка боска! Меня? Пани, пани, что вы такое говорите! Пани...

Не дослушав, я пошла проверять другие посты.

Кац появился у нас в батальоне недавно, с последним пополнением. И мы сразу же полюбили маленького брадобрея.

Кац — толстяк: что вдоль, что поперек, а глаза у него кроткие, круглые, как у нерпы. На голове маленькая, как тонзурка, проплешина, а вокруг смешные мягкие кудряшки. Парикмахер запросто ходил по нашей обороне с деревянным чемоданчиком в руках, брил и стриг солдат с шутками и прибаутками, придерживаясь фасона и желания клиента, и бородачей у нас сразу поубавилось. Только дед Бахвалов да Шугай ревниво хранили свои бородищи во всей первородной красе. За веселый характер, за привычку всех подряд именовать «панами» мы с первого дня стали звать Каца с ласковой насмешкой «пан Иосиф».

Дед Бахвалов, приглядевшись к парикмахеру, сделал вывод:

— Липовый баптист. Настоящий баптист — сволóта! На человека глядит, как лютый зверь. А этот мазурик — свой в доску...

Мне вдруг стало смешно. Я вспомнила, что до Каца обязанности парикмахера в добровольном порядке исполнял наш дед. Только брил Василий Федотович «по-свинячьи»: усадив клиента на березовый кругляк, поджи-

гал растительность на лице самодельной зажигалкой — «катюшей» и тут же гасил огонь мокрым полотенцем. После такого бритья борода долго не росла... Жаль только, что далеко не каждый решался на такую операцию. Впрочем, дедовы «мазурики» брились у своего командира в приказном порядке и даже не жаловались.

В темноте я столкнулась с Роговым. Он спросил:

— Как настроение?

— Ох, не спрашивайте. Сердце так и замирает...

Он пожал мне руку:

— Не надо волноваться, всё будет хорошо. Иди-ка, мой друг, поспи. Я пришлю разбудить, когда будет пора.

Но я так и не могла уснуть. Три часа пролежала с открытыми глазами. Всё думала.

Артподготовка началась с рассветом. Сорок пять минут без передышки через наши головы на вражеские позиции летели десятки, сотни снарядов. Как диковинные звери, шипели «катюши» и изрыгали целые полчища раскаленных хвостатых комет На немецком переднем крае разбушевались огненно-черные смерчи и вихри... «Смерть ринулась вперед со всем своим воинством. Впереди черные хоругви...» Было торжественно, зловеще красиво и страшно, как в кино.

Мы стояли в траншее во весь рост, в полном боевом снаряжении и напряженно ждали сигнала «в атаку». Ко мне подошла Варя и, наклонившись, что-то сказала. Я не расслышала. Она засмеялась и поцеловала меня в щеку холодными от мороза губами. Высокая, крутобедрая, в коротком не по росту маскировочном халате, она напоминала белую цаплю и, как всегда, была без каски и без оружия. Взглянув на ее подурневшее от беременности лицо, я с острой жалостью подумала: «Зря берем с собой. Трудно ей будет».

Артиллерийская подготовка кончилась, но с НП комбата так и не взлетела красная ракета. А мы ждали, и не часы, а наши сердца отсчитывали секунды и минуты. Пять, десять, пятнадцать... А сигнала всё нет. Вот уже немецкие батареи начали приходить в себя, потом ожили минометы.

Евгений Петрович, как завороженный, не спускал глаз с НП, близоруко смотрел на свои часы и озабоченно хмурился.

Когда ожидание достигло высшей точки напряжения и, казалось, уже не было сил ждать, артподготовка вдруг возобновилась. И снова четверть часа наши пушки молотили по переднему краю немцев. Евгений Петрович повернул ко мне улыбающееся лицо и показал большой палец в зеленой солдатской рукавице. Но я и сама догадалась, что на сей раз немца перехитрили.

Красная ракета — толчок в сердце: «Вперед! За Родину!» Разноголосое «ура!» — и мы уже на нейтральной полосе.

Бой был коротким и хлестким. Молчавшие доселе вражеские окопы ощетинились автоматно-пулеметным огнем. По наступающей цепи ударил ротный миномет. «Живучи, как крысы», — подумала я и прислушалась к работе своих пулеметов. На флангах роты Лукин и Нафиков вели огонь безостановочно. С дедом Бахваловым было хуже: он не успел сделать ни одного выстрела. Как только рота Рогова вылезла из траншей и двинулась вперед, стрелки забыли про наш уговор и закрыли Бахвалову сектор обстрела. Старый пулеметчик взревел на всё поле боя:

— Мазурики! Анчутки беспамятные! Варначье! Куда прете под пулемет?!

Этот дед когда-нибудь меня доканает! Пули свистят, осколки горячие носятся в воздухе — бой идет по всей форме, а меня смех разбирает... На половине пути до вражеских окопов рота залегла, на белом снегу проворно замелькали черные лопатки. Пехота свое дело знает: хоть на минуту лег — окапывайся.

— Выдвигайтесь в цепь! — приказала я деду Бахвалову.

Дед рявкнул:

— Вперед, мазурики! За матушку Расею! — И, стукнув замешкавшегося Попсуевича лопаткой пониже спины, прибавил такое словечко, что мне опять стало смешно.

Едва мы достигли залегшей цепи — стрелки поднялись в атаку. Еще один неуловимый момент, и в немецких окопах закипела свалка: автоматные очереди, нечленораздельные звуки и взрывы гранат.

Было хорошо видно, как немцы группами отходили к деревне через маленькую лощину, поросшую негустым кустарником. Я тронула за плечо деда Бахвалова и пальцем показала направление стрельбы. Он моментально установил пулемет за толстыми бревнами развороченного вражеского дзота и, не мешкая, открыл огонь. Я спрыгнула в траншею и побежала на левый фланг. Там вдруг замолк пулемет Лукина. Траншеи были полуразрушены артиллерией. То и дело приходилось карабкаться через груды обвалившейся земли. Попадались убитые немцы, куски исковерканного железа, брошенное оружие.

Из-за крутого колена траншеи вдруг выскочил немец с ошалелыми глазами и, дико озираясь, двинулся прямо на меня, размахивая коротким карабином, как палкой.

— Хальт! — закричала я не своим голосом.

Немец не остановился, и я в упор срезала его автоматной очередью, чуть не убив солдата Ивана Седых — из взвода Лиховских. Это от него убегал насмерть перепуганный фриц. Глаза у солдата горели, как две стосвечовые лампочки, — настоящий мститель Иван. Пожалуй, побежишь от такого! Увидев меня, сибиряк крикнул:

— Так их! — вытер рукавом маскировочного халата потное лицо и тут же пропал с глаз.

Лукин, оказывается, менял позицию. Когда я добралась до его расчета, «максим» уже снова закатывался на всю ленту.

Фашисты силами до батальона пытались нас контратаковать, но, попав под перекрестный огонь моих пулеметов, снова отошли. Я лежала на снегу, чуть левее позиции Лукина, не отрывала глаз от бинокля и не могла нарадоваться: пулеметы работали отлично! Пули шли по самой земле, вздымая снежные вихри. Всё больше черных неподвижных фигур распластывалось на белом снегу. Левее нас рота Павловецкого вырвалась вперед. Противник отступил по всему участку фронта.

В деревню Новолисино наш батальон вошел походным маршем. На короткой передышке я пересчитала свое войско, удивилась и обрадовалась: все до одного живы и здоровы. С удовольствием крикнула:

— Молодцы! Так держать!

За всех звонко ответил Гурулев:

— А что ж мы чикаться сюда из Сибири приехали?
Его одернул дед Бахвалов:
— Не хвались, мазурик, на рать идучи! Примета плохая.
— Примета приметой, — возразил деду Пырков, — но раз мы молодцы, то не мешало бы, товарищ младший лейтенант, это самое... — Он выразительно щелкнул согнутым пальцем себя по кадыку.
— «Это самое» раньше вечера не будет, — сказала я. — И каши не будет. Подтяните, ребята, ремешки. Гурулев, тебя, как имеющего опыт в снабженческих делах, назначаю старшим подносчиком пищи. Сержант Непочатов, выделите ему помощника.
— Вот эта работенка по нему! — захохотал Пырков. — Жрать — мужичок, воевать — мальчик.
Гурулев обиделся:
— Что ж я, хуже тебя воюю? Товарищ младший лейтенант, чего он заедается?
— Успокойся. Он шутит. Ты молодец, воюешь не хуже других.
Они сидят на пулеметных коробках с лентами. Курят, переговариваются, смеются. А я гляжу на них и не могу наглядеться. Двадцать три человека. Пока только одного Абрамкина потеряли.
В широких маскировочных халатах поверх полушубков, в касках, надвинутых на самые брови, обвешанные оружием и снаряжением, они кажутся нескладными, неуклюжими. Но для меня мои ребята — красавцы! Разве не красив Пырков? Рослый, широкоплечий, прямоносый. А глазищи! Серые-серые. А ресничищи!.. Положи спичку — не упадет... И смешной Гурулев — симпатяга: мордашка, как у хорошенькой девчонки, и волосы кудрявые. А вот и еще один — Миронов. Широкое лицо его густо-нагусто усеяли мелкие, как маковые зерна, веснушки. Но глаза у Миронова умные и хорошая застенчивая улыбка. И пожилой красноярец Андриянов... Андриянов любит поворчать: на Непочатова, на старшину, на товарищей и даже на погоду. А меня сторонится. Ничего, Иван Иванович, подберу и к тебе ключик, дай время... И сержанты мои как на подбор: Непочатов, Лукин, Нафиков. Щеголи: в отличие от солдат, халаты подпоясаны ремнями, а белые барашковые воротники шуб тщательно расправлены поверх маскировочных

балахонов. Какие удивительные глаза у Непочатова! Совсем синие. А у Нафикова, как две спелые вишни. Уродятся же парни с такими глазами! Четвертый сержант — вылитый дед-мороз с автоматом. Да, Василия Федотовича хоть сейчас в любую школу на елку. Было бы визготни... Ух ты, милая моя борода!

— Люблю! — сказала я вслух.

— Кого? — послышалось за моей спиной. Это Тимошенко спросил.

Я и не заметила, как он подошел.

— Своих солдат, — ответила я.

— Ну и правильно. А помнишь, как испугалась: караул!..

— Иди-ка ты знаешь куда... — весело сказала я. — Как твое здоровье? Настроение, кажется, ничего? Ну, я рада за тебя.

Тимошенко удивился:

— Да? А я думал, что ты меня презираешь.

— Вот чудак-человек! Да за что ж мне тебя презирать? По-твоему, я бесчувственная деревяшка? Думаешь, ничего не понимаю?

Он крепко пожал мне руку и, ссутулившись, пошел прочь.

Мы идем вперед четвертые сутки, но так и не можем войти в соприкосновение с противником. Фланги нашего фронта ушли далеко вперед и ведут бои уже на смоленской земле. Наученные горьким опытом под Сталинградом, немцы боятся окружения и отходят, не принимая боя.

Мы в самом центре наступающих войск, и перед нами не основные силы противника, а его арьергарды, прикрывающие отступления фланговых частей.

Немецкие заслоны упорно уклоняются от боя, и нам остается только зубами скрипеть, когда с наступлением темноты враг поджигает очередную деревню и ускользает у нас из-под носа.

Иногда вдруг на горизонте вспыхивают сразу несколько деревень, и горят они, как сигнальная цепочка. И тогда ярости нашей нет предела. Усталые солдаты невольно прибавляют шаг, и по адресу факельщиков слышатся проклятия и угрозы. У всех нас одно желание:

догнать врага, навязать ему хороший бой и гнать без передышки, так, чтобы он опомниться не успел.

Погода стоит безветренная, морозная. В безоблачном небе с утра играет нежаркое мартовское солнце. Но оно нас только раздражает. Под солнечными лучами снег искрится всеми цветами радуги, и от этого у нас, как у альпинистов, болят глаза. Тишина. Ни звука. Кажется, что всё это когда-то уже было: и белое безмолвие, и ни с чем не сравнимая усталость. Перед самым наступлением нас переодели в полушубки, и теперь нам жарко и тяжело.

Я то и дело оборачиваюсь назад и хмуро оглядываю своих подчиненных. Грязные, потные, молчаливые, они, как репинские бурлаки, налегают грудью на лямки пулеметных волокуш и бредут, с трудом переставляя отяжелевшие ноги и низко опустив головы. Я ощущаю в сердце легкое противное покалывание — это подкрадывается жалость. С трудом проглатываю горькую, густую, как мыльная пена, слюну, пытаюсь сообразить, когда же мы в последний раз спали, — и не могу вспомнить. Думать мешает нудный звон в ушах.

На одном из привалов меня догнали Аносов и Федор Хрулев.

— Хочешь есть? — спросил Хрулев и сунул мне в руку половину сухаря.

— Нет, — ответила я и, прислонившись к Федору, заснула стоя.

— Упадешь, — дернул он меня за поясной ремень.

— Ни черта не стоят наши ученые. Нет, чтобы изобрести переносные противосонные аккумуляторы: в обороне вволю спишь — они заряжаются, накапливают избыток сна. В наступление двинулись — их за спину, как кислородную подушку...

Я слышу каждое слово Аносова, но смысл сказанного не доходит до моего сознания. Подушка?.. Какая подушка? Ах, бабушкина большая пуховая подушка... Перед моими закрытыми глазами она вырастает до чудовищных размеров и сама услужливо лезет под голову...

— Первая рота, встать!

— Вторая, поднимайсь!

Пошла перекличка...

Я, как строевой конь, встряхиваю головой и тоже командую:

— Третий пулеметный, встать!

Подъем занимает едва ли не больше времени, чем сам привал. Уж лучше бы и не было этих привалов. Солдаты валятся в снег, мгновенно засыпают, и будить их потом сущее наказание. Спасибо, часто помогает Тимошенко. Я не ложусь и даже не сажусь: боюсь — не встану.

В сумерках перед очередной деревней нас накрыл минометный огонь. Сон как рукой сняло. Колонна почти мгновенно рассыпалась на отдельные ячейки. Проворно залегли в снег, переждали обстрел. Потом врассыпную, с опаской двинулись на темные, притихшие под снежным одеялом постройки.

Нас перегнали верховые. Человек тридцать. Это разведчики Ватулина превратились вдруг в кавалеристов.

Лошади проваливались в снег по самое брюхо, вставали на дыбы, крутили длинными хвостами и продвигались вперед несуразными заячьими скачками.

До деревни оставалось не более четырехсот метров, когда вспыхнул и сразу же ярко запылал крайний дом. Послышалась автоматная стрельба. Разведчики с кем-то схватились. Пока мы добрались до первых сараев, в горящем доме обрушилась крыша. Дикий, нечеловеческий вопль донесся со стороны пылающего костра. Кто-то вдруг крикнул с болью и яростью и сразу же умолк. Оказалось, фашисты-факельщики бросили в середину горящего дома своего же раненого на глазах нашей изумленной разведки. Разведчики были так потрясены, что упустили момент, — поджигатели скрылись. Я вначале не поверила: не может быть, чтоб своего! Уж не местного ли жителя?

Евгений Петрович Рогов сказал:

— Прикончили своего, что ж тут удивительного?

— Меня удивляет не сам факт, а способ, — возразила я. — Звериная жестокость. Ведь могли просто пристрелить.

Рогов усмехнулся:

— Во-первых, это войска СС. Они еще и не на такое способны. А во-вторых, пристрелить — надо унести труп, а их настигали ребята Ватулина.

Да, ведь есть секретный приказ Гитлера не оставлять трупы на поле боя, чтобы мы не имели представления о

потерях фашистов. Впрочем, бывает частенько и так, что фрицам не до покойников.

Уже в деревне меня остановила Варя. В неверном свете пожара ее глаза казались косыми от непролившихся слез.

— Какой ужас! — громким шепотом сказала она мне. — Люди живого человека в огонь...

— Не люди, а звери, — поправила я. — И не человека, а факельщика. Собаке — собачья смерть!

Но Варя, как завороженная, всё глядела в сторону догорающего дома и с ужасом повторяла:

— Живого в огонь!..

Видно вспомнила свою заживо сожженную бабку.

В деревне остановились. По цепочке приняли команду: «Командиров рот к комбату!»

Наш Ухватов возвратился скоро и коротко сказал:

— Спать! Часовых не надо. Деревню охраняют разведчики.

Наступление на нашего командира роты подействовало благотворно: трезвый и, что удивительно, не злой.

Мне на весь взвод достался один дом. По-хозяйски распахнули тесовые ворота, затащили во двор волокуши с пулеметами.

Горница вместительная. Мебели никакой, если не считать обшарпанного стола посредине.

Непочатов полез в затылок:

— Надо бы соломы.

— Не выдумывайте, — возразила я, — голый пол — не снег. Спать!

— А как же вы?

— Замечательное ложе, не правда ли? — показала я на стол.

Солдаты, лениво переговариваясь, укладывались впокатушку, и, пока я вертелась да примерялась на столе, всю избу наполнил густой, заливистый храп.

— Вставайте! Вставайте! — назойливый голос лез мне в уши, и я явственно чувствовала, как кто-то довольно бесцеремонно дергает меня за ногу. А знакомый голос опять над самым ухом въедливо и требовательно: — Да проснитесь вы, наконец! Лейтенант Ватулин пришел. Вставайте!

Я села на столе с закрытыми глазами. «Ватулин? А при чем здесь Ватулин? Он мне не начальник... Ах да,

«губная гармошка!..» Снова попыталась улечься. И теперь уже совершенно явственно услышала голос Непочатова:

— Товарищ младший лейтенант, ведь вас давно ожидает лейтенант Ватулин!

Я опять села и открыла один глаз. У порога стоял командир взвода разведки и улыбался как ни в чем не бывало. Луч жужжащего трофейного фонарика поскакал по лицам спящих солдат и заглянул мне в глаза. Я загородилась рукой и неласково спросила:

— Что тебе надо?

Лейтенант засмеялся:

— На свидание пришел.

— Я вот покажу тебе свидание, нахал! Погаси свой дурацкий фонарь!

Голова сама, против воли, клонится на полевую сумку.

— Подожди, не укладывайся, дело есть! Хочешь со мной в разведку?

Я вскинулась, как пружина:

— Пошел ты со своей разведкой знаешь куда? Брысь отсюда! Человек четверо суток не спал...

Ватулин издевательски засмеялся:

— Ничего себе девушка кроет! Слабый пол... Нежное существо...

— Непочатов! Выставите его за дверь! И ложитесь спать.

— Слушай, спящая красавица, тебя вызывает командир полка!

— Уйди, болтун!

— Без травли.

— Меня? Сам подполковник? — на этот раз мне удалось открыть оба глаза разом. — Зачем?

— Не знаю. Пошли.

Непочатов пятится к двери, уступая мне проход, и высоко в вытянутой руке держит зажженную нитку кабеля, как маленький горящий факел. Посмотрела на часы: «И трех часов не дали поспать...» Направилась к выходу, осторожно перешагивая через спящих. Но всё-таки наступила кому-то на руку — даже не почувствовал, бедняга. Ноги как чугунные. Каждая клеточка тела кричит об усталости. Меня точно расчленили, и всё я чувствую отдельно: голову, руки, ноги, спину... На улице

трижды с подвыванием зевнула и долго терла лицо снегом. Немного вроде бы полегчало.

В штабе полка людно, накурено, жарко пылает русская печка, а перед нею на куске трофейного кабеля исходят паром и по́том навешанные ворохом портянки.

В маленькой боковушке только трое: командир полка подполковник Филогриевский, начальник штаба майор Матвеев и наш комбат Радченко. Майор склонился над картой-трехверсткой, и его крупное, с грубыми чертами лицо кажется высеченным из камня. По той же карте ползает волосатый палец комбата.

Майор поглядел на меня сочувственно, а командир полка спросил:

— Не выспалась, конечно?

А у самого от бессонницы лицо серое, как оберточная бумага, а под глазами черные полукружья. Я промолчала. Понизив голос, чтобы не слышали находящиеся в передней половине избы, майор Матвеев сказал:

— Ты уж извини. Не стали бы мы тебя тревожить, если бы не дело чрезвычайной важности. Речь идет о населенном пункте К. По сведениям агентурной разведки, этот пункт сильно укреплен. К. у нас на пути, как бельмо в глазу, а мы сейчас даже без артиллерии, сама знаешь. Надо разведать и уточнить силы противника и подступы к пункту. Осторожно, разумеется. Пойдет конный взвод разведки и ты с одним пулеметом на санях.— Майор передохнул и внимательно на меня поглядел.— Честно говоря, посылаем тебя с неохотой. Но выбор тут принадлежит не нам. Так пожелал он,— майор кивнул на Ватулина.

— Не скрываем, дело рискованное,— вмешался командир полка,— и, разумеется, добровольное. И если ты не согласна, настаивать не будем. Пошлем кого-нибудь из мужчин.

— Согласна,— сказала я и бросила на разведчика далеко не благодарный взгляд. Ишь баловень! «Так пожелал он». Испытать хочет...

Ехать не хотелось. И не потому, что я боялась, и не потому, что не выспалась, а в принципе мне это было не по душе. Я считаю, что на войне даже больше, чем в мирное время, каждый должен знать свое место, а не впутываться в случайные авантюры.

Около часа мы разрабатывали маршрут и план пред-

стоящей операции. Вернее не мы, а лейтенант Ватулин с майором Матвеевым, да иногда дельное замечание вставлял комбат Радченко. А я стоически боролась со сном и половины не слышала.

Поняла одно: в случае столкновения с противником должна буду прикрыть разведчиков огнем. Вопрос ясен.

На улице меня жарким шепотом окликнул связной Ухватова — Шугай.

— Товарищ взводный, дозвольте с вами... — Он, видимо, долго меня караулил — бороду закучерявил иней.

Я засмеялась: ничего себе военная тайна! А майор-то Матвеев говорил едва слышно...

Я ничего не ответила Шугаю. Мысли были заняты предстоящей операцией. Кого взять с собой? Шугай шел по пятам, жарко дышал мне в затылок и всё канючил. Чем-то мне был симпатичен этот молчаливый таежник, и я подумала: «А почему бы и нет? Ездовой что надо».

— Вы ж не знаете пулемета!

— Знаю, ей-богу, знаю!

— А старший лейтенант Ухватов?

— Они сказали, что всё в ваших руках.

— Ладно. Едем!

Кроме Шугая, я никого с собой не брала. Командир разведки заспорил:

— Возьми третьего. Вдруг кого ранят или убьют.

— Не лезь в мои распоряжения. Хватит с тебя и двух пулеметчиков, — возразила я.

А Шугай, поправляя сбрую на широком крупе жеребца командира полка, заворчал:

— На лешего нам третий лишний? Только коню докука.

По накатанной проселочной дороге мы ехали довольно долго. Впереди разведчики. Сзади, на некотором расстоянии, наша «тачанка» — обыкновенные штабные сани. О минах и не вспоминали. Сани заносило на раскатах, и я крепко держалась за холодный пулеметный щит. Шугай правил стоя. Приземистый и широкий в нескладном маскировочном балахоне, он походил на старый заснеженный пень. Попробуй сковырни такой!

Лейтенант Ватулин попридержал своего коня. Некоторое время молча ехал сбоку саней. Потом перегнулся с седла и сказал:

— Между прочим, меня зовут Николаем.

— Слушай, Николай, может быть, мы остановимся и расскажем друг другу биографии? А? Время у нас есть.

Разведчик огрел коня плетью.

...Деревня вынырнула из-за бугра столь неожиданно, что мы с ходу чуть не влетели в ее единственную широкую улицу. Осадили на опушке мелколесья, метрах в четырехстах от деревни. Развернули сани пулеметом вперед. Разведчики спешились. Стали слушать. Ни единого звука. Только кони наши тихо пофыркивают да луна светит почем зря.

— А не заблудились мы? — полушепотом спросила я Николая. — Что-то не похоже на укрепленный пункт.

Он отрицательно покачал головой, но карту из планшета вытащил и сверился по компасу.

Надвинув белые капюшоны на самые глаза, вдвоем с лейтенантом осторожно двинулись к деревне. Метрах в двухстах залегли в снег. Опять стали слушать. В морозном воздухе отчетливо слышалось пение. Голос то приближался — и тогда мы лежали, не шевелясь, то опять удалялся — и мы, как по команде, поднимали головы.

— Часовой, — шепнул мне на ухо Николай.

Да, это был немецкий часовой. Он прохаживался поперек дороги, от одного крайнего дома до другого, и его черный неуклюжий силуэт отчетливо выделялся на белом фоне. Совершенно явственно донеслось: «Дейчланд юбер аллес...»[1]. Рука сама потянулась к спусковому крючку: «Фашист!»

— Ты что? — зашипел мне в ухо разведчик. — Нельзя!

Он тронул меня за рукав и кивнул головой назад. Вернулись к своим. Заместитель Ватулина, осторожный пожилой Ефим Иванович, высказался за немедленное возвращение:

— По сути дела, мы задачу выполнили. Подступы разведали и убедились, что К. неукрепленный пункт.

— Ничего мы не разведали! — засверкал глазами Николай. — Кто в деревне? Сколько их? Надо идти туда... Сколько человек пошлем?

---

[1] «Германия превыше всего...» — фашистский гимн.

У меня мелькнула шальная мысль: «А что, если напасть?» Но меня опередил Шугай. Он подошел вразвалочку и, хитро прищурив яркие зеленые глаза, обратился ко мне:

— Товарищ взводный, дозвольте чесануть с пулемета? Спят же, как цуцики... — Вот тебе и леший-молчун!

— А что, если там... — начал было Ефим Иванович.

— Скрыться всегда успеем. Ночью немцы догонять не станут, — перебил его лейтенант.

— Надо убрать часового, а то он нам всю обедню испортит, — сказала я.

— А мы его живьем возьмем, — решил Николай.

— Да что он знает, простой солдат? — возразила я.— Снять — и делу конец.

Часового сняли удачно — и не пикнул. На всем скаку вылетели на бугор. Перед самой деревней развернулись. Шугай, кинув мне вожжи, бросился к пулемету.

— Я сама. Держите коня, мне не справиться.

И ударила длинной очередью вдоль деревни. Сначала по правой стороне, потом по левой. Со звоном посыпались стекла, захлопали двери, началась паника. А я всё стреляла.

— Ура! — закричали разведчики. Со свистом и гиканьем пролетели мимо наших саней, ворвались в деревню, застрочили из автоматов.

Немцы бежали. Было хорошо видно, как они на четвереньках карабкались по высокому заснеженному откосу линии железной дороги и скрывались за полотном. Беглецов настигали меткие пули — то один, то другой неподвижно замирал на снегу. Несколько человек на ходу пытались отстреливаться, но их смяли конники. Деревня была нашей.

Мы сняли пулемет с саней и установили его на снегу, взяв под прицел дорогу, ведущую в немецкий тыл, и линию железнодорожного полотна. Расторопный Шугай поставил Орлика за крайний дом и накрыл его трофейной, подобранной на снегу, шинелью.

Ко мне подошел Николай Ватулин. Со смешком сказал:

— Вот тебе и разведка. Немцы орут: «Доватор! Доватор!», а меня смех разбирает.

— Видно, крепко насолил им покойный генерал, что до сих пор не забыли, — улыбнулась я. — Ты донесение отправил? Как бы не опомнились да в контратаку не полезли.

— Отправил. Слушай, мы там какого-то фашиста поймали в одних кальсонах. Смехота, трясется, как студень. Хочешь поглядеть?

Фриц был удивительно несимпатичный. Долговязый, тускло-белый и кривоносый. Он прикрывал руками разорванную ширинку шелковых кальсон, и его худые ноги, сунутые в огромные соломенные боты, дрожали мелкой дрожью.

В доме вовсю хозяйничали разведчики: складывали в зеленый парусиновый саквояж какие-то бумаги, что-то жевали. И мне преподнесли пачку соленых галет.

— Да оденьте вы его, поганика! — сказала я Николаю. — Ведь смотреть противно.

— Хорош и такой, — махнул рукой Николай, — небось не сдохнет.

— Боишься не поверят, что взял в одном белье?

— Ну и язва! — сверкнул лейтенант Ватулин глазами и приказал: — Ребята, оденьте это чучело. Девушка смущается.

Мы заняли круговую оборону, использовав немецкие окопы и трофеи: два ротных миномета с изрядным запасом мин и пулемет МГ-34. Позиции были выгодными: с пригорка подступы просматривались по крайней мере на километр, а лесок на восточной окраине, в котором мы первоначально остановились, нас мало беспокоил: вряд ли противник появится со стороны нашего тыла.

Теперь мы могли отбиться от целого вражеского батальона и решили без боя деревню не сдавать. Остаток ночи мерзли на позициях в напряженном ожидании: я у МГ, Шугай у «максима», лейтенант Ватулин и Ефим Иванович у минометов. А между огневыми точками зарылись в снег разведчики.

Но фашисты так и не вернулись. Не возвращался и гонец, отправленный Николаем с донесением. Связи с полком не было.

А на рассвете нас атаковал лыжный батальон соседнего полка нашей дивизии. Сначала по деревне ударили полковые минометы. В сухом морозном воздухе звук выстрела двоился, и мы не сразу догадались, что это свои.

Притаились, изготовились к бою. Но за нашими спинами вдруг послышалось родное «ура», и нас из окопов как ветром выдуло. Лыжники вынырнули из лесочка, рассыпались по полю, как белые хищные птицы, и, охватывая деревню в полукольцо, стремительно ринулись в атаку.

Это было бы великолепное зрелище, если бы не автоматный огонь. Пришлось укрыться за домами. Николай обиделся:

— Сволочи слепые! И что только делают? По своим лупят! Подкинуть бы им парочку мин, чтобы уж бой был по всей форме...

Обнаружив в деревне разведку, лыжники удивились. Шутили, смеялись, шумно нас поздравляли и непременно хотели всех качать. Один только командир батальона, капитан Сизов, не разделял общего восторга и, проходя мимо нас, вместо приветствия, буркнул что-то вроде: «черти их носят...»

Николай захохотал и озорно закричал ему вслед:

— В другом месте славу ищите! Здесь занято.

Через лыжников он сумел связаться со штабом полка и предстал передо мною сияющий. Спросил:

— Угадай, что сказал командир полка?

Я промолчала. Усталость опять навалилась вдруг, да такая — хоть замертво в снег.

— Он сказал: «Спать, герои!» — улыбаясь, продолжал разведчик.

— Герои... — усмехнулась я, направляясь к окопу Шугая.

— А то скажешь — нет? — Николай шел сзади и перечислял наши заслуги: — Двадцать два покойника, один пленный да трофеи...

— Отвяжись, бахвал, — отмахнулась я. — Я сплю на ходу.

В доме, у которого наш Орлик мирно похрустывал овсом, я брезгливо скинула с самодельной деревянной кровати примятый ворох соломы, улеглась на голые доски и провалилась в небытие.

Проснулась от громкого смеха. Кто-то смеялся, да так сочно, заразительно, что и я улыбнулась спросонок. С Николаем разговаривал сам комдив. Это он так смеялся, слушая рассказ командира разведки. Тут же было всё наше полковое начальство.

Я взглянула на свои босые ноги и инстинктивно подобрала их под шубу. Подумала: «Кто же меня разул? Ведь я свалилась прямо в валенках». Шугай точно караулил мое пробуждение: подал теплые портянки и сухие валенки.

— Какая роскошь, — тихо сказала я, — большое спасибо.

Таежник усмехнулся в бороду и подал котелок с горячим кипятком.

— Потом, — шепнула я ему, прислушиваясь к разговору.

— Да, это здоровый щелчок по самолюбию Сизова, — смеясь, говорил комдив. — Наступает по всем правилам военного искусства, а деревня наша! Ну молодцы! Что молодцы, то молодцы. А, проснулась, наконец! — закричал он, увидев, что я села на кровати. — Иди-ка, иди сюда, героиня.

Я проворно обулась и пригладила рукою волосы.

— Ну как? — весело спросил комдив.

— Превосходно, товарищ полковник! Как будто заново родилась. Теперь можно вперед.

Сначала меня поцеловал красивый комдив, потом командир полка и, наконец, начальник штаба. Меня поздравляли, смеялись и говорили все разом. Я искренне была удивлена: «За что такая честь?» Но об этом надо было спросить у Николая. Он прохаживался по избе гоголем. Мой вопрос его только рассердил:

— Заслужили — вот и честь. Понятно?

Уже на улице, увидев меня, Рогов недовольно сказал:

— Рыщет, как тать в нощи... За призрачной славой гонялась?

— Да, но не по своей воле, Евгений Петрович.

— И то уже неплохо. А я думал, сама напросилась, бросила взвод на произвол судьбы.

Мы шли всю ночь. Правым плечом вперед пробивались через свистящую пургу. Северный ветер взвихривал и обрушивал на наши головы щедрые охапки сухого колючего снега, обжигал лица, запорашивал глаза.

Колонна тянулась медленно. То и дело кто-нибудь падал, задерживая движение, и тогда, перекрывая вой ветра, кто-то невидимый в темноте зычно кричал:

— Вперед! Солдаты вы или коровы на льду?

Только к утру пурга стала затихать. Мы вышли к деревне Борщёвка. Батальон вступил в бой прямо с марша. Наступали роты Павловецкого и Горшкова, а нашу комбат направил в обход. Мы дали крюку добрых пять километров. Больше часа пробирались по дремучему заснеженному лесу и оседлали большак на правом фланге батальона, в тылу у немцев.

Старший лейтенант Рогов собрал офицеров, поставил боевую задачу:

— Мы вышли борщёвскому гарнизону в тыл, — сказал он. — Немцы будут отступать только по этому большаку, другого пути у них нет. — Евгений Петрович развернул карту: — Смотрите, кругом лес. В лес они не пойдут. Наша задача — встретить противника и гнать его обратно в Борщёвку. Возможно, что немцев больше, чем нас, но, — тут командир роты улыбнулся, — вспомним одну из заповедей Суворова: «Врага не считают, его бьют». К тому же за нас внезапность — немцы не ожидают засады. Мы должны продержаться до подхода резерва полка. Без сигнала не стрелять. Зеленая ракета — начинают пулеметчики.

Разошлись по местам, залегли в снег и стали ждать. Я расставила пулеметы веером. В центре, на самом большаке Непочатов, правее, метров на двести, — дед Бахвалов, левее и немного впереди — Лукин. Нафиков в резерве командира роты, его задача охранять наш тыл.

Ко мне подошел Непочатов, озабоченно сказал:

— Надо бы проверить пулеметы, не замерзла бы смазка.

— Ни в коем случае не стрелять! — возразила я. — Ведь мы в секрете.

— Не отказали бы, товарищ младший лейтенант, ведь всю ночь шли. Мороз всё-таки.

Мы вдвоем обошли все огневые точки. Пробовали подвижную систему, поливали рамы веретенным маслом. Вроде бы всё в порядке: отказать не должны.

Расчет комбата оправдался. Не успели мы озябнуть, как на большаке показались первые группы отступающих.

Немцы шли пешком и ехали в санях, без всякого опасения, без сторожевого охранения. Встречный ветер

слабо доносил со стороны Борщёвки ружейно-пулеметную стрельбу и негустые минометные залпы.

Я лежала недалеко от пулемета Непочатова, рядом с Евгением Петровичем, и смотрела в бинокль. Чуть позади меня тяжело дышала Варя.

Противник всё ближе, ближе. Не меньше двух рот. Я уже хорошо вижу их лица, сизые, небритые, с обмороженными носами. Отвороты летних пилоток натянуты на уши, и у многих головы по-бабьи повязаны платками. Стараюсь не волноваться и не могу. Сердце стучит где-то не на месте. Во рту пересохло. Покосилась на своего соседа, позавидовала его выдержке: ни один мускул не дрогнул на лице Евгения Петровича. За спиной у меня тихонечко заохала Варя:

— Ох, милые мои, сколько их! Да стреляйте, стреляйте, ребятушки! Ведь прямо на нас прут...

Евгений Петрович, улыбаясь, посмотрел через плечо в ее сторону, негромко сказал:

— Спокойно, Варвара. Они же нас не видят.

Я взглянула направо, налево, и верно: ничего не видно на белом снегу. Только легкий едва заметный парок колышется над притаившейся цепью.

Не более четырехсот метров отделяло нас от фашистов, когда в небо взвилась зеленая ракета. Прямо в лоб вражеской колонне ударил пулемет Непочатова. Фрицы, бросая упряжки, кинулись по целине вправо и попали под косоприцельный огонь деда Бахвалова. Повернули влево — застрочил пулемет Лукина. Залпом ударили противотанковые ружья взвода младшего лейтенанта Иемехенова, вступили в бой ручные пулеметы, гулко забухали винтовки, застрекотали автоматы.

Враги заметались. Бросая груженые сани, оставляя на снегу раненых и убитых, повернули назад, поодиночке и группами уходили влево, к лесу. Кричали живые, кричали раненые, ржали перепуганные кони, волоча по полю перевернувшиеся сани. Рота поднялась в атаку.

Едва смолк пулемет Непочатова, Пырков вдруг вскочил и стремительно бросился догонять стрелковую цепь.

— Куда?! — закричали мы с Непочатовым разом. — Вернись!

Но солдат точно и не слышал. С ходу затесался в ряды пехоты, и мы потеряли его из виду.

Прорвавшись через цепь стрелков, прямо на нас неслись четыре немца, беспорядочно паля из автоматов.

Я размахнулась и бросила навстречу бегущим гранату. Она не долетела, осколки профырчали над нашими головами.

— И-эх! — выдохнул Непочатов, и одну за другой бросил три гранаты прямо под ноги бегущим.

Вдруг завыли мины, одна, другая, третья. Разорвались в тылу, где-то у пулемета Нафикова.

Я шарила биноклем по полю — искала вражеский миномет. На левом фланге у самого леса копошилась группа немцев. Ага, вот он. Лукин и дед Бахвалов, догоняя стрелков, меняли позиции.

— Непочатов! Миномет! — крикнула я и не узнала своего голоса. Подумала: «Неужели это я так кричу?»

— Волокушей! Сто вправо, на пригорок, к отдельной сосне! — скомандовал Непочатов.

«Молодец! Хорошая позиция!» — отметила я про себя и побежала вперед, туда, где кипела рукопашная схватка. Обогнала Варю, перевязывавшую раненого солдата. Не останавливаясь, стреляла из автомата по вражеским минометчикам. Отличная цель на белом снегу С новой позиции ударил пулемет Непочатова. Немецкий ротный миномет выплюнул еще несколько мин и умолк.

Через полчаса всё кончилось. Рогов дал отбой. Не более чем полусотне вражеских солдат удалось скрыться в лесу. Двенадцать человек сдались в плен. Стрелки, рассыпавшись по белому полю, ловили лошадей. На трофейные сани уложили трех убитых и семь человек раненых.

— Ничего повоевали,— улыбаясь, сказал Непочатов.

— Ничего?!— возмутился дед Бахвалов.— Да ты никак, парень, ослеп? Вон сколько воронья набили! — повел он вокруг себя рукой.

Отыскался Пырков. Улыбаясь во всё лицо, он что-то жевал и совсем не чувствовал себя виноватым.

— Чтобы это было в первый и последний раз!— строго сказала я ему.

— В первый, как же!— усмехнулся Непочатов.— Его, черта, хоть за ногу к пулемету привязывай.

— Ты что, мазурик, места своего в бою не знаешь?!—рявкнул дед Бахвалов.

И я невольно улыбнулась: наверняка Василий Федо-

тович забыл, как сам когда-то собирался совершить турне по немецким траншеям.

— Так я ж не виноват, товарищ младший лейтенант! — вскрикивал Пырков.— Я и не хочу, а бегу, как всё равно в спину меня кто толкает! Пятерых вот убил...

— Довольно!— оборвала я его.— Нам такое геройство не нужно.

Пока собирались, подошли отдохнувшие батальоны капитанов Горащенко и Ивана Рамаря. Миновав нас, пошли на преследование. Подъехал командир полка. Он молодо соскочил с саней, обнял Рогова и трижды крест-накрест с ним расцеловался. Улыбаясь, крикнул нам:

— Молодцы, товарищи сибиряки! Отлично действовали! Ваш батальон в Борщёвке будет отдыхать целые сутки. Там вас ждет кухня. Командир роты, представить списки особо отличившихся в бою!

— Есть представить списки!— ответил Рогов и спросил:— Как быть с ранеными немцами? Не менее сорока человек...

— Трофейщики на подходе подберут,— решил подполковник. И уехал догонять ушедшие вперед батальоны.

Ко мне подошел Лиховских. Глаза лихорадочно горят — видно, еще не остыл после боя.

— Ты жива, подруга дней моих суровых? Как видишь, и я жив-здоров.

— Что у тебя с рукой? Опять ранен?— спросила я.

Лиховских засмеялся:

— Нет, на сей раз не раненый, а укушенный! Понимаешь, автомат я у него из рук выбил и вежливо так предлагаю: «Сдавайся, фон барон!» А он, невежа, зубами. Через рукавицу прокусил. Впрочем, это чепуха.

Пленные жались в кучу. Одиннадцать немцев и один русский: плюгавый мужичонка в ярко-оранжевом полушубке и новых, подшитых кожей, валенках. Дед Бахвалов поглядел на него подозрительно, начальственно спросил:

— А ты, мазурик, как затесался к басурманам? Какая тебя неволя занесла?

Мужичонка заюлил глазами, завопил дурным голосом:

— Братушки! Неужто это я вас дождался?! Думал: пришел мой последний час. Заложником меня взяли. Из

Касимова я,— он махнул рукой куда-то влево,— готовился предстать пред господом без покаяния, а тут...

— Помирать собрался, а нарядился, как на свадьбу, — перебил его дед Бахвалов. — Ну, да там разберемся, какой ты есть заложник.

— Братушки, отпустите за ради христа! Дома баба, ребятушки... Поди, извылись...

— Пойдешь с нами, — решил Евгений Петрович.

— Да не с Борщёвки я, братушки! А с Касимова! Мне надоть в другую сторону.

— Пойдете, куда приказано!— прикрикнул командир роты и, подав команду двигаться, тихо сказал Лиховских:— На твою ответственность.

По дороге мужичонка пытался отстать. Вдруг схватился за живот и свернул в кусты.

— Куда?— окликнул его Лиховских.— Вернись сейчас же!

Мужик захныкал:

— Живот что-то схватило, братушки. Дозвольте в кусточки... Живой ногой догоню...

Лиховских подтолкнул его в спину:

— Шагай, братушка, и не оглядывайся. Небось до деревни дотерпишь.

На деревенской широкой улице первыми нас встретили галдящие мальчишки. Оглушили визгом и криками:

— Ведут!

— Рябцы, поймали!

— Сеньку Косого поймали!

— Дяденьки военные, не отпускайте его. Он пес немецкий!

— Он партизан выдал! И учительницу нашу!

— И Ваню Каплина!

В колонне солдат послышался гневный ропот. Дед Бахвалов громко крикнул:

— Я, мазурики, сразу увидел, что это за птица!

Мужичонка не оправдывался. Втянул голову в плечи, смотрел на носки своих добротных валенок.

На площади перед школой шел митинг. С высокого школьного крыльца выступал капитан Степнов. Солдаты и деревенские жители стояли полукругом у крыльца. Мы подошли и обнажили головы — на разостланных на снегу солдатских плащ-палатках лежали расстрелян-

ные: пять молодых мужчин, девушка в белом свитере и мальчуган лет десяти. Молодая русоволосая женщина с непокрытой головой, сгребая худыми руками снег, обнимала ноги мертвого мальчика и плакала без голоса. Лицо девушки было изуродовано выстрелом в упор. Нахмуренная Варя пробралась через толпу к самому крыльцу и накрыла лицо расстрелянной марлевой салфеткой.

Лиховских подтолкнул предателя к крыльцу. Толпа угрожающе зашумела. В голос заплакали женщины. Послышались крики:

— Кровопийца!

— Попался, иуда!

— Кто такой? Отвечай?— нахмурил брови комбат.

Мужичонка молчал. Рухнул на колени и закрыл лицо руками.

— Граждане, говорите кто-нибудь один!— обратился комбат к волновавшемуся народу.

Из толпы выбрался старик с бородою до самого пояса, опираясь на суковатую палку, тяжело поднялся на крыльцо. Беззвучно пожевал губами, покачал головой в раздумье и вдруг заговорил и совсем не стариковским голосом:

— Семен Криворотов это. Сенька Косой по прозванию. Староста наш, кость ему в глотку! — Старик повернулся лицом к расстрелянным, горестно покачал головой и так же гневно продолжал:

— Из-за него люди смерть приняли. Выдал, сволота! Почитай, месяц тому назад нашим партизанам лихо пришлось. Каратели наседали. Бой под Касимовом партизаны приняли. Вырвались. Через нашу деревню проходили. Раненых нам оставили. Спрятала их Анна Яковлевна у себя в подполье, все знали, один Сенька не знал. Выследил, вражина. Мальчонку Ваню Каплина выследил. Чугунок вареной картошки он раненым нес. Вчерась Сенька, иуда, привел в школу немцев. Били Анну Яковлевну-то. Смертным боем били. Вот этот лишаятик, — дед пальцем показал на пленного с пятнистым лицом, — ей руки выкручивал. А потом выстрелил прямо в лицо...

Фашист метнулся за спины соседей, в ужасе замахал перед лицом руками:

— Найн! Найн!

— Отпираешься, вражина?! — закричал старик. — Не отопрешься! Я тебя до смертного часа помнить буду!

— Он! Он это! — закричали в несколько голосов мальчишки.

Старик продолжал, обращаясь теперь к старосте:

— И еще я тебе напомню, подлец косой, слушай, не прячь бесстыжую харю! О прошлом годе мою внучку, партизанку Ольгу Веселову ты продал! На тебе ее кровь! Христопродавец!

Слова старика падали в толпу тяжелым свинцом. Громко вскрикнула Ванина мать, забилась на снегу. Старик вдруг заплакал, сразу обмяк, сгорбился и, поддерживаемый капитаном Степновым, спустился с крыльца.

— Митинг объявляю закрытым, — сказал комбат. Распорядился: — Убийцу расстрелять! Предателя повесить!

Пленного с пятнистым лицом окружили разведчики, подталкивая прикладами автоматов, повели за деревенские бани.

Комбата, направляющегося к штабу, догнал капитан Степнов. Возмущенно сказал:

— Ты не прав! Не наше это дело смертные приговоры выносить. Это...

Черные глаза комбата полыхнули гневом, но ответил он очень спокойно:

— Нет, это мое дело, — и показал пальцем в сторону школьного крыльца. — Представь себе на минуту, что там мои братья, моя сестра и мой сынишка. Понятно? — И, не оглядываясь, пошел по середине улицы. Его остановил капитан Филимончук:

— Слушай, у предателя семья есть: жена, двое ребят...

— Ну и что из того? — нахмурился комбат.

Начальник разведки недобро усмехнулся:

— От яблони яблочко, от ели шишка. Око за око, зуб за зуб: всё племя под корень!

— Ты что, ошалел?! — закричал комбат на всю деревню. — Только тронь! Ты здесь не распоряжайся! Я тут начальник гарнизона. Понятно? Паша, передай приказ: Сеньку Косого не вешать, а расстрелять.

Капитан Филимончук пожал плечами и криво усмехнулся.

Целые сутки отдыха! Отоспаться в тепле — вот оно немудреное походное солдатское счастье... Ах если бы можно было выспаться впрок хотя бы на неделю! А то ведь сколько ни спи, заряда хватает всего на двое, от силы, на трое суток, а там опять уже отказываются служить руки и ноги и не повинуется голова: мысли ворочаются медленно и тяжело, как мельничные жернова, не успев возникнуть, чугунными осколками разлетаются в разные стороны, так что собрать их воедино можно только невероятным напряжением воли, да и то ненадолго...

На улице меня остановил капитан Величко, оперуполномоченный контрразведки нашего полка. Улыбаясь, указал пальцем на маленький опрятный домик в глубине заснеженного палисадника и сказал:

— Вот твоя резиденция. Отдыхай на здоровье.

Лениво ворохнулась и сразу же погасла мысль: «С каких это пор капитан Величко стал квартирьером?» А, не всё ли равно! Лишь бы спать...

Но лечь раньше чем через час не удалось. Надо было устроить и накормить солдат, произвести большую чистку и пристрелку оружия и пополнить боекомплект. Моему взводу достались два дома, хозяева которых еще не появлялись, так что расположились привольно — по два расчета в каждом доме. Сразу затопили русские печи и получили обед: из экономии времени повар выдавал и первое и второе разом — гороховый суп и гречневую кашу в один котелок. Отяжелевшие и сонные уселись за полную разборку пулеметов. Вычистили, смазали, сменили прокладки, охлаждающую жидкость, перемотали сальники и, вытащив «максим» на улицу, тут же возле крылец опробовали на зенитном прицеле, к вящему восторгу ребятни. Мальчишки вертелись под ногами и ссорились из-за стреляных гильз — подняли немыслимый галдеж. Дед Бахвалов, расстегнув поясной ремень, пригрозил:

— Сейчас я вам, мазурики, вложу ума! Оглушили совсем — хоть уши затыкай.

Но мальчишки только смеялись:

— Так и испугались. Вы же не фрицы!

Непочатов сказал мне:

— Идите отдыхать. Ленты и без вас набьем. Я прослежу. Часовых надо?

— Никаких часовых. Народу полная деревня. Оставьте в каждом доме по дневальному, и всё.

Василий Иванович улыбнулся:

— Это обязательно. Не нашкодили бы чего эти бесенята, — кивнул он в сторону ребячьей толпы. — Так и рвутся к оружию. Ишь раскричались, галчата. Где патроны брать, товарищ младший лейтенант? Все старшины давно на месте, только нашего Макса черти с квасом съели...

— Займем у стрелков, не ждать же старшину. Куда он, прохвост, провалился? И Тимошенко, как назло, не видно.

Старший лейтенант Рогов сказал:

— Патронов я, конечно, дам; как не дать, но, между прочим, вашему Ухватову при первой же встрече скажу пару теплых слов. Болтун несчастный! Сколько надо патронов?

— Ящик хватит. Я сейчас пришлю Непочатова.

Евгений Петрович улыбнулся:

— Хорошо. Ну, а настроение как?

— Отличное. Только уж очень спать хочется.

— И не говори.. Самого ноги не держат, чуть-чуть носом по земле не прошелся. Иди отдыхай. Покажи моему связному, где вы устроились.

В наступлении Евгений Петрович явно повеселел. Несмотря на внешние признаки переутомления, был бодр и оживлен. У него даже голос появился. На одном из привалов Варя мне сказала:

— Как подменили человека: так весь и светится изнутри.

В домике хозяйничала маленькая симпатичная старушка в большом черном платке, концы которого перекрещивались на груди и были стянуты на спине в тугой узел.

— Меня зовут Дарья Тимофеевна, — улыбаясь, певуче сказала она мне. — Раздевайтесь и будьте как дома. Вот только угощать вас нечем. Одна картошка, да и та мороженая, сладкая, — в рот не взять. Такая досада...

— Благодарю, мне ничего не надо.

Из-за бабушкиной спины выглядывали две головенки: голубоглазая девочка лет пяти, с льняными косичками, и мальчик постарше, с темными пытливыми глазами.

На кухне в углу на табуретке, сгорбившись и бессильно уронив руки, сидела молодая, очень красивая женщина. Большие черные глаза равнодушно скользнули по моему лицу и снова скрылись в тени густых стрельчатых ресниц. Женщина не ответила на мое приветствие, зябко передернула плечами и отвернулась к окну.

«Однако... — подумала я, — однако... Как видно, не все нам рады. Пожалуй, с такой красотой и при немцах жилось не так уж плохо».

Дарья Тимофеевна провела меня в маленькую горенку. Я бросила свою шубу на пол, пристроила в изголовье полевую сумку — память Федоренко, — и стала снимать валенки.

Старушка вынырнула из-за ситцевого полога, возмущенно всплеснула руками:

— Да что же это вы?! На полу?! И не выдумывайте, ради бога! Ждали, ждали, и вдруг этакое... — Она проворно раздвинула полог и хлопнула рукой по зеленому сатиновому одеялу: — Вот сюда ложитесь. Я всё чистое постелила.

— Да что вы?! — в свою очередь вскричала я. — Я же грязная, как семь трубочистов, и потом...

— Никаких потом, — категорически возразила хозяйка, — свои руки — выстираем. Только и делов. Спите, а я ужо воды чугун нагрею. Встанете, за милую душу вымоетесь. — Она кивнула головой в сторону кухни, шепотом сказала:

— Не обращайте внимания. С детишками и то не разговаривает. Вроде бы не в себе немного.

— Это ваша дочь?

— По бумагам племянницей значится, а так чужая. Мне ее подселили с ребятишками. Да и то сказать, теперь они, божьи души, мне как кровная родня всё равно. Вместе при немцах бедовали. — Дарья Тимофеевна, что-то вспомнив, нахмурила безбровое лицо, тяжело вздохнула и уже громко спросила:

— Нет ли у вас немного йода? Бинтика-то не надо, я старую наволочку разрезала, а вот ёдку нету.

— А что случилось?

— С пальцем у нашего парня плохо. Никак не заживает. Грязь в рану, что ли, попала...

— Порезал?

Старушка опять вздохнула:

— Кабы порезал — полбеды. Отто отрубил. Денщик, огрызок собачий, ни дна ему, ни покрышки. Зеркальце у него пропало, с голой девкой на картинке, вот он и привязался к Славику. Взял и отрубил мальчонке пальчик секачом, нечистый дух. А секач-то у нас ржавый, вот и не заживает... Кабы лето, так можно было бы травкой, а сейчас какое же лекарство? Мучается ребенок. Магери-то не до него...

«Изуродовать ребенку руку! — в ужасе подумала я. — До чего может дойти фашист...»

— Куда же вы? — всполошилась хозяйка.

— Отведу вашего Славика на медпункт.

— Да не беспокойтесь вы, ради бога! Нам бы только ёдку...

Но я уже была на кухне.

— Пошли-ка, Славик, на перевязку. Не боишься?

— Ну что вы, тетя! — бойко возразил мальчуган. — Я же, как папа. — «Папа-то папа, а вот мама твоя как будто не того...»

Я направилась было к Варе, да передумала: спит она уже наверное, измучилась. Пойду-ка я в санвзвод. Если даже наш фельдшер Козлов и улегся — разбужу, мужчина всё-таки.

Деревня была большая, дворов на двести. Санвзвод расположился на самой окраине. Я шла по середине улицы, спотыкаясь, как пьяная, и беззастенчиво, во весь рот, зевала. Рядом, заглядывая мне в лицо, бежал Славик.

— Тетя, а что вы так воете? — вдруг спросил он.

Я засмеялась. И впрямь вою. Даже скулы заболели.

— Спать я, парень, хочу, вот и вою. Сколько тебе лет?

— Уже девять с половиной. Если бы не война, я бы теперь ходил в третий класс. А при немцах никто не учился.

— Значит, обижали вас немцы?

— Да нет. Штурмбаннфюрер не велел нас обижать. Он сказал, что наша мама, как королева, — ответил простодушный малыш. — А это всё денщик Отто. Он и с бабушкой Дашей всегда ругался. Возьмет и напоит свою собаку из бабушкиной кастрюли или плюнет в бабушкино ведро с водой. Такой хулиган. И врун он, тетя. Наврал на меня, что я зеркальце взял.

— Отто был плохой, а немецкий майор хороший?

— Это штурмбаннфюрер и есть майор? Нет, и он был плохой. Он приказал застрелить из пулеметов цыган. Много цыган и маленьких цыганяток тоже. Их вон там во рву зарыли. Мы потом бегали смотреть. Земля так и дышала, как живая... Так страшно, тетя, было... И тетю Олю — партизанку — майор повесил. Тети-Олин дедушка так плакал, так плакал, а немцы его за это били. Это майор велел им бить. И дом дедушкин сожгли. А маму нашу майор хотел в Германию отправить. Он говорил: на какую-то выставку. Нет, он тоже был злой, даже хуже Отто. Отто обижал только нас с Катюшкой да бабушку Дашу, а майор всех.

Бедный ты парень! Столько пережить в твои неполные десять лет...

— Ничего, Славик, мы и с майором, и с Отто рассчитаемся. Они за всё ответят сполна.

— Вот и бабушка Даша так же говорит.

«Бабушка, а мать?..»

Пока шла перевязка, я сидела в прихожей и клевала носом, сквозь вязкую дремоту слышала, как за тонкой перегородкой охает и хнычет Славик, а его сонным басом уговаривает фельдшер Козлов.

Разбудил меня Славик:

— Тетя, вы же упадете! Пошли. И совсем не было больно. Я же вам сказал, что я, как папа. — Мальчуган улыбался и вытирал рукавом старенького пальтеца заплаканное лицо.

— Твой папа на фронте?

— Не знаю, тетя. Мы потерялись. Мы с мамой на Волге у дедушки жили. Вы знаете город Жигулевск? Красиво там так... Кругом горы. — Славик улыбнулся, широко развел руками: — Мы с дедушкой вот таких рыб ловили. Вот только забыл, как они называются. А потом нас папа позвал к себе. Мы приехали в папин город, и уже была война. И папа нас не дождался. Куда-то уехал. Мы всё ждали и ждали, а он всё не ехал за нами. И мы приехали сюда и стали жить у бабушки Даши.

— В каком же городе работал твой папа?

— Не знаю, тетя. Забыл. И Катюшка не знает. А мама и бабушка не говорят.

...Я долго стояла перед белоснежной постелью и глупо ухмылялась. Простыня, заглаженная аккуратными

квадратами, полотняная наволочка и пододеяльник с кружевами... Где, в каком тайнике сохранила Дарья Тимофеевна всё это довоенное великолепие? Было просто немыслимо улечься на это царское ложе: ведь всё равно не уснешь — совесть покоя не даст.

Я содрала с кровати белое одеяние, всё аккуратно свернула и сложила на табуретку. Сразу успокоилась. Сунула под подушку полевую сумку и бинокль. Не раздеваясь, юркнула под одеяло, положив рядом заряженный автомат. Уснула мгновенно.

Меня разбудила Паша-ординарец. Пашин пламенный чубчик посерел и свалялся, как пучок кудели. Глаза от бессонницы красные, с набрякшими веками.

— На совещание, — сказала мне Паша, — быстренько. Почти все уже собрались.

— Паша! — вскричала я плачущим голосом. — Черт бы побрал твоего неугомонного комбата! Когда же он спит, дьявол железный?

Паша скупо улыбнулась:

— На сей раз не комбат. Капитан Величко будет беседу о бдительности проводить.

— И капитана Величко черт побрал бы! Нашел время...

Беседа оказалась неожиданно интересной. Капитан Величко тактично, но тем не менее ядовито распекал нас за отсутствие бдительности. Серые напористые глаза капитана глядели укоризненно и умно, высокий лоб бороздили глубокие озабоченные морщины.

Что такое? Мы непростительно беспечны? (Задремала, как сурок).

— ...Немецкая служба СД на временно оккупированной территории широко распустила шпионские щупальца. Особенно много агентов было завербовано здесь, в зоне действия большого партизанского соединения. Не более месяца тому назад в десяти километрах отсюда был схвачен и замучен знаменитый партизанский командир. Подпольная его кличка — товарищ Буран. Он стал жертвой гнусного предательства. И руку к этому приложил не кто иной, как Семен Криворотов, которого вы так поспешно отправили к праотцам...

Капитан Величко человек образованный, хорошо воспитанный. Он так и сказал: «Вы отправили». А ведь фактически-то судьбу Семена единолично решил ком-

бат Радченко. Впрочем, капитан Величко прав. Разве кто-нибудь из нас усомнился в справедливости комбатовского решения? Протест выразил один капитан Степнов, да и то недостаточно энергично. Так что Сенька Косой был расстрелян с нашего молчаливого одобрения. А как же иначе? С изменниками разговор короткий: предал Родину — к стенке! И никаких гвоздей, как говорит дед Бахвалов. Я абсолютно уверена, что так думает большинство моих однополчан.

Я взглянула на комбата. Он сидел мрачнее тучи, упрятав глаза за нависшими бровями, на широких скулах полыхал темно-кирпичный румянец. Мне подумалось: «Этот сам себя судит. Уж во второй раз не ошибется».

И о немецких зверствах напомнил капитан Величко, упрекнул нас в равнодушии к вопиющим фактам.

— ...За деревней есть старый противотанковый ров, доверху заполненный трупами. Здесь немцы расстреляли несколько сот евреев, вывезенных из Смоленска, и уничтожили целый цыганский табор. Об этом знает каждый деревенский ребенок. Деревню Устинку, где был схвачен товарищ Буран, фашисты сожгли вместе с жителями, включая грудных младенцев. И об этом знают все местные жители. Да и вы, наверное, слышали? А вот ни один не пришел и не доложил. После войны мы должны будем предъявить оккупантам огромный счет за все их злодеяния. Нас, впереди идущих, местное население встречает особенно тепло. Советские люди немало натерпелись от фашистов и их пособников. Они многое знают и скрывать не будут. Надо только уметь слушать и смотреть...

Вот ведь, оказывается, как получается, если умного человека послушать. У меня даже сонливость прошла. Верно, черт побери! Никто из наших не пришел к капитану. И я не пришла, когда услышала от Славика о расстрелянных цыганах. И про Славкин палец никому не рассказала. Вроде бы меня всё это и не касается. А кого же касается?..

Закончил капитан так: бдительность, бдительность и еще раз бдительность!

Я заколебалась: сказать или не сказать о своих подозрениях в отношении жилицы Дарьи Тимофеевны?.. А вдруг она просто больна или, может быть, ее тревожит неизвестная судьба мужа... Ну что, собственно, я

особенное заметила: что она молчалива и грустна, что не смотрит на меня? Так ведь она и не обязана со мною целоваться. Нет, не скажу. Понаблюдаю еще. С этими мыслями я вернулась на отведенную квартиру и снова... улеглась спать.

Проснулась от грохота. Над деревней ревели самолеты, бомбили и щедро рассыпали пулеметные очереди. Спросонья подумала: «Только вас и не хватало». Вставать не хотелось. Услышала плачущий голос Дарьи Тимофеевны:

— Катюшка! Катюшка! Да куда ж ты запропала, негодница этакая! Славик, Славик! Ведь убьют, убьют, проклятущие! Ксеня! Что ты сидишь, как каменная?

Хлопнула входная дверь, и старушка завопила уже на улице, под окнами. Значит, ее зовут Ксения. Красивое имя.

Удар. Еще удар где-то совсем рядом. Во дворе что-то тягуче заскрипело и обрушилось. Дом вздрогнул от фундамента до самой крыши.

«Живы ли мои ребята?» — как молния обожгла мысль. Босиком выбежала из спальни. На кухне в прежней безучастной позе сидела Ксения.

— Идите в укрытие — крикнула я на ходу. Она даже не посмотрела в мою сторону.

Бомбежка уже кончилась. Самолеты уходили на запад. Два моих дома стояли на месте. Непочатов от крыльца успокаивающе махал рукой. Всё в порядке. Можно досыпать.

Опять легла. Сразу задремала. Вдруг голос во сне, как наяву:

— Погиб поэт!

«Погиб поэт. Невольник чести. Пал...» А голос еще громче :

— Поэта убило!

Какого поэта? Откуда здесь поэт? Нет, это уже не сон. Сунула ноги в валенки и снова выскочила на крыльцо. У самого дома стоял капитан Величко. Спросил:

— Что же это ты маху дала? Надо было бы хоть парочку на зенитных оставить.

Я могла бы ответить, что не получала от начальства такого приказа, но только буркнула:

— Оружие тоже отдыха требует. — Поинтересовалась: — Какого там поэта убило?

— Погиб корреспондент «Комсомольской правды». Молодой талантливый поэт. — Капитан назвал фамилию.

В третий раз улеглась и опять ненадолго. Пришел расстроенный Непочатов, прямо с порога доложил:

— Погиб Раджибаев.

— Как же так? — растерянно спросила я.

— Осколок с улицы залетел. Он спал у самого окна. Мы даже не сразу и заметили.

Ах, Дусмат-ака, Дусмат-ака! Какая обидная смерть... Не в бою. Вот уже и двоих потеряли. Сначала Абрамкина, теперь Раджибаева...

Надо было идти доложить. Но Непочатов сказал:

— Я уже сообщил. Погибшего мы отнесли к штабу батальона. Там их несколько человек. Будут хоронить вместе. Прикажете подъем?

— Да нет пока. Пусть люди отсыпаются. Только все должны быть наготове. Пошлите Гурулева узнать, будет ли ужин. Кухню не прозевайте.

Уснуть я так больше и не смогла. К моим хозяевам кто-то пришел. Чей же это голос? А, это капитан Величко. Вот кому не спится-то. В кухне вдруг истерично заплакала мать Славика. Дарья Тимофеевна вскрикнула:

— Ксеня!

Плач оборвался. Что-то тихо и, как мне казалось, гневно, говорил капитан. Я злорадно подумала: «Добрался-таки. Молодец. Вот это оперативность... Прощупай, прощупай, чем дышит гордая красавица...»

Узкая дверь моей горенки растворилась бесшумно, в дверном проеме, как в раме зеркала, возникла статная фигура капитана Величко.

— Выспалась?

Я села на кровати и со злостью пнула кулаком в подушку. Из-под полосатой тиковой наволочки в разные стороны брызнули пушинки.

— Выспишься тут! То одно, то другое. Солдат погиб.

Капитан нахмурился:

— Семь человек погибло.

Я кивнула головой в сторону кухни, шепотом спросила:

— Ну как она там? Созналась?

Капитан, видимо, не понял. Густые брови удивленно поползли вверх:

— В чем созналась?
— Тише. По-моему, она шпионка. Я хотела вам рассказать...
Мой собеседник аккуратно переложил постельное белье с табуретки на подоконник, плотно уселся и только тогда спросил:
— Почему ты так подумала?
— Очень уж она красивая. Шпионки ведь все красивые, верно? И потом, странная какая-то, вроде бы и не рада, что мы пришли.
Капитан Величко усмехнулся, тут же снова опять нахмурился и, глядя мне прямо в глаза, тоже шепотом сказал:
— Она жена товарища Бурана.
Кровь горячей волной хлынула мне в лицо. Я растерянно промямлила:
— Товарищ капитан, милый, дорогой, как же это?.. Ах, я дура, набитая дура! Такое подумать о честном человеке!.. У нее горе, а я... — От огорчения у меня навернулись слезы.
— Я специально тебя сюда поселил, чтобы Ксению Николаевну меньше беспокоили. Мы еще в обороне знали, что здесь находится семья партизанского командира. Ладно, не расстраивайся. Я и сам не лучше начинал. Помню, в сорок первом коменданта штаба дивизии в шпионаже заподозрил. Отошел он в сторонку от штаба, чтобы ракетницу новую испробовать, а я его за шиворот: шпион, кричу, сигнальщик! — Капитан тихо засмеялся.
Славный он какой, этот пожилой чекист, — всё понимает с полуслова...
— Но ведь хозяйка могла нечаянно проболтаться! — вслух подумала я.
— Дарья Тимофеевна надежный человек. Партизанская подпольщица.
Ну и ну! Эта маленькая озабоченная старушка — партизанка?! Чудеса да и только. Вот так проявила бдительность! Своих не узнала...
Командир полка сдержал обещание: мы отдыхали ровно сутки и ушли только на другой день на рассвете. А накануне вечером Дарья Тимофеевна нагрела два больших чугуна воды и, заперев детей в горенке, загнала меня в корыто. Я вымылась с наслаждением и сразу почувствовала себя бодрой и совсем здоровой. Очень не

хотелось надевать грязное, насквозь пропитанное потом белье. Но и тут выручила милая старушка. Она подала мне мужскую рубашку и кальсоны из грубой желтоватой бязи и заговорщически подмигнула:

— Наше, партизанское. Сама шила.

Но самое удивительное было впереди. Едва мы уселись ужинать по-семейному, опять пришел капитан Величко, а с ним молодой бородач в рыжем гражданском полушубке, с немецким автоматом через плечо. Прямо с порога незнакомец заключил Дарью Тимофеевну в богатырские объятья и трижды с нею расцеловался. Старушка всплакнула, зачастила вопросами:

— Феденька, голубчик ты мой, да откуда же ты взялся? Наши-то все живы-здоровы? Из лесу вышли, ай нет еще?

Улыбаясь глазами, Федя-партизан весело ответил:

— Все живы. Мы сейчас, тетя Даша, в Рождественском стоим. Приказа ждем. Вот меня и послали вас проведать. Вижу, что у вас тоже все благополучно. А мы волновались, ведь бой у вас в деревне был. — Он поцеловал руку Ксении Николаевны, задумчиво погладил по голове Катюшку, потом Славика, молча поклонился мне и вдруг ловко, как заправский фокусник, извлек из кармана полушубка бутылку водки, а из-за пазухи буханку солдатского хлеба, вопросительно посмотрел на хозяйку дома:

— Тетя Даша, как вы думаете, выпить сегодня не грех? А?

Дарья Тимофеевна засияла сразу всеми морщинками-лучиками, на старинный манер пропела:

— Милости прошу к столу, дорогие гости. Чем богаты — тем и рады. Не обессудьте.

Когда водка была разлита в толстые стаканы зеленоватого пузырчатого стекла, веселый бородач воскликнул:

— Выпьем за героическую партизанскую бабушку Дарью Тимофеевну Обухову!

Славик, во все глаза глядевший на молодого партизана, восторженно завопил:

— Выпьем за нашу бабушку! Наша бабушка герой! Ура!

Дарья Тимофеевна смутилась, махнула сухонькой ручкой:

— А, какой там герой. Натерпелась страху, и ладно. Выпьем лучше за наших освободителей. За Красную Армию! — Она первая выпила всю водку до дна и засмеялась. — Сроду я ее не употребляла, а тут, на-кось тебе, соколом проскочила. Погодите-ка, ребятушки, еще на радостях плясать пойду.

Второй тост предложил капитан Величко:

— За наших доблестных партизан! Славик, кричи громче «ура».

Ксения отпила из своего стакана один глоток и тихо заплакала.

— Ну, вот, — недовольно протянул Славик, — опять она плачет! Тетя, — обратился он ко мне, — сведите маму к вашему доктору. Такой хороший доктор, сразу палец перестал болеть. Тетя, как вы думаете, он умеет лечить туберкулез? Это у нашей мамы туберкулез...

— Да что ты говоришь?! — всплеснула я руками.

Дарья Тимофеевна хитро мне подмигнула:

— Был туберкулез, да весь вышел. Немецкий доктор Альберт Карлыч справку Ксене такую сделал, чтоб в Германию не угнали. Хороший был человек, хоть и немец, дай бог ему здоровья. Жалел нас. Все бывало, говорил: «Мутер, война плохо. Фашисты — очень плохо». Жив ли, сердяга?

— И Ганс был хороший, — тихо сказал Славик. — И веселый такой.

— Ганс котеночка нам принес, когда Отто убил нашу Мурку, — подала голос Катюшка. Она уютно устроилась на коленях у капитана Величко и тихонечко, как мышка, хрустела сухарем.

— Мурка была старая, — пояснил Славик, — не могла мышей ловить. А кушать хотела. И утащила у Отто маленький кусочек колбасы. Ведь она не знала, что Отто фашист, ведь правда же? А он за это Мурке глаза гвоздем выколол...

Катюшка взмахнула длинными стрельчатыми, как у матери, ресницами, из широко распахнутых голубых глазенок плеснул недетский ужас. Девочка прошептала:

— Мурка умирала долго-долго...

У меня заныло сердце. Ладно, что кошке, а не тебе... Фашист на все способен. Проклятые!

— А котеночка нашего рыжего Отто в колодец бросил, — горестно сказал Славик.

— Да хватит вам об этом белоглазом уроде! — прикрикнула Дарья Тимофеевна. — Нашли, о ком говорить, чтоб он провалился в тартарары. Прости ты, господи!

— Вот на Волгу к дедушке вас отправим, — сказал капитан Величко, — там отдохнете, забудете и Отто и всех фашистов.

«Вряд ли, — подумала я, — детская душа впечатлительная. Всю жизнь будут они помнить Отто-садиста».

— На Волгу! На Волгу! — радостно закричал Славик. — Мы едем к дедушке? А когда, дядя, завтра?

— Ишь ты какой прыткий, — усмехнулась Дарья Тимофеевна, — вынь да положь. Бумаги надо сперва выправить.

— Выправлять ничего не надо, — возразил капитан Величко. — На днях к вам зайдет человек и всё оформит.

Славик вопросительно на него посмотрел:

— И бабушка поедет?

Ответила сама Дарья Тимофеевна:

— А что ж? И поеду. Теперь тут и без меня обойдутся. Пущу на жительство погорельцев да и укачу. — Она ласково погладила мальчика по голове: — Куда уж мне без вас? Сердцем приросла...

— А как же папа? — пытливые глаза ребенка тревожно шарили по нашим лицам. — Приедет, а нас нет!

Дарья Тимофеевна, бородач и капитан тревожно между собой переглянулись. Ксения вскрикнула и, упав головой на стол, зарыдала.

— Папа сюда не приедет, — очень спокойно сказал капитан Величко. — Он воюет. А после войны приедет прямо на Волгу.

— И верно, — согласился Славик. — Ведь он же знает, где живет дедушка. Мама, да не плачь ты! Папа все равно нас найдет!

Ксения заплакала громче. Ее стали утешать старушка и Федя-партизан. Федя морщился, как от зубной боли, жалостливо моргал широко расставленными добрыми глазами и говорил совсем не то:

— Звери. Их надо уничтожать, как чумных микробов.

Дарья Тимофеевна, ища у нас сочувствия, сокрушенно развела руками:

— Ну что мне с нею делать? Совсем себя извела. Хоть бы вы ей сказали...

Но мы с капитаном молчали. Что тут можно сказать? Чем утешить?

После скудного ужина я спросила:

— Дарья Тимофеевна, да как же вы не боялись-то? Ведь фашисты могли вас схватить.

Старушка улыбнулась:

— Как не бояться? Боялась. Не за себя. Мне что? Пожила, седьмой десяток разменяла. За Ксению боялась да за ребятишек. Хоть и надежные документы партизаны Ксене достали, а все ж таки всякое могло случиться. И за связных боялась, что из лесу ко мне приходили. Сенька-то Косой, бывало, как гад, вокруг моего дома ползает. Точно сердце его песье чувствовало... Анну Яковлевну так жалко! Царствие ей небесное, пресветлой душеньке. Феденька, поп-то наш жив? Панихиду хочу заказать...

Федя-партизан засмеялся:

— А что ему станется? Жив-здоров. Только он, тетя Даша, вряд ли теперь будет служить. Ведь нарушил заповедь «Не убий».

Ну и ну! Поп — партизан!.. Нет, но Дарья Тимофеевна! Какова старушка? В семьдесят лет сердце в строю. А как-то там моя милая бабка?.. Ничего не знать о близких почти два года!.. Дновский район — партизанский край. Вряд ли непокорная бабушка будет подчиняться немцам. Наверняка помогает партизанам. Сколько же сейчас Димке лет? Кажется, одиннадцать... А Галина уже меня догоняет. Ох, проклятая война...

Пошли смоленские глухие места: лес без конца и края. Все время валит влажный снег. Отсыревшие полушубки кажутся непомерно тяжелыми. Мокрые валенки, как дубовые колоды, тормозят натруженные ноги. Маскировочные халаты испачкались, порвались.

Солдаты с трудом тащат тяжелые волокуши. Как и не было передышки... Не слышно ни шуток, ни смеха. Бодро держатся только двое: дед Бахвалов да мой учитель узбекского языка Хаматноров. На коротких привалах Василий Федотович развлекает товарищей прибаутками и побасенками. А Хаматноров, приунывший было со смертью Раджибаева, вновь ожил: песни поет. Певец он, правда, не ахти какой: поет нудно и довольно визг-

ливо, но все-таки песня, а не тягостное молчание. Сочиняет на ходу:

«...Дорога длинный, а сухарь короткий. Пулемет большой, а котелок маленький. Вперед, вперед, русский народ! Узбекский народ! Не дать бы Гитлеру-басмачу ни одной пиалы воды из арыка...» [1]

Каждую песню Хаматноров заканчивает ругательством в адрес немецкого аллаха. Солдаты оживляются, похохатывают. Певец доволен, морщит в улыбке рябоватое лицо и за тяжелыми темными веками прячет от меня лукавые раскосые глаза. Ну что тут делать? Отчитать? Аллах с ним, пусть поет!..

Из-за снежных заносов и бездорожья отстает артиллерия. А наши минометчики вынуждены экономить каждую мину — обозы с боеприпасами тоже отстают. На одном из привалов комбат Радченко нам сказал:

— Пулеметчики, на вас вся надежда. Не подведите!

Командир взвода противотанковых ружей младший лейтенант Иемехенов обиделся:

— А на нас нет, однако, надежда?

Комбат улыбнулся, в тон маленькому бронебойщику ответил:

— Есть, однако, и на вас надежда. Молодцы!

На широких скулах Иемехенова запылал самолюбивый румянец. Что с него взять? Мальчишка — девятнадцать лет... А иемехеновцы и в самом деле молодцы — надежно прикрывают мои пулеметы, без промаха бьют по вражеским огневым точкам.

Иемехенову, как и мне, в бою приходится работать ногами больше, чем головой: где ружье замолчало — туда и катится на своих проворных ногах. У него, как и у меня, нет связного — уставом не положено. Бронебойщик даже ракетницу не носит и не признает никаких сигналов, кроме своего звонкого голоса.

Да, управлять огнем в бою командиру взвода приданных средств нелегко. Под руками только одна огневая точка, остальных иногда даже и не видно. Лежишь и слушаешь во все уши: которая работает, которая нет. Хорошо, что у каждого моего «максима» свой особенный голос. Вот умолк левофланговый. Что там? Задерж-

---

[1] Оскорбительное узбекское выражение, означающее высшую степень презрения: «Я бы тебе не дал ни одной пиалы воды из арыка!».

ка? Смена позиции? Погиб расчет?.. Надо бежать, невзирая ни на какой огонь.

Мой собрат по оружию Федор Хрулев убит под Борщёвкой. Аносов пока держится, и я держусь. Евгений Петрович меня бережет, снабдил все расчеты ракетницами. По уговору я всегда нахожусь в центре роты. Зеленая ракета от Лукина: «Меняю позицию!» Красная от Нафикова: «Задержка. Справимся сами!» И я сигналю ракетами: «Вперед!», «Смени позицию!», «Подтяни пружину!», «Сбор!». Минута, две, три, пять... Пулемет молчит, а сигнала нет — значит, дело плохо: бери ноги в руки.

На рассвете подошли к деревне Барки. Деревня на ровном месте, как на столе, — дворов на сто, не меньше. Сады и палисадники в стеклянном инее, над заснеженными крышами ни единого дымка, никакого признака жизни.

Перед деревней полукругом от сарая к сараю из больших снежных комьев сложена стена в человеческий рост. В стене круглые дыры — бойницы, а есть ли кто за стеной — неизвестно.

До снежной крепости хорошая тысяча шагов. Сюда бы парочку полковых пушек — остался бы от стены один пшик. Но пушек нет, а деревню брать надо. Рвануть бы с ходу эту тысячу шагов, и делу конец. Но есть приказ комбата: зарыться по уши в снег. Наш комбат осторожен — бережет людей. Он тоже всегда в центре своего наступающего войска. Вот он лежит рядом со старшим лейтенантом Роговым, над неглубоким снежным окопчиком поднимается легкий парок. Проворная Паша и связной Евгения Петровича в две лопатки окапывают свое начальство. Комбат сосредоточенно разглядывает деревню в бинокль. Хмурится. Молчит. Думает. А мы ждем. Пожалуй, комбат прав — рвануть дело нехитрое, а если погубишь батальон?.. Нет, в наступательном бою нужна не только храбрость, но и ум и солдатская смекалка.

Рядом со мной, обдав меня колючей снежной пылью, шлепнулся комсорг батальона. Лева Архангельский тоже всегда в центре наступающих. Обмороженный красный нос порядком портит Левин портрет, но Лева не унывает: в черных глазах по-прежнему скачут горячие огоньки. Лева что-то мне рассказывает вполголоса, но я

не слушаю. И бинокль навожу не на деревню, а на свои пулеметы. Слева окапывается Лукин, справа Непочатов, впереди, в пяти шагах от меня, торопливо зарываются в снег «мазурики» деда Бахвалова. Где-то за моей спиной в резерве пулемет Нафикова, но я даже не оглядываюсь. Нафиков свою задачу знает. Поговорить бы с Шамилем по-дружески, сказать бы что-то такое умное, ободряющее, но в сутолоке наступления некогда даже осмыслить вчерашний день. А надо бы!.. После гибели отца парень замкнулся, стал заметно нервничать. Но все равно в бою на Шамиля положиться можно, — стиснув зубы, будет драться до последнего патрона...

Ага, вот что сказал Лева: «Артиллерия на подходе». Ну что ж, очень хорошо. Какая же война без артиллерии? Скучно без пушек — вроде бы и не настоящий бой...

Дед Бахвалов, выдирая из бороды тонкие льдинки, сказал:

— Ни лешего не видно. Может быть, вперед подвинуть, товарищ взводный? Ась?

— Ну что ж, давайте на пятьдесят, — согласилась я.

Комбат поднялся во весь рост, — что-то придумал. Прошло еще долгих десять минут, и роты Павловецкого и Горшкова двинулись в обход: пошли гуськом по снежной целине — одна направо, другая налево. Значит, немцам придется отбиваться одновременно с трех сторон. Роты двинулись, а из деревни ни единого выстрела: не видят они, что ли, наших приготовлений?.. А может быть, там и нет никого, а мы лежим!

Взвод Лиховских, развернувшись в редкую цепь, двинулся вперед, прямо на снежную крепость. Проходя мимо нас, лейтенант помахал нам рукой. Лева крикнул: «Петро, ни пуха!» — и убежал на левый фланг.

Едва разведка миновала новую позицию деда Бахвалова, дыры-бойницы ощетинились пулеметным огнем. Косые свинцовые струи понеслись над полем; великий инстинкт самосохранения вдавил наши головы в снег. По флангам ударили вражеские минометы, — немцы разгадали наш маневр. Теперь держись, солдат!

— Пулеметчики! — рявкнул комбат простуженным басом.

И чего, спрашивается, рявкает? Не даст солдату опомниться, пересилить чувство страха, убедиться, что смерть пронеслась мимо...

— Пулеметчики, матерь вашу!!.

Свинцовый ветер перед самым лицом закручивает белые спирали, снежная хвиль запорашивает глаза. Смертоносные живые нити тянутся над самыми головами; пули повизгивают зло и хищно. Что-то с влажным чмоканьем тяжело шлепает по снегу. Крупнокалиберный, чтоб он, анафема, провалился! Бьет с левого фланга вдоль всей нашей цепи, а из-за снежной стенки ему вторят не меньше четырех станкачей...

Солдаты понемногу приходят в себя, цепь начинает огрызаться. Первым по моей команде открывает огонь дед Бахвалов — деловито и, как всегда, не спеша расстреливает самый левый угол снежной стены, из-за которого тяжело и глухо, как пневматический молот, ритмично постукивает крупнокалиберный пулемет. В этом же направлении ведет косоприцельный огонь Непочатов. Пулемет Лукина заливается на всю ленту, рассеивая пули на ширину всего снежного завала. С сухим треском работают «дегтяревы», раскалываются винтовочные залпы. Противотанковые ружья почему-то бьют неприцельно: в разных местах насквозь прошивают снежную стену — завал. Я поймала пробегавшего мимо Иемехенова за оборванную полу маскировочного халата, дернув, приземлила рядом с собой, закричала прямо в его большое смуглое ухо, торчащее из-под криво надетой каски:

— Куда ж ты бьешь, кривоногий чертушка? Лупи по крупнокалиберному!

— Ладно, однако, — согласился бронебойщик и юрким шариком покатился на свои позиции. Через несколько минут все три его ружья ударили в нужном направлении, — левый угол снежной стены рухнул начисто, крупнокалиберный умолк. Но в ту же секунду истошным голосом взревел «ишак» — засыпал минами все поле перед нашими позициями. От горячих фырчащих осколков снег тает на глазах.

Появились первые убитые и раненые. Вот сигнал от Лукина: «Убито двое». А вот и Непочатов сигналит о потерях. Кто же они?.. Опять заревел «дурило»: мины воют на тошнотворной ноте и с треском лопаются в наших боевых порядках. Впереди, на линии деревни, и слева, и справа тоже идет пальба — это роты Павловецкого и Горшкова загнули фланги. То ли наседают, то ли огрызаются вроде нас, пока не разобрать... Еще минометный

залп и еще. Варя, не обращая внимания на огонь, ходит по полю во весь рост, как заговоренная. И санинструктор Шамшурин тоже во весь рост, даже не пригибаясь, тащит кого-то на плащ-палатке. Ошалела наша медицина! Ну погодите, «герои», Евгений Петрович после боя вам закатит отповедь — это он умеет!..

Вот он что-то закричал, а что — не разобрать. Ага, кажется, призывает в атаку. «Лучший вид защиты — это нападение!» — истина, не нами выдуманная. Чем нести потери под огнем...

Очень удачно ударили наши минометы: с одного залпа обрушили половину всей стены слева, в проломе замельтешили черные фигуры. Я просигналила: «Сосредоточенный!» Все три пулемета перенесли огонь на пролом. Беготня у немцев прекратилась. Теперь бы парочку залпов по правому флангу! Но минометы замолчали — мин нет. Зато и «дурило» умолк. Надолго ли?

Где-то слева по-мальчишески звонко пропел Лева:

— Комсомольцы! На линию огня! Ура!

А вот и комбат раскатистым басом:

— Впер-ред! Ур-ра!

Солдаты поднялись дружно, как один. На месте остались только убитые и раненые.

Колышущаяся цепь, с двух сторон обтекая пулемет деда Бахвалова, стремительно ринулась вперед. Комбат обернулся и выразительно погрозил мне кулаком. Поняла: «Не перебей своих!» За комбатом бежала верная Паша, строчила из автомата и высоко вскидывала ноги в больших белых валенках. Комбат опять обернулся назад, что-то прокричал, размахивая над головой винтовкой с примкнутым штыком, как детским игрушечным ружьецом. Я перебежала к пулемету деда Бахвалова. Отстранив наводчика, дед вел огонь сам — хлесткими очередями бил кинжальным по центру, откуда немецкий МГ поливал наступающую цепь свинцом. Наводчик Березин придерживал ленту. Попсуевич, пристроив карабин на коробку с лентой, тщательно целился по вражескому пулемету. Остальные, дуя на обмороженные негнущиеся пальцы, торопливо набивали расстрелянные ленты. Здесь было все в порядке. А где Непочатов? От волнения то и дело запотевают стекла окуляров бинокля. Ага, Василий Иванович передвинулся левее и вперед — ведет фланкирующий огонь. Их теперь пятеро, кого же потеря-

ли?.. Вот кто-то вскочил на ноги и рванулся вперед. Кто же, как не Пырков-бродяга! Непочатов схватил его за шиворот и, как шкодливого кота, несколько раз поторкал носом в снег. Молодец Василий Иванович!

У Лукина теперь только четверо. Пулемет работает зверски — начисто слизывает остатки завала — снежные комья брызжут во все стороны...

У самой деревни цепь вдруг залегла. Оборвав стрельбу, громко охнул дед Бахвалов и закричал, как будто атакующие могли его слышать:

— Вперед, ребятушки! Что ж вы легли, мазурики! Вперед! Бог не выдаст — свинья не съест!

— Сержант Бахвалов! Огонь!

Пулемет снова заработал, давясь и гневно вздрагивая. Снова «ура», и снова поднялась заметно поредевшая цепь. Осталось всего двести шагов. Последний отчаянный рывок — самые длинные, самые трудные последние двести шагов!..

— Василий Федотович, стоп!

Наши ворвались в деревню. Дед повернул ко мне потное улыбающееся лицо и широко перекрестился:

— Аминь! Пошла рукопашная... — и ударом кулака сбил стойку прицела.

— Снимайтесь! Вперед!

Такой же сигнал остальным, и я побежала вперед.

Из-за угла крайнего сарая кто-то маленький и круглый кинулся мне под ноги. Падая, я успела нажать спусковой крючок автомата, и в ту же секунду меня долбанули по голове молотом: из глаз снопом брызнули огненные точки и тут же погасли...

— Вставайте! — Кто-то больно тер мне виски снегом.

Открыла глаза: солдат Иван Седых, до самых глаз обросший серой щетиной, тряс меня за плечи. Голова раскалывалась пополам, боль в затылке была нестерпимой. Но я схватилась за оружие:

— Где же этот гад?

— На заборе проветривается, — ответил Седых. — Поднимайтесь. Некогда мне с вами возиться!

Я даже не представляла, что так может быть трудно подняться на собственные ноги! Но поднялась, уцепившись обеими руками за богатырское плечо Ивана, и тут же снова шлепнулась в снег, ударившись спиной о гулкий от мороза дощатый забор. Опять открыла глаза.

Иван Седых присел передо мною на корточки. Куда-то показал пальцем.

— Вон он, который вас долбанул прикладом. И штыком бы пырнул, зараза, кабы не я. — Голос солдата доходил откуда-то издалека, сознание мутилось.

В деревне было уже тихо, бой гремел где-то впереди

— Спасибо, брат, — сказала я Ивану и махнула рукой вперед. — Иди.

Но прежде чем уйти, мой спаситель закричал во всю силу легких:

— Санитары! Санитары!

Прибежала запыхавшаяся Варя. Стала совать мне прямо в нос что-то остро пахучее, терла виски колючей шерстяной варежкой. Подхватив под мышки, пыталась куда-то тащить.

— Брось! Мне надо к своим солдатам... Дай три пирамидона.

Я с трудом проглотила таблетки одну за другой, заела снегом и с помощью Вари встала на ноги, на сей раз твердо. Держась за голову и не видя от адской боли ничего вокруг, пошла, пошатываясь, в сторону выстрелов.

Из-за полуразрушенного дома выскочили Нафиков и молодой пулеметчик Егорычев. Как на носилки посадили меня на руки и понесли.

Бой уже кончился. Батальон собирался на окраине деревни, на кладбище. Офицеры совещались, подсчитывали потери. Солдаты шумно обсуждали минувшую схватку. Кто-то восторженно рассказывал:

— Комбат ка-ак схватит его за ноги, ка-ак крутанет! И об угол! Из него и дух вон...

А я лежала на чьей-то заснеженной могиле и была не в силах поднять тяжелую гудящую голову. Я хотела сказать лейтенанту Лиховских, что у него кровоточит большая царапина на левой щеке, и не могла. Подошел комбат, постоял возле меня, буркнул:

— Зеленая, как лягушка.

— На каске вмятина с ладонь, — сказал ему Лиховских.

— В рукопашном бою надо глядеть в оба, а не мух ловить! — сказал комбат. Не сердито сказал.

Если бы я хоть видела рукопашный бой, так не было бы так обидно... Растяпа...

Потом я лежала в пустом доме на голой лавке. Возле меня хлопотала Варя. Она прикладывала к моему затылку холодные компрессы и оплакивала своих сибирских земляков, называла имена, фамилии и попутно утешала себя и меня:

— Ну и им, сволочам, досталось. Сколько их наши набили! Вот проклятые эсэсы — в плен ни один! Своих троих повесили — вот до чего дошло... Сдаться они, что ли, хотели? А может быть, эти трое были и не эсэсы... Кто их разберет.

Вот и еще один населенный пункт взят. Не Смоленск и даже не Дорогобуж, к которому мы так стремимся. Наш немногословный комбат составит лаконичное донесение: «Освобождена деревня Барки». Вот и все.

«Дорога длинный, а сухарь короткий...» — никогда больше не споет Хаматноров свою нескладную солдатскую песенку... А в далекой Тюмени не дождутся отца дети пулеметчика Решетова.

Ночью благополучно форсировали реку Осьму, а на рассвете неожиданно легко заняли деревню Татарка. Привели в порядок оружие и снова в наступление.

Впереди на горушке, примерно в километре от Татарки, деревня Заманиха.

Из деревни вдруг вывалился десяток небольших танков. Черные машины юзом скатились с пригорка, буксуя на снегу и плюясь огнем, поползли по снежной целине прямо на нашу жидкую цепь. Кто-то закричал благим матом: — Танки! Братцы, спасайся!

— Молчать! — взревел командир роты. — Застрелю, как гада! Гранаты, бутылки к бою!

Я подумала: «Откуда у Евгения Петровича такой голос, ведь обычно он говорит почти шепотом».

Было не по себе. Голое поле: никакого укрытия, даже окопаться не успели. С тоской оглянулась: спасительные деревенские постройки были в четырехстах метрах.

Прячась за танками, густо валила вражеская пехота.

— По смотровой щели! — отчаянно закричал слева от меня Нафиков.

— Нафиков! Нафиков! Отставить! — закричала я во всю силу легких. — Пропустите танки! Танки пропустите!

Но Шамиль не услышал — застрочил его «максим». И сразу же головной танк взял курс на пулеметное гнездо.

Залпом ударили противотанковые ружья. Одна машина черной коробкой застыла на снегу.

«Молодец Иемехенов!» — пронеслось в мозгу.

— Отсекать пехоту! — крикнула я Непочатову и, низко пригибаясь, побежала к пулемету Нафикова.

Из Татарки ударили сорокопятки, взвились в небо три красные ракеты: комбат приказывал отойти под защиту деревенских построек.

— Назад! — опять неистово закричал Евгений Петрович. — К сараям! Снять пулеметы! Первый взвод, прикрывай!

Иемехеновцы подбили еще один танк, два подожгли артиллеристы. А Шамиль все вел огонь.

— Нафиков! Нафиков! Снимайся, черт тебя побери! — Не слышит. И не видит моих сигналов. Совсем не оглядывается назад, точно танк его приворожил.

Я прикинула на глаз расстояние: не менее трехсот метров, а танк уже совсем близко. Обожгла мысль: «Не успею!» Побежала, крича на ходу:

— Нафиков! Шамиль!

Меня догнал Лиховских, схватил сзади за воротник шубы, с силой повернул назад. Выдохнул в самое лицо:

— Ненормальная! Куда лезешь?!

Вырвавшись, я оглянулась назад. Кто-то из нафиковцев бросил гранату. До танка не долетела: разорвалась в нескольких метрах от цели. В ту же минуту танк взревел, подмял под себя пулемет и, вздымая снежные фонтаны, медленно завертелся на одном месте. И я зло заплакала от сознания собственного бессилия: погибли, на глазах погибли...

Уже почти у самых сараев пуля пробила мне предплечье левой руки, но сгоряча я почти не почувствовала боли.

За колхозными гумнами заняли оборону. Вели бешеный огонь — не подпускали немцев к нашим раненым и убитым. Запылали еще два танка, остальные повернули в Заманиху. Вражеская пехота залегла.

В течение дня наш неполный батальон немцы превосходящими силами контратаковали несколько раз. Отбились. Я бегала от пулемета к пулемету и стреляла из

каждого по очереди, сменяя наводчиков. Остальные в это время лихорадочно набивали ленты.

Раненая рука начала побаливать. Теплая кровь тоненькими струйками ползла из-под рукава, скапливаясь в рукавице. Надо было перевязать, но куда там. И не было ни Вари, ни санинструктора Шамшурина. С ранеными возился один Козлов. А где же Рогов? Огнем управляет Лиховских, а Евгения Петровича не слышно.

Прибежал Тимошенко, шлепнулся рядом со мной, дал несколько очередей из автомата, потом спросил:

— Рогова не видела? А где Варя? Всю цепь пробежал — их нигде нет.

Я промолчала, Тимошенко повысил голос:

— Варя где? — Он вдруг сложил руки рупором и закричал: — Ва-ря! Ва-рю-ша! Ва-ря!

— Заткнись! Накроют.

— Нет, ты мне ответь: где она?! — Тимошенко сел, не обращая внимания на пули, пристально вглядывался вперед, туда, откуда нас вытеснили танки.

— Неужели?!.. — Он ахнул и схватил меня за раненое плечо.

Я испугалась тревожного блеска его глаз. Осторожно освободила руку, позвала Лукина:

— Ложись за пулемет.

Навела бинокль на поле. Нет, ничего не различить на белом снегу. Лежат, а кто — не поймешь... Тяжело дыша, Тимошенко кричал мне в самое ухо:

— Как же вы могли их бросить?!

— Отстань! Без тебя тошно.

Из деревни Заманихи ударили тяжелые минометы. Мины завыли на разные голоса. Едва осели разрывы, где-то совсем рядом закричал Лиховских:

— Контратака!

Опять фашисты лезут.

— Лукин, огонь!

Теперь я стреляла из автомата. Слезы ползли по моим щекам и, застывая на ресницах, мешали целиться. Раненая рука болела все сильнее.

...Погибли! Все пятеро — Нафиков, Черных, Егорычев, Якименко, Ноздреватых. Сибирские богатыри, один к одному. Комсомольцы. Шамиль!.. Где же в самом деле Варя и Рогов? Даже страшно подумать..

Отбились. Я хотела что-то сказать Тимошенко, но его уже рядом не было. В пустом гумне я сбросила с плеч намокшую шубу, попросила Непочатова:

— Перевяжите, — и протянула ему индивидуальный пакет.

— Вы ранены? — удивился сибиряк. — Идите в санроту.

Я отрицательно покачала головой. Василий Иванович разрезал рукав гимнастерки и нижней рубахи и туго забинтовал маленькую кровоточащую ранку. Ранение было сквозное. Он сказал:

— Кость не задета. Скоро заживет.

К вечеру подтянулась артиллерия. Подвезли боеприпасы. Полковые пушки прямой наводкой ударили по Заманихе. Минометы крошили вражескую пехоту. Нас сменил батальон соседнего полка.

Варю и Рогова нашли на поле боя мертвыми. Евгений Петрович был смертельно ранен в живот и голову. Сама раненная в обе ноги, Варя тащила своего командира на плащ-палатке: пропахала на снегу широкую, окрашенную кровью борозду. Разрывная пуля настигла Варю в пути и раздробила ей затылок...

Что-то вдруг толкнуло меня в сердце и отозвалось в левой ключице. Согнувшись пополам, я медленно опустилась на снег. Ловила открытым ртом воздух: могла только вдохнуть, а выдохнуть мешала нестерпимая головная боль.

Подбежал Непочатов, хотел меня поднять. Я спросила:

— Нафикова, ребят подобрали?

Василий Иванович молча кивнул головой.

— Идите. Не оставляйте солдат одних. Я сейчас...

Лиховских привел батальонного фельдшера Козлова. Тот посмотрел, подумал, потом сделал какой-то укол и дал капли. Стало легче дышать. Через несколько минут боль начала стихать, и я поднялась на ноги.

— То ли последствия контузии, то ли спазмы сердца, — глубокомысленно изрек наш эскулап.

Лиховских насмешливо сощурился:

— Так и я знаю. Тоже мне медицина!

— Я же не врач-терапевт, — обиделся Козлов. — В том и другом случае надо в госпиталь.

Я только рукой махнула.

Ночью по приказу из дивизии мы отошли за реку Осьму. А на рассвете у подножия безымянной высоты похоронили погибших: двадцать восемь человек опустили в братскую могилу. Прощаясь с Варей, дед Бахвалов всплакнул и тут же застыдился своей слабости. Вытирая глаза грязным куском марли, заворчал:

— Чего уставились, мазурики? Землячка она мне.

А я как окаменела — ни одной слезы.

Безымянную высоту мы окрестили Вариной могилой. А на гребне высоты, на верхушке сосны, на шатком дощатом помосте, как почетный караул, угнездился артиллерийский наблюдатель.

После салюта в память погибших ко мне подошел Непочатов, тихо сказал:

— Старший лейтенант Тимошенко плачет...

Тимошенко стоял в стороне ото всех, прислонившись спиной к сосне и закрыв лицо руками. Плечи его тряслись.

— Пойдем! — позвала я.

Он посмотрел на меня красными воспаленными глазами:

— Куда?

И в самом деле: куда? Я привела его к солдатскому костру. Пулеметчики подвинулись, освобождая нам место. Усадила Тимошенко на чью-то разостланную плащпалатку.

— Ребята, дайте старшему лейтенанту чаю.

Дед Бахвалов, Пырков и Гурулев разом протянули Тимошенко свои кружки. Он взял у деда Бахвалова и тут же кружка выпала из его вялой руки, кипяток залил ватные брюки.

Я отвинтила крышку фляги, налила водки и протянула ему:

— Выпей.

— Не хочу! — поморщился Тимошенко и вдруг спросил неизвестно кого: — Как они посмели в нее стрелять?! В беременную! — Он оглядел нас всех по очереди странным тревожным взглядом и вдруг вскочил на ноги: — Слышите? Это она. Зовет. Ва-ря! Ва-ря! Я иду! — Он дал очередь из автомата и кинулся бежать в сторону немцев.

Его догнали уже у самой реки. Тимошенко вырывался, плакал, ругался, звал Варю и какую-то Лизочку. На-

верное, расстрелянную фашистами жену... Ни меня, ни окружающих не узнавал. Потом вдруг сразу выключился и, как подкошенный, свалился на снег. Потерял сознание. Вечером его отправили в медсанбат.

Утром Лиховских мне сказал:

— Твой Ухватов заместителя не получит. Есть приказ об упразднении этой должности.

— А мне ни жарко ни холодно. Ты же знаешь, что я имею дело с командиром стрелковой роты, а не с Ухватовым. Кого-то назначат на место Евгения Петровича? Ты ведь в разведку уходишь? Правда?

— Правда, — подтвердил Лиховских. — Повышают. На место Филимончука назначили. Его в штаб дивизии отзывают.

— Доволен?

— А меня никто не спрашивал. Приказ есть приказ.

— Впрочем, твое место только в разведке. Ты же озорник!

Лиховских засмеялся:

— Благодарю за комплимент. Вот будет Николаю Ватулину сюрприз. Он, поди, и мысли не допускает воевать в моем подчинении.

— Ничего, поладите. Два сапога пара. Он тоже любит дурить.

— Да .. Твоему Ухватову теперь труба. Хоть разорвись — один на весь батальон.

— Разорвется такой, держи карман шире! Если кто и разрывался, так это Тимошенко. Да и то по настроению. Впрочем, что ж на него обижаться — болен человек... Как ты думаешь, поправится он?

— Не знаю, — пожал Лиховских плечами. — Мне его очень жалко.

Комбат Радченко, хмуро оглядывая заснеженные холмы, сказал:

— Зимнее наступление кончилось. Занимаем оборону. Строиться, строиться и еще раз строиться! Работать днем и ночью, по уши зарыться в землю. — Он вместе с полковым инженером наметил линию обороны, места огневых точек и ушел в роту Павловецкого.

Я спросила Непочатова:

— Василий Иванович, вы занимались когда-нибудь строительством?

Непочатов подумал и ответил:

— Приходилось с батей заимки ставить. И даже в лапу рубили.

Я понятия не имела, что такое «рубить в лапу», но бодро сказала:

— Ну уж раз в лапу рубили, тогда все в порядке. Назначаю вас старшим прорабом нашего строительства. Мы должны построить капонир, два дзота, девять пулеметных площадок, четыре жилые землянки, в том числе для меня.

— Это в первую очередь, — решил свежеиспеченный прораб.

— Это в последнюю, — возразила я. — Сначала построим капонир и там для всех организуем обогревательный пункт. Имейте в виду, саперы только заготовят срубы для капонира и дзотов, а остальное все своими силами. Сроки самые жесткие. Начнем сегодня же.

Василий Иванович по привычке почесал затылок:

— Голыми руками не построишь. Надо пилы, топоры, кайла...

— К одиннадцати часам всё должен подвезти старшина.

— Земля уж очень мерзлая, товарищ младший лейтенант. Да и людей маловато...

— Учтите, Василий Иванович, это вы говорите только мне. Ни на какие ссылки скидок нам не будет. Понимаю: трудно, и даже очень, но надо! А раз надо, — значит, возможно! Так?

— Так-то оно так, сказал бедняк... — Непочатов тяжело вздохнул. — Раз надо — будем строиться. Русский человек все может.

— Вот это уже лучше. Позовите Лукина и Бахвалова. План обсудим.

Мы совещались больше часа. Решили за одну ночь построить по одной площадке на каждый пулемет, а потом сообща копать котлован под капонир в центре обороны роты.

Старшина Максим Букреев появился только в сумерках и услышал от меня такое, на что и возразить не сумел. Не нашелся.

Непочатов наточил лопаты, а дед Бахвалов развел пилы. За ночь построили три площадки. Пулеметные

земляные столы не стали пока обшивать лесом — промерзшая земля и так не оползала.

На другой день кайла застучали по всему участку обороны с самого рассвета. Верхний слой земли, скованный морозом, прогрызли с трудом, дальше пошел песок, и сразу стало легче. Но медленно, ох как медленно двигалась работа!

В основном мы страдали от холода. Весна была ранняя, но холодная. Днем, почти не переставая, шел мокрый снег пополам с дождем и иногда, разрывая пухлые облака, несмело проглядывало солнце. А ночью температура падала ниже десяти градусов, и наши вечно мокрые валенки промерзали насквозь. Во время передышки все разувались и совали босые ноги прямо в костер.

Но нам еще сравнительно повезло. Оборона проходила дугой, вогнутой вовнутрь. Мы были в самом центре дуги, и от нас до немецких позиций было около километра. Впереди, на нейтральной полосе, лес, так что мы и днем могли безнаказанно разводить костер, да и ночью поддерживали в котловане очажок, прикрытый с неба плащ-палаткой на кольях. Хоть по очереди, но руки-ноги погреть можно было. Немец нас мало беспокоил: даст залп-другой из минометов, и опять тихо.

Нашим же соседям слева — первому и второму батальонам — приходилось совсем худо: до немцев рукой подать. Днем не то что костер развести — работать нельзя.

Погибшего командира роты временно замещает взводный Ульянов. Он очень молод. На войну попал недавно, прямо из пехотного училища ускоренного выпуска. Ульянов очень старается, но держится неуверенно, новая должность ему явно не по плечу. Тем более что на долю командира роты свалилось вдруг столько забот разом.

Капитан Степнов на совещании сказал:

— Наступают трудные дни. Смоленские дороги вот-вот рухнут. Подвоза уже почти нет. Садимся на самый строжайший рацион. Надо разъяснить, что это временное явление...

Но солдаты и сами всё понимают — не маленькие, и работают как одержимые: стиснув зубы, упрямо долбят мерзлую землю.

Поначалу заметно ленился Пырков. Непочатов то и дело его подгонял и отчитывал:

— Что у тебя руки-то — крюки? Как ты держишь лопату?

— Так ведь я не трудящий элемент! — оправдывался бывший вор.

Дед Бахвалов возмущался:

— Ах ты, мазурик, не трудящий? Если нацепил из ворованного золота плямбу на здоровый зуб, так, думаешь, и барин? А если тебе жрать не дать? Тогда как?

— Так ведь и так не дают!

— Это еще не голод, — утешал его дед. — Да и здоров ты, как кабан. С осени закормлен. Порастрясешь маленько жир — себе ж на пользу...

Через каждый час делали передышку, и тогда дед «кормил» нас сибирскими пельменями.

— Каждая с кулак... Тестечко тоненькое-тонюсенькое, а в середке мясцо: баранинка, свининка, телятинка... лучок, перчик. Берешь ее, голубушку, на вилочку, окунаешь в сметанку...

— Ах! — взвизгивал Гурулев, судорожно проглатывая голодную слюну.

Солдаты смеялись, а дед невозмутимо констатировал:

— Один мазурик уже наелся. По сотне штук я в охотку съедал. А за́раз и тысячу бы как за себя кинул...

Лукин «наедался» по-своему. Он отходил в сторонку, усаживался на заснеженный пенек и перечитывал письма от Шурочки.

— Пообедал? — как-то спросила я его. Он не понял. Я кивнула на письмо.

— Ах это... Вроде бы полегче стало.

— Что же пишет твоя Шура?

Немногословный Лукин коротко отвечал:

— Ждет.

Ежедневно к вечеру на обороне появляется Федя Шкирятых, наш батальонный почтальон.

У Феди маленький смешной нос сапожком и большой улыбчивый рот. Он несколько раз ударяет железным болтом по сигнальной гильзе, подвешенной на сосне возле нашего будущего капонира, и звонко кричит:

— Подходи, подешевело! Расхватали — не берут!

Заслышав сигнал, солдаты, как по команде, бросают кайла и лопаты, плотным кольцом окружают веселого

почтаря и заглядывают ему в лицо с тревогой и надеждой. Равнодушных тут нет.

Федя мог бы разом освободиться от содержимого своей клеенчатой сумки: передать все письма оптом ротному писарю, и всё. Но он любит приносить людям радость и письма всегда раздает лично сам.

Вот почтальон нарочито медленно погружает руку в нутро своей вместительной сумы, и десятки пар солдатских глаз следят за его рукой, как завороженные.

— Пырков! Пляши.

Пырков грязной лапищей бережно принимает от Феди конверт, улыбаясь, долго читает адрес, но не уходит. Ждет до конца.

— Бахвалов!

Дед от волнения закусывает кончик бороды, и на его скулах пламенеют два красных пятна. Он получает сразу четыре письма. Срывающимся голосом докладывает вслух:

— От дочек со старухой... от зятя... от второго зятя... от младшего зятя... — Это все дедовы адресаты, но и он не уходит.

— Лукин! Гурулев! — и так до самого конца. А кто не получил — не верят, просят Федю:

— Пошарь хорошенько, может, за подкладку завалилось...

Покладистый почтальон выворачивает сумку наизнанку:

— Остальным завтра принесу.

Наступают минуты священной тишины: только бумажные листки шелестят на весеннем ветерке.

Если бы знали в тылу, как солдат ждет письма! Если бы видели глаза и лицо Пыркова! Полуголодный, усталый солдат? Как бы не так. Да это же счастливейший человек на свете! Целый день хохочет и задирает товарищей. И работа спорится. Пырков любит мечтать вслух: «Кончим войну, заявлюсь в родной Новосибирск. На своих бывших дружков и не взгляну. Расступись, шпана, фронтовик идет! Ох, и заживем мы с Катюхой!..»

Нет письма сегодня, завтра, несколько дней подряд — солдат приуныл. Вот как сейчас Андриянов. Махнул рукой и уселся в стороне от счастливых товарищей. Задумался. И чего ему не пишут?.. Мне очень жалко его.

— Иван Иванович, почистите мой автомат.

— Есть почистить, — равнодушно повторяет Андриянов.

— Зачем же так официально? Это просьба, а не приказ. Рука вот болит...

Он работал молча, тщательно протирая автоматные детали. Потом вдруг, искоса посмотрев мне в лицо, в раздумье сказал:

— Опять нету. Случилось что?..

— Так уж и случилось. Посчитайте сами, сколько рабочих рук осталось в колхозе? Наверняка работает за троих. Да и дети.

Солдат вздохнул и плотно сдвинул белесые кустистые брови:

— Так-то оно так, но ведь другие пишут. С Егоршей не приключилось ли что?..

— Почему именно с Егоршей, ведь у вас же трое?

— Девчонки-то, они посмирнее, да и постарше. А этот постреленок может и простудиться, и в полынью нырнуть. Это запросто. Опять же тайга у нас рядом...

— Да бросьте вы, Иван Иванович! Завтра же получите письмо. Вот увидите, ничего у вас не стряслось. Предчувствие меня никогда не обманывает.

Андриянов опять на меня поглядел долгим, пристальным взглядом, и я почувствовала, что ему очень хочется верить, что дома всё благополучно.

И в самом деле предсказание мое сбылось: на другой день получил Андриянов письмо и сразу повеселел — как подменили человека. Зато в тот же вечер ко мне подошел Попсуевич и несмело спросил:

— Товарищ младший лейтенант, получу я письмо?

— С Верховины, что ли? Да ведь там же фашисты.

Гуцул покраснел по самые уши:

— Нет. Тут из госпиталя одного...

— Напишет, так получишь.

— Андриянову-то небось сказали...

Я расхохоталась.

— Иди к сержанту Бахвалову. Он погадает.

Наш дед, как Мартин Задека, запросто разгадывает любой сон: «Стало быть, ты, мазурик, видел кобеля? Хорошо. А какой кобель из себя: борзой или лягавый? Не дворняга? Не помнишь? Ну выходит, что и сон твой пустой. Скорой перемены не предвидится. А что ж тебе еще надо?»

Я как-то с досадой сказала:

— Василий Федотович, зачем вы их обманываете?

Дед хитро прищурился и тут же возразил:

— А кому от этого вред? Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Однажды после очередной почты мои ребята окружили конопатого Миронова. Подняли неистовый хохот. Оказалось, что Миронов уже давно переписывается с молоденькой ткачихой из Иванова. Девушка попросила у него фотокарточку, а фотографии у солдата не оказалось. Но Миронов-тихоня вышел из положения: за четыре порции махорки из будущего пайка выменял у Пыркова его довоенное фото.

Красивый Пырков был снят во всем великолепии блатного шика: в шляпе, манишке, галстуке бабочкой и даже в кожаных перчатках. Эту карточку Миронов и решил послать в Иваново, как свою собственную.

— Ну, ребята, это нечестно!— сказала я.— Зачем же бедную девушку вводить в заблуждение?

Мне живо возразил пулеметчик Березин:

— А ваш брат с нами поступает честно? Целый год я переписывался с одной из Владимира. И фото получил: молоденькая, вроде вас, и лицом красивая. А как встретился после госпиталя — еле ноги унес: лет под сорок да еще рябая!..

Ну что тут было возразить? Заочная переписка сейчас в моде. Девушки пишут со всех городов. Отсылая на фронт подарки, вкладывают записки в карманы полушубков, в кисеты, в рукавицы и даже в ящики с патронами. Хорошие записки. Трогательные. Как не ответить? Многие отвечают. Так завязывается дружба между тылом и фронтом.

Я получаю письма редко. Пишет мне только доктор Вера из моей родной дивизии, да иногда майор Воронин присылает красивые открытки. Но на днях я неожиданно получила письмо от старого доктора Быкова. Письмо Николая Африкановича было короткое и состояло из одних восклицаний: «Коза-дереза! Чудо-юдо пехотное! Куда ж ты залезла, хохотунья-щекотунья?! Это же тебе не ансамбль песни и пляски!..»

Папенька ты, папенька! Милый человек. Вот заживет рука, напишу я тебе большое письмо и всё объясню.

Через два дня на третий я хожу в санроту на пе-

ревязку. Медики уже построили землянку, и возле их маленькой печки я с наслаждением отогреваю насквозь промороженные кости. Врач Нина Васильевна, ощупывая мои ребра, сокрушается:

— Боже! Живот прирос к спине. Чем ты держишься, девочка?

Она глядит на меня, как мать на больного ребенка, и угрожает упрятать в госпиталь. Ну уж это дудки! В госпиталь меня в случае чего могут только увезти, а на своих ногах никогда не пойду. Не такое время, чтобы отлеживаться в чистой постели. Милая врачиха каждый раз поит меня чаем с глюкозой и, провожая, засовывает в карман шинели какие-то порошки.— Это тебя поддержит.

Порошки я отдаю фельдшеру Козлову, а тот, лизнув языком, прячет их в свою сумку с красным крестом. Знала бы это Нина Васильевна!..

Однажды после очередной перевязки я не спеша возвращалась домой. Неподалеку от КП нашего батальона незнакомые артиллеристы, беззлобно переругиваясь, вытаскивали пушку, попавшую колесом в старый окоп. Я уже прошла мимо, когда меня окликнули: «Тинка!» Я остановилась как вкопанная. А сердце забилось!.. Его голос... Ведь только один Федоренко знал мое настоящее имя. Слуховая галлюцинация. Но зов повторился, и я резко обернулась. На меня смотрел незнакомый парень в погонах сержанта, высокий, широкоплечий, черноусый. Смотрел и улыбался чуть насмешливо и лукаво. Я мучительно вспоминала, кто бы это мог быть, и никак не могла вспомнить.

— Тинка-скотинка! Вот так встреча!

Андрей!.. Одноклассник Андрей Радзиевский!

— Андрей! Андрюшенька! Даже подумать не могла... Разве тебя узнаешь — настоящий мужчина!.. Андрейка! — Я чуть не плакала от радости, а Андрей, не отпуская моей руки, смеялся.

— Конечно, мужчина. Скоро девятнадцать! А ты всё такая же, Тинка! И всё та же челка... И косички.— Он вдруг отпустил мою руку, нахмурился, черные глаза подернулись грустью.— Тина, погиб Мишка Малинин...

— Что ты говоришь?! Мишка...— Я заплакала.

— Между прочим, я совсем недавно из родных мест. Да, ведь я твою бабушку видел!

— Андрей?!— Высокие сосны вдруг покачнулись и поплыли перед моими глазами.

— Да живы! Все твои живы!— кричал Андрей, но я никак не могла прийти в себя.

Моя бабушка, возвратившись с Шелони домой, как и следовало ожидать, не поверила сторожу деду Зиненко, что я ушла в тыл. Она меня искала среди партизан — все бригады обошла... В конце сорок первого года она вступила в партизанский колхоз, вместе с ребятишками и с козой Муссолини.

Последний раз Андрей видел бабушку в начале августа сорок второго года. И это называется недавно!.. Каратели наступали на знаменитый Партизанский край. Восьмого августа начался страшный бой. Фашисты, с танками, самоходной артиллерией, армадами бомбардировщиков, со всех сторон двинулись на партизанские бригады. Силы были неравными. С кровопролитными боями партизаны отходили в глухие леса и болота соседних Псковской и Новгородской областей. Мишка Малинин погиб, до последнего патрона защищая госпиталь. Андрея, раненного в грудь, спасли боевые товарищи. Лечился он на Большой земле...

Отступая, партизаны повесили бывшего завхоза МТС Егора Петровича — продался фашистам, хитроглазый...

Андрюшка разбередил старую рану. С августа сорок второго года много, ох, много воды утекло... Всё могло случиться. Каратели не щадили никого: ни старого, ни малого...

Он шел по нашей главной траншее, ступая широко, пружинисто и твердо. Был он в короткой флотской шинели, в черной барашковой шапке с «капустой», а на его левом плече в такт шагам раскачивался тощий зеленый вещмешок.

Мы провожали его изумленными взглядами.

— Не иначе, как заблудился человек, — бросил ему вслед Непочатов.

Заблудился?! Интересно... Да от нас до любого моря сотни и сотни километров!

Дед Бахвалов пожевал кончик бороды и задумчиво сказал:

— Разрази меня гром, это новый ротный. Ну, мазу-

рики, держись,— это вам не покойный старший лейтенант Рогов...

Моряк дошел до нашего капонира, остановился и потребовал Ульянова, а Ульянову приказал:

— Свистать всех наверх!

Но нас не надо было сзывать,— мы все были налицо и с любопытством разглядывали «чужака».

Он застегнул свою куцую шинель на все пуговицы и кратко отрекомендовался:

— Старший лейтенант Григорий Мамаев, образца тысяча девятьсот четырнадцатого года. Назначен командиром первой роты. Вопросы есть?

Вопросы, конечно, были, а один из них так и вертелся у каждого на языке: «Как ты, моряк, попал к нам в пехоту?» Но мы молчали. Внешний вид бравого флотского не располагал к откровенной беседе.

У старшего лейтенанта Мамаева богатырские плечи, шея как у годовалого бычка, и медно-красное, обветренное лицо. Он стоял, как на скользкой палубе корабля, широко расставив ноги в добротных яловых сапогах, и глядел на нас довольно сердито. Точно угадав наши мысли, счел нужным пояснить:

— Если кто-нибудь из вас думает, что меня, как непутевого краба, помели с флота, то он ошибается. Я, так сказать, вынужденно бросаю якорь. А на флоте мы еще будем. Пре-дуп-реж-даю: порядок потребую, как на военном судне! Ясно?

Нам было ясно — этот потребует!

В первый же день моряк спросил меня:

— Знаешь ли ты, что женщина на корабле приносит несчастье?

— А мы не на корабле, — ответила я.

Вечером опять задал вопрос:

— Знаешь ли ты, женщина, что такое море?

— Знаю. Соленая водичка.

Моряк постучал согнутыми костяшками пальцев по своему широкому лбу и сказал:

— Запомни, мы с тобой друг друга не поймем!

— Ничего, — бодро возразила я, — вместе хватим лиха, споемся.

Но Мамаев даже не пожелал со мною умываться из одного умывальника и на сосне, рядом с моим, демонстративно повесил свой.

На другой день, выспавшись после ночной вахты, он выбрался из своей землянки, в одной тельняшке. Я как раз умывалась ледяной водой. Новый ротный не поздоровался, только покосился в мою сторону припухшим со сна глазом. Снял тельняшку, бережно повесил ее на сосновый сучок и долго растирал мускулистое тело талым снегом.

Я наблюдала за ним почти со страхом. С содроганием подумала: «Озолоти, не разделась бы на таком холоде. Брр!..»

Моряк, с наслаждением отфыркиваясь, умылся, надел тельняшку, опять на меня покосился и вдруг запел во весь голос:

Напрасно ты, на бога уповая,
Мечтала моряка пришвартовать.
Ошибку грубую несешь, родная,
Нам, морякам, на женщин на-пле-вать!

Мне стало смешно. Экий женоненавистник! И чего орет, чудило? Услышат немцы, будут нам аплодисменты.

Первым делом новый ротный вырезал себе увесистую дубинку с круглым набалдашником. Любопытному ординарцу Соловью многозначительно сказал:

— Пригодится...

Опираясь на свою палочку, он ходил по обороне, ворчал и так заковыристо ругался, что видавшие виды солдаты только посмеивались, а я затыкала уши. Однажды не выдержала, сказала:

— Эй, моряк красивый сам собою, ты бы поменьше сквернословил!

— А ты бы, женщина, уши не развешивала!— отрезал Мамаев.

Ему не понравилась оборона: и место неподходящее, и система огня не та, и работы идут слишком медленно..

Но дня через два-три моряк огляделся и закричал, как на корабле в двенадцатибалльный шторм:

— Полундра! Ты что же это, краб, демаскируешь? Или тебе неизвестно, что там НП артиллеристов?

Каждому провинившемуся он показывал свою дубинку:

— А этого ты не едал?

Впрочем, не только показывал, а как Петр Первый в первую же неделю отвозил своего ротного старшину. Возмездие, очевидно, было справедливым, тот и жало-

ваться не пошел. Побив старшину, моряк, сердитый, ввалился ко мне в землянку и прямо с порога:

— Солдаты есть хотят!

— А я что — начпрод?— зло ответила я.

Он упрямо тряхнул рыжеватым чубом:

— Не в этом дело. Ты мне скажи: всегда у вас тут такая вакханалия со снабжением?

— Было хуже. Сейчас налаживается.

Мамаев гневно взглянул на меня:

— Да-а, по-ря-до-чек у вас в пехоте!

Я промолчала, и он ушел.

В течение месяца мы «сражались» почти ежедневно. Ротный придирался на каждом шагу, наседал упрямо, напористо, точно задался целью во что бы то ни стало выжить меня со своего пехотного корабля. Чувствуя себя правой, я не уступала и с неменьшей энергией отстаивала свою независимость. Кто ты такой, собственно? Откуда взялся? Пришел на всё готовое и брюзжит: это не так, да то не этак...

Мамаеву вдруг не понравились уже готовые пулеметные площадки, и он велел все до одной переделать, передвинуть на новые места. Я категорически запротестовала: зачем? Видимость хоть куда, обстрел хороший, полковой инженер одобрил, — что еще надо?

Моряк нагрубил, но отвязался. А потом очередь дошла до моего капонира:

— На черта ты соорудила такую гробину?! Что это— овощехранилище или общественный нужник? Видал бы я в гробу эту пекарню!

Я охрипла, прежде чем доказала, что громоздкий капонир — не плод моего досужего вымысла, а уставное и вполне инженерное сооружение. Да и чем он, собственно, мешает? В случае артналета или бомбежки надежное убежище для солдат — пять накатов бревен на крыше — это не кот начихал. Нет маневренности? И не надо. В случае чего бой будем вести с открытых площадок, тем более что дело к лету.

Генеральная стычка у нас произошла по поводу проволочных заграждений. Пять ночей стрелки тянули перед позициями роты колючую проволоку в три кола. Командовал младший лейтенант Ульянов. Ни перед одной моей точкой проволоку не поставили. Ульянов ска-

зал, что так распорядился ротный. Пошла объясняться к Мамаеву.

Моряк собственноручно стирал свою старенькую тельняшку в цинковом ящике из-под патронов и был недоволен, что я его застала за столь неподходящим занятием. Неласково спросил:

— Женщина, что тебе надо в моем кубрике?

— Успокойся, мужчина. Не съем. Почему не ставите проволоку перед пулеметами?

Мамаев нахально ответил:

— Своих лбов на баржу не пересажаешь, вот и тяни колючку. Зажирели, лодыри!

— Это мы-то лодыри? Зажирели? Ну, я пошла звонить комбату.

— Звони хоть самому комдиву, а мое слово — железо!

Комбат недовольно спросил:

— Никак власть не поделите? Ох, доберусь я до вас — мигом помирю!

— Но ведь это же безобразие, товарищ тридцатый! Тянули, тянули, и вдруг нарочно оставили прорехи!

— И твои не надорвуться, если доделают,— решил тридцатый и дал отбой.

Мамаев вышел ко мне навстречу, ехидно улыбаясь Спросил:

— Ну, что сказал тебе комбат?

— Велел кланяться твоей прабабушке.

— Ха-ха-ха!

— Вот напартачу с колючкой, посмеешься другим голосом — за оборону-то отвечаешь ты, а не я!

— Женщина, не испытывай мое терпение, оно не безгранично. Я тебе напартачу!

— Ты думаешь, я умею тянуть проволоку? Подскажи, если ты такой умный.

— А ты что ж, полагаешь, что война—моя специальность? Думаешь, я когда-нибудь тянул колючку? Думать, женщина, надо, мозгой шевелить!

Посоветоваться было не с кем. Мой заместитель и правая рука Непочатов тоже никогда не имел дела с колючей проволокой. Ульянов только засмеялся: тянули, как умели. А полкового инженера днем с огнем не поймаешь: все строятся — замотался человек, где уж ему консультировать каждого взводного. Решили делать,

как покрасивее, чтобы зигзагов было больше, а когда закончили, то оказалось, что ни один фас не простреливается фланкирующим огнем! Это заметил сам командир полка. Он сделал замечание комбату, комбат отчитал Мамаева, а уж моряк отыгрался на мне: целые сутки «вынал душу», а закончил так:

— И за какие только прегрешения меня столь сурово наказал Нептун?

Я не раз вспоминала добрым словом погибшего Евгения Петровича, но, как ни странно, незаметно для себя начала привыкать к Мамаеву, к его воркотне, к постоянной требовательности, и даже к соленому мамаевскому слову. Удивительно, что Мамаев, сам неисправимый сквернослов, терпеть не может непечатной брани в чужих устах. Выкатив глаза, орет: «Тебе что, краб, язык обрезать?» Если ему возражают: «А вы сами?»— и здесь не теряется: «Поживи, салажонок, с мое, а тогда и суди. Да и не давал я тебе права обезьянничать. Перенимай от меня хорошее, а плохое оставь при мне. К тому же среди нас есть женщина. Мозгой шевелить надо...»

Ну и комик! А попробуй засмейся — не обрадуешься.

Как-то после совещания нас задержал капитан Степнов. Он сказал Мамаеву:

— Мы забираем от тебя Анку-пулеметчицу. Переводим ее в роту Павловецкого, а ты получишь взводным мужчину.

— Здрасьте, я ваша тетя!— возмутился Мамаев.— Воспитывал, воспитывал, а теперь отдай дяде?

— От руки ты ее, что ли, воспитывал?— засмеялся капитан Степнов, показав глазами на мамаевскую дубинку.

— Нет, от языка,— ответила я за Мамаева.

— Вольному воля,— разобиделся моряк.

Где-то в глубине души ворохнулось теплое чувство к Мамаеву: «Надо же! А я-то думала, что он рад-радехонек от меня избавиться».

— А может быть, мне не стоит переходить к Павловецкому?— спросила я капитана.

— Так вы же грызетесь между собою с утра до вечера!— возмущенно сказал капитан Степнов.— О вас даже в соседнем полку анекдоты сочиняют.

Лицо Мамаева выразило неподдельное изумление:

— Клевета! Когда же это мы грызлись? Видал бы я этих анекдотчиков ..

Но по дороге домой мы снова разругались. Мамаев, имея в виду оборонные работы, спросил:

— Заканчиваешь?

— Да как будто бы дело движется к концу. Остались небольшие доделки, и всё.

— Закончишь, будешь Ульянову помогать.

Я даже остановилась:

— Это в честь чего же?

— А в честь того, что у него еще работы непочатый край. Надо центральную траншею довести до обеих стыков.

— Твой Ульянов будет копаться до второго пришествия, а мы виноваты? Траншея ваша, вы и доделывайте, а нам заниматься надо. Пополнение вот получили. Новички пулемета не знают.

Мамаев возмущенно ударил себя по бедрам, по всегдашней привычке закричал, точно его резали:

— Наша, говоришь, траншея?! А вы, что ж, и ходить по ней не будете? Или у вас, как у серафимов, крылья вдруг выросли? Ничего себе боевое содружество. Что ж молчишь? Крыть нечем?

— Отвяжись. Чуть из-за тебя не забыла. Ведь у меня сегодня день рождения!

— Да что ты! — На лице Мамаева мгновенно расцвела улыбка. Сердитые складки на лбу разгладились. — Сколько же тебе стукнуло?

— Сколько стукнуло, столько и брякнуло: целых восемнадцать!

— Да ну! А я думал, что ты раза в два старше. Уж очень злоязычна.

— Зато у тебя ангельский характер.

— Ладно, не в том дело. Стало быть, в гости позовешь?

— А что проку тебя звать? Полаемся, только и всего.

— Да что ж мы, ненормальные — в такой день лаяться? Давай договоримся: горючее твое, закуска моя. Вот такую ку-си-ну сала из дому получил. Идет?— Он вдруг опять нахмурился.

— Ну всё,— сказала я,— сейчас начнется...

— Попала пальцем в небо,— усмехнулся Мамаев.— Понимаешь, письмо из дому неприятное получил. Сынишка убежал. До самой Разуваевки добрался. И сообразил же, салака: «Папа погиб. Маму и бабушку разбомбило». К воинскому эшелону примазывался. Ведь только десять лет поросенку! И в кого такой проходимец?— Мамаев захохотал.

— Тоже мне — папаша! Тут надо не смеяться, а меры принимать. Убежал и еще раз убежит.

— Какие ж могут быть меры на расстоянии? Вот был бы я дома, так взял бы флотский ремень..

— Помогло бы, как мертвому припарка.

Он ехидно ухмыльнулся:

— Слушай, а сколько у тебя детей? Двое? Трое?

— А ты что ж не знаешь, что чужих воспитывать легче, чем своих?

— То-то и оно...— (Мамаев, оказывается, и вздыхать умеет, да еще как горестно.) Это в первый раз за всё время он поделился со мной своим личным. Ну что ж? Кажется, оттаивает неприступное флотское сердце. Ничего, найдем общий язык!..

Вечером скромно отпраздновали мое совершеннолетие. Мамаев щедро одарял нас большими ломтями домашнего сала и пел песни. У него изумительный по красоте голос — настоящий бархатный баритон.

Из далекого Колымского края
Шлю тебе, дорогая, привет...

Тоже мне, песня!

Я сказала:

— Давай другую.

Он озорно свистнул в два пальца и заплясал по землянке:

Когда я был мальчишка,
Носил я брюки клеш...

— Долой! Давай нашу.— Я начала сама:

Мы смерти не пугаемся,
От пули не сгибаемся,
От раны не шатаемся —
Такой уж мы народ!

Мамаев, Ульянов, Иемехенов и дед Бахвалов дружно подхватили:

Не раз в бою проверены,
Не раз огнем прострелены...

Ах, как поет прохвост Мамаев! Никогда бы не подумала.

Два неразлучных друга командиры взводов Иемехенов и Ульянов шалили, как резвые козлята, и пытались танцевать польку.

Лукин, подперев кулаками румяные щеки, молча улыбнулся своим мыслям. Наверное, думал о Шурочке и родном колхозе. А подвыпивший дед Бахвалов стучал кулаком по столу и грозно вопрошал моих гостей:

— Признавайтесь, мазурики, кто из вас сказал, что женщина на фронте — вред и беспорядок? Ась? Да мы за своего взводного троих, нет — пятерых мужиков не возьмем! Так я говорю, мазурики?

Деда вполголоса уговаривал Непочатов. А мне было грустно. Недоставало тихого присутствия Вари Саниной, не хватало Евгения Петровича, скромного Шамиля Нафикова и Лиховских, которого я забыла пригласить. И ныли старые незажившие раны... Федоренко сейчас было бы двадцать пять лет. Только двадцать пять... А его уже нет... Еще утром я получила письмо от доктора Веры. Она поздравляла меня с днем рождения и... с правительственной наградой. Это было так неожиданно, что я даже не обрадовалась. Моя родная дивизия наградила меня за августовские бои подо Ржевом! Прошло около года, а вот вспомнили. Кто же это, интересно? Может быть, комиссар Юртаев поправился и вернулся в свой полк? А может быть, строгий Димка Яковлев?.. Моя дивизия сейчас была далеко отсюда: вела бои за украинскую землю на Харьковском направлении.

Доктор Вера писала, что в зимнем наступлении погиб комдив генерал-майор Кислицын. Так я с ним и не успела познакомиться... А ведь приказ о награждении, наверное, подписал он... Полковника Карапетяна тоже уже нет в нашей дивизии — он теперь целой армией командует. Впрочем, у меня уже другая дивизия — Сибирская! Хорошая дивизия, славный народ, но всё равно сердце болит по той, самой первой... Чижик там служил.. Восемнадцать лет! Ни белого платья, ни полонеза Огинского, ни цветов... Впрочем, цветы были. Иемехенов притащил целую охапку вереска, с крошечными, как булавочные головки, розоватыми бутончиками. Он сам

поставил свой веник в большую банку из-под консервов и даже обернул «вазу» белой бумажкой... Милый, маленький тундрович!.. А бабка моя, наверное, сегодня плачет горючими слезами... И мне хочется реветь в три ручья, да совестно, ведь не Чижик — командир.

Я с каждым днем всё пристальнее приглядываюсь к Мамаеву и всё больше проникаюсь к нему уважением. Мамаева можно не любить, можно сколько угодно возмущаться его грубостью, но не уважать нельзя. Не только одну меня, всех окружающих покоряет его собранность, деловитость, прямолинейность. По-моему, он из тех, кто знает, чего хочет; из тех, кто идет к намеченной цели, не сворачивая в сторону и не делая уступок ни себе, ни другим. У Мамаева строгий распорядок дня: спит он не больше шести часов в сутки, ежедневно бреется и каждое утро возле своей землянки проделывает полный комплекс упражнений, а потом холодное обтирание. Он всегда занят. У него пока нет ни одного заместителя, и он везет за троих. И что бы Мамаев ни делал, делает со вкусом, с истинным удовольствием, заражая других своей неистребимой бодростью и энергией. И отдыхает командир роты не по-нашему: не признает «козла», терпеть не может замызганных анекдотов, не любит, как он выражается, «травить баланду». В свободное время он усаживается за маленький стол под сигнальной сосной и, не обращая внимания на холод, сам с собою играет в шахматы. И даже когда фриц хлещет бризантными по Вариной высоте, Мамаев не встанет из-за стола, пока не закончит партию, а выиграв у воображаемого противника, хохочет смачно, удовлетворенно. Мне очень хочется сыграть с ним партию-другую, но он прин-ци-пи-ально не признает женщину за серьезного партнера: «Из тебя шахматист, как из меня прима-балерина...» Видали? Подумаешь, Ботвинник! Ну и наплевать. Я могу сыграть с Непочатовым или дедом Бахваловым. Но Василий Иванович очень уж долго обдумывает каждый свой ход, а дед жульничает самым бессовестным образом: ходом пешки назад берет моего коня, да еще и оправдывается! «Это ж поле боя, взводный! Так я понимаю? Ась? Стало быть, чего же солдат должен зевать, коли конница у него в затылке!»

И есть еще одна ценная черта в характере Мамаева: он понимает и по-настоящему любит солдата — рядового труженика войны, хотя спуску не дает никому. А солдаты переднего края — народ чуткий, отлично разбираются, где бодрячество и показной демократизм, а где искреннее, идущее от сердца. И как ни прячет Мамаев свою душу за панцирем нарочитой грубости, солдаты ее разглядели.

Теперь я многое знаю о нашем ротном командире из его же отрывочных рассказов. Вспоминая свое беспризорное детство, Мамаев любит впадать в минорный тон, и это ему так не идет, что получается скорее комично, чем трогательно: «Мальчишечка-несмышленыш, без роду, без племени, не помню, как и оказался на улице. Ни папаши, ни мамашеньки, ни крова над беззащитной головушкой...» Однако «несмышленыш» успел окончить и школу ФЗО и речное училище. Ходил старпомом на пассажирском до Астрахани и даже до самой Москвы. Волгарь жил весело, громко, с распахнутым сердцем — по всей Волге было слышно Гришку-капитана. На войну попал добровольно уже членом партии. А семейной жизнью был неудовлетворен. Не то чтобы они с женой ссорились, а просто не понимали друг друга. Женился он рано, еще до действительной службы, а когда вернулся домой, сыну уже было четыре года.

— ...Влюбился я так, что хоть пропадай. Парень был решительный: наваксил флотские штиблеты, и бах — предложение. Татьяна сразу согласилась, а ее маменька — ни в какую! Но я долго не раздумывал, схватил Таньку в охапку и в загс... А теща мне досталась по блату от самого господа бога. Она не ругалась, не брюзжала — молча несла свой тяжкий крест: дочь потомственного почетного гражданина должна сидеть за одним столом с бывшим беспризорником! Ну это ли не трагедия?

Всё бы ничего, но стала она портить Сережку: в церковь таскать да всяким лакейским штучкам учить. «Поцелуй у бабушки ручку. Скажи: мерси, милая бабушка, за обед...» Ах ты, старая калоша! Дал я бой раз и два — никакого толку. Стала хитрить. Ребенка научила врать и лицемерить. Как бабка дома — ко мне и не подходит. Сидит, как мышонок, и глазенки не поднимает. Бабка за дверь — он ко мне на шею. Такую, бывало, возню

поднимем — дым коромыслом! Всю тещину рухлядь перевернем. Ха-ха-ха! Нет, ты только подумай, все комнаты захломощены, а чем? Стоит «фу ты, ну ты, ножки гнуты», а это, оказывается, ко-зет-ка! Видал бы я все эти пуфики-туфики в гробу, а кошку Маркизу на живодерне... Бывало, зову Татьяну в кино, а она: «Надо маму спросить». Налажу с субботы лыжи: «Таня, айда за Волгу». А она: «Мама сказала, что замужней женщине это неприлично». Ну и уйду один. Так и жили: ее из дому не вытащишь, меня домой не дозовешься. Крутишься как белка в колесе, а радости мало. Любил же я Таньку! А жизнь не клеилась. Приду домой поздно, все спят, а я злюсь, и чего злюсь — сам не знаю. Так бы и шваркнул об стену все эти вазочки и гераньки. А сейчас обидно: не так жил. Надо было бы взять Татьяну да Сережку и бежать из этого мещанского болота куда глаза глядят. Глянул я на Танюшу, когда она провожала меня на фронт, и точно внутри что-то оборвалось. Краб ты, думаю, непутевый! Ведь эта же будет ждать до самого своего смертного часа!.. Светлая такая, грустная, глаза заплаканы... Сережку к себе прижимает... Эх, начать бы всё сначала! Но ничего. Вернусь, всё по-своему переверну.

Я его подзадорила:

— Врешь. Ничего ты не изменишь. Вернешься и усядешься на тещину ко-зет-ку, как старый мещанин.

— Нет уж, амба! — захохотал Мамаев. — Увидишь. Духу мещанского не переношу. Я Татьяну исподволь подготовляю — в каждом письме разъясняю ей свою программу-минимум.

— Ладно. Поживем — увидим. Помирать не собираемся.

За несколько дней до Первого мая наконец-то закончили строительство. Соединились траншеями и с правым и с левым соседом. Позади целый месяц изнурительного труда, равного подвигу, впереди заслуженный отдых за надежными укрытиями

И комбат, и командир полка в основном остались довольны. Правда, есть некоторые недоделки: там подсыпать, там углубить да подчистить. Но по сравнению с произведенным фронтом работ это сущие пустяки.

Погода как-то сразу вдруг установилась очень теплая, так что многие солдаты, скинув осточертевшие за зиму валенки, разгуливают по траншее босиком.

Только теперь я обратила внимание на окружающую местность: какая красота! Казавшиеся унылыми холмы зазеленели и сразу несказанно похорошели. Лес в тылу и на нейтральной полосе окутался нежной зеленоватой дымкой.

Впереди яркой лентой сверкает на солнце река Осьма. Прямо на глазах из песчаного бруствера вылезают ярко-желтые цветы мать-мачехи и густо-лиловые мохнатые колокольчики сон-травы.

Даже суровое сердце нашего комбата растопили теплые солнечные лучи. Он появился на обороне с букетиком в руках и, разговаривая с Мамаевым, то и дело нюхал лиловые колокольчики, и кончик его большого носа был желтым от цветочной пыльцы. Он и Мамаеву дал понюхать, спросил:

— Как, по-твоему, чем пахнет?

Моряк добросовестно понюхал, сморщил нос:

— А ничем...

— Как это ничем?— возразил комбат.— Весной, парень, пахнет. Прелой землей.

Он долго оглядывал окрестные холмы и наверняка думал о чем-то очень далеком от войны. Вздохнул и задумчиво сказал:

— Пахать, сеять давным-давно пора. А мы, варвары, родную землю железом корежим, кровью удобряем. Ну, да история нас простит. Не мы этого хотели...

Заметив на моем лице удивление, Паша мне шепнула:

— Ведь он агроном...

Я еще больше удивилась. Вот уж никогда бы не подумала, что у комбата такая мирная профессия. А мне казалось, что наш Радченко и родился-то на поле боя: под трубный вой и грохот полковых барабанов.

Впрочем, что ж тут удивляться? Разве думал когда-нибудь минский учитель Рогов Евгений Петрович, что ему доведется героем умереть на поле боя?.. А тихая жалостливая Варя-чалдонка?.. А живые?.. Мой приятель Лиховских, старший пионервожатый одного из детских домов в Сибири? А начальник штаба полка майор Матвеёв, директор детского туберкулезного санатория?.. А

замкомбата Соколов, бывший зоолог, начинающий ученый?

Как-то Мамаев попросил у него прикурить, и Соколов подал ему спички. Мамаев открыл коробку и с омерзением отшвырнул ее прочь. Надо было видеть, как огорчился Соколов, когда все его жучки какой-то особой породы проворно расползлись по сухой прошлогодней траве...

Все мы по природе мирные и в абсолютном большинстве глубоко штатские люди. А пришлось Родине трудно, и все мы здесь. И будем сражаться до последнего вздоха, стоять насмерть, бить врага до победы!

За командным пунктом батальона, возле непроточного маленького озерка приступили к строительству бани. Прорабом назначили деда Бахвалова и выделили в его подчинение десять моих и мамаевских солдат. Строители возвратились на четвертые сутки. Они несли на плечах целый ворох березовых веток с едва распустившимися листочками и лихо горланили любимую песню деда Бахвалова:

Ты подумала, Маруся,
Что погиб я на войне
И зарыты мои кости
В чужедальней стороне...

Впереди, победно выставив бороду, вышагивал сам прораб, дирижировал зеленым веником и браво подсчитывал ногу:

— Ать-два! Левой! Левой!

Весь вечер дед Бахвалов собственноручно вязал огромные веники и наделял ими сначала строителей бани, потом всех подряд.

— Венички-то, дедок, того...— сказал ему Мамаев,— прутьев больше, чем листьев, что твои розги...

Старый пулеметчик расплылся в улыбке:

— По Сеньке и шапка... Сибиряку в самую плепорцию...— И вручил моряку самый большой веник.

За успешное строительство бани комбат предоставил пулеметной роте право мыться первой. Я сняла с обороны десять человек и повела в баню. С остальными остался Непочатов.

Над круглой жестяной трубой бани чуть-чуть стру-

ился легкий сизый дымок. А возле бани, на разостланной палатке, целая куча солдатского добра — летнее обмундирование: сапоги, ботинки, белье, полотенца. А над кучей, как Кощей над златом, раскрылатился Макс-старшина со своими двумя помощниками.

Дед Бахвалов с поклоном протянул мне один из своих веников, тот, что поменьше:

— Попарьтесь-ка во славу, пока мы тут со старшиной занимаемся.

Я шагнула в предбанник, нерешительно заглянула в парилку и сразу же отпрянула назад: струей раскаленного воздуха меня едва не сшибло с ног.

— Нет,— сказала я, возвращая деду веник,— что-то у меня нет никакого желания изжариться заживо. Помоюсь после всех.

Солдаты засмеялись и с веселым гомоном повалили в баню.

Прошел час, а из бани еще никто не выходил. Прошло еще полчаса. Появилось наше начальство: Ухватов со своим писарем — у обоих по жиденькому венику под мышкой. Старшина Букреев постучал в двери мыльной — ни ответа, ни привета. Он обошел вокруг баньки, заглянул в подслеповатое окошечко. Вернулся, доложил Ухватову:

— Ни черта не видно. То ли угорели, то ли заснули..

Подождали еще пятнадцать минут. Двери предбанника распахнулись настежь, на улицу выскочил Попсуевич с ошалелыми глазами и, придерживая на ходу подштанники, что есть силы понесся к водоему.

— Один готов,— равнодушно заметил писарь.

Остальные всё парились.

Ротный запетушился:

— Ну это уж хреновина с морковиной! Два часа парятся!— И ко мне:— Выгоняй своих нахалов. Пора и честь знать!

Я постучала себе пальцем по лбу:

— Вы что, совсем уже «того»? Выгоняй! Да ведь они голые.— А сама подумала: «Пусть попарятся всласть».

Макс-растратчик наконец рассердился не на шутку:

— Я их, паразитов, сейчас попарю! Они у меня неделю чесаться будут!

Он куда-то сходил и вернулся с большим букетом молодой крапивы. Проворно разделся до трусов, отыс-

кал в куче брезентовые рабочие рукавицы, натянул пилотку на бритую голову и, грузный, волосатый, белотелый, решительно шагнул в раскаленное банное нутро. Из парилки донесся визг, хохот, потом чей-то истошный вопль, и снова всё затихло.

Ровно через десять минут Макса вытолкнули в предбанник, но это был уже не старшина, а его распаренные, исхлестанные останки в рваных трусах. Он вывалился из предбанника наружу, рухнул лицом в траву и застонал.

— И второй спекся,— невозмутимо сказал писарь.

Ухватов наклонился над пострадавшим, участливо спросил:

— Что с тобой, старшина? Плохо, что ли?

Макс с трудом оторвал от земли голову, кривя толстые губы и заикаясь, выдавил плачущим голосом:

— Б-б-бандиты! Они м-мм-е-ня...

— Побили, что ли?

— П-п-па-ри-ли в девять ввв-ве-ников...— Старшина, как чудовищный розово-красный рак на четвереньках пополз к озеру.

Ухватов взвизгнул совсем по-бабьи и с хохотом повалился на траву.

Давно и я так не смеялась...

Солдаты отмыли двухмесячную грязь и сразу стали совсем другими. В новом летнем обмундировании, подстриженные, побритые, сытые, довольные, они были столь непохожи на чумазых работяг, долбивших мерзлую землю, что Мамаев удивленно захлопал ресницами:

— Вот те раз — в ноздре квас! Они, и вроде бы не они...

Гурулев опять стал похож на миловидную девочку-подростка. На скулах Пыркова заиграл завидный румянец. У Попсуевича в тугие кольца завились хорошо промытые блестящие черные волосы, засверкали горячим задором цыганские глаза. Товарищи давно уже простили ему каверзную историю, когда он вместо «языка» угодил к разведчикам в мешок. Наверняка забыл об этом и сам гуцул и чувствует себя полноправным членом боевого коллектива. Дед Бахвалов и никогда-то не унывал, а теперь был особенно в ударе и с подъемом рассказывал свои бесконечные мистические истории, не-

пременным участником и очевидцем которых был он сам. Или чудил на занятиях.

— Отыщи-ка, мазурик, мизибирную пружину!— приказывает он Березину. Березин — отличный наводчик и старательный парень, но тугодум. Он долго сосредоточенно ковыряется в пулеметных деталях и, как школьник, беззвучно шевелит губами. И невдомек бедняге, что такой пружины не существует...

А дед ведет «беглый огонь»:

— Попсуевич! Сколько спиц в пулеметном катке?

— Мельников! Когда тяга на надульник наматывается?

— Сколько отверстий в надульнике?

Я не делаю ему замечаний. Пусть почудит — живинка в солдатском быту так необходима!

Настроение у всех нас весеннее — хоть пляши.

И только один Андриянов недовольно ворчит:

— Хлеб-то за прошлое небось штабы зажилили!— У этого коренастого красноярца, как у Чапаева, органическая неприязнь к штабам.

Нам теперь регулярно выдают сахар, табак, водку, два раза в сутки кормят горячим. Но Андриянов всё недоволен: подай ему за прошлые дни хлеб, да и всё тут!

— Куда тебе столько хлеба?— спросил его Непочатов.— Ларек хлебный думаешь открыть, что ли?

— А это мое личное дело,— ответил ворчун,— хозяин — барин...

Пырков хохотал:

— А что, и откроет! Откроет, жлоб! Таким только дай волю: раз-два — и в спекулянты.

Андриянов не жлоб — хороший солдат, а брюзжит только по привычке, да и то не всегда. Всю последнюю неделю ходил сияющий, как именинник, ни разу о штабах не вспомнил: восьмилетний любимец Егорша написал отцу свое первое письмо. Такое письмо, что дед Бахвалов, умиляясь, прослезился. В тот же день со смехом и шутками мы написали Егорше коллективный ответ. Андриянов был очень доволен.

Теперь мы живем почти мирной жизнью, как кадровые военные в лагерях. Только там противник воображаемый, а перед нами — настоящий. И спим мы не ночью, а днем. Раньше всех просыпается младший лей-

тенант Иемехенов. Он проверяет часовых всей роты и залпом из всех своих противотанковых ружей дает сигнал побудки. Потом будит своего друга Ульянова, и они вместе ходят из землянки в землянку — поднимают обитателей переднего края. Маленький бронебойщик прямо с порога звонко кричит:

— Кончай ночевать! Вставай пришел!

У Иемехенова круглое, как луна, лицо, широкие скулы и веселые раскосые глаза. Он давно уже забросил свою пилотку и ходит по обороне простоволосый, а свои жесткие, как конский хвост, волосы подстригает по обычаю предков под горшок. Длиннорукий и заметно кривоногий, он носится по обороне с ловкостью и проворством обезьяны, а щуплой фигуркой напоминает пятнадцатилетнего подростка.

Своих молодых подчиненных Иемехенов дрессирует, как в военном училище: зарядка, обязательная пробежка до КП батальона и обратно и на досуге строевая подготовка. Оленевод любит во всем порядок и аккуратность: у бронебойщиков самая чистая траншея и самая уютная землянка.

Требовательный Мамаев питает слабость к северянину и всегда ставит его в пример другим командирам взводов. А Иемехенов любит Мамаева и мамаевские песни. Впрочем, он и сам охотно поет, то есть бесконечно долго тянет на одной ноте: о-о-о-о, и-и-и-и, э-э-э... Иемехенов доброволец. На фронте он с первых дней войны. Храброго смекалистого солдата заметили и направили в полковую школу, а через несколько месяцев, после очередного ранения, Иемехенов попал на армейские курсы младших лейтенантов. Теперь он офицер, неплохой офицер.

На днях от нечего делать иемехеновцы заплели стенки своей траншеи зелеными еловыми ветками. Получилось красиво. Мамаев умилился:

— Ну что за салажонок!— и сразу, конечно, ко мне: — А твои лодыри только спать.

Мы не лодыри, а просто умница Непочатов отсоветовал мне следовать примеру изобретательного тундровича.

— Минутная радость,— сказал он.— Через два-три дня вся эта красота высохнет. Одна спичка — и спасайся, кто может...

Ульянову тоже очень хотелось бы иметь зеленую траншею, но это ему не под силу: слишком большой участок в его ведении.

На дороге, возле Вариной могилы, по инициативе Иемехенова, была создана спортплощадка: турник из танковой оси, бревно-бум и даже малая полоса препятствий. Бронебойщик по нескольку раз в день с истинным удовольствием раскачивается на турнике, повиснув вниз головой. Впрочем, любителей спорта у нас хоть отбавляй. Площадка пустует только ночью или при артиллерийском обстреле.

Не отстал и Непочатов — на той же дороге, несколько ближе к обороне, устроил городошный корт. Сражение в рюхи открыл сам комбат и, к вящему удовольствию зрителей, наголову разгромил нашего самоуверенного «адмирала». Но зато Мамаев отыгрался на боксе. Они с Иемехеновым из трофейного кожаного плаща выкроили несколько пар боксерских перчаток, выстегали их изнутри толстым слоем ваты да зеленого мха и открыли школу бокса. Через несколько уроков на ринг вышли два приятеля, и Иемехенов раскровянил Ульянову нос и выбил передний зуб. Ульянов в окружении болельщиков, лежал на траве с мокрой марлей на переносице, плевался кровью и хныкал, как маленький. Победитель очень расстроился. С убитым видом топтался возле поверженного противника и сокрушался:

— Неладно, однако... Друг, не плакай... Бей, однако!

Едва залечив раны, Ульянов, как голландский петух, снова ринулся в бой и снова был бит. Но слава чемпиона по праву досталась Мамаеву: он накостылял и Ульянову, и Иемехенову, и моему приятелю Лиховских, и своему коллеге и соседу Павловецкому.

В один из погожих дней с разрешения начальства Мамаев устроил спортивный праздник. Состязались по бегу с препятствиями, рюхам, боксу и перетягиванию каната. Явился командир полка подполковник Филогриевский с майором Самсоновым и комбат Радченко со всеми заместителями. Главным распорядителем и судьей был Мамаев, а самым ярым болельщиком дед Бахвалов. Он волновался не меньше самих участников и кричал, не жалея голоса:

— Вперед, мазурики! Жми-дави стрелкачей!

По всем видам многоборья победил взвод бронебойщиков, и сияющий Иемехенов принял из рук майора Самсонова приз: фляжку водки и пять пачек трубочного табаку.

Дед Бахвалов так расстроился, что потерял свои очки. «Мазурики» руками обшарили всю траву и дорожную пыль, а очки оказались у деда на лбу. И зачем ему очки, спрашивается? Зрение, как у снайпера. Очки для фасона, а глаза сами по себе: молодые, умные, хитрющие...

Праздник едва не закончился трагически. Когда иемехеновцы, усевшись в тесный кружок, угощали призовым табаком всех подряд, над спортплощадкой появился немецкий «костыль». Повисел над нашими головами, покачал крыльями, и вдруг ударила вражеская батарея. Первый снаряд разорвался несколько в стороне от дороги, второй ближе, а третий звезданул прямо по нашей полосе препятствий. И победителей, и болельщиков как ветром сдуло. Уже в капонире дед Бахвалов, посмеиваясь, сказал:

— Это, мазурики, пользительно. А то так можно и забыть, какая она есть, война.

Командир полка остался доволен нашей спартакиадой, похвалил Мамаева:

— В здоровом теле здоровый дух. Спорт на переднем крае! Если рассказать такое в тылу — не поверят.

Подполковник Филогриевский человек воспитанный, интеллигентный, не терпит грубости, а мат прощает одному Мамаеву, да и то только потому, что моряк в этом отношении не поддается воспитанию.

— Товарищ Мамаев, когда же вы расстанетесь наконец с этой отвратительной привычкой сквернословить?— частенько укоряет его командир полка.— Русский язык такой богатый, такой звучный, такой прекрасный...

— Товарищ подполковник, да когда же это я сквернословил? — искренне возмущается Мамаев, но частенько, ох, частенько употребляет свои «соленые» слова.

Подполковник заметно отмечает нашего Мамаева перед остальными командирами рот и любит бывать у нас на обороне.

Днем обязательно учимся четыре-пять часов — изучаем оружие. Условия обороны позволяют заниматься даже тактикой: ежедневно Мамаев снимает с позиций

по одному взводу, а я по одному расчету, и в лесу возле батальонной бани мы по всем правилам разыгрываем наступательный бой.

Пырков ворчит:

— Новобранцы мы, что ли?

А дед Бахвалов насмешничает:

— Что и баить — ученого учить только портить... Ты ж, мазурик, все академии прошел — «два по десять— ваших нет»...

И Андриянов ворчит по всегдашней привычке:

— Отчего солдат гладок — поел да на бок... Полежишь тут на боку.

А дед ему:

— Мало ты, мазурик, дрыхнешь? На-кось зеркальце, поинтересуйся на свою физику — скоро и хрюкать не будешь...

А вечерами, перед ночной вахтой, молодежь, прячась от комаров, набивается в просторный капонир деда Бахвалова. Ох уж этот дед! Какой только чертовщины не знает! И как рассказывает! Мороз по коже...

— ...Кинулась на меня с ели рысь. Огромадная, страшенная кошка... Чуть что не на плечи села. Выпалил я, мазурики, сразу из двух стволов, и не попал! Отродясь такого со мной не бывало. Белку бил прямо в глаз, да это у нас и не в диковинку. А тут в упор промазал! Только лапу подранил. А она ощетинилась, вякает, пена с морды клочьями и хвостом-коротышкой туда-сюда, туда-сюда... Схоронился я за кедрач, перезарядил ружье, выглянул и обомлел: Соня! Соня — соседка, колдунья! Чтоб ей пусто! И губа верхняя надвое рассечена... Выстрелил я ей прямо в оскаленную пасть, и тут как гаркнет у меня за спиной: «Отдай решето!!!» Только гулы по тайге пошли, а рысь как сквозь землю провалилась... Не робкого я, мазурики, десятка, в молодости с рогатиной на медведей хаживал, а тут замочил портки...

Как-то, послушав дедовы байки, капитан Степнов сказал:

— Василий Федотович, вы бы лучше молодым солдатам рассказали, как партизанили в гражданскую войну.

Дед нахмурился:

— Тяжко вспоминать, товарищ капитан... Почитай что голыми руками воевали. Перед самой войной мы со

старухой в областной центр ездили. Телочку хотели на базаре сторговать. Младшая дочка у нас на выданье была. Ну, телочку не купили, потому как денег не хватало: скот у нас в тайге дорог. И пошли мы со старухой в клуб. А там в аккурат кино «Волочаевские дни» ставили. Поглядел я, мазурики, мать честная! Ведь это ж про наш отряд! Так всё и было, как показано... Верите ли, заплакал я, как дите малое. Да... Тогдашним бы людям да теперешнее оружие, так что бы и было! А то на весь отряд одна пушчонка самодельная да один пулемет. Ни снарядов, ни патронов. Таскаем за собой «максимку», бережем его пуще глаза, в одеяло, как ребенка, запеленали, чтобы, спаси бог, не замерз. А как в бой, пулемет сам по себе на саночках стоит, а мы, пулеметчики, сами по себе из дробовиков по семеновцам палим, как по воробьям, да всё, как белке, в глаз норовим.. А эти мазурики,— дед кивнул на своих слушателей,— ничего не берегут. Как, скажи ты, им всё даром достается! Стреляй от пуза, пали в белый свет, как в копейку! Вчера погулял я по траншее, до самого соседа добрался. Верите ли, целый подол собрал этих самых... патронов. Валяются под ногами, как переспелые шишки кедровые. Я собираю, а Пырков, мазурик, насмехается, дразнит: «Дед Каширин — кричит,— дед Каширин!» Хотел я его отвалтузить, да неловко: на посту ж, мазурик, стоит...

— Ха-ха-ха-ха!

— Смешно, мазурики? Эк вас разобрало... Вот видали?— Старый пулеметчик ткнул пальцем в Березина.— Еще вчера располосовал новую гимнастерку, да так и будет ходить, не зашьет, пока носом не торкнешь... А ты чего, мазурик, закатился?— набросился дед на смешливого Гурулева.— Доберусь и до тебя! Отвожу солдатским ремнем за милую душу, даром что ты не из моего расчета. Жалуйся потом на деда Бахвалова. На посту, мазурик, стоит и не видит, что гранаты на дожде мокнут. Невдомек ему в нишу спрятать. Бездомовники!.. Замечу которого мазурика, что оружие не бережет — отвалтужу! Ей-богу, отвалтужу!— пообещал дед Бахвалов.

В середине мая состоялся дивизионный слет — чествовали героев зимнего наступления. Из нашей роты то-

же было несколько человек, в том числе дед Бахвалов, Иемехенов и я.

По этому случаю брадобрей пан Иосиф накрутил из моих волос такие кренделя и завитушки, что на голову не налезла пилотка и, к великому огорчению маленького парикмахера, прическу пришлось смочить водой.

Пан Иосиф любит моих ребят, частенько заходит к нам на посиделки и азартно спорит с дедом Бахваловым на божественные темы — защищает свою баптистскую веру.

Мамаев как-то послушал, недовольно покрутил носом:

— Вы бы, господа богословы, умерили свой пыл, ведь вас молодежь слушает.

Дед накинулся на своих подчиненных:

— Я им, мазурикам, послушаю! Я им ужо помяну царя Давида и всю кротость его. Брысь отсюда! И ни один мазурик близко подойти не моги, когда я человека перевоспитываю!

Старания деда не безрезультатны. Правда, пан Иосиф пока не берет в руки оружие, но уже не затыкает уши, когда работают наши пулеметы, и после каждого минометного залпа не восклицает испуганно и жалобно: «Матка боска!»

Дед не теряет надежды:

— Ничего, я его, мазурика, перекрещу в нашу солдатскую веру. Он у меня будет из «максимки» строчить, как миленький.

Награжденных и приглашенных собралось не меньше полтысячи человек. Награды вручал комдив Севастьянов.

Комбата, Лиховских и погибшего Евгения Петровича Рогова наградили орденом Красной Звезды. Иемехенова, нескольких стрелков и Варю Санину посмертно — медалями. Из моих наградили лишь деда Бахвалова и посмертно Шамиля Нафикова.

Я получила сразу два ордена: Красную Звезду за бои подо Ржевом в сорок втором, и орден Отечественной войны — за рейд с разведчиками в укрепленный пункт К. Наградили всех участников рейда.

Ко мне подошел сияющий Шугай: борода тщательно расчесана, а на широкой груди новенькая медаль «За отвагу». Широко улыбаясь, таежник сказал:

— Товарищ взводный, а мне ведь судимость-то сняли. Мне и вашему Бахвалову тоже.

— Ну что ж? Я очень рада за вас обоих. Поздравляю от души!

Меня окружили армейские и дивизионные корреспонденты. Щелкали затворами фотоаппаратов, поздравляли, задавали вопросы.

Мне хотелось сняться с нашими бородачами, и я встала между Шугаем и Бахваловым. Симпатичные деды победно выставили вперед бороды и, не моргая, уставились в объектив аппарата.

— Улыбнитесь,— приказал нам фотограф.— Вот так, хорошо. Отменный снимок получится,— сказал он.

Дед Бахвалов заволновался:

— Не пришлют, поди, карточку, мазурики, обманут. Старухе бы моей на память послать. Любо-дорого...

— Не обманут, — успокоила я, — армейские фотографы народ честный.

Честный! Сколько раз фотографировали и только один-единственный снимок получила, тот, который когда-то подарила Федоренко.

Среди корреспондентской братии отыскался мой старый знакомый Иван Свешников. Тот самый, которого я приглашала в прошлом году на свою несостоявшуюся свадьбу. Иван как будто бы еще вытянулся вверх, и теперь моя голова приходилась на уровне бедра его журавлиной ноги. Его собратья по перу подшучивали над нами:

— Товарищи, да это же живая диаграмма! Рост наших военных потенциалов.

— Она — сорок первый год: он — сорок третий...

— Да приземлись ты, Иван! Ведь неудобно так девушке с тобою беседовать.

Иван добродушно посмеивался и узкой ладонью то и дело откидывал со лба выгоревшую прядку волос.

Он не удивился встрече, не напомнил о прошлом и Федоренко. Спросил:

— Чижик, хочешь я тебя познакомлю с замечательным парнем?

— Боже избавь!

— Да ты сначала взгляни,— засмеялся он и протянул мне фотографию.— Каков герой, а? Знатный разведчик нашего фронта. — С фотографии на меня глядел...

Мишка Чурсин! Лихие разбойничьи глаза прищурены, а на Мишкиной груди целый иконостас орденов, в том числе Александра Невского, на плечах погоны капитана.

Воспоминания нахлынули вдруг теплой грустной волной. Значит, Мишка тоже выбыл из нашей родной дивизии...

Свешников продолжал:

— Он воюет далековато от вас, но при желании встретиться можно.

Я вернула ему фотографию и, подавив вздох, сказала:

— Нет, не надо. Спасибо...

А вечером, уже дома, деда Бахвалова обидел старший лейтенант Ухватов. Ротный был «под градусом». Покосившись на мои ордена, ухмыльнулся криво:

— Кому ордена и медали, только нам ни хрена не дали...

— Так ведь орден или, скажем, медалю надобно заслужить,— возразил ему дед Бахвалов.

Ухватов пьяно ухмыльнулся:

— А то ты заслужил? Уж не за то ли тебе медаль навесили, что человека кокнул?

Дед побледнел, тяжело дыша, шагнул вперед, выдавил:

— Вот что, ротный, не дадено никому полного права, чтобы в душу человеку харкать!

Я проворно встала между ними:

— Василий Федотович! Не связывайтесь.

Мамаев, глядя на Ухватова с презрением, сквозь зубы процедил:

— Вон отсюда!

Ухватов ушел, а дед, ткнувшись головой в стенку траншеи, заплакал.

Мы с Мамаевым растерянно переглянулись. Старик повернул к нам страдальчески сморщенное лицо, с горечью сказал:

— Лежачего, варнак, долбанул... Хоть бы уж не знал а то всё как есть знает... Если рассудить по правде, то какой же я убивец? До скольких разов этот проклятый Тришка ко мне во сне являлся, царствие ему небесное — кол осиновый... Заявится ночью, дохлый такой, мухортенький, и всё просит так ли жалобно: «Дай соболюшку

на косушку...» Я его, анафему, и не стукнул-то ни разу. Вот как перед богом говорю, не тронул, только головой в снег сунул. От страху, должно быть, он, слизняк, преставился... Знал ведь, мазурик, таежный закон... Да, господи боже мой, ежели б я ведал такое, не одного соболя, двух бы ему кинул — пропивай, мазурик, душа с тебя вон...

— Да бросьте вы, Василий Федотович!— тронула я деда за рукав.— Мы же вам верим!

— Вот что, геройская борода,— сказал Мамаев,— хватит Лазаря тянуть. Помер Максим, и черт с ним. Сейчас мы это дело запьем и ворота забьем — награды ваши обмоем. Крикни-ка, дедок, чтоб Соловей принес мою фляжку.

— И мою прихватите, Василий Федотович, — сказала я.

Мы уютно устроились за столиком у Вариной могилы. Только Мамаев начал наливать водку в кружки, пришла врач Нина Васильевна в сопровождении Лиховских.

— Мы к ним в гости, а они уже пьянствуют!— смеясь, сказала она.

Мамаев с изящным поклоном протянул докторше свою кружку, сладким голосом (ну и артист!) пропел:

— Милости прошу к нашему шалашу!

— За вас, герои!— сказала Нина Васильевна и чокнулась со мной и дедом Бахваловым.

— За их память,— кивнула я на могилу,— за Варю, за Евгения Петровича, за Шамиля и за всех, кто тут лежит...— голос мой предательски дрогнул.

Нина Васильевна, отпив из своей кружки два глотка, тихо заплакала. Дед Бахвалов задышал вдруг часто и шумно.

— Спят герои,— задумчиво проговорила Нина Васильевна и вытерла слезы маленьким платочком.— Спят, и никогда больше не встанут...— Она опять заплакала. Наверное, вспомнила своего мужа-летчика, погибшего в первые дни войны. А я Федоренко...

Мы долго молчали.

На передний край медленно спускалась фронтовая ночь. За немецкими окопами, за рекой Осьмой пламенела узенькая полоска заката, теснимая сгущающейся

темнотой. Было очень тепло и по-мирному тихо. Над нашими головами пофыркивал родной «огородник».

— Как хорошо!— вздохнула Нина Васильевна.— Как будто и нет проклятой войны.

Мамаев тихо запел:

О ты, окно, откройся,—
Дай увидеться мне с нею!
Пред ней благоговею
Жажду свиданья с нею...

Ну кто же он, если не прохвост? Такие песни знает! При Нине Васильевне строптивец смирный, как овечка, и, что удивительно, за речью своей следит! А если и выпустит ненароком ядреное словечко, так сейчас же:

— Ох, Нина Васильевна, простите матросу последний грех...— Артист, да еще какой!

На переднем крае зататакал пулемет Непочатова, ему басом откликнулся «максим» Лукина.

— О, а живые не спят!— поднял Мамаев вверх палец.— Твои немецкую бдительность проверяют,— повернулся он ко мне.

Лиховских улыбнулся:

— Ну, братцы, вам и повезло. Не оборона, а помещичья мыза. А в соседнем батальоне хлещет — головы не поднять!.. Василий Федотович, вы помните Никольское?— обратился он к деду Бахвалову.— Вот где была свистопляска!

Дед промолчал, сидел нахохлившийся, мрачный. А я подпустила своему приятелю шпильку:

— Ты потому и ходишь к нам чуть ли не каждый день, что у нас тихо?

— Только поэтому. Я ведь отъявленный трус.

— А я, Нина Васильевна, в пехотной обороне в первый раз,— сказал Мамаев.— Я ж моряк. На Северном флоте воевал. После одной... а, вспоминать неохота. В общем, десять часов держался в ледяной воде. Вот и нажил себе ревматизм. Хронический. А на судне железо кругом. Как отстою вахту — неделю валяюсь без ног. После госпиталя списали меня с флота... В тыл хотели упрятать. Понимаете?— Мамаев поглядел на нас всех по очереди.

Да, мы понимали: такого в тыл не очень-то упрячешь.

— Еле выпросился в пехоту,— продолжал Мамаев.— Подлечусь, а там видно будет.

Лиховских засмеялся:

— Правильно. Ежедневные грязевые ванны очень полезны. Можно принимать прямо на большаке.

Мамаев сердито взглянул на него.

К нам на оборону внезапно нагрянул сам командующий армией генерал-лейтенант Поленов.

Только-только я заснула после ночной вахты, как над моей головой забрякала сигнальная гильза-колокол: боевая тревога!

Сунула ноги в сапоги, впопыхах никак не могла найти поясной ремень, а гильза вызванивала нестерпимо звонко. Схватила автомат и, как была, без ремня, без головного убора, непричесанная, понеслась к центральной траншее. Вылетела из-за колена траншеи и остолбенела: начальства целый взвод! Комбат, комполка, комдив, еще какие-то чины и звания, и среди них генерал! Седой, горбоносый с темными сердитыми глазами.

— А это еще что за чудо природы?— спросил генерал, указуя на меня перстом. — Откуда она вырвалась?

Мне никогда не приходилось иметь дела с генералами. Сама не знаю отчего, а скорей всего с перепугу, я полезла в амбицию:

— Вырвалась! Как, по-вашему, должен когда-нибудь человек спать? Такой трезвон подняли, думала полк СС наступает...

— А ты с кем это так разговариваешь?— строго спросил генерал.— Знаешь ли, кто я?

— Знаю. Вы генерал-лейтенант Поленов. А вы знаете, кто я?

Из-за спины командующего комдив Севастьянов делал мне устрашающие глаза и грозил пальцем. Но меня не раз подводил бабушкин горячий характер, как понесет — не остановиться.

— К вашему сведению, я здесь хозяйка! А вы зачем сюда поставлены?— неласково спросила я смущенных Пыркова и Березина.— Ушами хлопать? Почему подпускаете посторонних к секретной сигнализации?

Березин виновато промямлил:

— Так они ж не посторонние... Они генерал...

— Они сами допустились,— добавил Пырков.

— Допустились! Ладно. Разберемся потом.

— Ишь ты, Афина Паллада!— усмехнулся генерал.— Комдив, и много у тебя таких воительниц?

— Пока только одна,— с улыбкой ответил наш полковник.

— Ну что ж, хозяйка, может быть, ты разрешишь мне познакомиться с вашей сигнализацией?

Догадливый Гурулев принес мне ремень и пилотку. Подпоясавшись и покрыв голову, я почувствовала себя увереннее.

— Разрешаю, товарищ командующий.

Генерал дернул за кабельный шнур, проведенный от пулеметной площадки в мою землянку, спросил:

— Что это означает?

— Маленькое начальство на обороне: командир пульроты, его зам, поверяющие из штаба батальона.

— А два сигнала?

— Комбат, его заместители и штаб полка. Три — командир полка, четыре — комдив. Пять и больше — боевая тревога.

— Гм... Ну, а если генерал?

— Прикажу бить боевую тревогу.

— О-хо-хо-хо! — вдруг засмеялся командующий и, все начальство сразу заулыбалось, только наш комбат глядел на меня хмуро, неодобрительно.

— Запиши для памяти, — сказал командующий своему адъютанту и, дернув за шнур еще раз, спросил:

— Сама, Афина, придумала?

— Нет. Это коллективное творчество, товарищ командующий.

Он, сощурив глаза, долго смотрел на нейтральную полосу. Задумчиво сказал:

— Сибиряки народ баш-ко-витый и храбрый. — Потом легонько ткнул пальцем в грудь молодцеватого Пыркова:

— О чем думаешь, солдат?

Пырков, не моргнув глазом, выпалил:

— Как бы стать генералом, товарищ командующий!

Генерал улыбнулся:

— Силен, солдат. Твоя школа, Афина, — повернул он ко мне красивую седую голову. — За суворовскую смекалку ты отныне не солдат, а ефрейтор. Генералом, браток, сразу нельзя...

— Мне пока и ефрейтором нельзя, товарищ командующий.

— Это еще почему? — нахмурил генерал брови.

— Он бывший вор, — пояснила я.

— А как воюет?

— Не хуже других. К медали был представлен, да не дали.

— Кто не дал?

— Вы, наверное. Кто же еще!

— Значит, я? Выходит, обижаю солдат?

— Дело не в обиде, товарищ командующий, а в справедливости. И старшему сержанту Непочатову не дали, а ведь за дело представляли. Честное слово, за дело.

— Ну раз за дело, надо проверить. Завяжи-ка узелок на память, Владимир Сергеевич.

Адъютант даже в узкой траншее умудрился картинно и звонко щелкнуть каблуками щегольских сапог.

Деду Бахвалову командующий мимоходом заметил:

— Экий ты веник, братец, отрастил! Траншею ею, что ли, подметаешь?

Дед Бахвалов обиженно засопел и нахмурился, а я сказала:

— Так ведь Василий Федотович не бородой воюет, товарищ командующий.

Генерал опять затрясся в приступе смеха. А потом сказал комдиву:

— Послушай, полковник, они случайно не сговорились меня уморить? Афина, как ты думаешь, должен я тебя наказать за дерзости?

— Думаю, что не стоит, товарищ командующий. Это же я от страха!

— Значит, испугалась меня?

— Испугаешься небось... Про вас невесть что рассказывают... — Я прикусила свой отвратительный язык, но было уже поздно. Генерал заинтересовался:

— И что же про меня, например, рассказывают?

— Ну, что вы очень сердитый и вообще... не такой, как все генералы...

— А ты как считаешь? Какой я, по-твоему?

— По-моему, нормальный, — бухнула я и в самом деле испугалась.

Но генерал не обиделся — опять засмеялся, сказал:

— Прощай, забавная Афина. До новой встречи. Если вы так и воюете, как острите, то это хорошо.

Пронесло!.. Но не для всех посещение командующего сошло благополучно. Мамаев заработал пять суток домашнего ареста за проволочные заграждения, как раз за те, что ставили мои ребята. Начал оправдываться — командующий прибавил еще пять. Пять да пять — десять, арифметика простая, а денежное содержание за десять дней тю-тю... Перепало и Иемехенову. Командующий два раза прошелся по его зеленой траншее: туда и обратно. Воскликнул:

— Парадиз! Райские кущи! А где же Адам?

Улыбаясь во все скулы, Иемехенов выступил вперед.

— Ну вот что, Адам без Евы, — сказал ему генерал, — получи десять суток домашнего ареста за то, что не варит умственный горшок! И, кроме того, до моего возвращения обратно всё здесь должно быть в первозданном виде.

А как знать, когда будет возвращаться генерал, ведь мы на самом правом фланге дивизии. Пойдет ли генерал по фронту других полков или только наш батальон осмотрит?

Бронебойщики во главе со своим командиром бегали как наскипидаренные: обкалывая руки, расплетали траншею и уносили елочные лапы подальше от позиций. А ребята Непочатова издевались — пели нарочно гнусавыми голосами:

Елочки зеленые, боюся уколюся я...

Командующий нас не забыл. Вскоре после его посещения прислали выписку о снятии судимости с Пыркова и о награждении его и Непочатова медалями «За отвагу». А я получила сразу три подарка: костюм из тончайшей зеленой диагонали, погоны лейтенанта и новенький пистолет-пулемет Столярова, не так давно принятый на вооружение — предмет мечтаний каждого пехотного офицера.

Мамаев ехидничал:

— Познакомишься с командующим фронтом — сразу в майоры произведут!

— Не в чине дело, — возразила я, примеряя новую юбку прямо на солдатское галифе, — а в справедливости. После наступления всем очередные звания присвои-

ли, а на меня Ухватов материал не оформил с досады, что его к «капитану» не представили. А чем я хуже твоего Ульянова или Иемехенова? Так-то, товарищ старший лейтенант! Ах, хорош костюм! Даже жалко надевать...

— Что костюм? Тряпка! — сказал Мамаев. — А вот это так шту-у-ка! Ох! — Он вертел в руках мой ППС и восхищался: — Ты гляди-ка, насколько легче и изящнее ППШ... А кучность боя, а пробивная сила! Хороша Маша, да не наша. А может быть, махнем, не глядя, а? В придачу что хочешь проси. Хоть самого меня...

Я засмеялась:

— Сделка соблазнительная, что и говорить! Но ведь это же именное оружие! Ты что, не видишь пластинку на ложе? Читай: «Афине. Ген.-лейт. Поленов. 1943 г.». Такое оружие не выпускают из рук до самой смерти.

В тот же вечер пришел Лиховских. Увидев меня в новом костюме, воскликнул:

— Мать честная, курица лесная! Да еще и лейтенант! Ну, пропала моя бедная голова.

Мы постреляли из нового пистолета, а потом уселись на кромку траншеи, лицом к фронту.

Подошел Иемехенов и тоже уселся рядом. Было очень тепло. В лесочке на нейтральной полосе беззаботно куковала кукушка.

— Как хорошо! — Я подставила лицо под жаркие солнечные лучи и закрыла глаза.

— Чего хорошего-то? — заворчал Лиховских. — Парит, как в бане. Весь мокрый.

— А я так еще и не нагрелась после зимы. Так бы и сидела на солнышке целыми днями...

Немец дал залп из орудий по верхушке Вариной высоты. Видимо, наблюдатели-верхолазы чем-нибудь себя обнаружили. Снова за речкой глухо ударили пушки. Снаряды пронеслись над нашими головами.

— Развоевался фриц, однако, — озабоченно сказал Иемехенов.

— Сейчас ему наши глотку заткнут. Все батареи засечены. Вот, слышите? — Лиховских поднял вверх палец. — Дивизионные долбанули. А ну ее к бесу, эту войну. Давайте поговорим о любви.

— Ну что ж, начинай, — сказала я.

— А если я скажу, что люблю тебя?

— А если я не поверю?

— А если я побожусь, да еще и при свидетеле?

— Это другое дело. А дальше что?

— А дальше, очевидно, надо целоваться. Что ж ты смеешься? Тут дело вполне серьезное.

— Васька-автоматчик один раз целовал, теперь, однако, платит на чужой ребенок, — вдруг мрачно сказал Иемехенов.

Лиховских ласково сгреб его за жесткие вихры и опрокинул на спину. Бронебойщик верещал и, пытаясь подняться, махал в воздухе ногами, как перевернутый черный жук. И это было очень смешно.

— Как им весело! Даже позавидуешь, — вдруг раздалось за нашими спинами.

Мы разом оглянулись: над траншеей стоял рыжий капитан Величко, а чуть позади него — парикмахер Кац. Взглянув на пана Иосифа, я всплеснула руками:

— Ах, лихо-тошно! — и упала навзничь.

Мы трое хохотали, как ненормальные. Капитан улыбался:

— Эк их разбирает!.. Щекочут вас, что ли?

А пан Иосиф был невозмутимо серьезен и стоял, как на посту, положив белые маленькие руки на новенький автомат, повешенный перед грудью.

— Пан Иосиф, а как же ваши баптисты? — спросила я, вытирая выступившие от смеха слезы.

Нерпичьи глаза Каца стали вдруг сердитыми:

— Цоб их дьябли везли! Те лайдаки баптисты Гитлера лижут пониже спины. Пся крев! Своими ушами слыхал в приемник у капитана.

— Это теперь мой связной, — сказал капитан Величко, дружески похлопывая Каца по плечу.

— Пан Иосиф мужчина отменной храбрости, — пряча улыбку, сказал Лиховских.

Маленький парикмахер сорвал с шеи автомат и, дав очередь в воздух, задорно на нас посмотрел:

— А что? Я тем лайдакам покажу! Пся крев!

Ну и забавник!

— А вам, капитан, когда-нибудь Мамаев поднесет под нос свою дубинку, — пообещала я контрразведчику. — Почему вы не ходите по траншее, как все нормальные люди, а обязательно поверху лезете?

— Виноват, исправлюсь, — поклонился капитан Величко и протянул мне маленький букетик ландышей.

— Вот спасибо! Мне так давно никто не дарил цветов, — сказала я.

Иемехенов обиделся:

— Врешь, однако. Я дарил. А ты, как веник, пол подметала.

— Тоже мне — цветы! — ухмыльнулся Лиховских. — Набрал целую охапку колючек. Видел я твое подношение.

— Ну как дела, друзья мои? — спросил Величко.

— Нормально, — ответили мы в один голос.

— Твой Андриянов всё ворчит?

— Ворчит, бродяга, — улыбнулась я. — Но теперь уже, кажется, меньше. Мы и внимания не обращаем. Он не вредный.

— Ну-ну... Мамаев на месте?

— Был здесь.

Капитан вместе с Кацем ушли. И почти сразу же возле центрального капонира пан Иосиф заблажил по-украински и по-польски:

— Цур мени! Цур! Матка боска! Геть, горобци!

Это мои солдаты, поздравляя, подкидывали толстяка в воздух.

Лиховских ходит к нам чуть ли не каждый день — хоть на пять минут, а завернет. Это понятно: здесь все его друзья-товарищи. Но наши офицеры меня иногда поддразнивают, говорят, что начальник полковой разведки приходит так часто только ради меня. Чушь. Мы просто хорошие товарищи.

И Коленька Ватулин частенько заглядывает в нашу роту, и тоже говорят, что из-за меня. Ну уж это совсем ерунда! У Коли сложные и запутанные отношения с красивой Зиночкой Косых, медсестрой из нашей санроты. Коля чуть не ежедневно жалуется мне на Зинин характер и просит совета: жениться или нет. В конце концов мне надоело, и я с сердцем сказала:

— Раз тебе в таком личном и важном деле потребовался советчик — значит, не любишь! А жениться в двадцать два года, да еще в такое время, без любви — просто негодяйство! Понял?

Не знаю, понял ли Николай, и как понял, но только в тот же день он самовольно закатился в медсанбат и оказался вдруг на полковой гауптвахте. К вечеру ко мне пришел Тимофеич, связной разведроты — земляк и кум нашего деда Бахвалова. Жалостливо моргая близорукими глазами, он сказал:

— Запрятали мово голубенка в клетку. — И подал мне от Коли записку.

Николай просил меня поговорить с командиром полка, чтоб его освободили. Почему именно должна просить я, а не Колин начальник Лиховских?.. Я отказалась. Тимофеич захлюпал носом:

— Вы ж барышня рассудительная и, почитай, всегда тверезая, — сказал он мне,—потому и должны понимать, что может деяться с человеком в подвыпитом виде...

«Почитай всегда тверезая!» Я хотела отчитать Тимофеича, но, взглянув на его усатую добродушную физиономию, рассмеялась, а Коле написала: «Пьянчужка и Дон-Жуан полкового масштаба! Заслужил. Сиди не рыпайся».

Так и отбухал Коля все десять суток. Поумнел ли?.. У меня о разведчиках сложилось определенное мнение. В основном — это удалые парни. И бесшабашные. А Коля, кажется, всех перещеголял.

Я возвращалась из штаба батальона. У землянки меня поджидал хмурый Мамаев:

— К тебе пришли капитан Филимончук и Ухватов. Больше часа ждут. Что им от тебя надо?

— А я откуда знаю!

Мамаев к Ухватову относится с холодным презрением, а капитана Филимончука просто недолюбливает. Филимончук теперь большой чин: начальник разведки всей дивизии. Он больше не пытается со мною заигрывать, но отношения между нами так и не наладились. Теперь, когда капитан перешел в дивизию, мы почти не встречаемся, и нас не связывают служебные узы. Действительно, что ему от меня надо?

У стрелков Филимончук распоряжается, как среди своих разведчиков. Понравился солдат, сейчас же в категорической форме: «Этого молодца я забираю в раз-

ведку». Но у Мамаева без скандала не возьмешь — дубинку к носу и разговор короткий: «Отваливай. Штормяга будет добрый. Ни один док в ремонт не примет». Филимончук, посмеиваясь, уходит, а через день-два из штаба дивизии приказ: откомандировать такого-то в распоряжение начальника разведки. Мамаев мечет громы и молнии и пишет рапорты. Я его вполне понимаю: кто ж не дорожит хорошим солдатом?

Однажды и мне капитан Филимончук пытался подложить свинью: «Твоего Пыркова забираю к себе». Разговор был короче, чем с Мамаевым. Я молча поднесла к носу разведчика фигу. А Пыркова с обидой спросила: «Ты хочешь от нас уйти?» — «Что вы, товарищ младший лейтенант! — вскричал Пырков. — Я ж молчу, это капитан пристает».

Мамаеву скоро надоело сражаться с Филимончуком в одиночку, и на одном из полковых совещаний в присутствии комдива он дал начальнику дивизионной разведки бой. Мамаева поддержали командиры остальных рот полка, и Филимончук притих. Но следить за ним надо — ходит по обороне, как вор на ярмарке, того и гляди, кого-нибудь переманит в разведку.

Капитан Филимончук честолюбив и этого не скрывает. После зимнего наступления его повысили в должности, представили к награде и подали материал на присвоение очередного звания. Но Филимончук не получил ни ордена, ни «майора». На него вдруг пожаловалась какая-то девушка из медсанбата. Вмешался политотдел, и вместо наград Филимончуку вкатили партийный выговор. Начальник разведки считает себя несправедливо обиженным и караулит подходящий случай, чтобы всё разом вернуть. А случай может быть только один — взять «языка». Но как раз в этом и не везет нашим разведчикам в обороне, и даже удачливый Коля Ватулин не может достать пленного.

С неделю тому назад вся полковая разведка переселилась в расположение нашей роты. Капитан Филимончук решил, что именно здесь, на самом спокойном участке обороны, противник не столь бдителен. Целыми днями он, мрачный и злой, просиживает в боевом охранении на болоте. Сам ведет наблюдение — готовит новый решающий поиск, а ночью спорит и ругается с Мамаевым.

Мамаев тщетно пытается доказать Филимончуку всю бесплодность его затеи. В самом деле, какой может быть здесь поиск, когда даже боевое охранение находится не менее чем в пятистах метрах от переднего края немцев! Ну, предположим, доберутся разведчики до немецких позиций, возьмут «языка», а дальше что? Как отходить более километра, имея при себе пленного? Да еще надо перебираться через речку, правда, не широкую, но достаточно глубокую, с ровными пологими берегами. Мамаев прав: этот «язык» достанется немалой кровью. Но Филимончук упрям. Мне кажется, он способен положить всю нашу разведроту во главе с Лиховских, лишь бы достичь цели. Мамаев так и говорит начальнику разведки: «Ох, дорого обойдутся дивизии твои майорские погоны!»

Покосившись на Мамаева, Филимончук сказал мне:

— Есть важный и секретный разговор.

— Давай, — махнула я рукой. — У меня от Мамаева секретов нет.

Разведчик насмешливо поднял красивую бровь:

— Вот даже как?

— Амба! — стукнул Мамаев рукой по столу. — Язык почешешь о ближайшую сосну. Валяй о деле.

— Можно и о деле, — Филимончук погасил усмешку. — Завтра в ноль-ноль по московскому времени ты, лейтенант, идешь в разведку.

— В качестве кого? — спросил за меня Мамаев. — Для чего? Для поддержки ваших штанов?

— Ты пойдешь в группе захвата, — пояснил Филимончук, пропустив мимо ушей вопросы Мамаева. — Одно твое присутствие поднимет боевой дух ребят. Не посмеют они при девушке вернуться, не выполнив задания. А твоя задача простая: тебе только нужно быть среди них, и всё.

— Сходишь и, как пить дать, схватишь еще один орден, — вставил Ухватов. — Вы же, бабы, — народ везучий.

— Иди сам и хватай! — осадил его Мамаев. — А она одолжит тебе свою юбку.

Филимончук засмеялся, но тут же оборвал смех. Примиряюще сказал:

— Бросьте вы пикировку. Вопрос решен окончательно и бесповоротно.

Я возмутилась:

— А еще ты меня никуда не думаешь послать? Кто тебе дал право так бесцеременно распоряжаться моей жизнью и смертью? Ничего себе удовольствие: за здорово живешь прогуляться в немецкую траншею и обратно! Мне есть чем заняться и без разведки, и ты, пожалуйста, меня в свои планы не впутывай. Не пойду. И не надейся.

— Посмотрим, — сказал Филимончук и ушел вместе с Ухватовым.

А через полчаса позвонил комбат и отчехвостил меня по первое число:

— Я тебе покажу такую разведку, что своих солдат не узнаешь!

Ну не обидно ли? Мне же и попало. Оказалось, что Филимончук еще до нашего спора разговаривал с комбатом о моем участии в поиске, как о деле решенном, и комбат подумал, что я напросилась сама.

Усиленная разведка ушла в полночь. В первый раз за всё время с поисковой группой ушли сразу два офицера: Лиховских и Коля Ватулин.

Собиралась гроза. Гром ворчал еще где-то очень далеко, но косые широкие молнии уже вовсю хозяйничали на наших холмах — мертвенным холодным пламенем расстилались по самой земле. Было душно. Передовая притихла в тревожном ожидании дождя и событий. В траншее слышалось монотонное бормотание деда Бахвалова: просил у своего бога удачи ушедшим в ночь, поминал какого-то Петюшку. Я не сразу сообразила, что Петюшка — это старший лейтенант Лиховских, большой дедов приятель. Впрочем, у старого сибиряка щедрое сердце — побратимов и кумовьев у него чуть ли не половина дивизии, так что деду не впервые переживать за ближнего.

Из своей землянки вышел Мамаев, тихо окликнул деда Бахвалова:

— Отче, ты никак шаманишь?

Дед не ответил, но молиться перестал.

Мамаев, посветив мне в лицо лучом карманного фонарика, присвистнул:

— Краше в гроб кладут. А говоришь, не любишь...

— Слушай, и без тебя тошно! Нашел о чем говорить...

— Да... Девичья душа — темная ночь. Попробуй, разберись... Во, Павловецкий дает! Слышишь?

— Чего это они точно вдруг с цепи сорвались?

— Внимание отвлекают. Всё пока идет, как по нотам. Главный дирижер у тебя?

— В капонире засел. Два телефона притащил.

Капитан Филимончук заметно нервничал. Сновал по капониру из угла в угол, то и дело звонил в боевое охранение и прикладывался к фляге. Не закусывал. Влажные красивые губы промокал листком бумаги из полевого блокнота. На нас с Мамаевым даже не взглянул.

Мы дважды прошлись по обороне, проверили все посты, но время как остановилось. Никогда еще не было у нас такой длинной нудной ночи. Мы не спускали глаз с тропинки, бегущей из боевого охранения, но она по-прежнему была пуста. Рядом со мною вслух переживал Тимофеич. Его не взяли в разведку, и он никак не мог дождаться возвращения своих.

Прошло томительных три часа. Гром ворчал всё так же отдаленно и глухо, дождя всё не было. А мне казалось, что, если бы сейчас хлынул ливень, сразу бы стало легче и нам, и тем, кто ушел.

Прошел еще час. Мамаев заволновался:

— Кажется, светает. Убирайся, Тимофеич, к своему куму! Стонет тут над душой... — Он позвонил в боевое охранение Ухову. Ничего. У немцев всё тихо.

И вдруг где-то там впереди, на речной долине, затрещали автоматные очереди, потом завыли мины и с надсадным треском стали рваться тяжелые снаряды. Мы с Мамаевым молча переглянулись. Было ясно: наших обнаружили. По немецкому переднему краю всеми орудиями ударила полковая батарея. Открыли огонь фланговые пулеметы Лукина и Непочатова. Деду Бахвалову стрелять было нельзя — впереди свои. Мамаев с ведома комбата послал в помощь разведчикам два отделения автоматчиков с ручным пулеметом. Крикнул вдогонку Ульянову:

— Осторожней! Своих не перестреляйте.

Я была в капонире, когда из боевого охранения позвонил Коля Ватулин. Филимончук переспросил:

— Взяли?! Это потом. — Он бросил трубку. Улыбаясь во всё лицо, крикнул телефонисту: — Комдива! Живо!

Я опять выбежала в траншею. Снаряды теперь кромсали нашу нейтралку. Отыскала Мамаева, спрятавшегося от осколков в закрытой стрелковой ячейке. Схватила его за руку:

— Взяли! Как же они пойдут?

— Не дураки. Пересидят в боевом охранении. Молодцы крабы! Взяли, говоришь? Молодцы! Теперь дело в шляпе.

Немцы бесновались до самого рассвета — остервенело лупили то по боевому охранению, то по нейтралке, то по нашим траншеям. Это они всегда так, когда наши выкрадут «языка».

Разведчики вернулись в седьмом часу, мокрые с головы до ног. Троих убитых уложили в траншее в нише, двух раненых и пленного втащили в капонир. Лиховских приказал своим:

— Ребята, домой! Переодеться и спать.

В капонире остался только он и Коля Ватулин. Потом боком втерся Тимофеич и спрятался за широкую спину Мамаева.

Капитан Филимончук всем грузным туловищем надвинулся на маленького Колю. Голосом, хриплым от возмущения, вопрошал:

— Это называется взяли?! Идиот! Ты знаешь, что бывает за ложную информацию? В какое положение ты меня поставил перед комдивом?

— А то не взяли, что ли! — тихо оправдывался Коленька. — Я же хотел вам доложить, что он... Так вы слушать не стали.

— Молчать! Мальчишка!..

Филимончук кинулся к распростертому на полу немцу. Встав на колени, зачем-то дул ему в рот, делал искусственное дыхание — пленный не подавал признаков жизни. Из его носа и рта текла кровь и зеленая вода.

— Фельдшера!!! — рявкнул начальник разведки. Но наш Козлов с двумя санитарами был уже здесь — осматривал раненых разведчиков. — Пленным займись!

Козлов скользнул равнодушным взглядом по телу немца, буркнул:

— Я не обучен дохлых фрицев воскрешать.

Но Филимончук всё не верил, что перед ним не долгожданный «язык» в офицерских погонах, а просто труп — пустое место. Он еще долго тормошил мертвеца:

сгибал и разгибал ему руки и ноги, тряс за плечи, перевернув на живот, бил ладонью по спине. Наконец устал. Вытащил из кармана немца мокрые документы, перелистал и, схватившись за голову, забегал по капониру:

— Что вы, сволочи, наделали?! Да вы знаете ли кого утопили?! Это же командир батальона СС! Такого «языка»!

— Никто его, паразита, не топил,— подал голос Коля Ватулин. — Сам он воды наглотался.

— Какого черта вас понесло в воду! В вашем распоряжении было три плота!

— Потому и понесло, что не было другого выхода,— возразил Лиховских. — Он сумел развязать руки, вырвал кляп изо рта и заблажил во всю силу. Нам пришлось сменить направление, и мы в темноте не могли отыскать плоты. Что ж, по-вашему, из-за этого недоноска я должен был держать своих людей под огнем?

— Мы и так пятерых потеряли, — вставил Коля Ватулин. — И каких ребят!

— Мальчишка! Знаешь ли ты, что «языка» ждет сам командующий.

У Коленьки жарко пылали маленькие уши, густые девичьи ресницы обиженно дрожали.

Я его не узнала. Такой бедовый, а тут молчит! Мне стало вдруг очень жаль парня, и я не вытерпела, зло сказала Филимончуку:

— Сходил бы сам, а потом бы и орал!

Начальник разведки метнул в меня взгляд, как раскаленную стрелу:

— Тебя только тут не хватало! Марш на место! Занимайся своим делом.

— Ну, мне-то ты, во всяком случае, не начальник. Освобождай капонир от своего дохлого фашиста! Где-нибудь в другом месте его оплакивай.

Филимончук выругался матом.

Вмешался Мамаев:

— В самом деле, капитан, кончай душераздирающую сцену у хладного трупа. А то того и гляди и у нас слезы потекут. И впредь по-про-шу в моем присутствии воздерживаться от оскорблений боевых офицеров! Понятно?

Начальник разведки допил водку и шваркнул пустую фляжку о бревенчатую стену. Фляжка, жалобно дзинь-

кнув, отлетела в темный угол. Ее подобрал хозяйственный Тимофеич.

Филимончук ушел.

Я провожала Лиховских и Колю Ватулина до Вариной могилы. От их обмундирования шел легкий парок.

— Давайте, друзья, присядем на минутку, — предложил Лиховских.

— Вы же мокрые до последней нитки! — застонал Тимофеич.

— Мне лично жарко, — усмехнулся Лиховских.

— Мне тоже, — кивнул Коленька. — Дуй, Тимофеич, домой. Приготовь нам сухое и пожевать. Мы сейчас, — сказал он связному.

— Мальчики, где же вы поймали такого немецкого фюрера? — спросила я.

— В одном милом заведении, — засмеялся Лиховских, — с надписью: «Только для господ офицеров». Догадалась? Пошарили мы у фрицев на передке — неподходяще. Взять-то, конечно, можно, но без шума не обойтись. А нам, сама знаешь, шуметь никак нельзя. Дорога домой длиной с версту... И пошли мы по тропинке в их тыл. Километра два прошагали — ни одной живой души. Мы уж было хотели по шаблону: провод перерезать и караулить какого-нибудь связиста. Но вдруг откуда-то из-под земли услышали музыку. Настоящий джаз. Подошли ближе — огромный блиндаж и двери настежь, целый сноп света наружу вырывается. Патефон с усилителем орет, губные гармошки заливаются — гуляют фрицы, на наше счастье. Веселятся беспечно. Только один часовой у блиндажа, да и тот по сторонам не глядит, музыкой занят. Тут и заметили мы это сооружение, в которое царь пешком ходил. Метрах в тридцати оно от блиндажа, и непролазные кусты орешника совсем рядом. Вот мы и засели там. Взяли — и не пикнул. А только через их траншею перевалили, он, черт, и заблажил во всю глотку. Ума не приложу, как он сумел развязать руки. А, бес с ним, с этим лысым фюрером! И на то, что у капитана Филимончука от расстройства желчь разольется, — тоже начхать. А вот ребята-то, выходит, погибли зря... Очень обидно.

На семнадцатое июля по настоянию капитана Филимончука была назначена разведка боем.

Мамаев категорически возражал против этой операции, но на совещании в штабе батальона обосновать свою точку зрения не сумел: заорал — разом выпустил по адресу Филимончука все свои «подкалиберные», словечки и выдохся.

Филимончук же, наоборот, очень спокойно и деловито доказал, что план его до гениальности прост и потому легко выполним. Бывают же люди с таким даром убеждения! Даже наш разумный и осторожный комбат ни слова не возразил Филимончуку, а тот в заключение самодовольно улыбнулся:

— Молчание принимаю за одобрение. Итак, фашисты во второй раз здесь нас не ожидают. Вот мы их и перехитрим.

Хитрить так хитрить. За два дня до назначенного срока рота Мамаева была готова к бою.

Операцией руководил сам комбат Радченко. Группу захвата возглавил Лиховских.

За бревенчатыми стенами боевого охранения мы засели с ночи.

На рассвете в густом молочном тумане стрелки и разведчики на заранее заготовленных плотах благополучно форсировали реку Осьму.

Мой взвод остался на левом берегу, — обеспечивать переправу туда и обратно.

Разведка была неудачной с самого начала. Немцев не удалось захватить врасплох. Туман над речной поймой быстро рассеялся, и рота Мамаева на правом берегу залегла под прицельным огнем противника, без толку неся потери. Группа захвата так и не могла пробиться во вражеские траншеи. Расчет на внезапность и хитрость не оправдался. Комбат дал сигнал об отходе.

Обратную переправу поддерживала полковая батарея, минометы Громова и ружья Иемехенова. Противник отвечал огнем тройной интенсивности. Мы вели огонь через головы своих. Обстреливали лысые высоты, откуда немецкие пулеметы взахлеб бороздили речную гладь.

От минометного огня затонуло несколько плотов. С остальных, держа над головой винтовки и автоматы, солдаты попрыгали в воду. Поддерживая друг друга и подталкивая плоты, стрелки и разведчики вплавь добирались до своего берега и через боевое охранение уходи-

ли на оборону. Мы снимались последними. Я была в расчете Непочатова. Просигналилила деду Бахвалову: «Снять пулемет!» Березин и Попсуевич проворно подхватили «максим» за хобот, остальные расхватали коробки с расстрелянными лентами и тесной группкой побежали по рыжему кочковатому полю в сторону боевого охранения. Пулемет, как большой сытый гусь, переваливался с боку на бок на низких лапах-катках. Позади всех, держась рукой за грудь, не шибко рысил дед Бахвалов: Я подумала: «Доберутся благополучно». Через пять минут снова оглянулась. Пулеметчики были уже у самой стенки боевого охранения. Я с облегчением вздохнула. Но в тот же миг тяжелый снаряд разорвался в середине бегущей группы. В воздух взметнулся огромный фонтан земли, мелькнуло зеленое искореженное тело пулемета, и я на секунду закрыла глаза.

— Непочатов! Всем расчетом к Бахвалову! Забрать убитых и раненых!

А сама подумала: «Там нет раненых...»

— А как же вы? — закричал Непочатов.

— Выполняйте приказ!

Я легла за пулемет. Ко мне, запыхавшись, подбежал Лукин, с разбегу шлепнулся рядом.

— Снимайтесь, — бросила я ему через плечо, не переставая стрелять, — двоих солдат ко мне! — Дала еще несколько очередей по ненавистной высоте и поискала глазами воду. Пулемет раскалился, как утюг, из пароотводной трубки не хлестал даже пар. Плоская банка была пробита осколком насквозь и валялась пустая, без воды. «Максим» забастовал: плевался сгустками расплавленного свинца.

Я поглядела направо: переправлялись последние отставшие солдаты. Ко мне что есть духу бежал Гурулев, за ним еще кто-то. Из боевого охранения, прихрамывая, возвращался Непочатов...

В капонире на узких нарах лежал дед Бахвалов, блевал и плакал:

— Мальцы мои дорогие... Ребятки.. Всех до одного... Лучше бы меня, старого каторжника... Я уже свое отжил... — Его уговаривал капитан Степнов.

Пришел фельдшер, посмотрел деда, сказал:

— Контузия. Ушиб брюшины. Надо в медсанбат.

Мы с Непочатовым уточняли потери. Погибли: Миронов, Березин, Попсуевич и Лукашин. Легко ранены Непочатов и Пырков. В госпиталь ехать отказались. Контужен дед Бахвалов.

В капонир ввалился разведчик в рваном маскировочном халате, обратился ко мне:

— Тяжело ранен старший лейтенант Лиховских. Хочет вас видеть.

Я побежала на ротный санпункт, но раненого уже отправили...

Забившись в стрелковую ячейку, тоненько плакал Иемехенов. Повернул ко мне залитое слезами лицо:

— Помирал Ульянов, однако... Друг, однако...

Я была очень расстроена. А тут еще явился Макс-растратчик с актом о списании материальных потерь Пробежав глазами бумагу, я возмутилась:

— Что это? Ведь у моих погибших солдат было только по две ноги! А тут двадцать пар ботинок! И шинели?! Да мы и не брали их с собой. Пятнадцать палаток? Нет, старшина, такую фальшивку я не подпишу.

— Так поймите вы, товарищ лейтенант, в роте недостача! — вскричал старшина Букреев. — Старшему лейтенанту Ухватову предшественник дела не передавал — ранили его, с него и взятки гладки, а всё как есть и повесили на нас с командиром роты. Что ж нам теперь, платить за всё? Да тут никакого жалованья не хватит!

— Всё это вы объясните начальнику тыла, может быть, он вас поймет, а я вам не сообщник. Старший сержант Непочатов, составьте для старшины реестр потерь.

Ночью из санроты позвонила Нина Васильевна. С грустью сказала:

— Только что отправила Петю Лиховских. Правую ногу придется ампутировать. Глаз, по всей вероятности, тоже пропал... Что же ты молчишь?

От комка, подступившего к горлу, я не могла сказать ни слова...

Мамаев всю ночь ругался и огрызался на телефонные звонки. Он был очень расстроен: потерял почти третью часть личного состава, в том числе толкового командира взвода Ульянова...

— Авантюрист! — гремел он в адрес Филимончука. — Таких судить надо! Видал бы я этот «сабантуй» в

гробу! Додумался, краб: где обедал — туда и ужинать отправился... Умник, а эсэсы — дураки?.. «Не проявили должной храбрости...» Показал бы я тебе храбрость, Аника-воин!

На другой день за большие потери в разведке боем Мамаеву объявили строгий выговор по партийной линии.

Мамаев заморгал толстыми, как проволока, ресницами:

— Вот те раз — пальцем в глаз! Это называется свалить с больной головы на здоровую!

Он вопросительно поглядел на меня, ища сочувствия. Но я сказала:

— Так и надо. Может быть, хоть это научит тебя нормально разговаривать. Нет чтобы доказать всё спокойно и обстоятельно — кроет матом, как в кабаке!

— Не в том дело! — закричал разобиженный Мамаев. — А главный виновник, выходит, сухим из воды выскочил? А? По-твоему, это порядок?

Но и Филимончука наказали — отстранили от должности. Делом о неудачной операции занималась дивизионная партийная комиссия. Узнав об этом, Мамаев успокоился.

Ночью наша дивизия снялась с насиженного места и отошла в тыл, в резерв командующего.

Дед Бахвалов лечился недолго: сбежал из полевого госпиталя и в один прекрасный день хмурый предстал передо мною. Я очень обрадовалась:

— Василий Федотович, дорогой! Как здоровье? — и поцеловала старика.

Дед, отвернувшись, подозрительно долго протирал свои очки-колеса. Потом глухо сказал:

— Слава богу, здоров, как батюшка-медведь. В обоз, мазурики, норовили списать, да с Бахваловым шутки плохи. Так и сказал я доктору, да и зафитилил домой...

Подошел Мамаев, довольный, захохотал:

— Дедок! Милая ты моя борода! Как прыгаешь, сибирский боцман? Как дела?

— А дела, товарищ моряк, ни к лешему, — ответил дед Бахвалов. — Вот командир роты Ухватов во взвод

лейтенанта Васильева меня направляет. Говорит, тут вакации для меня нету, а там есть.

— Не вакация там, а провокация! — закричал Мамаев и потряс своей дубинкой: — А этого ваш краб Ухватов не едал? Он что же, гальюнщик, думает, что я с двумя пулеметами буду воевать?! — Ротный свирепо вытаращил глаза и повернулся в мою сторону: — Чтоб сегодня же был у меня третий пулемет!

— Не ори. Не глухая. Будет вам, Василий Федотович, пулемет и люди будут. На днях еще пополнение получим и все отделения скомплектуем заново. Так что никуда мы вас не отпустим.

— Спаси, Христос, коли так, — обрадовался старый пулеметчик.

Прибежал Пырков. Улыбаясь во всё щекастое лицо, закричал что было духу:

— Братцы, дед Каширин явился!

— Ой, старый борода! Друг, однако!—верещал Иемехенов.

Сияющего деда окружила наша молодежь.

Ухватов уперся, как баран:

— У тебя нет ни людей, ни машины, а у Васильева как раз недостает опытного наводчика.

— Но Бахвалов не наводчик, а командир отделения. Люди не сегодня-завтра будут, и где ж я тогда возьму командира?

— Будут люди — будет и командир, — возразил ротный. — На Бахвалове свет клином не сошелся.

— Нет сошелся! Много у тебя в роте таких Бахваловых? Вот-вот в наступление, а ты мне ножку подставляешь!

Ухватов глядел на меня нагло и насмешливо:

— А ты попроси хорошеньче. Поплачь. Может быть, и пожалею...

— Дорвался? Рад досадить? Эх ты! Голова — два уха. Даже говорить неохота.

— А ты скажи. Не стесняйся. Подлец, да?

— На подлеца, пожалуй, не потянешь, — сквозь зубы возразила я. — А вот мелкий пакостник — это да!

Ухватов обиделся:

— Ты говори, да не проговаривайся! Я не погляжу, что ты баба...

Я только рукой махнула. Скажи на милость, не нравится: на подлеца он согласен, а на пакостника — нет. Как будто хрен редьки слаще.

Пришлось побеспокоить комбата.

Наш комбат, когда по-настоящему сердится, становится гениально ядовитым и непременно переходит на «вы».

— Поздравляю! — сказал он Ухватову по телефону. — Пока устно. А не позднее чем завтра в это же время старший адъютант будет иметь честь огласить вам выписку из приказа. Не стоит благодарности. По заслугам. Восхищен вашей распорядительностью, и если до сих пор я не вышвырнул вас из батальона, то только благодаря вашим деловым качествам. Слушайте внимательно, де-я-тель. Прекратите! Вот именно. И это и то самое. Предупреждаю в последний раз. Пулеметчика Бахвалова оставить на месте. В двадцать ноль-ноль доложить, что в роте Мамаева есть третий пулемет. Понятно?

Положив трубку, комбат с неудовольствием сказал:

— Вы мне оба надоели. По завязку. Кляузничаете друг на друга, как школяры.

Справедливо, ничего не скажешь! Единственный раз пожаловалась на Ухватова, и сразу попала в разряд кляузников. Было очень обидно, но оправдываться не стала. Только и сказала:

— Я от всей души желаю вам такого командира полка, как старший лейтенант Ухватов.

— Благодарю, — поклонился комбат, насмешливо улыбаясь. — Значит, не любишь ты своего ротного командира?

— Не люблю?! Это не то слово. Да я его... Не могу понять, как можно такому вверять судьбы людей? Наглый, лживый, малограмотный, да еще и пьет!

— Куда ж его девать? — комбат всё улыбался.

— Куда? В резерв. Пусть спасает свою шкуру. Или в трофейную команду. Впрочем, туда нельзя... Трофеи будет пропивать...

Капитан Радченко погасил улыбку:

— Вот именно. Сразу и места не подберешь.

Я съехидничала:

— Так дайте ему батальон! В чем же дело?

— Ты же сама отлично знаешь, что такой, как Ухва-

тов, батальона не получит, — медленно сказал комбат, хмуря брови.—Должность командира пульроты для него предел. Так-то. Иди и не морочь мне голову. Не так бы я с тобой разговаривал, если б ты была не права.

Ночью дед Бахвалов придирчиво проверял новенький, только что полученный с завода «максим». А утром, с тощим вещмешком за плечами, с солдатским котелком у пояса, к нам заявился Шугай. Пригладив рукою бороду, он обратился ко мне:

— Принимайте солдата, товарищ взводный.

Дед Бахвалов обрадовался:

— Только ко мне, Федор Абрамыч. Мы же земляки, товарищ взводный.

Но я возразила:

— Федор Абрамович будет наводчиком у Лукина. А вы, Василий Федотович, забирайте у Непочатова Пыркова. Место Пыркова займет Андриянов. По-моему, это будет правильно? Как вы думаете?

Подумав, дед согласился:

— Пожалуй, что так. Пырков и Андриянов только мешают один другому. Андриянов вроде бы обижается, что наводчиком не он, а мазурик Пырков. Так и быть. Давайте мне этого уркагана, я последних блох из его шкуры повытряхну. Вот только бы Федор Абрамыч не обиделся...

Шугай улыбался:

— Ни боже мой! Вася-то Непочатов, чать, тоже мой земляк. Четыре пролета по двести верст сибиряку раз плюнуть...

Старый смоленский лес был насквозь пронизан солнцем. Стояла жаркая сухая погода. По чистому голубому небу плыли разрозненные легкие облака, а дождя все не было. Южный ветерок не освежал и даже под вечер не приносил прохлады.

На юге шли ожесточенные бои. В Германии была проведена тотальная мобилизация. Фашисты, собрав все силы у себя и в оккупированных странах, бросили их на Восточный фронт.

Пятого июля в пять часов тридцать минут Гитлер, как игрок, которому уже нечего терять, двинул свои брониро-

ванные полчища по всему фронту гигантской Курской дуги.

Немцы наткнулись на четкую, заранее продуманную, глубоко эшелонированную оборону и были остановлены. Армии генералов Ватутина и Рокоссовского стояли насмерть.

Двенадцатого июля во встречном бою у деревни Прохоровки войска Воронежского фронта и стратегического резерва дали фашистам решающее сражение. Во встречном бою столкнулись около тысячи танков и двухсот самоходок. Только за один день враг потерял до десяти тысяч солдат и более двухсот пятидесяти танков!

Восемнадцатого июля Степной фронт, возглавляемый полководцем Коневым, совместно с Воронежским фронтом перешел в наступление в направлении Белгорода, Харькова, Орла.

Мы с жадностью набрасывались на газеты, на политинформациях, затаив дыхание, слушали сводки Информбюро, представляли себе и никак не могли представить гигантский масштаб Курской битвы. Это не шло ни в какое сравнение с нашим зимним наступлением без танков, авиации и, можно сказать, без артиллерии. Юг уже вовсю воевал, а мы все еще изготавливались. Как перед всяким наступлением, начались маневры.

Никогда смоленский лес не видел такого множества народу — под каждым кустом солдат. Здесь, в десяти километрах от переднего края, окопались сразу несколько дивизий — перемешались все рода войск.

Мы построили только шалаши-спальни, окопали кухню, коней хозвзвода и больше никаких земляных работ не производили. Было ясно, что мы здесь ненадолго.

Рядом с нашей кухней устроились огромные гаубицы. Они частенько ведут огонь всеми орудиями. Повар Алексей Иванович болезненно морщится и затыкает пальцами уши.

Около взвода Иемехенова приткнулись какие-то радисты. С раннего утра дотемна они терзают свои рации: дают настройку, кого-то вызывают, кому-то отвечают и ловят музыку.

В трех шагах от моего шалаша расположились чужие разведчики, в таких же маскировочных костюмах, как у ребят Коли Ватулина. Они порядком мне досаждают:

пристреливают новенькие пулеметы-пистолеты, орут песни и отпускают по моему адресу ехидные шутки.

За хозвзводом саперы, за саперами танкисты, зенитчики, трофейная команда. Ближе к реке — сразу несколько медсанбатов. Тихими вечерами девушки поют — слаженно и красиво. Поют все. Каждый взвод свое. Только разноголосое эхо мечется по лесу. Мои ребята по семь раз на дню заводят свою любимую «Марусю», Пырков пляшет трепака прямо на дороге. Настроение у народа как под праздник. И только один Мамаев недовольно хмурится и фыркает, как кот:

— Оглушили, крабы. Понабивалось, что сельдей в бочке. Как тут заниматься? Роту развернуть негде. Видал бы я этот астраханский базар во сне!..

Проводить занятия действительно было негде.

— Что будем делать? — спросил озабоченный Непочатов. — В глухомань забраться — пулеметы не протащишь, да и не видно ничего, какой уж там огонь...

— Ладно, Василий Иванович, займемся сегодня материальной частью, — решила я, — а завтра что-нибудь подыщем.

— Жара такая, — сказал Непочатов,—может, разрешите выкупаться на скорую руку? А, товарищ лейтенант?

— Разрешаю. Пятнадцать минут.

Солдаты закричали «ура», составили на берегу реки в ряд пулеметы, и уже через две-три минуты послышался плеск, восторженный хохот и гулкое хлопанье ног по воде.

Донесся сердитый голос деда Бахвалова:

— Вы что ж это, мазурики, воду мутите, а? Места вам мало? Помыться не дадут порядочному человеку!

Я улыбнулась. Наш дед ворчит на свое новое войско не переставая:

— Разве вы, мазурики, пулеметчики? Так, ни черту кочерга, ни богу свечка... Вот у меня были мальцы!..

На днях в армейской газете на первой странице была помещена фотография: я, дед Бахвалов и Шугай. А под нею статья о нашем взводе. Хорошая статья, умеренная. Корреспондент образно именовал деда Бахвалова «патриархом переднего края». Старик сомлел от гордости. И, едва Непочатов вслух прочитал статью, он обратился к молодому пополнению:

— Трепещите, мазурики! Вот как надо воевать! Не

как-нибудь, а по-божественному величают... — И очень волновался, как бы газету не пустили на раскур. Когда Мамаев попросил ее, чтобы почитать своим солдатам, дед лично отправился к стрелкам:

— А то на козьи ножки изорвут. Как пить дать, скурят, мазурики. Спалят, и бороду мою не уважат...

Я бы тоже с удовольствием выкупалась, да где уж там... Вздохнув, сняла гимнастерку, машинально ее свернула, сунула под куст и задумалась. Мысли мои унеслись далеко, под Харьков, где сейчас наступала моя родная дивизия.

Я и не заметила, как подошли незнакомые офицеры-гвардейцы и бесцеремонно уселись рядом со мной. Один из них, лицом очень похожий на нашего Филимончука, усмехаясь, посмотрел на мои голые руки и шутливо продекламировал:

Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?..

Я неласково спросила:

— Что вам здесь надо?

Все четверо засмеялись. Капитан с нахальными глазами продолжал в том же шутливом тоне:

— Это невежливо. Надо сказать: «Здравствуйте, товарищи прославленные гвардейцы!»

— Черт с вами, сидите.

— Это уже лучше, — засмеялся капитан. — А скажи-ка, милый вундеркинд, из какой же ты дивизии?

— Из самой лучшей.

— Гм... Молодец. Хвалю за находчивость.

Дед Бахвалов вдруг рявкнул на весь лес:

— Вон, мазурики, из воды! До скольких же разов вам надо приказывать!

Капитан, прислушиваясь, улыбался:

— Дорвалась матушка-пехота до бесплатного...

Непочатов крикнул:

— Товарищ лейтенант, дозвольте еще пять минут!

Я взглянула на часы:

— Разрешаю десять! — И надела гимнастерку. У моих веселых собеседников вытянулись лица. Они сразу стали прощаться.

— Куда же вы, товарищи прославленные гвардейцы? — улыбаясь, сказала я. — Продолжим нашу приятную беседу.

Но продолжить не пришлось. Налетели «юнкерсы». Отцепили несколько десятков бомб. Лес ощетинился сплошным огнем: стреляли буквально из-за каждого куста. Разрисовывая небо сизыми барашками, стучали зенитки; строчили станковые пулеметы; глухо ухали противотанковые ружья. Пехота тоже вела беспорядочный огонь из винтовок и даже из автоматов. Я и мои новые знакомые стояли на берегу, задрав головы вверх. Капитан переживал вслух:

— Ни одного попадания! Сапожники...

Мои солдаты, не успев одеться, укрылись под высокий, выступающий над водой козырьком, берег. И только дед Бахвалов в мокрых кальсонах метался по берегу и истошным голосом кричал:

— Куда девали мой ремень?! Признавайтесь, мазурики, кто из вас спрятал?!

Самолеты сделали еще один заход. Сбросили бомбы где-то в районе нашего хозвзвода. И когда выходили из пике, зенитный снаряд крупного калибра настиг головную машину и разнес ее вдребезги. В воздухе закружились обломки и какие-то клочья.

От громового «ура» содрогнулся вековой бор. На берегу, как дикари, полуголые плясали мои солдаты.

Гвардейский капитан от избытка чувств схватил меня за бока и, высоко подняв в воздух на вытянутых руках, весело закричал:

— Порядочек в зенитных частях, геройский взводный!

А вечером в этой немыслимой толчее я вдруг нос к носу столкнулась с... Мишкой Чурсиным!

— Мишенька, родной мой!

— Чижик! Неужели это ты?! — Разведчик схватил меня за руки.

Мишка был точь-в-точь таким, как на фотографии, которую мне недавно показывал корреспондент Иван Свешников. Мы не виделись больше года. Разведчик возмужал, раздался в плечах. Но все такая же полунасмешливая, полунахальная улыбка играла на Мишкиных губах и все так же теплым янтарем мерцали Мишкины лихие глаза.

— Чижик! Ущипни меня — может, я сплю?

— Мишенька, ты помнишь наш полк? — Неожиданно

для себя я, встав на цыпочки, поцеловала разведчика прямо в губы.

За ближайшим кустом засмеялись:

— Девушка, а ну еще разок!..

Но мне было не до насмешников. Я смотрела на Мишку, не отрываясь.

— Чижик, где бы это нам поговорить? — оглядываясь, спросил Мишка.

— Есть тут одно местечко. Пойдем.

Мы забрались в самую глушь и уселись на ярко-зеленую траву на берегу топкого лесного ручья. Последний луч скользнул по Мишкиным орденам, задержался на его серьезном лице и позолотил Мишкину косую челку. Загораживаясь рукой от солнечного зайчика, Мишка спросил:

— Чижик, замуж еще не вышла?

— Обалдел, — засмеялась я.

Мы сидели долго и вспоминали наш полк.

— Мишка, неужели комиссар Юртаев умер?

Мишка вздохнул:

— Я пытался искать. Куда только ни писал. А потом самого ранили, так и затерялись все следы. Ох, Чижик, растревожила ты мне сердце. Ну разве я мог подумать, что встречу тебя?.. Между прочим, я тебя часто видел во сне.

— Это был страшный сон, правда?

— Правда, — улыбаясь, сказал Мишка. Мы разом поцеловали друг друга и оба засмеялись.

Возле наших шалашей Мамаев березовым веником выколачивал свою гимнастерку. На Мишку поглядел подозрительно. Недружелюбно спросил:

— А ты, герой, откуда тут взялся?

— С луны упал, — ответила я за Мишку. — Мы знакомы тысячу лет. Верно?

— Верно, — подтвердил Мишка, и глаза его вдруг стали злыми. — И ты, морская душа, ее получишь только через мой труп! Понял?

— Понял! — захохотал Мамаев, заправляя тельняшку под брюки. — Где уж нам со свиным рылом да в калашный ряд.

На другой день Мишкина бригада снималась. Про-

щаясь, трофейным фотоаппаратом он сфотографировал меня раз пятнадцать. Мамаева тоже снял и довольно мирно с ним разговаривал, но, прежде чем уйти, спросил меня:

— Дай честное слово, что этот моряк к тебе клинья не подбивает?

Я насмешливо сказала:

— Новоявленный Отелло. Мишка, ты помнишь Отелло?

— Помню, — засмеялся разведчик и лихо пропел:

А у Отелло в батальоне
Был Яшка, старший лейтенант...

Через неделю Мишка прислал сумбурное письмо, полное клятв, уверений в любви и намеков. Письмо заканчивалось патетически: «А у меня вас трое: автомат, кинжал и ты, моя любимая... Но если этот морячок...» Читая, я сердилась и смеялась. Показала письмо Мамаеву. Он тоже засмеялся:

— Значит, я еще не так стар, если меня можно к девчонке приревновать.

— Старик в тридцать лет!

— Тридцать — не восемнадцать, — назидательно сказал Мамаев и почему-то вздохнул.

А еще через неделю я получила толстый конверт, надписанный незнакомым почерком. Из конверта на траву выпали мои фотографии. Писал Мишкин друг, начальник штаба. Писал полуофициально: «...ваш близкий друг, капитан Михаил Чурсин погиб на высоте 88,16. Похоронен... Мы с глубоким...» Буквы прыгали у меня перед глазами. Я не заплакала. Машинально скомкала письмо и пошла сама не зная куда, натыкаясь на шалаши, как слепая.

Как во сне, добрела до лесного ручья и опустилась на траву. Бедный Мишка! Нас многое связывало. Мы служили в одном полку. Мишка знал дорогих мне людей, знал капитана Федоренко... Мишка был настоящим другом... И Петя Лиховских настоящий... Гордый. Остался инвалидом и ни одного письма не только мне, но даже и Нине Васильевне. Никому в полку... Чтоб не жалели.

Сердце так болело, что я подумала: «Еще кого-нибудь потеряю — и оно разорвется...»

В сумерках меня разыскал Мамаев. Молча опустился рядом на траву.

— Гриша, — сказала я, — погиб Мишка Чурсин...

Мамаев не стал утешать. Молча пожал мне руку, просто сказал:

— Пошли. Жизнь продолжается.

Ночью мне приснился не Мишка, а Федоренко. Живой, здоровый, любимый... Я проплакала до самого рассвета. Утром, умываясь, Мамаев погрозил мне пальцем. Он прав: жизнь продолжается...

Комбат вышел из положения. Вместе с Пашей-ординарцем и адъютантом батальона он обследовал все окрестности в радиусе десяти километров, но зато нашел, что требовалось. На учебном плацу все было как на настоящей обороне: траншеи наши и «противника», широкая нейтральная полоса — лощина, речка маленькая впереди и даже танкоопасное место. Не было только танков. А надо бы...

На одном из совещаний мы сообща подняли этот вопрос и просили пустить на нас в учебном бою танки. Да не наши, а трофейные: черные, с белыми крестами на броне. Павловецкий правильно сказал:

— Мы потому и боимся танков, что не знаем их, не имеем дело с этой сволочью.

— И ты боишься? — глупо спросил Ухватов.

— А что я, не человек? — сердито ответил Павловецкий.

Да, танки бы нам очень нужны. Попробуй докажи солдату, что танкист сидит, как в мышеловке, и сам нас боится. Солдату надо дать возможность все пощупать своими руками...

Чтобы приучить новичков к огню, комбат на одном из занятий загнал мой взвод и бронебойщиков Иемехенова на лысую высоту и приказал нам вести огонь через головы своих веером по всей лощине. Прямо перед нами, примерно в километре, была вторая такая же лысая высота, по условиям занятий ощетинившаяся пулеметным огнем. Мы обстреливали «немецкие пулеметные гнезда». Пулеметы работали на самом безопасном прицеле, но в бинокль было отчетливо видно, как плохо чувствуют себя под пулями необстрелянные солдаты: втягивают голову в плечи, оглядываются назад, и даже ложатся. Комбат, размахивая над головой автоматом, по-журавлино-

му вышагивал позади стрелковой цепи и что-то кричал: наверное, ругал и стыдил трусов.

С нами на высотке находился замкомбата Соколов, назначенный на время занятий командиром резерва.

Пока стрелки отрабатывали приемы штыкового боя, у нас на горушке произошло ЧП. Солдаты мирно курили. Дед Бахвалов за что-то отчитывал новичка Сашу Закревского.

Старший лейтенант Соколов поймал толстую зеленоватую змею и хотел показать ее Иемехенову. Маленький бронебойщик взвизгнул и бросился наутек. Соколов бежал за ним и кричал:

— Это же всего-навсего безобидная ящерица, невежда!

Иемехенов хотел спрятаться за мою спину и нечаянно толкнул. Я оступилась, попала ногой в старую воронку и вскрикнула от резкой боли в ступне. Опираясь на мамаевскую дубинку, еле доплелась домой. Непочатов с трудом снял с моей распухшей ноги сапог и вызвал фельдшера. Явился наш Козлов. Он мял и дергал ногу так, что у меня из глаз пригоршнями сыпались искры.

— Растяжение сухожилий, — сказал Козлов. — Полный покой. Надо в медсанбат. — У нашего эскулапа одна песня: чуть что — в медсанбат или в госпиталь.

Нога нестерпимо болела. Я лежала в шалаше и с холодным бешенством ругала Соколова:

— Сумасшедший зоолог! Черт бы тебя побрал со всеми твоими змеями и ящерицами! Ящерица! Как бы не так — настоящая отвратительная гадюка! Тьфу!..

В шалаш просунул голову Мамаев и закричал, как ужаленный:

— Слепая каракатица! Где были твои фары! На камбузе твое место! Уедешь в госпиталь — тебе и начхать. А мне подсунут какого-нибудь тылового краба — начинай все сначала! А где, где у меня время вас, салажат, уму-разуму учить?!

— Что ты орешь, сумасшедший тип? — возмутилась я. — Не поеду я в госпиталь!

— Так что ж я тебя в наступление на собственном горбу попру?!

— Замолчи. До наступления заживет, ведь не перелом.

Мамаев выкричался и, как всегда, сразу успокоился, уже мирно спросил:

— Болит? — И заворчал по адресу Соколова: — Обижается, наверное, краб, что не здороваюсь за руку... А как и здороваться, когда он руками постоянно какую-нибудь пакость берет. Вчера поймал жабенка, посадил на ладонь и тычет мне в нос: «Посмотри, какая прелесть!» — Мамаев с невыразимой брезгливостью скривил рот. — Ужасная гадость! Видал бы я этого жабьего сына в гробу! Веришь ли, он живых ящериц запускает себе под рубаху на голое тело, и они там ползают, шебаршат...

— Черт с ними, с ящерицами, — перебила я. — Надо коня.

— Зачем тебе конь?

— Не могу же я на занятиях не присутствовать!

— Обойдемся и без тебя. Лежи, поплевывай в потолок.

— Нет уж, знаю я, как наступать без репетиции! Надо все отработать.

Через час старшина хозвзвода Долженко привел низкорослую неказистую кобылку, заросшую густой и довольно длинной рыжей шерстью.

— Ты что же, краб, хуже не нашел? — спросил его Мамаев.

— Да... — сказала я. — Вот на этом самом ослике бог, наверное, и въехал в Иерусалим...

Но Долженко, как и многие хозяйственники, был лишен чувства юмора и ответил со всей серьезностью:

— Какой же это ослик? Обыкновенная транспортная единица. Чистокровная монголка. Вы не глядите, что она не с красы, зато бегает и втрюшку, и вбрюшку, и как только душа пожелает... Да и кормить ее не надо. Сама пропитание находит. Вот только кусачая шельма, что твоя собака! Но-но! Не балуй!

— А седло?

Долженко развел руками:

— Чего нет, того нет. Мы ж не кавалерия. А зачем вам седло? Вы на бочку́, по-пастушьи. Не призы, чай, вам и брать... Впрочем, какой-то упор надо. Эта Жучка очень даже свободно может скинуть наземь. Я сейчас... — И ушел.

Опираясь на мамаевскую дубинку, я глядела на

транспортную единицу без радости. Представив себя верхом без седла, с досадой подумала: «Засмеют»...

Кобылка, потряхивая головой, с аппетитом поедала березовые ветки.

Мамаев хотел усесться верхом. Монголка проворно цапнула его зубами за колено и высоко взбрыкнула задними ногами. Солдаты захохотали. Дед Бахвалов, посмеиваясь в бороду, сказал:

— Это, мазурики, не кобылка, а натурально конек-горбунёк. Не садитесь вы на нее, товарищ взводный, последнюю ногу откусит...

Вернулся Долженко.

— Вот и седло, — буркнул он. — Делов-то палата!— Свернутое вчетверо одеяло прикрепил веревкой к спине кобылки и затянул чересседельником, а вместо стремян пристроил две веревочные петли.

Непочатов ловко вскочил в самодельное седло и натянул поводья. Монголка вставала свечой, махала в воздухе передними ногами, изгибая короткую шею, пыталась достать всадника оскаленными зубами и визжала не по-лошадиному.

Непочатов сидел, как приклеенный, и остервенело порол строптивицу березовой хворостиной.

— О-ха-ха-ха-ха! — закатывался Мамаев и, вытирая слезы, кричал мне: — Слушай, а ведь она характером вся в тебя! Ай, молодец Долженко! Хо-хо-хо-хо!

— И ничего не «хо-хо-хо», — ворчал Долженко, — под седлом животное не ходило, только и всего...

Кобылка взвизгнула в последний раз, сорвалась с места и рысью вынесла Непочатова на дорогу. Вернулся Василий Иванович только к ночи. Он был мокрый, как из бани. Кобылка хрипела, с волосатых боков хлопьями падала мыльная пена.

— Готова, — сказал Непочатов, устало слезая с седла, — упрыгалась. Поводья натягивать не надо — пойдет.

На другой день представление началось с раннего утра. В полном боевом снаряжении наша рота направилась на учебный плац. Помня наставление Непочатова, я не натягивала поводья, и лошадка, цокая маленькими копытцами, довольно мирно семенила по обочине дороги. А по пути нашего следования стояли зрители, тыкали в

мою сторону пальцами, хохотали и изощрялись в остроумии:

— Братцы, Суворов на кобылке!

— А вот и праправнучка хана Чингиса!

— Правоверный Ходжа направился в Мекку!

— Ха-ха-ха-ха!

— Синьорита, вы на базар?

Впрочем, увидев мою забинтованную ногу, острословы сконфуженно умолкали. Я не сердилась на озорников — сама при случае не прочь посмеяться. На своей крошечной волосатой кобылке я, наверное, и впрямь выглядела забавно. Меня заботило другое.

Злое существо совсем не слушалось повода. Вдруг задурила: то обгоняла колонну, то плелась нога за ногу, отставая на полкилометра; то опять догоняла строй, грудью врезалась в самую середину и, расталкивая солдат, норовила кого-нибудь ухватить зубами за ухо. Солдаты ломали ряды, смеясь, оборонялись пилотками и кулаками. Мамаев сердился:

— Сидела бы дома вместе со своей ослицей!

На «боле боя» было еще хуже. Кобылка несла меня, куда хотела, не признавая ни сигналов, ни рубежей. Вначале она напала на Пашу-ординарца. Ничего не подозревавшая Паша подошла ко мне поздороваться. В тот же миг монголка вцепилась зубами в полированное ложе Пашиного автомата, откусила довольно большую щепку и, всхрапнув, стала ее жевать. Паша кинулась наутек.

Потом, перед самым сигналом «в атаку», лошадка бесшумно подкралась к старшему лейтенанту Ухватову, ловко сгребла его сзади за подол гимнастерки и, мотая головой из сторону в сторону, стала полоскать моего ротного, как тряпку в пруду. Ухватов заорал благим матом. Изготовившиеся «к атаке» солдаты обернулись на крик и, побросав на траву оружие, зашлись в приступе неистового хохота. Перепуганного командира роты вызволили подбежавшие Непочатов и Пырков, но еще добрые четверть часа весь батальон покатывался со смеху.

Мамаев выкрикивал сквозь слезы:

— Товарищ волк знает кого кушает! Выдать ей за это солдатскую пайку хлеба! Ох, милые мои крабы, держите меня, а то помру!..

Ко мне подошел нахмуренный комбат, остановился

на почтительном расстоянии, показал пальцем на маленький холмик в стороне, приказал:

— Убирайся к чертовой бабушке! — Улыбнулся скупо: — Вот оттуда и наблюдай, как Чапаев.

Но кобылка не хотела в тыл и норовила вынести меня прямо на рубеж «атаки». Пришлось спешиться и привязать строптивицу к дереву.

На другой день Пырков откуда-то приволок новенькое седло светло-коричневой кожи и сбросил у моего шалаша.

— Украл? — напрямик спросила я.

Парень самодовольно ухмыльнулся:

— Купил-нашел — едва ушел. Хотел отдать — не успели догнать...

— Зачем тебе оно?!

— Да не мне, а вам!

— Спасибо. Нечего сказать, услужил! Лоботряс, ведь ты же знаешь, что мне по уставу коня не положено! А если бы даже и было положено, так неужели бы я стала пользоваться ворованным седлом? Отнеси туда, где взял. Понятно?

— Не понесу, — буркнул Пырков, глядя себе под ноги.

— Как же ты не понесешь, если я приказываю!

— Что хотите со мной делайте, товарищ лейтенант, а только я не понесу.

— Стыдно? А воровать было не стыдно? И у кого? У своего же брата солдата! Эх ты! А тебе сам командующий поверил!.. Сейчас же отнеси и извинись.

— Бить будут, — мрачно сказал солдат.

— Видно, много тебя били, а расписываешь ребятам воровскую жизнь. Малина. Рио-де-Жанейро... Позови Непочатова.

Василий Иванович сразу же догадался, в чем дело. Укоризненно покачал головой:

— С лысинкой ты, парень, родился, с лысинкой и умрешь!

— Отнесите с ним седло и извинитесь, а то он один боится, — сказала я.

В это время подошел Макс-растратчик, обвешанный портянками и обмотками. Осторожно пнул седло носком блестящего сапога, спросил:

— Чье? Где взяли?

Пырков глядел на меня умоляюще, и я сказала:

— Артиллеристы подарили. Да мне не надо. Сейчас обратно отнесем.

— Вот еще, выдумали относить! — возразил старшина. — Сгодится в хозяйстве!

Я сказала:

— Айда, ребята! Да поблагодарите хорошенько!

— Разве с вами когда кашу сваришь? — заворчал старшина и пошел своей дорогой.

После ужина своим судом судили вора. К нашему кружку хотел присесть Мамаев, но я сказала:

— Уйди, старший лейтенант, тут дело сугубо семейное.

Судьями были все. Председательствовал Непочатов, он же и обвинение поддерживал. Защитником единогласно выбрали деда Бахвалова. Я не вмешивалась. Непочатов сказал короткую гневную речь. «Позор нашего боевого коллектива» — бывший урка Пырков не оправдывался, без поясного ремня скромно стоял в середине круга, опустив глаза долу. Во время речи «адвоката» солдаты, сдерживая смех, кусали губы.

Дед выступал с подъемом:

— Граждане товарищи судьи! Черного кобеля не отмоешь добела! Так и нашего Пыркова! Он, может быть, и сам не рад: терпел-терпел, да и того... приласкал седельце. Это хворь, граждане судьи, истинный бог, хворь! Вот у нас в деревне есть мужичонко такой мозглявый, соплей перешибешь. Андрон его зовут, а по прозвищу... Ну да ладно, я вам потом, без взводного, скажу, каково его прозывали... Так этот самый Андрон ворюга — ужасти! И не надо, да украдет! Что увидит, то и сопрет: борону — так борону, хомут — так хомут. Все волокет к себе на подворье... Били его мужики смертным боем, а Андрон отлежится, да и опять за свое... Так уж у нас в деревне привыкли: что у кого пропало — ищи у Андрона. Вот раз поехал он со своей бабой сено косить. Косит, тоской мается — что в поле украсть? Нечего. Верите ли, мазурики, закинет Андрон свой собственный картуз за копешку с сеном да и подкрадывается к нему, как кот к мыши. Схватит — аж засмеется. Доволен, варнак! Так и наш Пырков. Да и то, граждане судьи, сказать, не Пырков тут виноват... — дед Бахвалов сделал паузу и многозначительно поднял палец вверх, — а командир

хозвзвода Долженко! Если бы он дал стоящего коня, ничего бы не произошло! А то парень подумал: «Наш взводный верхом на крысе, да еще и без седла!» Обидно же ему, мазурику, стало. Вот он и того... Не для себя брал. Это надо, мазурики, понимать...

Гася улыбку, Непочатов спросил защитника:

— Короче говоря, что вы предлагаете? Оправдать?

Дед Бахвалов приосанился:

— Вот я и говорю, короче говоря. Зачем прощать? Дать ему потачку? А предлагаю я так: одолжить у старшего лейтенанта Мамаева матросский ремень, разложить его, мазурика, на травушке и флотской бляхой по голой... десять разов! Вот!

— Ха-ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо-хо!

Смеялись долго. Саша Закревский пускал от смеха пузыри и махал перед лицом руками.

— Тише! Это несерьезно, Василий Федотович! — возразил Непочатов.

— Как это несерьезно? — возмутился дед Бахвалов. — Ты у Пыркова спроси, пусть он скажет: серьезно али нет?

Пырков стоял красный, как вареный рак, и вытирал рукавом гимнастерки потное лицо. Приговор приняли абсолютным большинством голосов. Против голосовал один Непочатов, да воздержались Лукин и Закревский.

Я уже была и не рада, что затеяла этот суд. Но тут в образе ангела-спасителя появился капитан Величко и сразу понял, в чем дело.

— А что, ребята, если приговор считать условным? — лукаво улыбаясь, спросил он. — Скажем, до первого проступка...

— Ура! — закричали веселые судьи и кинулись тормошить смущенного Пыркова.

Непочатов в заключение сказал:

— Смотри, парень, ходи ровней! Больше не спотыкайся! Мы сами себе трибунал.

— Золотые слова! — присовокупил дед Бахвалов, поглаживая бороду. — То-то же, мазурики!

Вечером я пошла показать ногу Нине Васильевне. Она за что-то отчитывала Зиночку Косых. Зина стояла посреди палатки красная, с заплаканными глазами.

— Идите, Зина, и возьмите себя в руки, — сказала Нина Васильевна. — Надо же в конце концов иметь девичью гордость! — И едва Зиночка скрылась за пологом палатки, докторша возмущенно сказала мне: — Я этого твоего Колю Ватулина за уши оттаскаю!

Я засмеялась:

— Моего Колю? Да я-то здесь при чем?

Не слушая моих возражений, Нина Васильевна продолжала возмущаться:

— Нет, каков негодник! То придет, то не придет, то приласкает, то нахамит. А она ревет.

— Ну и зря.

— Знаю, что зря, а вот поди втолкуй! Все бы ничего, но ведь работа страдает!

Осмотрев мою ногу, она сказала:

— Скоро в бой. Не лезь на рожон.

Я усмехнулась:

— Что ж мне, прятаться прикажете, Нина Васильевна? Ведь вы знаете, где мое место на поле боя.

— Даже там можно быть разумной и осмотрительной.

— Ладно. Я буду осторожна. Как ваш сынок?

Нина Васильевна нахмурила брови, тяжело вздохнула:

— Ничего утешительного. Ампутировали правую ногу. Угрожала гангрена. — Она достала из полевой сумки толстый конверт и протянула мне. Я вынула из конверта фотографию. С кусочка картона на меня глядел худенький большеглазый солдат с грустной складкой между тонкими бровями.

— Вот он — мой Володька, — сказала Нина Васильевна. — Чувствую я, мальчик пал духом. С раннего детства увлекался туризмом. О геологоразведочном институте мечтал. А теперь вот без ноги... Мне бы его повидать хоть на один час. Сказать бы ему несколько слов, ободрить. Это у меня теперь как болезнь. Перед наступлением и думать нечего. А потом буду просить хоть недельный отпуск. Если бы ты знала, как мне надо повидать Володьку!.. Только взглянуть, только сказать: «Держись, мой мальчик, так завещал отец!» — Нина Васильевна тихо заплакала.

Я ушла расстроенная. Муж погиб, единственный сын — инвалид... Ужасно!..

Мне снилась гроза. Необычная гроза — злая, яростная. Громовые раскаты почти без перерыва сотрясали воздух: земля гудела и колыхалась неровными толчками. Снопообразные молнии слепили глаза, зловеще-красным светом пронизывали притихший лес. Было душно и страшно даже во сне. Проснулась я оттого, что на меня обрушился шалаш: поперечная жердина больно ушибла правое плечо, на лицо упали колючие еловые лапы. Сразу услышала голос Непочатова:

— Товарищ лейтенант! Тревога!

Проворно раскидала останки своего жилья и выбралась наружу. Еще не успев собрать мысли, поняла: не гроза. Бомбежка. Тоже закричала:

— Воздух! По щелям!

Но в щелях, вырытых возле шалашей, нашла только свою старую испытанную гвардию. Из новичков с ними были Коля Зрячев да Саша Закревский. Остальные в панике разбежались по лесу.

Дед Бахвалов, Непочатов и Лукин наугад вели пулеметный огонь с примитивных установок — обыкновенных тележных колес, насаженных на заостренные деревянные столбы и обеспечивавших круговой зенитный обстрел.

Невидимые самолеты ревели во всю мощь моторов и, казалось, висели над головами совсем низко. Все вокруг звенело стальным вибрирующим звуком, от которого живыми упругими волнами ходил воздух. Один-единственный прожектор откуда-то издалека слабеньким лучом неуверенно щупал ночное небо. Зенитки били наугад. Бомбы рвались по площади, в лесу. Языки красного пламени вспыхивали и гасли. Где-то рядом ругался Мамаев. Кто-то голосом, полным боли и отчаяния, призывал санитаров. С треском падали деревья, ржали сорвавшиеся с привязей лошади. Кричали люди... Бомбежка была долгой и ожесточенной.

Весь остаток ночи, ругаясь про себя не хуже Мамаева, я собирала по лесу свое разбежавшееся войско. Оказалось, что виноват хитроглазый новичок Денисюк. Когда началась бомбежка, он крикнул товарищам:

— Не колготитесь в одном месте! Разбегайтесь куда подальше! — А сам тут же проворно нырнул в щель.

— Ты сволота! — с сердцем сказал ему дед Бахва-

лов. — Сволота, и никаких гвоздей! Отвалтузить бы тебя, паразита, всем гамузом...

И я сказала Денисюку нечто, не предназначенное для посторонних ушей.

К завтраку собрались все, кроме Шерстобитова — где-то отсиживался.

К нам пришел Мамаев. Он был мрачнее тучи. Отозвал меня в сторону. Долго молчал, обветренное загорелое лицо перекосила гримаса боли. Не глядя мне в лицо, глухо сказал:

— Погибла Нина Васильевна. И Зина Косых. Они оперировали и не могли уйти в укрытие...

Я выронила котелок с кашей, схватила его за руку:

— Гриша! Боже мой!..

— Вот тебе и боже мой... Утри слезы — солдаты смотрят. — И ушел.

А я точно к месту приросла. Казалось, что, если сделаю хоть один шаг, — не выдержу: свалюсь лицом прямо в мох, буду кататься по земле, кричать и плакать на весь лес, грозить и проклинать...

Подошел Шерстобитов. Вскинул к пилотке худую мальчишескую руку, что-то забормотал, оправдываясь. Не глядя на него, я устало сказала:

— Ладно. Становись в строй. Чего уж там... Завтрак-то пробегал, паникер!

Призывали дела. Начинался новый день.

— Рав-няйсь! Смир-но! — Подтянулись. Замерли в ожидании разноса. А я вдруг опять вспомнила Нину Васильевну, и мне расхотелось ругаться... Сегодня она, завтра кто-нибудь из них...

Правофланговый — дед Бахвалов — с сознанием собственного достоинства выпятил грудь колесом, вздернул бороду, плотно прижал к бокам растопыренные корявые пальцы. Рядом почти в такой же позе застыл его друг и земляк Шугай.

А вот и Андриянов — брюзга и ворчун. На воспаленном от солнца лице строго сдвинуты белые брови, а в углах большого рта затаилась едва приметная ядовитая ухмылочка: «Сейчас вам, голубчики, отколется...»

У Саши Закревского сползли обмотки и съехала набок пряжка ремня. Пырков, не мигая, уставил мне в лицо круглые серые глазищи. Не шелохнется бывалый солдат и, только чуть-чуть оттопырив нижнюю губу, дует

себе на нос — пытается согнать большую зеленую муху. Сытый живот Пыркова заметно выпирает из-под тугого солдатского ремня. Опять объелся, бродяга... Не меньше трех порций каши уплел...

— Вольно! А то пулеметчика Пыркова муха заживо съест.

Засмеялись. Согнав муху, Пырков с облегчением вздохнул. А я ему полушепотом:

— Ослабь ремешок. Лопнешь, парень...

— Никак нет, — солдат отрицательно трясет головой, но ремень все-таки ослабил на целых две дырки.

— Смир-но! То, что произошло сегодня, приказываю забыть. Ночная бомбежка — штука весьма неприятная. На первый раз прощаю. Рядовой Зрячев, два шага вперед! За проявленное мужество во время налета вражеской авиации объявляю благодарность!

— Служу Советскому Союзу!

— Рядовой Закревский, два шага...

— Товарищ лейтенант, дозвольте обратиться? — перебил меня Гурулев.

— Гурулев! Для тебя не было команды «смирно»?

— Так за что ж ему благодарность, товарищ лейтенант? — не унимается нарушитель строевого устава. — Он же тоже бежал. Это его дедушка Бахвалов за обмотку поймали. А он упал, блажит: «Мама!» Умора!..

Мои ребята смеялись так, что на них с завистью поглядывали строящиеся неподалеку иемехеновцы.

Дед Бахвалов погрозил Гурулеву пальцем:

— Погоди, мазурик, я тебе покажу «дедушка»! Что у меня звания военного нету?

— Ай-я-яй, — покачала я головой, — парень в двадцать три года маму зовет... И что это у вас, Закревский, всегда обмотки спущены, как чулки у неряшливой женщины?

У Закревского пылают щеки. Он неловко кланяется:

— Я понимаю, что смешон в этом нелепом одеянии. Вот если бы...

— Думайте, что говорите! К вашему сведению, это нелепое одеяние с гордостью носят тысячи порядочных людей. Старший сержант Бахвалов! Научить солдата Закревского обмотки наматывать!

— Есть научить! Погоди, мазурик, я ужо тебя прошнурую!

«А намотай-ка ты, мазурик, обмоточки ровнехонько да гладехонько...» Прошнурует, можно не сомневаться.

Дед отменный воспитатель. Жаль только, что у него нет собственных сыновей. У Василия Федотовича дома три замужние дочки-солдатки и целая дюжина внуков. Вспоминая, он довольно улыбается в бороду:

— Ничего не скажешь, работящие молодухи. Дело из рук не валится, и мелкоте своей потачки не дают. Нет. Вот уж истинно, мазурики: «Люби дите, как душу, а тряси его, как грушу». Будет человек, а не возгря телячья...

Вечером к нам пришел Коля Ватулин. Без головного убора, волосы всклокочены, глаза красные. Не поздоровавшись, сказал:

— Если бы я женился на Зине, она бы сейчас была жива. Я бы сумел ее уберечь. А теперь вот... — Разведчик заплакал пьяными обильными слезами.

— Если бы да кабы да росли во рту грибы, — сквозь зубы сказала я. А Мамаев поглядел на Колю с презрением:

— Иди проспись, пьяное мурло! Ишь распустил нюни! Можно подумать, что только у него одного горе. По наклонной катишься? Ухватова догоняешь? Н-ну... Действуй... Вольному — воля, пьяному — рай.

И я добавила:

— Ты ведь пока «врио» командира разведроты. Как думаешь, почему начальство не спешит тебя утвердить в этой должности? Или тебе уже всё безразлично? Не косись, дурачок, мы тебе добра желаем.

Коля глядел на нас исподлобья и мрачно молчал. Потом вдруг сорвался с места и убежал.

К моему удивлению, Мамаев размяк:

— Жалко салажонка!.. Всё сразу на беднягу навалилось: с Лиховских несчастье... потом вот Зина... Да и Филимончук, этот краб анафемский... У кого ж ему искать сочувствия, как не у нас с тобой? Нервы сдали у парнишечки...

— «У пар-ни-шеч-ки!» — передразнила я. — Дать бы ему хорошенько по шее, чтоб не распускался. Вот и все сочувствие.

А на другой день рано утром разведчик опять появился у наших шалашей. Отозвал меня и Мамаева в сторону. На сей раз Коля был трезвый, смирный, опрят-

ный. Кудрявые волосы мокрые — наверное, только что выкупался. Он виновато спросил:

— Я вчера, случайно, тут ничего не накуролесил?

— Не представляйся! — сказала я. — Противно. — И отвернулась.

— Чего ж ты сердишься? — удивился разведчик. — Я ж по-хорошему. Вот пришел... думал, может, обидел по пьянке...

— Нас обидеть не так-то легко, — усмехнулся Мамаев. — Ну пришел... А дальше что?

Коля говорил тихо, не глядя нам в глаза:

— Осуждаете? Ну и правильно. Я и сам понимаю, что не дело. Заплутался малость... Больше не буду. Крышка! — Он тронул меня за руку, внимательно поглядел на Мамаева. — Не верите?

— Поверим? — спросил меня Мамаев

— Придется, — пожала я плечами. — Да ведь не выдержит. Напьется...

— Честное слово, в рот не возьму! — Коля ударил себя кулаком в грудь.

— Ладно. — Я протянула ему руку. — Верим. Держись. Так?

— Только так, а не иначе, — ответил за разведчика Мамаев. — Налижешься — забудь, что мы есть на свете. Лучше на глаза не показывайся.

Коля только головой кивнул.

Трудно представить, как поведет себя солдат в первом бою. Сумеет ли собрать в один железный комок всю волю, сможет ли сознанием долга победить страх... А может случиться и так, что великий инстинкт самосохранения парализует сознание солдата, насмерть прижмет его к земле, или еще хуже — в тупом животном страхе погонит с поля боя назад. Бывает и такое...

Скоро в наступление, и я опять волнуюсь, как в самый первый раз. Меня беспокоят новички, а их сейчас больше половины всего состава взвода. За свою-то старую гвардию мне волноваться нечего. Непочатов, дед Бахвалов, Лукин, Пырков — не подведут. Да и Андриянов тоже. В любом бою никто из них не дрогнет. И не побежит назад малыш Гурулев. Может быть, поплачет от страха и жалости к себе, но поле боя не покинет...

Из нового пополнения меня в особенности беспокоят двое: Закревский и Денисюк.

Саша Закревский, юноша с темными грустными глазами и тонкими нервными чертами лица, уже сейчас с затаенной тревогой прислушивается к канонаде на передовой и даже здесь, на учебном плацу, бледнеет от залпового ружейного огня. Впрочем, удивительного тут мало: когда враз бахают чуть не семьсот винтовок — это штука! Окапывается Закревский медленно и неумело, вырыв земляного червя вздрагивает и брезгливо морщит тонкие губы. Малая саперная лопатка в его белых руках кажется большой и тяжелой. Во время перекура Закревский не шутит, а без конца разглядывает свои изуродованные мозолями ладони.

Товарищей он сторонится. К ласковому общительному Гурулеву поворачивается спиной, на грубоватые шутки Пыркова не отвечает, поправляет своего командира Лукина: «Так культурные люди не говорят!»

Если солдат вступает с командиром в пререкания даже по мелочам — толку не жди. Поэтому мы с Непочатовым перевели Закревского в расчет нашего «академика». С дедом Бахваловым не больно-то поспоришь о правилах орфографии и синтаксиса. «А отрой-ка ты мне, мазурик, окопчик полного профиля. И никаких гвоздей».

Впрочем, Закревский понятен от начала и до конца. Он плод уродливого домашнего воспитания, и только. Сашина мама письмо мне прислала:

«...Обращаюсь как к порядочному мужчине. Прошу внимания. Совершенно особенный ребенок: нервный, впечатлительный. Исключительно одаренный во всех отраслях знаний...»

Конечно, одаренный! В трех институтах учился... по одному курсу в каждом. Да... ребенок в двадцать три года! Было бы смешно, если бы не грустно.

Я решила, что Закревский пойдет в бой моим связным. Надо к нему приглядеться поближе. Кстати, он пока у нас лишний — запасной: седьмой в боевом расчете.

Денисюк — совсем другое дело. Этот не новичок на фронте: два раза ранен, пулемет знает назубок, все делает быстро и умело. А вот товарищу в работе не поможет. И свой туго набитый вещмешок не оставляет в общем шалаше, а прячет в лесу. От кого?.. И остаток горбушки хлеба каждый раз измеряет сосновой палочкой...

Исподтишка стращает молодых солдат первым боем. Пугает их «тиграми» и «фердинандами». Денисюк в расчете Непочатова. По моему приказанию Василий Иванович глаз с него не спускает. Ребята Денисюка не любят. Счетоводом его прозвали. А он и в самом деле счетовод.

За остальных новичков я более или менее спокойна. Никулин, Портнягин, Ильичев, Шерстобитов — славные, старательные ребята. Эти если и дрогнут в первом бою — беда невелика, оправятся, лишь бы не прозевать — поддержать в трудную минуту.

Очень хорош молодой горьковчанин, доброволец Коля Зрячев. Он ещё никак не может осмотреться и изумление не покидает его круглого веселого лица, а светлые глаза приглядываются ко всему окружающему с пристальным вниманием. Задрав голову в небо, Коля считает свои и чужие самолеты и докладывает вслух: «Девять «петляковых», шесть «юнкерсов»!» Увидит пушки, «катюши», танки — восторженно вопит: «Ребята, гляди-ко, какое чудо! Вот так ну!..» Коля изучает пулемет у деда Бахвалова, и его неистребимая любознательность приводит старика в хорошее расположение духа: «Молодец, мазурик! Жаль только — в плечах жидковат, пулемет-то весит ого-ого...»

У Мамаева новички составляют почти третью часть личного состава роты. Он их тоже обучает на ходу и, наверное, тоже волнуется, но виду не показывает. Даже меня подбадривает:

— Будь довольна, что выпала возможность «поиграть», подрепетировать. Теперь не так страшно.

Ну что ж? Мамаев прав. К бою мы в основном готовы.

На рассвете тревожно и звонко залился медный рожок. Раздувая румяные щеки, Паша-ординарец трубила «сбор командиров».

Над рекой теплым паром клубился туман. Мшистые влажные кочки зеленели ярко, как подушки в новых ситцевых наволочках. Воздух, насыщенный влагой, казался неподвижным. День обещал быть жарким.

Комбат Радченко, как всегда, был немногословен: «Кончилось учение. Выступаем. Предстоит пятидесятикилометровый форсированный марш влево, вдоль фрон-

та. Пункт сосредоточения — деревня Секарево, оттуда и будем наступать. На сборы час».

Снимались не одни мы. Весь огромный лагерь, как потревоженный муравейник, разом пришел в движение. Артиллерийские сытые битюги, безжалостно подминая молодую росистую поросль, вытягивали на дорогу пушки. Грузились гвардейские минометы, уходили тракторы, машины, санитарные фургоны, кухни. И все это тарахтело, гудело, гремело, бряцало оружием и разноголосо перекликалось.

Мы наскоро позавтракали, разъединили пулеметы в походное положение и на дороге начали построение. Мои сержанты, точно соревнуясь между собою, отдавали последние распоряжения:

— Ильин, подтяни лямки вещмешка!

— Шерстобитов, вон из строя! Перекатай скатку.

— Что ж ты лакаешь, как верблюд? Оставь в покое фляжку!

Первые десять километров отмерили благополучно — привыкли ходить на учебное поле в полной выкладке. А потом жара сделала свое дело. При полном безветрии было не менее двадцати пяти градусов. Солнце нещадно и как-то сразу вдруг обрушилось на солдатские головы, накаляя каски. Многие поснимали эти железные головные уборы и несли их за ремешок, повесив на полусогнутую руку, как грибные кузовки.

Но вот раскис Шерстобитов. Это он перед маршем «лакал, как верблюд», и теперь его фляжка пуста, а жажда все возрастает. Спотыкаясь под тяжестью тела пулемета, он то и дело сплевывает в дорожную пыль густую слюну и неизвестно кого просит:

— Пить... пить... пить...

А вышагивающий рядом Андриянов беззлобно поддразнивает:

— Речка, речка, теки солдату через рот. — Долговязый, сухощавый, насквозь прожаренный солнцем, он шагает легко и свободно, и пулеметный двухпудовый станок сидит на его вещмешке, как приклеенный.

А Шерстобитов всё канючит, теперь уже адресуясь к соседу:

— Ну, дядя Ваня... Глоточек... Дядя Ваня... Жадина-говядина...

— Вот ведь зануда! — сердится Андриянов. — Всю

душу вымотал. На, бесенок, пей! — А через минуту кричит: — Эй, кум, голубые глазки! Дорвался до чужого? Промочил горло — и ладно. Тебя сейчас и ведром не отпоишь.

— Чаю бы ему горячего котелок, — задумчиво говорит дед Бахвалов.

Пырков хихикает:

— Чаю на такой жаре... Ну и дед!

— Смешно тебе, мазурику? А что ты об жизни понимаешь!

А через несколько минут меня останавливает озабоченный Лукин, докладывает:

— Товарищ лейтенант, сел, паразит, и сидит!

— Кто?

— Да кто же, как не Шерстобитов!

Мы пропускаем своих, потом минометчиков и бежим назад. Наш солдатишка сидит посреди дороги в горячей пыли и, закрыв глаза, стонет. Тело пулемета соскользнуло с плеча и уткнулось вороненым надульником в песок.

— Что ж ты, подлец, делаешь со мной? — кричит ему Лукин. Бережно поднимает оружие и сдувает с надульника пыль.

— Вставай! — приказываю я.

— Сомлел... Я догоню...

Расстегиваю ворот его гимнастерки, срываю каску, пилотку и выливаю из своей фляги остатки воды прямо на круглую стриженую голову. Шерстобитов вытирает лицо рукой и жадно лижет мокрую ладонь.

— Лукин, подними его! — Рывком ставим солдата на ноги. — Не нагружать его до большого привала.

Вполголоса заворчал Денисюк:

— Так и каждый может придуривать, а другие за него надрывайся...

Пырков ему тоже вполголоса:

— Захлопни поддувало.

— Василий Иванович, — говорю я Непочатову, — чаще перераспределяйте груз. Сменяйте людей каждые полчаса.

— Да я и то... Федор Абрамыч, передайте станок соседу.

Шугай поворачивается всем своим медвежьим туловищем и глядит на Непочатова:

— Чав-во? — В зеленых глазах искринки смеха.

— Передохните, говорю.

Таежник белозубо улыбается:

— Точно и дело. Допру до самого места, как миленький. А хочешь, так и ты сверху садись. А то вон взводного подсади. Ноги-то у ней, поди, заплетаются...

Врешь, сибирский славный леший! Не заплетаются мои тренированные ноги. Они привыкли ходить. Вот если бы не жара...

На очередном привале Саша Закревский, с ненавистью глядя на свои новые американские ботинки, ругается почти по-солдатски:

— Подлюги заокеанские! Черт бы вас подрал вместе с вашим вторым фронтом!

— Ты чего это, мазурик, собаку спустил?

— Ногу натер, товарищ старший сержант. Адская боль...

— Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет. Не учили тебя, мазурика, онучи накручивать!

Закревский тихо бубнит:

— Еще десять шагов, и пройдусь носом по пыли на потеху всему «обчеству»...

Но слух у деда Бахвалова, как у сохатого.

— Я тебе пройдусь! Разувайся, мазурик!

— Так ведь обуться не успею!

— Босиком потопаешь, не на свадьбу идешь.

На пятке у Закревского вздулся огромный кровавый волдырь. Другой, поменьше, лопнул и сочится кровью.

Я сказала:

— Надо позвать санинструктора. Идти еще больше половины.

— Не требуется, — возразил дед, — сейчас ему, мазурику, будет лечеба. — Он срывает два пыльных подорожника, вытирает их о штаны и, поплевав, прикладывает к больному месту. Бинтует и ворчит: — Знаешь, мазурик, что плохому плясуну мешает? То-то же...

— Первая рота, встать!

— Вторая, подни-майсь!

— Шагом марш!

Колонна опять ползет неровными толчками по дороге, не имеющей конца.

Охрипшим голосом покрикивает Мамаев:

— Ты что же это, краб, отстаешь? Идет налегке, как граф Иголкин на прогулке, и никакого сознания не име-

ет! Ты погляди на пулеметчиков: они нагружены или ты? Ши-ре шаг!

Меня нагоняет Ухватов. Кивнув на ковыляющего Закревского, ворчит:

— Ты бы еще штаны разрешила солдату скинуть. Сейчас же прикажи обуться! Цирк тебе тут, что ли?

— Иди своей дорогой.

Комбат на пегом жеребчике едет по обочине, и его длинные ноги, как у Паганеля, свисают почти до самой земли. Поравнявшись с Закревским, спрашивает:

— Новичок?

— Так точно, — уныло отвечает охромевший солдат.

— Лейтенант, приветик! Не хотите ли проехаться? — Это Паша трусит на моей бывшей волосатой кобылке.

— Спасибо, Пашенька, не хочу.

Денисюк опять заворчал:

— Сам едет и шлюху на коня посадил...

— Эй, счетовод, а клюв тебе давно не чистили?

— Ты, мазурик, наших сибирячек не замай!

— Во, змей, что ни слово — то гаденыш.

На половине пути большой привал у прозрачной речушки. Скидывая амуницию и оружие, солдаты бегом устремляются к воде. Пьют жадно и много, умываются, окуная головы в воду. Опившегося Шерстобитова Непочатов от воды оттаскивает за шиворот. Тот вырывается и снова бежит к речке, но на пути встает грозный дед Бахвалов:

— Только сунься, мазурик, отволохаю, как цуцика! Ишь налил требуху — дух не перевести...

Подъехали две дымящиеся кухни. Старший повар Алексей Иванович, размахивая поварешкой на длинной ручке, весело кричит:

— Налетай, братья славяне! На первое — суп-пюре на мясном отваре, на второе — мясной отвар с супом-пюре.

Но усталый, разморенный народ ест плохо, а некоторые и вовсе не едят. Шерстобитов, раскинув руки, лежит на траве лицом вниз и тихо постанывает. Закревский сидит, нахохлившись, на берегу речушки, опустив в воду больную ногу. Дед Бахвалов степенно хлебает горячий суп деревянной самодельной ложкой и недовольно косится в сторону Саши:

— Никакого соображения у мазурика. Нет, чтобы

сесть пониже по течению... В аккурат где люди добрые пьют, окунул свою кочергу...

Один Пырков, кажется, не утратил аппетита. Опорожнив котелок, покосился в мою сторону. Я одобряюще подмигнула. Заулыбался и направился за второй порцией.

...Они налетают совсем внезапно. Хищные крылья со свистом рассекают воздух, моторы воют на самых тошнотворных нотах, по солнечной траве скачут диковинные безобразные тени.

— Воздух! — хлестнул запоздалый сигнал наблюдателя.

На нашу уютную полянку, на маленькую голубую речку с визгом сыпятся мелкие бомбы.

Девятка, развернувшись, делает новый заход. Самолеты неизвестной марки пикируют почти отвесно. Они совсем черные, юркие, злые, как осы. Сбросив бомбы, бьют из пулеметов, и тогда Мамаев кричит:

— Не бегать! По самолетам противника! Залпом! — Но залпа не получается, стреляют далеко не все, неприцельно и вразнобой. Сделав еще один заход, стервятники скрываются за горизонтом, пропадают так же внезапно, как и налетели.

— Непочатов, все живы?

— Так точно!

— А кто там стонет?

— Трех стрелков подранило. Одного сильно.

Закревский стоит мокрый с головы до ног, и вода стекает с его обмундирования ручьями. Ребята хохочут, а Гурулев приплясывает, гримасничает и визгливо поет:

Вот Фома пошел на дно,
А Ерема там давно...

Дед Бахвалов ловко хватает веселого коротыша за подол гимнастерки и, пригнув к земле, дает увесистого шлепка по тому месту, откуда ноги растут.

— Ха-ха-ха-ха!

Дед строго смотрит на Сашу Закревского через стекла очков и укоризненно качает головой:

— В силу чего ж ты, мазурик, нырнул в ручей? Была команда купаться, я тебя спрашиваю?

— Да ведь он не сам нырнул, его фриц толкнул!

— Сашка, не отжимай обмундирование — Вовка Шерстобитов дорогой обсосет...

— Ха-ха-ха-ха!

Ко мне подходит улыбающийся Мамаев:

— Хорошая разрядочка. Гляди, как ожили:

— Хорошая-то хорошая, но ведь троих ранило.

— Не троих, а только одного. Двое остались в строю.

...Последний привал был километрах в пяти от передовой, в стороне от большой дороги, в полуразрушенной деревне без жителей. У единственного колодца сразу же выстроилась очередь. Журавля нет, а колодец глубоченный — дна не видно.

На отполированный дубовый шест на крепкий крюк солдаты вешают сразу по нескольку котелков, но водопой идет медленно, так как из посудин вода выплескивается на полдороге.

Дед Бахвалов заворчал и направился через дорогу к покосившейся избушке, возле которой дымила полевая кухня. Вежливо крикнул в черный провал окна:

— Товарищ руководящий, одолжи-ка, мил человек, пехоте ведерочко!

Ведро вынес совсем молодой немец в куцем сизом мундирчике — худой, голенастый, тонкошеий. Поклонился деду:

— Битте, гроссфатер!

— Господи Иисусе! — перекрестился дед. — Да откуда ж ты, поганик, тут взялся? — Но ведро все-таки принял и пошел к колодцу, пятясь задом. А немчик преспокойно уселся на обвалившейся завалинке.

Из наших первым напился Коля Зрячев. Увидев немца, неистово завопил:

— Ребята, фриц!!! Настоящий живой фриц!

Бывалые солдаты глядели на немца равнодушно-презрительно, новички — с откровенным любопытством. Но ни те, ни другие не проявляли никакой враждебности.

— Вот так фа-ши-и-ст! — разочарованно протянул Коля. — Соплей убьешь...

— Какой тебе, мазурик, это фашист? Самый натуральный тотальный щенок, и никаких гвоздей. Покури-ка, парень, русского. — Дед Бахвалов протянул пленному толстенную самокрутку. Немец вскочил на ноги, начал кланяться.

— О, данке! Данке шён![1]

— Чего уж там! — ухмыльнулся дед. — Дают — бери, бьют — беги. У нас, стало быть, в Расее так...

Немец трясущимися пальцами взял курево и заплакал. И даже не заплакал, а задохнулся в судорожном отчаянном рыдании — точь-в-точь жестоко обманутый подросток. Он стряхивал обильные слезы на мундир, на сухую землю и, всхлипывая, бормотал что-то на родном языке. Впрочем, два слова мы разобрали: «пропаганда» и «Геббельс».

— Ку-у-рт! — послышалось из избы. — Где аймар?[2] — В провале окна, как в раме, показалась добродушная физиономия в белом колпаке набекрень. Повар укоризненно покачал головой:

— Нехорошо, братки, пленного обижать. Эй, камрад, чего пузыри пускаешь?

— Да мы ж ничего, — за всех ответил дед Бахвалов, — кто его знает, с чего он распузырился.

Повар счел нужным пояснить:

— Он мне по случаю достался. Поиск ихний третьего дня провалился, ну и не отошел он со своими, сдался. А конвойного, который его в штаб вел, с самолета подшибли, так я этого немчишку пока и присвоил, и в аккурат кстати: помощник мой что-то прихворнул. Пусть потрудится, пока начальство не спохватилось.

— А как же ты, мил человек, с ним калякаешь?

— По-немецки объясняюсь, дедушка. Я в немецком дока. Курт, шнель горох арбайтен!

Немец послушно встал и, не отрывая рук от лица, направился в избу. Солдаты засмеялись:

— Дрессированный!..

Уже на марше Мамаев с досадой сказал:

— Как некстати этот тотальный недомерок встретился, кляп ему в рот!

— Чем он тебе помешал?

— А как же? Ты видела, как вели себя новобранцы? Да они готовы были зареветь вместе с этим заморышем. Теперь придется собрания проводить. Надо разъяснить народу, что не все такие курты. Да еще и неизвестно, так ли уж он безобиден, как кажется. И не ведая, что творишь, можно причинить много зла.

---

[1] Спасибо. Большое спасибо *(нем.)*.

[2] Ведро (*нем.*).

— Прислушайся-ка, агитатор, — толкнула я его под бок. В колонне не умолкал разговор о пленном.

— Как же тут разобраться, какой из них хороший, а какой гад?

— Лупи всех без разбору — бог сам разберется.

— Эй, Ильин, а ты сначала агитни. Крикни: «Фриц, ты случайно не фашист? Ах, фашист, туды твою! Ну тогда стой, замри — я тебя прикончу».

— Хо-хо-хо-хо!

— Илья Эренбург пишет: «Убей немца, где увидишь». А как вот такого Курта убить? Пожалуй, и рука не поднимется.

— И не Эренбург это писал, а Тихонов!

— И ты не бреши, не Тихонов, а Симонов!

— Какая разница, мазурики, кто писал? — прикрикнул дед Бахвалов. — А понимать надо так: «Увидишь в бою — убей», и никаких гвоздей. А пленного кто ж будет обижать, особливо если он сам, паразит, сдался.

Теперь Мамаев подтолкнул меня локтем:

— Ну и дед у тебя! Прямо природный комиссар.

— У меня и Непочатов не хуже.

Полночи отдыхали в лесу, на КП чужого батальона. Впрочем, здесь уже на правах хозяина распоряжался наш Радченко. Усталые, плотно поужинавшие солдаты захрапели сразу. А мне не спалось. Было душно, как перед грозой. Тревожили лесные запахи: грибы, прелые листья, смола, ночная фиалка и еще что-то сладкое и очень терпкое. Одолевали мысли о предстоящем бое. Рядом оранжевым светлячком мерцала папироса Мамаева — тоже не спал.

— Слушай, Анка-пулеметчица, ты никогда не задумываешься о смерти?

— Да нет. А и убьют — невелика потеря. Генералов — и то убивают.

— Ты так равнодушна к своей жизни?

— Не то чтобы равнодушна, но ведь убивают же других.

— То — других!. А я — это я! Я и мысли не допускаю, что вдруг могу перестать видеть, слышать, чувствовать... Мне кажется, без меня ничего не состоится: ни победа, ни жизнь. В сорок втором конвоировали мы английский

караван. А британские торговые корабли грузные, неповоротливые — в маневренном бою одна обуза. Немцы нас долбанули уже в открытом море. В пять раз их было больше, чем нас. Ох, и дрались мы! Ох, и каша была!.. Ммм... Наше судно торпедировали последним. И оказались мы в воде. А водичка в северных морях даже летом не парное молоко. Веришь ты, десять часов держался. Товарищи один за одним... А меня тральщик подобрал. С тех пор и поверил я в свое бессмертие... Дождь, пожалуй, будет. Ноги ломит — от самого бедра, как собаки грызут.

Исходные позиции мы занимали в конце ночи. Все сошло благополучно, если не принимать во внимание маленького недоразумения. Уже и пулеметы на площадке расставили, и имущество в дзотах сложили, а командира взвода, которого я должна была сменять, все не было. По траншее взад-вперед ходил молодой офицер и, жужжа трофейным фонариком, ругался не хуже нашего Мамаева:

— И куда он, прохвост, провалился? Мне надо людей вывести затемно, а этот паразит где-то шатается, чтоб ему пусто было!..

Тут я догадалась, кого ищет сердитый командир:

— Давайте стрелковые карточки и проваливайте!

— Благодарю за любезность, — огрызнулся взводный, — но документы я должен вручить лично командиру!

— Разуйте глаза. Я и есть командир.

Молодой лейтенант осветил мое лицо лучом фонарика. Очень сконфузился:

— Ох, простите!.. Ради бога, не подумайте... Не ожидал... Даже познакомиться не успели...

— Не горюйте, коллега, не на этом, так на том свете встретимся.

Оборона, как и покинутая нами на реке Осьме, проходила по западным склонам невысоких холмов. Разница лишь в том, что впереди ни леса, ни реки и противник в два раза ближе. Прямо перед проволочными заграждениями обвалившийся эскарп времен сорок первого года. За эскарпом густая, ровная, как подстриженная, рыжая и темно-зеленая трава. Ни деревца, ни кустика.

За нейтралкой высота, господствующая над окружающей местностью. На восточном склоне, обращенном в нашу сторону, тщательно замаскированные сухой травой и сетями немецкие позиции. Высота не имеет макушки, она срезана, как стол. А на кромке стола опять что-то наворочено, наверное, запасные позиции.

Оборона Мамаеву не понравилась, и он ругается в адрес сменившихся гвардейцев:

— Всю весну, крабы, рыли. А что нарыли? Гальюнов — и то настоящих не построили, — воница, не продохнуть...

Он прав. Оборонительные работы выполнены небрежно, как будто на скорую руку. Центральная траншея мелка, местами только до пояса. Дзоты и землянки низкие, стены не обшиты лесом, песок плывет, как живой.

Два дня вели усиленное наблюдение. Потом собрались в мамаевском жилище, развернули карты. Тыча пальцем в нейтральную полосу, Мамаев сказал:

— Если не перемахнуть одним броском — головы не сносить. Я диву ночью давался: как у фашистов пристреляна нейтралка! Минометный заградогонь, сволочи, ведут параллелями ряд за рядом, как по линейке. Тут не заляжешь.

— Одним броском не осилим, — возразил новый заместитель Мамаева старший лейтенант Татаринцев. — Тут не менее семисот метров.

— Пятьсот! — отрубил Мамаев.

— Больше, — упрямо тряхнул прямыми волосами его зам, — два броска еще реально, а на один духу не хватит. И надо учитывать, что перед нами целых пять станковых пулеметов.

— Шесть, — поправил Мамаев.

— Мне докладывали, что пять.

— Докладывали? — ехидно сощурился Мамаев. — Ты не в канцелярии. Глаза надо иметь!

Татаринцев мучительно покраснел сразу всем лицом, редкие оспинки на щеках обозначились ярче. Мамаев зашелестел картой, вооружился карандашом:

— Слушай все сюда! Отмечай: вот здесь «скорпион», здесь «кобра», тут «крокодил», «ехидна», «тарантул» и «гадюка». Кажись, вся сволочная семейка.

Иемехенов засмеялся:

— Ай, хороший имя давал!

— Не я давал, — возразил Мамаев, — солдатский фольклор, так сказать. Вот интересно: простреливают ли их пулеметы всю нейтралку или только наши траншеи достают? Как думаешь? —обратился он ко мне.

— И думать нечего. Я-то простреливаю, а немцы и тем более.

— Ты на отметке 116 и пять, а они на 228 и семь. Большая разница. Угол возвышения...

— Плевали фрицы на твой угол, — возразила я. — Так шпарят по нейтралке, что только консервные банки на проволоке гудят. Слушать надо, раз имеешь уши.

Иемехенов опять звонко засмеялся. Татаринцев улыбнулся.

Мамаев не обиделся:

— А ведь и верно, банки брекочут, что твои колокола. Ну да черт с ними! Половину пулеметов сковырнет артиллерия. Остальные на твоей совести.

Совещание было против обыкновения долгим. Мамаев подробно инструктировал своих взводных. Из них я хорошо знаю только Ухова, бывшего командира боевого охранения, на редкость молчаливого и скромного парня. Два других недавно прибыли из Горьковского пехотного училища. Младший лейтенант Коровкин, разговаривая со мною, без причины краснеет и смотрит куда-то в сторону. Я его смутила чуть ли не в первый же день фронтовой жизни. На тактических занятиях, отозвав в сторону, спросила:

— Зачем вы смешите солдат? Что значит: «Стой столбом, когда немец дал ракету»? Нет уж, взвилась ракета — ложись! Носом в землю и — никаких гвоздей! Ведь почти после каждой ракеты режут пулеметы, стоящий человек — верный покойник.

— Но ведь нас так учили в училище, — тихо возразил юноша.

И я рассказала ему, как погиб славный парень Шамиль Нафиков. Того тоже, наверное, в полковой школе учили стрелять из пулемета по танкам.

Когда Мамаев его за что-нибудь отчитывает, по своему обыкновению «трехпалым свистом», Коровкин смотрит, не мигая, прямо в рот своему начальству и глаза у него при этом подозрительно блестят. Я упрекаю Мамаева:

— Гужбан! До слез парнишку доводишь.

Мамаев только посмеивается:

— Ничего, пусть привыкает. Злее будет, салажонок.

С подчиненными Коровкин разговаривает тихим просительным тоном.

Но солдаты слушаются и любят своего юного командира, хоть и посмеиваются за его спиной: «Сыночек, деточка...»

Второй командир взвода—полная противоположность своему тихому товарищу — крутолобый, приземистый, упрямый и крикливый. Тикунов — поклонник кадровой дисциплины, и ему хочется, чтобы солдаты тянулись в струнку, бодро повторяли: «Есть!» и «Будет исполнено!» И в атаку шли бы не иначе, как строевым шагом, вздымая ноги на высоту не менее сорока пяти сантиметров от земли. Молодой взводный пока не понимает, что мы все желаем ему только добра, на замечания реагирует болезненно, огрызается, затевает споры. Ловко выхватывает из брезентовой сумки устав и чуть что не так — тычет пальцем в нужный параграф. Солдаты в первый же день окрестили его «горлопаном», а Мамаев с Тикунова снимает стружку в два раза толще, чем с покладистого Коровкина. Вот и сейчас:

— Ты что же это, краб, играешь в оловянные солдатики? А? Свое фанфаронство тешишь? На горло берешь? Тут тебе не училище. Вчера Егора Головатых пять раз поставил по команде «смирно»! Не отпирайся, краб, я специально считал. А ты знаешь ли, кто такой Егор? Военный человек, говоришь? Черта лысого военный! Он первоклассный каменщик, и ничего больше. Егору без малого пятьдесят, у него хронический бронхит и ревматизм десятой степени, а ты над ним выкомариваешь! А ты знаешь ли, что у Егора четыре сына на фронте? А? За-пре-щаю! Понял? Ох, плохо живется на передке командиру, которого не взлюбят солдаты. Тут никакие строгости не помогут. У других учись, как найти подход к солдату.

Мы решили, что дед Бахвалов будет поддерживать Ухова и пойдет в центре. Коровкину достался Лукин. А Тикунову — Непочатов. В конце совещания я предупредила бравого взводного:

— Только, пожалуйста, без «смирно» и «кругом»! С Непочатовым этого не требуется. Он свое дело знает.

Накануне боя повзводно прошли митинги-летучки.

К нам пришел Лева Архангельский. Комсорг, как всегда, выступал кратко и толково. Обрисовал положение на фронте, а закончил так:

— Даешь Смоленск!

— И никаких гвоздей! — выкрикнул дед Бахвалов и предал анафеме всю родословную фюрера: — Будь проклят на веки вечные, кровопивец Адольф кривоглазый! И мамаша сволочная — гитлерша! И папаша Гитлер — кол ему в глотку!

В начале ночи всех офицеров батальона, кроме дежурных по обороне, в последний раз перед боем собрал комбат. Тыча пальцем в красный кружок на карте, обозначающий город Смоленск, он сказал:

— Если не принимать во внимание масштаб, то совсем рядом. Даже курвиметру[1] разбежаться негде, а путь будет длиною не в одну жизнь... Меня беспокоит пополнение. Не дрогнул бы необстрелянный народ.

Пока командиры уточняли детали, я ощупывала карман гимнастерки: тут! Никак не могу привыкнуть, что я уже член партии. Начальник политотдела дивизии полковник Таболин, вручая мне партийный билет, пошутил: «Тихой сапой проникла девушка в партию. В марте приняли в кандидаты, а ей, оказывается, только в апреле исполнилось восемнадцать. Было такое мнение: продлить ей за обман кандидатский стаж вдвое. Ну да уж ладно, не стоит перед боем настроение портить».

И Непочатов вместе со мною получил партийный билет. И бронебойщика Иемехенова приняли в партию. А Пыркова и Гурулева — в комсомол.

Когда Лева предложил Пыркову подать заявление, он очень удивился: «Меня в комсомол?! Да я ж был урканом. Ворюгой!» На него заворчал дед Бахвалов: «Дурак ты, а не ворюга, прости господи. Были урканы, да все вышли. Теперь мы как есть равноправные солдаты. Только и всего».

В конце совещания, не видя Ухватова, я спросила комбата, куда он подевался. Комбат не без иронии сказал:

---

[1] Курвиметр — простейший прибор для измерения расстояний по карте.

— Вместе тесно, а врозь скучно. Нет твоего ротного. В госпитале он.

— Когда ж это его ранили?

— Не ранили, — усмехнулся комбат. — Свинуха́ми, бедняга, объелся.

— Какими свинуха́ми? — не поняла я.

Сидящий напротив меня минометчик Громов фыркнул и спрятался за спину Мамаева. Где-то у самой двери захихикал Иемехенов.

Комбат нахмурил брови.

— Развлекаться будем завтра в пять ноль-ноль по московскому времени, — сказал он и оставил мой вопрос без ответа.

Закончил комбат, как всегда:

— Ну, полчаса на тары-бары напоследок — и по местам.

«Тары-бары» мы любили. Это была единственная возможность поболтать с офицерами батальона в неофициальной обстановке.

«Тары-бары» на сей раз разводил командир хозвзвода Долженко, да такие, что у меня от смеха разболелся живот.

— ...Вваливается ко мне под вечер Максим-старшина и зовет, стало быть, в гости. Пойдемте, говорит, Сергей Сафроныч, на грибки. Мы с ротным неделю назад посолили. А я до грибов сам не свой, особенно до соленых. Но только взяло меня сомнение: какие могут быть солености при такой жаре? А Максим уговаривает. Не извольте, говорит, беспокоиться. Когда переезжали, я котелок с грибочками в бачке с холодной водой вез. Ну, прихватил я по такому случаю «кириллыча», пошли. Заглянул я, братцы, в котелок, а они черней черного, и дух от них тяжелый. А что это, спрашиваю, за грибы такие? Что-то я у нас в Сибири таких не едал. Зато я в своей Костромской едал, отвечает Ухватов. Это свинухи́. Садись, говорит, Сергей Сафроныч, — пальчики проглотишь. Выпили раз и другой. Уже в котелке, почитай, что ничего не остается, а я все не решаюсь. Так и ушел. Не попробовал. А на рассвете будит меня посыльный пульроты. Идите, говорит, скорее, начальство помирает. Прибегаю и застаю картину: ползают на карачках вокруг землянки Ухватов и Максим, оба без штанов. А, батюшки!.. Кликнул я фельдшера. Тот, вроде вас, сразу во сме-

хий ударился. Катается по траве и регочет, что твой жеребец. Ты что ж это, говорю ему, клизма, делаешь? Люди отравившись и, можно сказать, при последнем издыхании находятся, а тебе цирк? Иемехенов! Да не визжи ты за ради христа! Оглушил! А что ж, отвечает, я могу сделать? Их надо это самое... ага... сифонить и парным молоком отпаивать, а где я возьму?

— Ха-ха-ха! — в два десятка здоровых глоток мы хохотали так, что, наверное, было слышно не только у немцев, но и в штабе нашего полка. А Долженко продолжал:

— Тут и заявляется сам комбат. «Накануне наступления! — кричит. — Симулянты! Самострелы! Отвезти их, кричит, под конвоем в санроту. Пусть их там наизнанку вывернут, но чтоб к вечеру были здоровы и обоих под трибунал!» Вот оно как. Максим-то тертый калач — что ему трибунал! А Ухватов с перепугу совсем сомлел — так и сел на муравейник...

— Долженко, хватит! Пощади! — плачущим голосом выкрикнул старший лейтенант Павловецкий. — Сил больше нет.

— Ох, милые мои крабы, — стонал Мамаев, — я так и знал, что он кончит в этом роде. Ох, умора...

Долженко возмущался:

— Какие могут быть смехи́?

На шум из землянки вышла Паша-ординарец. Сначала посмеялась вместе с нами, а потом сказала:

— Расходитесь, товарищи офицеры. Комбат сердится.

На рассвете ракета с КП батальона, как белая яркая молния, прорезала предутренний туман. И сразу же где-то рядом, невидимый за поворотом траншеи, Мамаев прокричал:

— На время артподготовки — все в укрытия!

Гулко затопали солдатские ботинки.

Я приказала снять пулеметы с площадок в траншею. Едва мы забились в первый попавшийся блиндаж, точно горный обвал обрушился на оборону. Пушки всех калибров и систем били, не умолкая ни на секунду. Грохот и вой всё нарастали. Через открытую дверь блиндажа было слышно, как над бруствером фырчат и визжат го-

рячие осколки от наших же снарядов. Резко запахло порохом. Тяжелый удушливый дым медленно заполнял траншею.

Артиллерия, как гроза исполинской силы, бушевала долгие полчаса. Канонада оборвалась внезапно. Наступившая вдруг тишина отозвалась в ушах нудным металлическим звоном. Солдаты без команды выбегали из укрытий и занимали свои места у огневых позиций. Возле пулемета деда Бахвалова, в траншее, кричал в телефонную трубку комбат Радченко: разговаривал с приданной артиллерией. Он поздоровался со мною кивком головы и, заглядывая в карту, сложенную маленьким тугим четырехугольником, продолжал что-то доказывать и спорить.

Из шести немецких пулеметов перед фронтом нашей роты пока ожили только два: раскатили гулкую дробь, над нашими головами запели пули. Возле землянки Мамаева закричал командир минометчиков Громов:

— Ба-та-рея! Слушай! Пятый и третий! Какого черта! Оглох ты, что ли? Пятый и третий! Приготовиться!

С наблюдательного пункта комбата с шипением вырвалась ракета и, разбрызгивая красные лучи, растаяла в сизом дыму.

— Вперед!!! — Мамаев призывал в атаку так же, как и ругался, на низких ворчливых нотах.

И сейчас же звонко и торжественно отозвался взводный Тикунов:

— Вперед! За Родину! Ура!

«Молодец, горлопан», — подумала, я и крикнула деду Бахвалову:

— Огонь по «скорпиону!»

Затылок Пыркова напрягся, задрожали приподнятые плечи — он как бы слился с пулеметом воедино. По «гадюке» очень прицельно вел огонь Непочатов. Пулемет Лукина пока молчал. «Ура» прозвучало не столь мощно, как на тактических занятиях, но в атаку ринулись дружно. Солдаты проворно переваливались через земляной бруствер, согнувшись бежали к проходам в проволочных заграждениях, обозначенных белыми флажками: проскочив разминированные коридоры, на минуту скрывались в эскарпе, выбравшись наверх, вытягивались по всей ширине нейтралки в неровную колышащуюся цепь. Вот упали двое. Один из них сразу же вскочил, но, зашатавшись,

снова повалился лицом в рыжую траву. За моей спиной громко охнул Закревский:

— Убили!

— Цыц, — шикнула я, не отрываясь от бинокля, и подумала: «Это только цветочки».

Напор был настолько стремительным, что немцы, парализованные артподготовкой, не успели опомниться и обрушить на наступающих всю силу оборонительного огня. По нейтральной полосе минометы ударили с запозданием, и цепь оказалась в недосягаемости: солдаты, как большие суетливые муравьи, уже карабкались по подножию высоты и скрывались в дыму, густо окутавшем столообразную вершину.

Я тронула деда Бахвалова за плечо:

— Василий Федотович, родной, пора! Вперед! Во славу Родины! — Мы трижды поцеловались.

— С богом, мазурики! — напутствовал дед свое воинство. — Всё взяли? То-то же! Вперед, и никаких гвоздей!

Я просигналила Непочатову и Лукину, и мы двинулись вслед пехоте.

Бежали молча, жадно, хватая открытыми ртами воздух. Зону минометного огня проскочили, не останавливаясь. Сраженный осколком, молча рухнул лицом вниз Ильин, выпустив из рук коробки с лентами. Одну на ходу подхватила я, другую Закревский. Саша не отставал от меня ни на шаг — горячо дышал в самый затылок:

— Держи дистанцию! — крикнула я, не оборачиваясь, и он немного отстал. Мы только достигли подножия высоты, когда расчет Непочатова уже преодолел склон и нырнул в дымовую завесу. На правом фланге заметно отставали солдаты Лукина. Я замахала над головой пистолетом-пулеметом; знала, что не слышат, но все равно крикнула: — Под-тянись! Живее!

Отдышались мы только в первой вражеской траншее. Там уже никого не было. Только наши ротные санитары раскладывали на плащ-палатке бинты и вату. И во второй линии окопов, на самом гребне, тоже уже никого. Высота не имела обратного ската, и перед нами неожиданно открылось ровное поле густой пересохшей травы. Впереди, метрах в семистах, деревня на маленьком пригорке, оттуда остервенело бьют минометы, кромсают поле так, что во многих местах горит трава. Немецкие пулеметы теперь стрекочут взахлеб: пули поют, виз-

жат и щелкают по щитам «максимов». По полю бестолково мечутся солдаты мамаевской роты, ныряют из воронки в воронку, отстреливаются вразнобой. Подаю команду.

— Тачкой вперед! На открытые позиции!

Но и без этого все три расчета, ползком толкая пулеметы впереди себя, выдвигаются на линию стрелковой цепи. Позиции выбирать не приходится, — кроме мелких воронок, никакого укрытия. Первым открывает огонь дед Бахвалов, потом Непочатов и чуть с запозданием откликается пулемет Лукина. Солдаты пытаются окапываться, но многолетний дерн не поддается — перед головой даже маленького бруствера не насыпать. Противник переносит минометный огонь на мои пулеметы. Разрывы пляшут перед самыми щитами. Лукин умолк. Тревожно сжимается сердце: «Потеряю людей без пользы».

Меня сердито окликает Мамаев:

— Отводи пулеметы в окопы! Соображать надо!

Закревского посылаю к Непочатову, спотыкаясь о воронки и падая, бегу к деду Бахвалову, Лукину сигналю ракетой. Пока отходят, не высовываясь из воронки наблюдаю в перископ-разведчик. Кто-то упал у Непочатова... Кто — не могу понять... Ага, поднялся! Когда последний солдат благополучно ныряет в окоп, машинально, как дед Бахвалов, шепчу: «Слава богу!» И что есть духу несусь назад в те же окопы.

«Фьють! Фьють! Ийоу — дзинь!» Пули свистят мимо. Не переводя дыхания, рычу деду Бахвалову:

— Закапывайтесь!

Четыре человека лихорадочно работают лопатками, углубляя траншею. Коля Зрячев, лежа вверх лицом, набивает пустую ленту. Дед изготовился к стрельбе, но перед прицелом колышется стрелковая цепь — мамаевцы тоже отходят в немецкие окопы второй линии.

Непочатов и Лукин ведут огонь с флангов, прикрывая отход роты. Опять высовываю трубку перископа-разведчика. Хорошо стреляют непочатовцы! Пули взрывают целую тучу песка на вражеском окопе у правого гумна — как раз там, откуда стрекочет самый назойливый пулемет. Теперь молчит — притаился. У Лукина хуже: не вижу, куда идут пули. Вроде бы ведут огонь по кромке сада, но вражеский пулемет, спрятанный между густыми кустами, не умолкает ни на минуту.

— Без нужды не стрелять! — говорю деду Бахвалову. — Присмотрите запасную позицию.

И снова, согнувшись почти пополам, бегу по мелкой полупрофильной траншее. Сзади топочет Закревский. Прямо с ходу валюсь в окоп, хватаю за маховичок вертикальной наводки и кричу в волосатое ухо Шугая:

— Куда?! По воробьям?

Шугай поворачивает ко мне бородатую улыбающуюся физиономию, согласно кивает головой в зеленой каске, нахлобученной на самые брови, и снижает наводку. И тут, как и у деда Бахвалова, окапываются во все лопатки. Лукин сам набивает ленту, сосредоточенно сдвинув брови. Я не успела его выругать за неприцельный огонь. С визгом над нашими головами пролетел снаряд и разорвался где-то позади огневой позиции. Потом другой, третий... Загрохотало, загудело, завыло... На разные голоса запели, зафырчали осколки. Туча вздыбленной земли живой стеной заколыхалась перед нашим окопом, закрыла солнце, сухими комьями обрушилась на наши спины, запорошила глаза, перехватила дыхание.

Отплевываясь и ничего не видя перед собой, я на ощупь метнулась к брустверу. Споткнулась о чьи-то ноги, больно ударилась подбородком обо что-то твердое, закричала во всю силу легких: — Пулемет в траншею!

Поняли. Глухо звякнули о дно окопа пулеметные катки-колеса.

Проходили секунды, минуты, а грохот, вой и визг, казалось, всё нарастали, и не было никакой передышки.

Земля глухо вздрагивала под нашими безвольно распростертыми телами и тяжко стонала, будто угрожая разверзнуться и в справедливом гневе поглотить сеющих смерть, а заодно и нас, защитников своих, — живых и мертвых.

Время тянулось очень медленно, в сознании билась только одна мысль: «Выжить. Выстоять...»

Рядом со мною тяжело плюхнулся Шугай, защекотал щеку колючей бородой, прокричал в самое ухо:

— Как-то там наши?

И этот живой голос, эта забота о ближнем придают мне уверенность. На ощупь нахожу полузасыпанный землей перископчик, вытираю его о солдатские штаны и осторожно высовываю из траншеи. Но ничего нельзя

разглядеть там наверху — темно, как будто сейчас и не утро. Серый дым над окопами широким рукавом плывет влево. Огонь вроде бы начинает постепенно стихать. Снаряды и мины рвутся уже не перед нашими позициями, а где-то у нас в тылу. За деревней отвратительным голосом в шесть стволов ревет «дурило» — бьет по нашему левому соседу. Еще залп и еще, — теперь разрывы молотят первую линию бывших немецких окопов. Интересно, есть ли там кто-нибудь из наших?

— Живы?! — не то спрашивает, не то утверждает Лукин.

Слева от меня слышится возня, потом громкий плач Гурулева.

— Что с тобой? Да повернись живей!

— Но-гу отор-ва-ло!!! — неистово вопит маленький пулеметчик.

— Цыц, варначонок! Тут твоя нога! Обе-две тут!

Я отрываюсь от перископа и оглядываюсь назад. Стоя на коленях, Шугай кривым ножом вспарывает окровавленные штаны раненого и сердито шипит:

— Блажи шибче! Германец услышит, добавит...

Гурулев умолкает и тяжело, прерывисто дышит. Рядом, на корточках, привалившись спиной к обвалившейся стенке траншеи, закрыв лицо руками, охает Саша Закревский.

— Закревский, что с тобой? Ранен?

Отвечает Шугай:

— Это он так, с Серегой за компанию...

Засовываю за пояс перископчик, перешагиваю через лежащего Гурулева и трясу Закревского за плечи так, что голова его мотается из стороны в сторону, как шляпка подсолнуха на тонком стебле.

— Перестань! Возьми себя в руки! Слышишь? Где твой автомат?

Закревский отрывает руки от лица и глядит на меня мутными непонимающими глазами... Его тошнит.

Теперь уже не осколки, а пули засыпают наши позиции: свистят, визжат, щелкают и цокают о сталь спасительного щита. Что-то прокричал Мамаев. Не разобрали. Но вот опять уверенно и властно:

— ...товсь! К бою! Контр-а-та-ка!

А вот и Тикунов — как в рупор:

— К залповой стрельбе... товсь!

— Пулемет к бою! — Лихорадочно шарю перископом по полю, но пока не вижу, куда стрелять.

Дым еще не рассеялся, но поднялся выше и стал заметно реже. Опять минометный огневой вал. Съежившись, прячем головы под бруствер. И едва оседают разрывы впереди, выше травы, колышется что-то сизо-зеленое, плохо различимое — движется в нашу сторону.

— Правый ориентир... Прицел... — нараспев командует Лукин.

— С рассеиванием влево на ладонь, — подсказываю я ему и, передав свой бинокль, предупреждаю: — Без моей команды не стрелять! — Оглядываюсь на Закревского: вроде бы пришел в себя — расставив тонкие ноги, навалился грудью на бруствер, держит палец на спусковом крючке автомата, шумно дышит.

— Двадцать шестой! Двадцать шестой! Семь, три, одиннадцать! — И уже без всякого кода: — Громов! Так твою разэтак! — кричит по телефону Мамаев.

Фашисты всё ближе. Что-то сигналит ракетами комбат. Опять, надрываясь, кричит Мамаев:

— Пулеметчики! Я вас, крабы!!!

В левый фланг наступающей цепи хлесткой очередью ударил Непочатов. Минуту спустя по центру кинжальным огнем резанул дед Бахвалов. Застрочили сразу несколько «дегтяревых».

— Зал-пом! — Какой там залп! Пехота лупит вразнобой, кто во что горазд.

Фрицы залегли. Стрекота автоматов почти не слышно, а пули несутся лавиной. Но вот цепь снова поднялась и, как подстегнутая кнутом, ломая линию, шарахнулась вправо, прямо под наш пулемет — вот-вот захлестнет позицию.

— Огонь! — «Максим» вздрагивает и яростно клокочет. Враги падают, поднимаются и снова падают. Цепь колышется, как рваная волна.

— Патроны! — кричит Шугай, не поворачивая головы, и, получив новую ленту, командует сам себе: — Огонь! — и строчит без передышки.

— Побежали! — кричат разом Закревский и Лукин.

«Бах!!! Ба-бах!!!» — за нашими спинами бухает сорокопятка. Черт принес сюда «карманную артиллерию»! Надо менять позицию. Накроют.

С запозданием зачуфыкали минометы Громова. Те-

перь уже наши разрывы кромсают травянистое поле. Тяжелые батареи бьют по деревне. Отбой. Передышка...

— Лукин! Немедленно сменить позицию! И пока тихо, отправь раненого на санпункт.

— Его ж надо нести, — возражает Лукин, — придется двоих.

— Дозвольте мне, взводный, — просит Шугай, я его одним духом, как ребятенка, допру.

— Действуйте! Я к Бахвалову. Закревский, за мной!

Наши пулеметы умолкли, и только дед Бахвалов всё еще ведет огонь. «Максим» закатывается на всю ленту. Сокращая расстояние, мы бежим по верху траншеи, и я злюсь: куда палит, старая борода?

«Фьють! Фьють! Ийоу! Дзинь!» С разбега обрушиваюсь в окоп и вижу только одного Пыркова. Он точно прирос к пулемету. Над кожухом клубится пар.

— Прекрати огонь! — Не слышит и не понимает. — Черт! Сатана! — Я бью кулаком по его пальцам, но Пырков не отпускает рукоятки и ничего не чувствует.

За моей спиной сопит Закревский, пытаясь оттащить пулеметчика за шиворот. Я выплескиваю Пыркову в лицо остатки воды из своей фляжки. Он вздрагивает, разжимает руки и тяжело сползает на дно окопа. Слышу свистящий шепот:

— Ох, это вы...

— Закревский, дай ему попить!

Разряжаю пулемет и открываю крышку короба. Не высовываясь из-за щита, на ощупь нахожу пробку на кожухе и, обжигая руки, выпускаю горячую, как кипяток, воду. Достаю из сумки пузырек с веретенкой и поливаю горячую раму. Масло шипит, как на раскаленной сковородке. Угарный дымок ударяет в нос.

— Где Бахвалов и остальные?

Пырков показывает вверх, на бруствер, безнадежно машет рукой. Выглядываю из окопа и чувствую, как у меня дрожат губы.

— Что ж ты делаешь, подлец! — Я гневно поглядела на Пыркова. — Это ж твои товарищи!

Они лежат на бруствере, лицом к пулемету, спиной к противнику, по двое с каждой стороны площадки: дед Бахвалов, Коля Зрячев, Портнягин и Никулин... Даже мертвые защищают свою позицию...

— Им теперь всё равно, — глухо говорит Пырков, — а мне надежное прикрытие.

Снимаем всех четверых по очереди. У деда Бахвалова осколком изуродовано лицо. Осторожно выбираю из его закрытых глаз вдавившиеся стекла очков и долго не могу унять дрожь губ... Сморкаясь в подол гимнастерки, тихо плачет Закревский.

— Назначаю тебя командиром отделения, — говорю Пыркову, — и вот тебе первый солдат, — киваю на Закревского.

Пырков кривит губы:

— Этот?

— Не косись. Закревский держится молодцом. Ладно, Саша, хватит. Где вода?

— Залить? — спрашивает Пырков.

— Подожди, пусть остынет. Что ж ты лупишь, как ненормальный? Ведь машину можешь загубить! Да и кто тебе будет набивать ленты? Сколько еще осталось?

— Неполных две.

— Меняем позицию, пока тихо. Вправо двести. Там есть удобная площадка. Двинули!

Отделение в составе двух человек подхватывает пулемет за хобот. Я беру две коробки с лентами и банку с водой.

Перебрались благополучно. Закревский за два рейса перетащил всё остальное. Стрелки принесли ящик патронов. Торопливо набиваем ленты. Как можно спокойнее я говорю Закревскому:

— Не портачь. Выравнивай о колено, а то будет перекос патрона. И что ты трясешься? Ничего нам не будет до самой смерти.

— Это так... нервное...

— Ну, ребятки, держитесь. Я вам пришлю подмогу. Больше выдержки — патроны беречь. Огонь только по живой силе. Я ненадолго к Непочатову, а потом опять к вам.

На моем пути, несколько впереди окопов, лежит огромный серый камень — валун. Мне вдруг пришло в голову выдвинуть под его защиту пулемет Непочатова. Позиция хоть куда, но надо осмотреть. Я была метрах в десяти от заветного камня, когда из-за него вдруг высунулась рогатая каска, обвитая колосьями тимофеевки.

Высунулась и проворно скрылась. Я затрясла головой: «пригрезилось...»

Рослый немец выскочил мне навстречу и вскрикнул:

— Майн гот! [1] Русски матка!

Мы выстрелили одновременно. Целый рой пуль чиркнул меня сбоку по поясу, оставив на саперной лопатке блестящие царапины. Левая рука, перебитая в локте, повисла, как плеть. Немец медленно осел на землю, повалился на спину и засучил ногами, как будто бы ехал на велосипеде...

Мамаев, сидя в окопе на корточках, отругивался по телефону:

— Лежу, как краб. С кем? Семь, пятнадцать, тринадцать... Куда дел? Съел, так твою разэтак! Раздолбайте мне минометы! Сколько раз просить? До ночи? Продержусь, если надо, и ночь. Жду. Пока тихо. Там же у вас слышно.

Он повернул ко мне нахмуренное, как-то сразу постаревшее лицо:

— Чего ты охаешь?

— С немцем у камня столкнулась.

— Ну и как?

— А так: он меня, а я его. Рука вот...

— Так тебе, дуре, и надо! Опять шляешься без связного?

— Не ругайся, я его оставила у пулемета. Погиб дед Бахвалов.

— Да ты что?! Ах, гады!

— Людей дай.

— Нету людей. В первом взводе осталось семь человек. Погиб Коровкин. До вечера держись. Комбату обещали резерв. Сделай из трех расчетов два. Мне важны фланги, в центре обойдусь «дегтярями». Соображать надо, ты ж командир! Автомат-то трофейный подобрала?

— Какой там автомат! Еле опомнилась...

Мамаев улыбается:

— Ах ты, храбрячка! Но в общем ты славная бабка!

— Довольно трепаться, перевяжи, ведь больно.

---

[1] Мой бог (*нем.*).

— Гм... Самое сволочное ранение. Долго не заживет. Не повезло тебе.

— Наоборот, повезло. Если бы не стояла боком — всю брюшину бы распорол. Ну, я побежала к Непочатову.

— Иди-ка ты в санчасть. Как-нибудь и без тебя обойдемся.

— С одной рукой — не с одной ногой, воевать можно. Пошла.

— Одна?! Не пойдешь! Соловей, проводи лейтенанта.

Нам навстречу точно из-под земли вынырнул Денисюк. Тряся окровавленным пальцем левой руки, не скрывая радости, прокричал:

— Товарищ лейтенант, я ранен! Бегу в санчасть.

— Что ты тычешь мне в нос свою дурацкую царапину?! В строй! К пулемету!

— Не имеете права! Я раненый! — закричал Денисюк истошным голосом и большими скачками побежал в тыл...

— Стой! Вернись! Стой, паразит!

Даже не обернулся. Одной рукой я дала очередь из пистолета-пулемета — промахнулась.

Его догнала шальная немецкая пуля. Он вдруг высоко подпрыгнул, нелепо взмахнул руками и повалился на бок.

Соловей сказал по-мамаевски:

— Спекся, краб. Амба! — И, шмыгнув маленьким носом, добавил: — Бог шельму метит.

А могла бы и убить!.. Своего... Ведь знает, паразит, что с такой раной в тыл не направят, наверняка знает, а бежит! Хоть на час, да спрятаться...

У пулемета Непочатова двое: Андриянов и молодой солдат Ильюшин. Набивают ленты.

— Где люди?

Андриянов хмуро сдвигает припухшие надбровья:

— Двоих унесли санитары. Денисюк сбежал.

— Командир где? Где Непочатов?

— Тут они. Помирают, должно быть...

— Помирают?! А ты спокойно сидишь?! Почему не отправил?

— Так ведь пулемет не бросишь...

— Стрелков надо было на помощь позвать!

Непочатов лежит на спине тут же в траншее, чуть

левее пулеметной позиции. Его широко открытые глаза глядят прямо в дымное небо. В лице ни кровинки, на губах пузырится кровавая пена.

— Василий Иванович! Куда вы ранены? Василий Иванович, вы слышите меня?

Я торопливо расстегиваю ремешок его каски, отшвыриваю ее прочь, опять зову:

— Василий Иванович, это я... — Не слышит и не видит. — Соловей, поднимайте его втроем. Осторожно! Быстро в санпункт. Я останусь у пулемета.

Непочатов тихо стонет и чуть слышно говорит:

— Не надо... Оставьте... —И кровь льется из его рта нестерпимо ярким горячим ручьем.

Он опять пытается говорить. Я наклоняюсь к самому его лицу, но ничего не могу разобрать. Вздрогнул. Вытянулся. Всё...

А я не верю, не могу поверить, что нет больше Непочатова, и сижу на дне окопа растерянная и несчастная. И не чувствую, как ползут по щекам тяжелые слезы. И не слушаю, что рассказывает Андриянов, хоть голос его назойливо лезет в уши:

— ...Веселые они всё время были. Все шутили: «Нас и громом не убьешь, а не то что немецкой миной». А тут какая-то шальная разорвалась в аккурат у нас на бруствере, ну и покорябало палец у этого счетовода. Тот сразу бежать. Командир ему: «Стой!» Не вернулся, гад, напрямки поверх траншеи ударился. Старший сержант за ним. А тут, как на грех, пулемет. Всё молчал, а тут...

Подумать только! Из-за шкурника погиб!.. И не моя пуля догнала этого Денисюка...

Опять засвистело, загрохотало, завыло. Потянуло смрадным дымом. Снова на наши головы и спины обрушились тучи песку и град земляных комьев.

— Контр-атака! По фашистской сволочи — огонь!!!

Ранен Шерстобитов. Пыркова и Закревского перевела в непочатовский расчет, теперь там четверо и трое у Лукина. Вот и всё мое войско. Пулемет деда Бахвалова мы с Соловьем притащили к самому окопу Мамаева. Соловей перенес ленты и воду.

— Лучше б его откатить в тыл, — предложил Мамаев, — еще потеряется, отвечать придется.

— Не потеряется, — возразила я, — ведь мы отсюда ни шагу. Так?

— Только так. Ты шутишь: после таких усилий отдать господствующую высоту! Попробуй сковырни его потом! Комбат звонит: «Кровь из носу, держись до вечера. Зубами, клыками, рогами — хоть чем, но держись!» Спасибо артиллеристам! Хорошо помогают, крабы.

Под вечер фашисты опять зашевелились. Из деревни, из-за купы кустарника навстречу друг другу выползли два танка. Сошлись, обнюхались, развернули пушки набалдашниками в нашу сторону, дали по два залпа и опять расползлись — один направо, другой налево. Немного погодя, опять выполз левый танк, потом правый. Снова залп по нашим позициям и снова спрятались. Дразнят, что ли?..

А это еще что за черно-зелено-оранжевое чудище? Снаряды с визгом пронеслись над нашими головами и с каким-то стеклянным звоном взорвались чуть позади скопов. Еще залп — опять стеклянный звон и визг. Соловей сказал: — «Фердинанд» склянками швыряется!

Ах да, это же самоходка. Как же я сразу не догадалась... «Фердинанд» спрятался, выполз танк.

Мы отмалчиваемся, и только левофланговый пулемет бьет хлесткой очередью по самоходке всякий раз, как она показывается.

— Опять Пырков-бродяга зря патроны переводит. Соловей, заряди ракетницу зеленой!

Сигнал приняли, пулемет умолк.

Тишина взрывается тяжелым железным гулом, рычанием моторов и скрежетом металла. Земля вздрагивает.

— Тан-ки! — вскрикивает Соловей.

— Замолчи, салажонок, — спокойно говорит Мамаев, не отрываясь от бинокля.

Я высовываюсь из окопа, но ничего, кроме колышущейся травы, впереди не вижу.

— Пожалуй, на соседний батальон, — говорит мне Мамаев. И только тут до моего сознания доходит, что скрежет и лязганье доносятся откуда-то слева. Ага, вот они: угрожающе покачивают хоботами пушек, тяжело ворочают широкими гусеницами. За облаком пыли не видно пехоты, но я сигналю: «Пулеметы к бою!» И разворачиваю «максим» на девяносто градусов влево. Рядом считает и испуганно ойкает Соловей:

— Три... пять... восемь... двенадцать!..

— Смолкни! Дам по шее — всю арифметику забудешь. — Мамаев невозмутимо спокоен. — На тебя они, что ли, идут?

Да, теперь уже ясно: не на нас, на соседний батальон. Но над нашими окопами носится тревожный крик:

— Тан-ки! Тан-ки!

— Молчать!!! — ревет Мамаев и, сорвавшись с места, бежит куда-то влево, уже издали доносится его команда: — Гранаты! Бутылки!

— Обойдут они нас, — стонет Соловей, — в лоб не взять, так они в обход...

— Не обойдут. Там склон что обрыв, да и артиллерии до дуры.

— А если вдоль окопов повернут? — Он поворачивает ко мне испуганное чумазое лицо.

— Соловей, что ты охаешь, как старая баба? Ложись за пулемет!

— Куда хоть стрелять-то?

— Пока никуда. Жди команды.

Перед черными машинами пляшут разрывы — пристреливается наша артиллерия. Танковая колонна, не останавливаясь, окутывается серыми дымками — огрызается огнем, набирает скорость. И сразу же начинается настоящее землетрясение. Сотни орудий с обеих сторон тоннами раскаленного металла взрывают всю толщу воздуха. Небо чернеет и, окутавшись зловещим пламенем, медленно обрушивается на землю. На левом фланге творится такое, что трудно себе представить даже при самой изощренной фантазии — горит земля и небо. Соловей затыкает уши. Сердце бьется гулкими толчками: не пропустить пехоту!.. Надо во фланг...

Командовать тут бесполезно. Вся надежда на сообразительность наводчиков. Где же она, проклятая фашистская пехота? Ни черта в дыму не видно, а, пожалуй, пора.

— Соловей, огонь!

Пулемет трясется, как в лихорадке, а звука стрельбы не слышно.

— Соловей! Не тяни рукоятки вниз!

Не слышит. Легонько ударила снизу по левому локтю. Догадался.

Пыркова не слышу. Уши как ватой заложило. Но

знаю, если жив — ведет огонь. Прятаться и отмалчиваться не будет...

— Танки с тыла!!!

Кто это так орет? С какого тыла?

Что-то жаркое, пыхтящее, ревущее вдруг налетает на нас сзади и, исходя запахом бензина и раскаленного масла, тяжело переваливается через траншею, чуть левее пулеметной площадки. Не успеваем прийти в себя, как второе горячее рычало проползает в нескольких метрах тоже левее позиции. Соловей, как подкошенный, валится на дно окопа лицом вниз. И тут только я соображаю: «Отступают фашистские танки. Уходя из-под огня, сменили направление».

— Соловей, гранаты!

Никакого ответа, да и момент уже упущен — рычание и лязг слышатся где-то впереди и по-прежнему слева. Как-то там Пырков и ребята?..

— Соловей, поднимайся! Чего лежишь?

Не дожидаясь ответа, побежала к Пыркову. Все четверо живы, возятся у пулемета. У Пыркова забинтована рука, у Андриянова шея.

— В чем дело, ребята?

— Потеряли извлекатель, — не оборачиваясь, буркнул Пырков. — Разрыв гильзы нечем устранить, так твою!..

— Закревский, возьми у покойного Василия Федотовича сумку с запчастями. Быстро!

Побледнел, но побежал и принес.

Надо их как-то подбодрить. Сказать что-то такое... Я пытаюсь молодецки улыбнуться, но чувствую, что вместо улыбки получается жалкая гримаса. Какое уж тут бодрячество... Силы человека не беспредельны.

Еле ворочаю языком: — Молодцы! Приведите пулемет в порядок. Возможна еще контратака.

— И чего они всё лезут? — Закревский всхлипывает и утирает грязное лицо подолом гимнастерки.

— Тебя не спросились, вот и лезут, — бурчит Пырков, протирая раму пулемета. — Брось ныть!

— На-ко, малец, займись делом, — Андриянов передает Закревскому пустую ленту, — оно и полегчает. — Он глядит мне в лицо воспаленными глазами и лукаво усмехается: — У страха глаза велики. Как полезли они нахрапом на соседа, ну, думаю, и нам конец. Отходную

читал... с гранатой в руке. Не пришлось долбануть. Вроде бы и рядом прошли, а не достать...

Позицию Лукина засыпало землей. Его самого оглушило. Остался в строю.

Мамаев возвратился в свой окоп мрачнее тучи, бурно дышал. Сняв каску, вытер тряпкой влажную кожистую подкладку и опять нахлобучил железный колпак на голову. Глухо сказал:

— Погиб Татаринцев... Иемехенова отправил в санбат. Лежа командовал. Обе ноги перебиты... — У Мамаева заедает автомат, не садится на место перезаряженный диск, и он то и дело ударяет прикладом о дно окопа: — Краб! — Потом поворачивает ко мне улыбающееся лицо и говорит: — А крепко стоит Сибирская дивизия!

В сумерках через наши позиции на правый фланг пробиралась рота чужой дивизии. Мамаев набросился на незнакомого офицера:

— Что ж ты делаешь?! Тебя кто учил так людей выдвигать? Твое счастье, что стемнело, а то бы фашист показал тебе барахолку!

Но немцы, обеспокоенные шумом, удивительно прицельно накрыли минометным огнем наши позиции, а по ближним тылам ударила тяжелая батарея. Мамаев, как неуязвимый дух, мельтешил среди разрывов, пытаясь навести порядок, и ругался в четыре этажа. Чужие раненые крыли меня матом:

— Санитарка! Где ты там прячешься...

Из деревни, как рассерженный ишак, опять взревел шестиствольный «дурило».

Обстрел длился довольно долго. Нарушилась телефонная связь. А когда огонь затих и срастили провода, Мамаев позвонил на КП батальона.

Я сразу поняла, что случилось что-то чрезвычайное, потому что он вдруг побледнел так, что крылья носа стали совсем белыми, а глаза пустыми и неподвижными. Сжимая в руке телефонную трубку, выдавил осипшим голосом:

— Погибли комбат и Паша... И адъютант старший... И замкомбата... Приказано принимать батальон. Ты останешься за меня...

— Я?! Командиром стрелковой роты?! Почему я?

— Молчать. Приказ в бою — закон! — рявкнул Мамаев и уже спокойно: — Я знаю, что делаю. Не дрейфь, при первой возможности заменю. Айда, пройдемся по цепи.

— И без тебя всё знаю, чего уж там прогуливаться.

Он клюнул меня сухими губами куда-то около виска и ушел, оставив своего связного.

Я тяжело вздохнула и всхлипнула, почти как Саша Закревский, но тут же себя одернула:

— Соловей, передай по цепи: принимаю роту!

На рассвете немцы отступили по всему участку фронта. На ходу получив пополнение, Сибирская дивизия гнала фашистов без передышки до самого Смоленска. Наш полк штурмовал Смоленск, со стороны Ярцева. При форсировании Днепра я снова была ранена. Прощаясь с Мамаевым, отдала ему во временное пользование свое именное оружие — пистолет-пулемет, подаренный мне командующим армией. Я верила, что с Мамаевым мы расстаемся ненадолго.

СОДЕРЖАНИЕ

Текст печатается по изданию:
Лениздат, 1965 год.

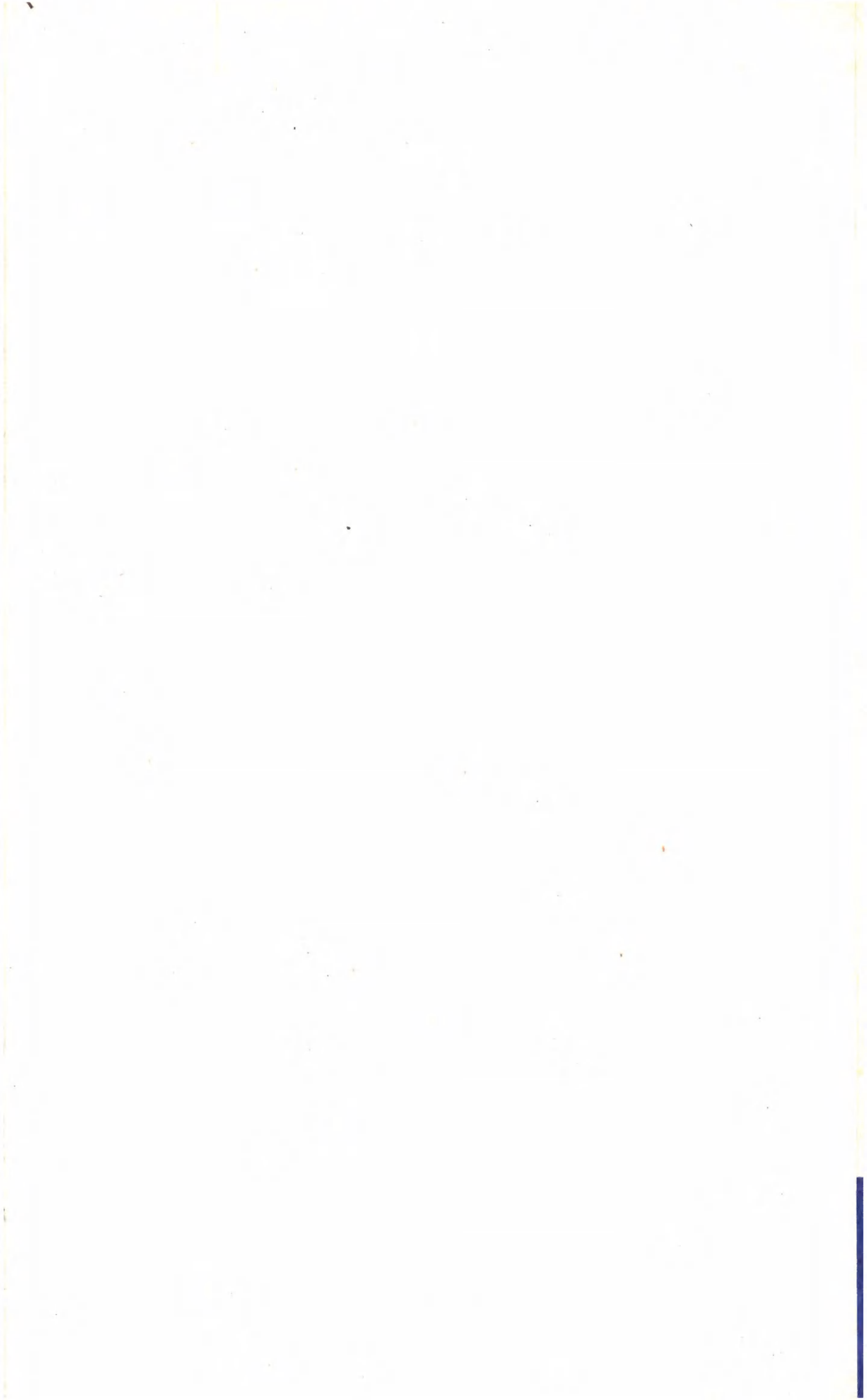
Чудакова
Валентина Васильевна

ЧИЖИК — ПТИЧКА
С ХАРАКТЕРОМ

Редактор
Т. К. Назарова
Художественный редактор
М. Ф. Живило
Технический редактор
К. С. Королева
Корректоры
Л. В. Алексеева,
Л. С. Мемнонова

Сдано в набор 2/II-1973 г. Подписано к печати 27/III-1973 г. 21,17 уч.-изд. л., 23,10 усл. печ. л. Формат 84×108 1/32. Тираж 100 000 экз. (2-й завод 25 001 — 100 000). Бумага тип. № 3. Заказ 47. Цена 75 коп.

Красноярское книжное издательство, г. Красноярск, пр. Мира 89.
Типография «Красноярский рабочий», г. Красноярск, пр. Мира, 91.



Цена 75 коп.

КРАСНОЯРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО


ВАЛЕНТИНА ЧУДАКОВА • ЧИЖИК - ПТИЧКА С ХАРАКТЕРОМ